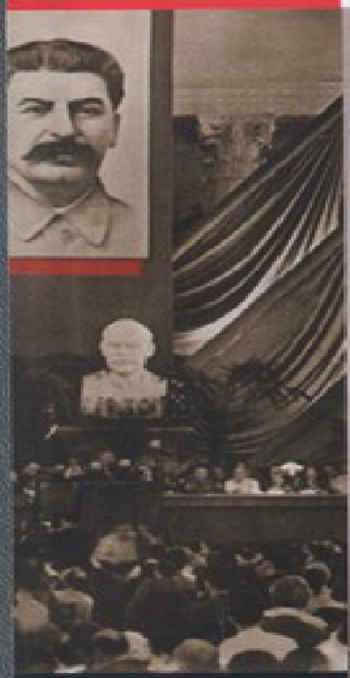
ФАДЕЕВ



Василий Авченко

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Много лет Александр Фадеев был не только признанным классиком советской прозы, но и «литературным генералом», главой Союза писателей, проводником политики партии в творческой среде. Сегодня о нем если и вспоминают, то лишь затем, чтобы упрекнуть — в отсутствии таланта, в причастности к репрессиям, в запутанной личной жизни и алкоголизме, который будто бы и стал причиной его самоубийства… Дальневосточный писатель Василий Авченко в своем исследовании раскрывает неполноту и тенденциозность обеих версий фадеевской биографии — «советской» и «антисоветской». Он показывает нам неожиданного Фадеева: пылкого, неравнодушного, щедро и часто напрасно расточавшего свои силы и свой дар. Особое место в книге занимает родной край героя и автора — российский Дальний Восток, где в испытаниях Гражданской войны Фадеев сформировался как человек и как писатель. знак информационной продукции 16 +

- Василий Авченко. Фадеев
  - ФАДЕЕВ: ПЕРЕЗАГРУЗКА
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - Знакомство в тюрьме
    - Там, где тигры крали телят
    - Мальчик с большими ушами
    - Коммуна соколят
    - С браунингом и банкой варенья
    - Трагедия в опереточных декорациях
    - Учителя из Сучанской долины
    - Метод Гайды и метод Лазо
    - Варфоломеевская ночь по-японски
    - Фантом с кочующей столицей
    - «Город нашенский»
    - Приморский партизан
    - Первая пуля
    - Комиссар Булыга
    - Красный лед Кронштадта
    - Новые академии
    - Друзья и «Враги»
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - Фадеев в «Разливе»
    - Письма Асе
    - Дальневосточный текст

        - Братья по краю: Фадеев и Арсеньев
        - Крутой маршрут Иосифа Левинсона
        - Путь на Тудо-Ваку
        - Иосиф и его братья
        - Случай Мечика
        - Возвращение «приморских партизан»
        - Главпиарщик Дальнего Востока
        - Бегство на передовую
        - Тихий Сучан
        - Неоконченный или бесконечный?
    - ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
        - Соцреалист-романтик
        - Писательский министр
        - Александр и Иосиф
        - «Ни на кого не клеветал»
        - Конина по-удэгейски
        - Серебряный сеттер
        - Перед «оттепелью»
        - Разгром «Молодой гвардии»
        - Перековка в Переделкине
        - Кино и немцы
        - Гвардия не сдается
        - Последняя попытка
        - Третья пуля
        - «С превеликой радостью… ухожу из этой жизни»
        - «Я болен не столько печенью…»
        - «Нельзя было оставлять его одного»
        - «Бог дал мне душу…»
        - Жертва запоздалой весны
    - ЖИВОЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ
    - ИЛЛЮСТРАЦИИ
    - ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. А. ФАДЕЕВА
    - ФАДЕЕВ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ (ПОПЫТКА БИБЛИОГРАФИИ)
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8

- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52

- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96

- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140

- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184

- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228

- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233
- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272

- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277
- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316

- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321
- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342

Василий Авченко. Фадеев

ФАДЕЕВ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

Автор выражает благодарность за предоставленные материалы Приморскому государственному объединенному музею им. В. К. Арсеньева (Владивосток) и его филиалу — Литературно-мемориальному музею А. А. Фадеева (Чугуевка).

В книге использованы фотографии Юрия Мальцева.

Фадеева сегодня читать не принято.

В советские времена его определили в классики, покрыв

позолотой и перекормив им до отвращения. В перестроечные — объявили сталинским сатрапом с окровавленными руками. Потом сделали вид, что такого писателя вообще нет.

Такой писатель есть.

Помню это ощущение открытия: Фадеев — живой, а казалось, что уже давно нет.

В моей позднесоветской и раннепостсоветской школе его еще проходили. Потом я надолго забыл его, пока несколько лет назад не оказался в партизанских местах Приморья. В электронной книжке случайно (случайно ли?) оказался «Разгром», я открыл файл — и не смог оторваться, пока не дочитал до конца.

«Разгром» вдруг оказался живым, огнедышащим, кровоточащим. Как будто вулкан спал — и вот проснулся.

И — второе ощущение: Фадеев насквозь дальневосточен. Уехав в Москву на двадцатом году жизни, он до конца тосковал по Приморью, вспоминал в мельчайших подробностях свои здешние дороги и чувства, не раз пытался вернуться сюда. Житель Владивостока, я открывал для себя не только значимого, отзывающегося внутри писателя, но и земляка, ходившего когда-то теми же улицами, которыми хожу сегодня я. Возникло чувство, что кто-то прятал от меня Фадеева — друга, брата, близкого человека. И вот он нашелся.

Есть понятие «возвращенной литературы» — вал, хлынувший в конце 1980-х: эмигранты, диссиденты, зэки, люди андеграунда… Но есть и другая литература — невозвращенная. Ее никогда не запрещали (может, и зря, ибо запрет — лучшая реклама). Напротив, насаждали, как Хрущев кукурузу, пока не оказалось, что никому эта литература не нужна. Что ее можно забыть, отменить, словно ее и не было. Советский «Титаник» стал Атлантидой, к которой долго никто не хотел нырять. Решили, что в трюмах его не золото, а так — закаленная непонятно для чего сталь и прочая черная металлургия, не понимая, что это и есть настоящее золото. Нам стало не до Фадеева — и вообще ни до кого. Вместе с водой мы выплеснули чудесного ребенка, даже не заметив этого. С условным и безусловным Фадеевым нам стало «всё понятно». Когда-то «не читал, но осуждаю» говорили о тех, кого считали антисоветчиками, теперь — о Фадееве. Мы сами отобрали его у себя. И не только его, конечно.

В советское время о Фадееве выходило немало трудов, была и непременная биография в серии «ЖЗЛ». Жизнь его изучена порой до дней и часов. Белых пятен и загадочных провалов, как у многих его современников и коллег, в жизни Фадеева нет (другое

дело, что до полярности разнятся интерпретации одних и тех же фактов).

Но сегодня написанного о Фадееве все равно недостаточно.

Старые и новые книги о нем — тот случай, когда «оба хуже».

В мемуарах советского периода о многом умалчивали. Советское официозное (а другого не было) представление о Фадееве грешило однобокостью, поверхностностью, нередко просто глупостью. Да и написаны советские работы о Фадееве таким языком, что скулы сводит: «Путями художественного новаторства», «Большие задачи — высокие требования», «Сила коллектива», «Торжество социалистического идеала», «На пороге коммунизма». Вот типичные изречения советских литературоведов о Фадееве: «Он выводит на чистую воду Мечика, человека глубоко индивидуалистического мелкобуржуазного склада души». Или: «Глубоко понятая и прочувствованная партийность — вот то внутреннее качество, которое свойственно роману „Разгром“». Или: «Фадеев во всем своем творчестве являет пример подлинной народности и партийности»…

Что до фадеевистики перестроечного и послесоветского времени, то здесь часты выдумки, художественный и нехудожественный вымысел, прямые наветы или по меньшей мере досадные неточности. Это относится даже к добросовестным авторам, не говоря уже о людях с воспаленной фантазией. Да и новой целостной биографии писателя в послесоветское время не создано — в силу его как бы ненужности.

Дело теперь, как мне представляется, не в переписывании старых биографий и даже не в поиске новых сведений. Скорее — в перенастройке оптики, выработке нового взгляда, переосмыслении жизни и текстов Фадеева, возвращении его читателям.

И еще — в попытке проследить его подлинную, внутреннюю биографию, порой скрытую за анкетными данными или предвзятыми сторонними оценками.

Эта книга — не академическое жизнеописание. Скорее лирическая диссертация на тему «Фадеев и окрестности». А окрестности тут благодатные: во-первых, интереснейшие; во-вторых, недостаточно описанные и осмысленные. Незаурядные фигуры, удивительные исторические рифмы; просторные дальневосточные пейзажи и Гражданская война; грандиозное строительство на тихоокеанских рубежах и ожидание новой войны; Союз писателей, Сталин, репрессии, Великая Отечественная, XX съезд…

Родившийся под Тверью, Фадеев сформировался как человек

и писатель на Дальнем Востоке. Он навсегда остался дальневосточником. Эта территория для него — не просто декорации «Разгрома» или «Последнего из удэге». Это, выражаясь геологически, — его месторождение. Для понимания Фадеева следует понимать Дальний Восток. Важно знать контекст, из которого вырастал фадеевский текст. Вот почему я много говорю о дальневосточной жизни Фадеева и о Дальнем Востоке вообще. И здесь не обойдусь без личного — слишком близка мне тема, чтобы прикидываться бесстрастным.

Равно интересны и жизнь Фадеева, и его книги, и его смерть — нечастый случай. Жизнь многих писателей по сравнению с их творчеством выглядит скучно, тогда как жизнь Фадеева — остросюжетный роман с подпольно-партизанской завязкой и самоубийственной развязкой.

Писатель Александр Яшин вспоминал: «Мне кажется, что я любил Фадеева-человека даже больше, чем Фадеева-писателя… Бывает, что влюбишься в писателя по его произведениям, а потом познакомишься с ним лично, сблизишься — и пожалеешь, что познакомился. Иногда теряешь интерес даже к книгам своего недавнего кумира, настолько сложившееся представление об авторе не совпадает с тем, что ты увидишь и узнаешь. Ничего подобного не могло случиться в отношении к Александру Александровичу. Знакомясь с ним, люди влюблялись в Фадеева еще больше — в него самого и в его книги».

Положа руку на сердце я не могу назвать себя настоящим поклонником писателя Фадеева — разве что горячим ценителем «Разгрома» и еще некоторых его текстов, в том числе эпистолярных.

Не убежден, что обязательно читать всего Фадеева.

Но дело в том, что он интересен даже безотносительно своего неравноценного наследия — и изгибами биографии, и самой своей личностью. Интересен никак не меньше, чем герои его книг.

Фадеев — один из заметных людей своего времени. Не просто «ведущий советский писатель» — один из тех, кто формировал, программировал саму советскую реальность. Одно из воплощений «советской мечты» (правда, в его случае — перечеркнутой страшным концом). Здесь он, мальчик из Приморья, становится рядом с мальчиком со Смоленщины Гагариным, девочкой из Приморья Щетининой, алтайским юношей Шукшиным. Творец эпохи — и ее жертва. Герой. Интеллектуал. Незаурядный, яркий, крупнокалиберный человек.

Эту книгу я долго не решался начать — думал ограничиться

очерком «Фадеев и Дальний Восток».

Во-первых, тема казалась неподъемной — не хватит ни ума, ни образованности, ни сил и смелости осмыслить эпоху, доставшуюся Фадееву. Такую книгу можно писать всю жизнь — и то жизни не хватит.

Во-вторых, предстояло взяться за решение сразу нескольких задач — исторической, литературоведческой, биографической, публицистической и чисто литературной. И здесь я столкнулся с острой своей недостаточностью — интеллектуальной, методологической, информационной.

Был и чисто психологический барьер: не хотелось жить жизнью другого человека, жить прошлым. Но, начав, понял: пишу не только о прошлом — о настоящем. Не только о другом — о себе. И еще пришло четкое понимание собственного долга перед временем и пространством.

Погибший совсем не старым человеком, Фадеев успел прожить-пробежать несколько эпох: революция и Гражданская, двадцатые, тридцатые, война, начало «оттепели»… Копни — и погрузишься в живую (даже удивительно, насколько живую) плоть истории. Лицо обжигает жаром невероятных судеб, драматических невыдуманных сюжетов, страстей, которые вовсе не остыли, не стали далекими и чужими.

Фадеев выводит на целый ряд интереснейших тем; исторических, географических, культурологических, психологических пластов. Через Фадеева подключаешься к Эпохе, Литературе, Истории. Он стал для меня фигурой, помогающей осмыслить пространство (не только дальневосточное) и время (не только советское).

Первая часть книги называется «Булыга из Сандагоу» — я хотел назвать так всю книгу, но по правилам «ЖЗЛ» на обложке должна стоять фамилия героя. Булыга — партизанская кличка юного Фадеева. Сандагоу — старое название одного из сел Улахинской долины в нынешнем Чугуевском районе Приморья. В Чугуевке в 1910-х жили мать и отчим писателя, к ним ученик коммерческого училища Саша Фадеев приезжал из Владивостока на летние каникулы. Именно Чугуевка, которую писатель называл родным для себя селом, выведена в его дебютном «Разливе» под именем Сандагоу. Само же Сандагоу, расположенное чуть выше по реке, в 1972 году переименовали в Булыга-Фадеево.

В моем представлении «Сандагоу» — фадеевское Приморье, сочетающее в себе черты реального и художественного пространств. Фадеев сроднился с этими местами и фамилией своей, и судьбой. Юноша из Улахинской долины жил в нем до

самого конца. Возможно, это именно он, Булыга, потянул за спусковой крючок револьвера воскресным майским днем 1956-го…

Страшно такое говорить, но в каком-то смысле этот выстрел помог писателю Фадееву и его книгам. Он не дает напрочь забыть о Фадееве даже тем, кому он не близок ни как человек, ни как литератор.

Пришло время посмотреть на тексты и жизнь Александра Фадеева трезво. Не с ортодоксально-советской позиции, но и не с ограниченно-антисоветской.

Одна из моих задач, чего я совершенно не скрываю, и лучше сказать об этом сразу, — реабилитировать Фадеева как человека и писателя. Слишком много было прокуроров, причем несправедливых и предвзятых. Пора заслушать адвокатов. Фадеев — не ангел, но то, что он демонизирован, незаслуженно выкрашен в черно-красные цвета, — очевидно. Многих расстрелянных в годы репрессий реабилитировали — он, расстрелявший себя самостоятельно, без суда, в общественном сознании не реабилитирован до сих пор.

Меня могут спросить: а чем нам-то сегодня важен и интересен Фадеев? Он что, «актуален»?

Как ни странно — да.

Начав перечитывать этого писателя уже в XXI веке, я был не только впечатлен его книгами и потрясен его судьбой. Меня поразила и даже несколько испугала именно его актуальность. Которая, видимо, объясняется несомненной подключенностью Фадеева к силовым полям русских истории, литературы, жизни.

Странно называть его пророком — но я рискну это сделать. Спустя полвека с лишним после гибели Фадеева у его книг появились совершенно неожиданные новые смыслы. Я пытаюсь их оттуда извлекать, стучу о кремень, по-прежнему дающий искру. Пусть сам Фадеев не знал, что его тексты окажутся больше самих себя, — но в любом случае не нужно спешить сбрасывать писателя с атомохода современности. Фадеев — повод по-новому взглянуть и на наше настоящее, и на наше будущее.

Конечно, рассказ мой — не исчерпывающий. Тему Фадеева он ни в коем случае не закрывает — напротив. Полагаю, должны появиться новые публикации и книги, в которых будут исправлены невольно допущенные мною ошибки, учтены и восполнены пробелы.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
БУЛЫГА ИЗ САНДАГОУ

Знакомство в тюрьме

Александром Александровичем Фадеевым звали русского химика, генерала от артиллерии, занимавшегося взрывчатыми веществами. В 1841 году он впервые в России изготовил бездымный порох (потом эти его опыты продолжил Менделеев), в 1844-м изобрел способ безопасного хранения пороха. Изучал свойства пироксилина.

Химик-артиллерист прожил без малого 90 лет и умер в декабре 1898-го — за три года до рождения своего полного тезки, которому не хватило умения собственный порох хранить безопасно.

Они, конечно, никакие не родственники. Имя «Александр» широко распространено, а «Фадеев» соседствует с Дёминым и Игнатовым во второй сотне самых популярных русских фамилий.

13 мая 1895 года указом Николая II на вооружение русской армии был принят семизарядный револьвер «наган», разработанный несколькими годами ранее бельгийцами Эмилем и Леоном Наганами и специально модифицированный под русский «трехлинейный» калибр — 7,62 мм. Марка стала именем нарицательным — наганом потом нередко называли любой револьвер или даже пистолет.

Обрусевший бельгиец стал настоящим долгожителем. Уже в 1898 году производство наганов наладили в Туле, в СССР их выпускали до 1940-х годов включительно. Сконструированный для ближнего боя револьвер сделался командирским атрибутом, дуэльным инструментом, «оружием последнего выстрела», спасающим офицерскую честь.

Русские наганы звучали на войнах (начиная с подавления «боксерского восстания» в Китае в 1900 году) и на гражданке. Вплоть до 1980-х наганы, уцелевшие бог весть с каких времен, выдавали начальникам геологических партий, инкассаторам, вохровцам, инспекторам рыбоохраны. Даже сегодня наган нет-нет и мелькнет наряду со старым добрым ТТ в криминальных сводках. Наган — оружие не менее легендарное, чем винтовка Мосина, пулемет «максим» или автомат Калашникова. Он честно отслужил свой в буквальном смысле слова век, безотказно посылая пули в цель при помощи того самого бездымного пороха.

Спустя шесть лет после принятия нагана на русскую военную службу началась земная жизнь человека, который через неполные 55 лет добровольно оборвет ее выстрелом из револьвера этой системы.

Случится это по странному совпадению именно 13 мая, пусть уже другого — нового стиля.

«Все народы куда-то откуда-то пришли, кто-то кого-то победил…» — говорил Лев Гумилев, о пересечении судьбы которого с героем книги мы скажем в своем месте.

Об исконных землях и коренных народах можно говорить с известной долей относительности. Тем более относительно понятие коренного жителя в применении к большей части обитателей Дальнего Востока, история российского заселения которого еще очень коротка, если мы говорим о сколько-нибудь глубоком освоении — военном, хозяйственном, административном и культурном.

По праву считающийся (и сам себя считавший) дальневосточником писатель Александр Фадеев появился на свет в селе (с 1917 года — город) Кимры под Тверью. Эта точка более или менее случайна. Семья Фадеевых в те годы несколько раз переезжала с места на место. По отцовской линии у писателя уральские корни (на Урал он еще приедет, работая над «Черной металлургией» — своей недопетой лебединой песней).

Отец писателя Александр Иванович Фадеев — учитель и революционер — родился в 1862 году. Происходил он из крестьян села Покровка (Покровское) Покровской же волости Ирбитского уезда Пермской губернии[1]. Село это, как указывает историк Урала Михаил Елькин, основано в 1621 году. Основатель рода Фадеевых (иногда фамилия писалась как «Фаддеевы») — некто Фадей Ильин сын Ногин, приехавший в Покровское в 1668 году с братом Кипреяном и происходивший из государственных крестьян Утмановской волости Устюжского уезда (позже вошедшего в состав Архангельской, а затем Вологодской губернии).

Старшая сестра писателя Татьяна возводила революционные настроения отца к эпизоду из его детства, когда он в лаптях пришел поступать в пермскую гимназию, а его не взяли. Он сдал экстерном экзамен на звание сельского учителя, преподавал в селах, бурлачил. В ходе скитаний попал в Санкт-Петербург, где стал фельдшером и примкнул к народовольцам. В 1894 году, вероятно, встречался в марксистском кружке с Лениным. Естественно, имел проблемы с властями. По сведениям Ивана Жукова[2], отца писателя допрашивал подполковник Отдельного корпуса жандармов Митрофан Клыков, допрашивавший и Ленина.

Мать писателя Антонина Владимировна Кунц, родившаяся в 1873 году, происходила из обрусевших немцев и была дочерью астраханского «мелкого чиновника» — так, словно стесняясь,

писали советские литературоведы (а то вдруг кто упрекнет пролетарского писателя в «мажорском», как сказали бы сейчас, происхождении). В доскональной работе Михаила Елькина «Уральские корни писателя А. А. Фадеева» говорится, что Владимир Петрович Кунц был титулярным советником. Это чин действительно невысокий и даже ставший в известной степени анекдотичным (самые известные титулярные советники русской литературы — Башмачкин и Мармеладов; вспоминается и старинный романс «Он был титулярный советник, она — генеральская дочь…»). При всем том чин титулярного советника давал (с 1845 года) право на личное дворянство, соответствовал армейскому чину капитана пехоты и лейтенанта военного флота и предполагал обращение «ваше благородие».

Юная Антонина переехала в Петербург и поступила на Рождественские фельдшерские курсы. Сблизилась с социал-демократами. Потом Фадеев напишет, что мать всю жизнь была «тем беспартийным активом, который большевики имели в народе еще в условиях нелегальной борьбы». Около пятидесяти лет Антонина Фадеева отработала фельдшерицей и акушеркой — в городах, деревнях, рабочих районах. Вышла на пенсию в возрасте за семьдесят.

Александр и Антонина познакомились в тюрьме. Его «взяли» в 1894-м. Товарищи под видом невесты прислали на свидание Антонину, чтобы хоть таким образом поддерживать с арестантом связь. А вскоре мнимая невеста стала настоящей.

В январе 1896-го Фадееву вынесли приговор: пятилетняя ссылка в Шенкурск Архангельской губернии. Здесь в 1898 году Александр и Антонина поженились. В 1900 году у них родилась дочь Татьяна — старшая сестра писателя. Она до 1927 года будет работать на Дальнем Востоке «по линии женотделов», позже окончит в Москве Коммунистический политико-просветительный институт им. Крупской и устроится в аппарат ЦК «по линии агитации и пропаганды».

В начале 1901 года Александра Ивановича освободили. Семья переехала в Минскую губернию, потом в Кимры Тверской губернии, где 11 декабря (24 декабря по новому стилю) 1901 года появился на свет мальчик, названный Александром.

Вскоре семья перебралась в Курск, затем в Вильно, нынешний Вильнюс. В 1905 году здесь родился третий ребенок — Владимир, в будущем один из организаторов владивостокского комсомола[3].

Татьяна Фадеева вспоминала: основной кормилицей в семье была мать. Жили супруги не очень дружно. Между ними обнаружились политические разногласия: отец поддерживал

эсеров, мать — социал-демократов. Едва ли, впрочем, именно это стало главной причиной их разрыва. Сам Фадеев в 1948 году писал литературоведу Алексею Бушмину: «Расхождение их носило настолько личный характер, что вопрос этот лучше всего обойти». По словам сестры, отца Саша не помнил.

Как бы то ни было, уже в 1905-м Александр Фадеев-старший оставил семью и уехал на Урал. Учительствовал, занимался политикой. В 1906-м был снова арестован и сослан в Сибирь. Умер от туберкулеза в 1916 или 1917 году.

Там, где тигры крали телят

В Приморье Фадеев попал неполных семи лет. Этот край стал его настоящей родиной.

В 1907-м Антонина Фадеева снова вышла замуж. Ее второй муж, отчим писателя Глеб Свитыч, тоже был профессиональным революционером, социал-демократом. Антонина и Глеб занимались революционной работой — не только хранили нелегальную литературу, но даже переправляли оружие «для боевых дружин».

Отцом Глеба был известный народник, каторжанин, публицист польского происхождения Владислав Станиславович Свитыч (1853–1916), известный как «Иллич-Свитыч» или «Свитыч-Иллич». Ссыльная судьба забросила его во Владивосток задолго до переезда сюда семьи Свитычей-Фадеевых. В 1903 году он написал здесь повесть «Старый молитвенник» о судьбе участника Польского восстания 1863 года, прошедшего каторгу и умирающего в сибирской глуши. Брат Глеба Марк родился во время якутской ссылки отца и позже написал повесть «Враги» о Гражданской войне[4]. В свою очередь, его сын Владислав Маркович Иллич-Свитыч стал крупным советским лингвистом и трагически погиб на взлете карьеры — в 32 года. Это был пишущий, чуткий к языку род, что, конечно, могло повлиять и на склонности приемного сына Глеба Свитыча — Саши Фадеева.

«Помню Сашу в это время подвижным ребенком, с темно-русыми волосами, живыми светлыми глазами. С ранних лет у него была хорошая память. Ему не было еще и двух лет, а он уже заучивал небольшие стихи и читал их, по-детски не выговаривая некоторые звуки, — вспоминала Татьяна Фадеева. — Был он вспыльчив и в то же время добр, болезненно воспринимал страдания других людей… Грамоте Сашу никто, кажется, и не учил: он сам научился читать примерно в четырехлетнем возрасте, наблюдая за тем, как учили меня».

Глеб был на 12 лет моложе Антонины. Работал тоже фельдшером. Приемные дети привязались к молодому отчиму и запросто звали его «Глебушкой». Сыновья Антонины и Свитыча Борис и Глеб родились уже в Приморье, куда, пожив некоторое время в Уфе, Антонина перебралась по приглашению своей старшей сестры Марии Сибирцевой.

Во Владивосток Антонина и Глеб с тремя детьми приехали осенью 1908 года. Устроиться с ходу в городе не смогли — не было фельдшерских вакансий. Отправились в глубинку: жили то в Ольге на восточном побережье, то в Саровке Иманского уезда[5]

— это север Приморья, глухие таежные места. Причем Свитычу пришлось работать даже не в самой Саровке, а дальше — в деревне Котельничи. «Это были уже совсем дикие места: зимой тигры крали телят», — писал Фадеев. Можно понимать эту фразу как обыгрывание поговорки про Макара и телят, но в словах писателя нет никакой гиперболы. Даже сейчас тигры воруют собак с окраин приморских деревень.

У Саровки, в отличие от многих других населенных пунктов Приморья, — русское название, позволяющее сделать предположение о корнях ее основателей. Но интересно, что Арсеньев[6], побывавший в Саровке в первые годы XX века, называл ее «корейской деревней». Именно в Саровке Фадеев пошел в школу. А в 1947-м недалеко от Саровки упадет знаменитый Сихотэ-Алиньский метеорит, и соседнее село Бейцухе (это звучное название Фадеев использует в «Рождении Амгуньского полка») впоследствии переименуют в Метеоритное.

Семья какое-то время жила в Яковлевке (центральное Приморье), а с осени 1911 года — в Чугуевке, основанной всего восемью годами раньше. То есть семья Свитыча поселилась на новом месте в обоих смыслах этого слова.

Приморье до революции особенно активно заселялось украинцами, прозвавшими эти места «Зеленым Клином». К Украине отсылает и само название «Чугуевка» — а еще в Приморье есть Киевка, Полтавка, Черниговка…

В Чугуевке Антонина Фадеева проживет до 1919 года, потом переберется во Владивосток. Глебу Свитычу пришлось оставить Чугуевку раньше. Он не вернется с Первой мировой — умрет на фронте от тифа.

Фадеев называл Чугуевку «родным селом», но здесь присутствует натяжка. Еще в 1910 году он поступил во Владивостокское коммерческое училище (ВКУ) и в Чугуевку приезжал только на летние каникулы. Это надо подчеркнуть, поскольку даже в серьезных источниках нередко пишут, что детство свое писатель провел в Чугуевке, хотя это верно лишь отчасти. С другой стороны, своего дома во Владивостоке у него не было, и таковым он мог считать родительский дом в Чугуевке. Именно там Фадеев научился косить, жать, вязать снопы, запрягать лошадь, ездить верхом…

Это сейчас Чугуевка — районный центр, в котором живет 12 тысяч человек (или даже восемнадцать, если считать с окрестными селами, входящими в границы поселения). Тогда она была небольшим селом, только что получившим статус волостного. Сегодня 300 километров, отделяющих Чугуевку от Владивостока, можно проехать за несколько часов — раньше

дорога занимала дни. Административное возвышение Чугуевки прямо связано с Фадеевым, который до конца жизни шефствовал над селом.

Свитыч и Фадеева работали на фельдшерском пункте. По данным научного сотрудника Литературно-мемориального музея Фадеева в Чугуевке Светланы Рыбальченко, семья жила в доме одного из первопоселенцев Чугуевки — Бориса Несторовича Куземченко. Дом делился на три части: в одной жил сам Куземченко, в другой Фадеевы, в третьей был устроен фельдшерский пункт. Еще у Фадеевых имелся огород, а на нем — маленький деревянный домик, где хранился сельхозинвентарь. Именно в этом «летнем домике» жил на каникулах Саша Фадеев.

Дом Куземченко, стоявший на углу нынешних улицы 50 лет Октября и Почтового переулка, не дожил до наших дней: сначала на его месте появилась почта, теперь это место ограждено забором, за которым расположены сельскохозяйственное ПТУ и стоянка училищной техники. А вот летний домик Фадеевых по адресу: улица 50 лет Октября, 124, сохранился. Вскоре после гибели писателя чугуевские земляки — это была именно инициатива снизу — решили создать его музей. По словам руководителя музея Людмилы Бадюк, старые большевики и партизаны обратились в крайисполком, подключился и дальневосточный писатель Павел Сычев. Было решено устроить музей в летнем домике, который для этой цели выкупили у новых хозяев. Но он оказался настолько ветхим, что его не стали ремонтировать, а снесли и восстановили заново. Так что это новодел — но максимально приближенный обликом к оригиналу. Именно здесь около двадцати лет находился музей Фадеева, причем с 1960 по 1967 год он работал на общественных началах, без финансирования. Вдова Фадеева Ангелина Степанова прислала в Чугуевку целый чемодан вещей писателя — рукописи, шляпу, кашне, платок, карандаши, ручки, очки, даже помазок для бритья…

В 1981 году к восьмидесятилетию со дня рождения Фадеева музей переехал в новое, большое, специально построенное здание по той же центральной улице 50 лет Октября. Сегодня летний домик стоит запертый и пустой. За ним — река Уссури (та ее часть, которую раньше называли Улахе). Напротив — Чугуевское городище[7]. Неподалеку — дом Неретиных из повести Фадеева «Разлив».

В сегодняшней Чугуевке есть и школа имени Фадеева, а в ней — организация «Фадеевец» (вроде пионерской, только галстуки синие). «Наша школа открыта в 1939 году по инициативе Александра Александровича. Новое здание школы построено в

1988 году. У нас по-прежнему проходят „Разгром“, „Молодую гвардию“, „Последнего из удэге“, хотя из общей школьной программы Фадеева убрали», — рассказала директор школы Эльвира Кушнерик.

Начало Фадеева — именно здесь, в Приморье: на улицах старого Владивостока, на побережье Японского моря, в таежных сопках и распадках. Все, что он потом передумает, прочувствует, напишет, уходит корнями сюда. Здесь проходило его взросление. Здесь он встретил свою первую, безответную любовь, которая неожиданно вспыхнет вновь за несколько лет до смерти писателя. Здесь он узнает, что такое верность и предательство. Переживет первые смерти близких.

Одна из драм Фадеева — его постоянное и безуспешное стремление вернуться на Дальний Восток. Чувство его к этим местам до конца жизни оставалось сильным и трепетным. Он так и остался приморским мальчиком Сашей, замаскированным под большого советского писателя и чиновника Фадеева.

«Поэты родятся в провинции, в столице поэты умирают», — напишет позже и по другому поводу сибиряк Александр Вампилов.

Мальчик с большими ушами

Это старое здание в центре Владивостока по улице Суханова, 8, из желтовато-серого кирпича, построенное по проекту архитектора Сергея Венсана и напоминающее старинный замок, — само окаменевший сюжет. В нем сначала располагалось Владивостокское коммерческое училище, затем — индустриальный техникум и рабфак, с 1932 года — университет. В 1939 году, после того как многие профессора и топ-менеджеры вуза были репрессированы, Дальневосточный государственный университет расформировали. В здание — что называется, с особым цинизмом — вселилось краевое управление НКВД. Между ним и крайкомом ВКП(б), располагавшимся неподалеку — на Светланской, 47, — вырыли подземелье. При необходимости первые лица края должны были уходить в недра Почтовой (Алексеевской) сопки, где появились запасной пункт управления, бомбоубежище и система эвакуации. В 1956-м университет восстановили, здание ему вернули.

Поначалу здание доминировало, выделялось, окруженное одно- и двухэтажными скромными домиками. Улица Суханова тогда называлась Нагорной — впрочем, имя Нагорной во Владивостоке может носить почти любая улица. Дом Сухановых, в честь одного из которых — Константина — переименовали улицу, стоит здесь же, в двух шагах от училища (Александр Суханов был крупным приморским чиновником, а его сын Константин возглавил Владивостокский совет, что и спасло дом от сноса). И рядом же, на бывшей Полтавской (теперь улица Лазо[8]), — здание следственной комиссии, где в 1920 году японцы схватили большевиков Лазо, Луцкого и Вс. Сибирцева. Это старый Владивосток, в нем вообще почти всё близко.

В 1990-х я ходил в бывшее здание коммерческого училища за стипендией для нашей группы журфака ДВГУ. Времена были веселые, и один-два однокурсника иногда шли со мной — инкассаторами. Тогда в университете ходили рассказы о россыпях гильз и чуть ли не костях, найденных в подвале. Скорее всего, это легенды: пик репрессий пришелся на годы, когда НКВД здесь еще не квартировал, да и, наверное, просто нерационально расстреливать людей в центре города. Есть свидетельства о простреленных черепах, обнаруженных при прокладке к саммиту АТЭС-2012 дороги Седанка — Патрокл — и вот это как раз неудивительно: район находки даже сейчас — городская периферия.

Сегодня на здании две мемориальные доски: Фадеева и

Билименко-Судакова — его друга и однокашника, выдающегося авиаинженера. Когда-то они вместе носили униформу коммерческого училища и Меркурия — покровителя торговцев и воров — на зеленых фуражках.

Фадеев поступил в ВКУ осенью 1910 года[9]. Это был год пятидесятилетия города, когда вышла первая его летопись — «Краткий исторический очерк…» Николая Матвеева-Амурского, основателя целой литературной династии, к которой принадлежат Венедикт Март, Иван Елагин, Новелла Матвеева. Владивосток к тому времени был уже развитым городом, главным тихоокеанским портом России. Ни маньчжурский Дальний, отошедший с Порт-Артуром к Японии, ни Николаевск-на-Амуре уже не считались его конкурентами. Владивосток был живым, бодрым городом — полуевропейским, полуазиатским. «Дивный тупик Руси» — говоря словами упомянутого Елагина.

Фадеевских адресов во Владивостоке — целая россыпь. Первые годы он живет у Сибирцевых на Комаровской (впоследствии — Шевченко, Бородинская, Геологов, ныне — улица Прапорщика Комарова). «Среди ребят, игравших на нашем дворе, был мальчик среднего роста, худощавый, с оттопыренными ушами, часто и весело смеявшийся. Звали его — Саша Фадеев. Он жил на Комаровской улице с сестрой Таней. Его родители жили в это время в селе Чугуевке», — вспоминала Тамара Головнина[10].

Потом жил на Суйфунской (Уборевича), Нагорной (Суханова), Китайской (Океанский проспект), на Петра Великого, в Маркеловском (Краснознаменном) переулке, на Последней (Уткинской), в общежитии коммерческого училища, в казарме Сибирского флотского экипажа, куда переехала прогимназия Сибирцевых… Фадеев — человек очень владивостокский; проникшийся городом и всегда вспоминавший о нем уважительно, внимательно и трепетно.

Заведение со скучным названием «коммерческое училище» оказалось необычным. Во-первых, оно было негосударственным (содержалось на средства попечительского совета биржевого общества) и отличалось демократизмом — во многом благодаря директору Евгению Луценко. Во-вторых, преподавали там не только торговые науки. Фадеев, например, проявил способности к изучению японского языка[11]. После обязательных занятий шла работа в кружках, делались доклады, устраивались литературные вечера, спектакли. Преподаватель географии Глуздовский проводил экскурсии по краю — целые учебные экспедиции.

Преподаватель литературы Степан Пашковский вспоминал:

«Для своего времени оно (училище. — *В. А.)* было некоторым оазисом среди пустыни „казенных“ гимназий и других „казенных“ учебных заведений. Широта программы, отсутствие надзора со стороны попечителей округа, либерализм кадетствующего директора Луценко позволяли широко раздвигать рамки школьного преподавания… Общая атмосфера в коммерческом училище дышала свободой и основывалась на содружестве учителя и ученика. Нужно было видеть, как во время большой перемены на катке во дворе училища школьники в паре с учителем и даже с директором мчались по зеркальной поверхности хорошо содержавшегося катка. Коммерческие училища привлекали к себе многих передовых учителей, стремившихся к обновлению школьного преподавания».

Есть фото Пашковского тех лет — молодой, какого-то неформального вида: ежик, полоска бороды, усики… Он обратил внимание на Сашу во время подготовки к вечеру по русскому фольклору: «Его работы, классные и домашние, по литературе были оригинальны по замыслу, обстоятельны со стороны содержания, со стремлением глубоко развернуть тему. Словесные средства мальчика не были особенно богаты, но яркие краски изумляли. Красочность, правдивость, задушевность — вот те качества, которыми отличались письменные работы Фадеева. Его письменная работа на тему „Сон Обломова как образец художественного повествования“ была отмечена как выдающаяся». Сам Фадеев признавал, что своим писательским успехом «бесконечно обязан» Пашковскому[12].

Сохранились не только воспоминания педагога, но и записи, сделанные непосредственно в годы учебы Фадеева. Из черновика Пашковского к педагогическому отчету о классе, где учился Фадеев: «Класс живой, разнохарактерный по интересам и проявлениям. В классе большой интерес к спорту, процветает конькобежный спорт; самыми азартными спортсменами являются Нерезов, Цой, Ким. Склонность к литературе проявляется у Фадеева, Гартмана, Бородкина. Иванов пытается сочинять стихи, но у него они получаются крайне неуклюжими. Большой интерес к проблемам отвлеченным, к философии проявляет китаец Ся Дун-ху. Он имеет дополнительные (к классным) занятия с Сяньшином, преподающим китайский язык и религию (буддизм)… Ярко выделяются по характерам: Цой — кореец, сообразительный, быстрый в движениях, прекрасный хоккеист, сильный физически, гибкий, как лиана. Способен к математике, мало интереса проявляет к поэзии и искусству. Нерезов физически крепкий, коренастый, с румянцем во всю щеку, хитроватый, с резкими движениями; пишет довольно нескладные сочинения (его язык

беден), но проявляет способности к точным наукам».

А вот и Фадеев: «Хрупкая фигурка не сложившегося еще мальчика. Рядом с Цоем, Ивановым, Нерезовым это хрупкий хрустальный сосуд. Бледный, со светлыми льняными волосиками, этот мальчик трогательно нежен. Он живет какою-то внутренней жизнью. Жадно и внимательно слушает каждое слово преподавателя. Временами какая-то тень-складка ложится между бровями, и лицо делается суровым… Мальчик не смущается тем, что одет беднее других[13]: он держится гордо и независимо…»

Вот он, тот Фадеев, который потом прятался за начальственным обликом, но никуда не исчезал.

Пашковский отмечал такие черты Фадеева, как «чувство дружбы, товарищества, сознание долга». Вспоминал, как ученики отправились с многодневной экскурсией на Сучан[14]: «Проверили состав экскурсантов. Оказалось — недоставало Гартмана. Тревога охватила всех. Фадеев, зная местность, предложил возглавить группу по розыску отставшего товарища. Вооружившись факелами, группа смельчаков направилась в дебри леса. Только далеко за полночь храбрецы вернулись с Гартманом. В этом поступке Фадеева был проявлен подлинный героизм».

Первое впечатление Зои Секретаревой[15], познакомившейся с Фадеевым летом 1915 года, перекликается с описанием Пашковского: «Худенький мальчоночек, на вид лет двенадцати, не больше, с худенькой шеей, веснушчатым загорелым лицом и большими ушами, выделявшимися на гладко остриженной голове».

К старшим классам Фадеев сильно изменился внешне. Секретарева вспоминала, что к 1917 году от «серенького мышонка с ушами на макушке» не осталось и следа: «Это был еще хотя и худощавый, с узкими плечами, но стройный, высокий юноша… Серые глаза его глядели вдумчиво, и все выражение лица придавало ему не по возрасту серьезный вид взрослого человека».

Моисей Губельман, известный революционер и большевик, долго работавший на Дальнем Востоке[16] (в подполье был известен как «дядя Володя» или «Володя-большой»), познакомился с Фадеевым в 1917 году: «Он был среднего роста, весь подтянутый, стройный, с открытой шеей, большой головой; его вихрастые волосы были непослушны, он старался пригладить их руками, но они не поддавались и разбрасывались в разные стороны».

Фадеев еще в Саровке, совсем маленьким, выдумывал охотничьи истории и сказки. В десять лет сочинил фантастические стихи:

Ильюша спать лег очень рано
И потому заснуть не мог.
Вдруг видит: лезет из кармана
Какой-то маленький урод…

Придумывал приключенческую повесть о мальчиках, убежавших в Америку, — что-то вроде пародии на «индейскую» литературу. Она была опубликована в «Вестнике учащихся» коммерческого училища и называлась «Апачи и кумачи». В роли враждующих индейских племен выступали реакционные педагоги и прогрессивные воспитанники.

Во время учебы был автором и редактором ученических рукописных изданий. Набрасывал повесть «Зимний лагерь» о приключениях скаутов в Канаде, очерк «В Улахинской долине» о наводнении (тема, развитая позже в «Разливе»), рассказ «К свету». Обладал хорошим слухом, знал на память многие арии, любил петь характерным высоким голосом, любил театр[17]. Сам играл в ученических спектаклях, хорошо рисовал с натуры. «В нашей семье не предполагали, что Саша станет известным писателем, — вспоминала сестра Татьяна. — Думали, что он будет художником…»

Компания юношей из ВКУ и девушек-гимназисток собиралась на Набережной в доме Лии Ланковской[18]. Рисовали закаты на Амурском заливе[19] (вот подлинное владивостокское сокровище!), пели, читали стихи… В доме Ланковских Фадеев виделся с Асей (Александрой Филипповной) Колесниковой — своей первой любовью. В 1950 году в письме к ней он вспомнит все до мелочей: «Был сильный ветер, на Амурском заливе штормило, а мы почему-то всей нашей компанией пошли гулять. Мы гуляли по самой кромке берега, под скалами, там же, под Набережной, шли куда-то в сторону к морю, от купальни Камнацкого…»

Познакомились они еще на Комаровской (жили в одном дворе), но теперь, зимой 1915/16 года, когда гимназистка Ася жила отдельно от мамы в семье доктора Ланковского — революционера, покинувшего Россию в 1905 году, — Саша посмотрел на эту девочку другими глазами.

Он стеснялся выказывать свои чувства.

«Нам в голову не приходило, что он влюблен в Асю. Наоборот, мы думали, что он избегает девушек из-за антипатии к женскому полу, — вспоминал однокашник Фадеева Яков Голомбик. — Думаю, не знала об этом и сама Ася. В нашей компании Фадеев держал себя как отъявленный

женоненавистник, и никто из нас не мог предположить, что он способен влюбиться. Всех „стрелявших“ за гимназистками он остроумно высмеивал. О том, что это — маска, что он так ведет себя из-за неуверенности в себе, считая, что ни одна девушка не может его полюбить, мы и не подозревали».

Сам Фадеев, впрочем, в 1949 году писал Асе: «Все мои друзья знали, что я влюблен в Вас». А дальневосточный прозаик Юрий Лясота в повести «Братья Сибирцевы» (1975) даже изобразил, как юный Саша гуляет с Асей и целует ее, хотя ничего подобного не было.

Из письма Фадеева Колесниковой: «Мы с Вами, как однолетки, развивались неравномерно. Вы были уже, в сущности, девушка, а я еще мальчик. И, конечно, Вам трудно было увлечься этим тогда еще не вышедшим ростом и без всякого намека на усы умненьким мальчиком с большими ушами. Но если бы Вы знали, какие страсти бушевали в моей душе!»

Позже компания распалась. Скорее всего, потому, что парни увлеклись политикой, работали в подполье, а Лию, Асю и их подружек в эти свои дела не посвящали. Новыми подругами мальчиков стали другие девушки — подпольщицы. А потом многие из парней ушли в партизаны.

С Фадеевым Ася встретится только в 1950 году: «Он раздался в плечах, шея стала по-мужски крепкой, и, вопреки законам природы, он с годами похорошел лицом. Вот только поседел наш Саша. Ой как поседел! Голова совсем как снег».

Коммуна соколят

Во Владивостоке у Фадеева появились настоящие друзья.

Это были, во-первых, его двоюродные братья Всеволод и Игорь — революционеры, как и их мать, тетя Фадеева Мария Сибирцева. Во-вторых — товарищи по училищу.

Влияние Сибирцевых на Фадеева (он особенно сдружился с младшим — Игорем) трудно переоценить. Кузены были никак не менее важными людьми для юного Фадеева, чем мать и отчим. Может быть, даже более важными, потому что в этом возрасте авторитет братьев может быть выше родительского.

Всеволод (1893–1920), поэт и философ, еще в гимназии прославился тем, что не встал на колени, когда пели «вечную память» Столыпину (по другой версии — на поминовении Александра III). Нескольких гимназистов, поступивших так же, исключили, но Мария Сибирцева добилась приема у приамурского генерал-губернатора Николая Гондатти, и Всеволоду дали окончить гимназию. В столице он окончил военное училище, получил чин прапорщика, но на войну попасть не успел.

Игорь (1898–1921), отличный футболист и хоккеист, поступил в Михайловское артиллерийское училище в Петрограде. «Как дворянин был принят», — пишет Фадеев. Он, словно пытаясь оправдать брата за попытку сделать офицерскую карьеру, называет Игоря «аполитичным», но не скрывает, что тот «как юнкер участвовал в защите Зимнего дворца против красных в Октябрьские дни… Тогда всех защитников Зимнего, которых взяли в плен, отпустили». По воспоминаниям Фадеева, «аполитичный» Игорь, вернувшись домой и серьезно поговорив с Всеволодом, промучился ночь и, задавив сотого клопа, «убил в себе контрреволюционера» (значит, было кого убивать?). Согласно более гладкой версии Секретаревой, среди защитников Зимнего Игорь очутился поневоле: «Убежденный сторонник советской власти, он оказался в юнкерской форме в стане ее врагов». Рассказывают также, что он при штурме Зимнего будто бы забился в какой-то закуток, прячась и от своих товарищей-юнкеров, и от красногвардейцев. А Юрий Лясота в упомянутой книжке «Братья Сибирцевы» предложил наиболее приемлемую в советское время версию: юнкер Игорь в день штурма Зимнего прямо на Дворцовой площади переходит на сторону революционных матросов[20].

В Гражданскую одни занимали свое место на баррикадах по убеждениям, другие — по стечению самых разных обстоятельств,

и здесь пример Игоря Сибирцева очень показателен (как и пример сына В. К. Арсеньева, Владимира Арсеньева-младшего, успевшего повоевать и у Колчака, и у красных). Но вот у Фадеева никаких метаний или сомнений не было — он занял свое место в строю сразу и на всю жизнь. Тем же Арсеньевым пришлось выбирать — у Фадеева, кажется, вопроса выбора вообще не было.

«Как работник крупнее был Всеволод… Игорь не успел как следует развернуться. Но оба были очень незаурядные люди, люди волевые, бесстрашные, очень преданные. На меня лично они оба оказали решающее влияние, — на мое большевистское оформление», — вспоминал Фадеев. В 1951-м он возражал литературоведу и историку Б. Беляеву, преувеличившему роль писателя в революционной работе. Сибирцевы, писал Фадеев, уже тогда были выдающимися руководящими работниками — а сам он не был: «Таких, как Сибирцевы, были тогда только единицы, таких, как я, были тысячи».

Незаурядным человеком была и мать Всеволода и Игоря — Мария Владимировна Сибирцева (1867–1923), родная сестра мамы Фадеева. На взгляды Марии и Антонины в свое время повлиял ссыльный писатель Николай Чернышевский, в 1883 году перебравшийся из Якутии в Астрахань, где жили сестры. Тогда Мария Кунц решила идти по стопам героя «Что делать?» Рахметова. Замуж вышла за Михаила Сибирцева — народовольца, внука одного из декабристов.

Во Владивостоке Мария Владимировна работала в Обществе народных чтений, организовывала Общество помощи учащимся. Открыла частную прогимназию. Осенью 1921 года, при власти Меркуловых, попала под арест, была освобождена в октябре 1922-го, когда во Владивосток вступила армия Дальневосточной республики. Работала в женотделе Приморского губкома РКП(б). В 1923 году, перед смертью, вступила в партию[21]. «Весь Владивосток знал ее маленькую сухую фигуру в стареньком вытертом пальто…» — писала газета «Красное знамя» после смерти Сибирцевой. «Кто не знал эту женщину, небольшого роста, худенькую, но энергичную, всю сотканную из нервов, с полными жизни, добрыми глазами…» — говорил Сибирцеву Вячеслав Элеш, работавший при штабе Лазо. Фадеев так описывал Марию Сибирцеву: «Это была интересная по тому времени учительница… У нее ученик гимназии мог просить закурить, она давала». Братья Сибирцевы, по его же словам, «росли совершенно беспризорными… Если не хотят идти в гимназию — могли не идти, если хотят воровать — могут воровать… Они пользовались совершенно полной свободой». С фотографии, однако, на нас смотрит женщина жесткая — суровый прямой взгляд, уголки

сжатых губ опущены книзу…

Ее муж Михаил Яковлевич Сибирцев работал податным инспектором, но потом должности лишился — по Фадееву, из-за того, что «был очень честен и либерал». Пошел в гимназию (был кандидатом естественных наук). В свободное время руководил любительским драмкружком в «Народном доме имени Пушкина» по улице Володарского (ранее — Невельского)[22].

Всеволод Сибирцев дружил с Константином Сухановым — сыном старшего советника Приморского областного управления Александра Суханова, поощрявшегося Николаем II за безупречную службу. Впоследствии именно «Костя» Суханов возглавит исполком Владивостокского Совета рабочих и солдатских депутатов, а Всеволод станет секретарем Совета. Интересно, что Суханов-старший, будучи убежденным монархистом (позже он по понятным причинам поссорился с сыном), не был чужд демократизма. Так, еще в 1898 году он помог Михаилу Сибирцеву открыть «Восточный вестник» — газету «передового направления», заслужившую высокую оценку писателя Гарина-Михайловского[23]. А позже помогал Марии Сибирцевой получить разрешение на открытие частной мужской прогимназии для малообеспеченных детей.

Оба брата Сибирцевых трагически погибли.

Всеволода в апреле 1920 года схватили японцы вместе с Лазо и Луцким, и все трое были казнены.

В декабре 1921 года в бою под Хабаровском был ранен в ноги комиссар 2-й стрелковой бригады Народно-революционной армии Дальневосточной республики Игорь Сибирцев. По одной версии, он просил оставить его, но красноармейцы отказались, и тогда он застрелился. По другой — Игорь, оставшись один на картофельном поле, отстреливался, убил белого офицера и последнюю пулю пустил в себя…

В коммерческом училище у Фадеева появились друзья не менее близкие.

Их компанию прозвали «соколятами» — по спортклубу общества «Сокол» на Корабельной набережной[24], куда ходили Фадеев и его однокашники. Хотя Головнина считает, что ребят именовали соколятами по причине их «революционности, пылкости и стремительности».

Ядром соколят были Саша Фадеев, Гриша Билименко, Петя Нерезов, Саня Бородкин. Эти четверо называли себя «мушкетерами», причем д’Артаньяном был Фадеев — самый юный, самый горячий и пошедший дальше всех. В разное время то входили в компанию, то отдалялись от нее Цой, Дольников,

Гринштейн, Голомбик, Хомяков, Вейс, Заделенов, Фельдгер…

Происхождение соколят было разным. Яков Голомбик вспоминал: «Рабочий класс — Нерезов, крестьянство — Билименко, трудовая интеллигенция — Фадеев, административно-чиновничья прослойка — Хомяков, мелкая буржуазия — Дольников, средняя — Бородкин, крупная — Цой[25]. О себе я бы сказал, что происходил из семьи буржуазной интеллигенции».

Голомбик приводит и такую любопытную деталь: «Саша Фадеев проводил кампанию против антисемитизма. Сообщал, что у него 17 процентов еврейской крови, а так как мать его была обрусевшей немкой, то, по его мнению, русской крови в нем оставалось совсем мало. Думаю, что Фадеев это делал для того, чтобы коммунары „угнетенной“ национальности не чувствовали себя неравноценными членами коммуны. То, что мама у него была немкой, все знали, отец, судя по фотографиям, был настоящий бородатый „русак“. Откуда же у него могла взяться еврейская кровь?»

Владивосток той поры был подлинно многонациональным городом. Китайцы, корейцы и японцы составляли значительную долю населения. Вот каким увидел Владивосток в 1914 году Степан Пашковский: «Разноязычная толпа, суетящаяся на улицах: китайцы с коромыслами на плечах, цепочка корейцев в белых балахонах, индусы с черными бородами, подвязанными сеткой, важно охраняющие входы в общественные здания. Улица Светланская пестрит нарядами; звучит английская, китайская, корейская речь. Город предприимчивых негоциантов, иностранных агентов, искателей приключений». С упомянутым Павлом Цоем, владевшим корейским, Зоя Секретарева подрабатывала на переписи населения Корейской слободки Владивостока. Там, на улице Сеульской, в 1914 году родился дед музыканта Виктора Цоя — Цой Сын Дюн, по-русски Максим Петрович.

К 1917 году друзья уже считали себя «коммуной»[26]. «Мы презирали деньги, собственность. Кошелек у нас был общий. Мы менялись одеждами, когда возникала к тому потребность. Как мы были счастливы!» — вспоминал Фадеев. Позже Константин Суханов, возглавивший Совет, выделил под коммуну бывшую казарму на Первой Речке.

У знакомых девушек была своя коммуна под названием «Светланка, 99». Здесь были Тамара Головнина, Зоя Секретарева («Зоя Большая»), Зоя Станкова («Зоя Маленькая»[27]), Татьяна Цивилева… Обе коммуны позже занялись подпольной работой.

Коммуны для тогдашнего студенчества были не просто

«трендом», но способом существования. Для этих парней и девушек коммунизм был не абстрактной идеей, а жизненной практикой. Они начинали жить по-коммунистически и верили, что вскоре так будет жить все общество. Наивно; но не могут не впечатлять само их стремление к совершенному мироустройству, идеализм, бессребреничество.

Многие иллюзии потом были разрушены — жестко или даже жестоко.

Судьбы соколят сложатся по-разному.

Бородкин погибнет в 1921 году в бою под Хабаровском.

Хомяков покончит с собой.

Блестящая карьера коммунара Григория Билименко (позже он жил под своим партизанским именем — Георгий Судаков) оборвется в декабре 1937 года на подмосковном расстрельном полигоне с подобающим названием «Коммунарка»[28]. Билименко был ближайшим другом Фадеева. После Гражданской он работал инженером-конструктором, стал первым ректором Московского авиационного института. Последняя должность — начальник производства Авиационного моторостроительного завода № 24 им. Фрунзе[29].

Погибнет и Петр Нерезов. Партизанские командиры отмечали его «хладнокровие и спокойную рассудительность». Фадеев утверждал, что в первые месяцы войны в приморских сопках «мушкетеры» уцелели именно благодаря личным качествам Нерезова (он был прототипом Петра Суркова в «Последнем из удэге»). В 1931-м Нерезов стал секретарем Тарусского райкома ВКП(б). Запомнился как отличный руководитель, принципиальный человек. В 1937-м в «Правде» вышла статья «Разговор по душам» о заслугах Нерезова, сумевшего поднять отсталый район. Но в том же году Нерезова по доносу исключили из партии, сняли с работы, а в 1938 году расстреляли. Посмертно реабилитирован, его именем названа одна из улиц Тарусы.

Вероятно, расстреляли и Павла Цоя (имел прозвище «Скандалевский»), дослужившегося до начальника артиллерии линкора «Марат» Балтийского флота.

Исаак Дольников погиб в 1941 году на Ленинградском фронте.

Яков Голомбик — после головокружительного путешествия с Дальнего Востока в Москву через Китай, Индию, Турцию — стал главным металлургом Горьковского автозавода. Повышал квалификацию в Америке, из-за чего потом и оттрубил 14 лет в лагерях и ссылке за «шпионаж». Анатолий Тайнов был крупным работником Министерства лесной промышленности.

Какая сильная компания не просто состоявшихся — выдающихся людей! Притом из далекой провинции. И — какой высокий процент смертности от неестественных причин.

У Фадеева уже на Гражданской погибли оба двоюродных брата. В период репрессий были расстреляны несколько соучеников и друзей. Младший брат Владимир умер до войны, отец и отчим «безвременно» скончались от болезней, единоутробный брат Борис Свитыч, офицер РККА, погиб в 1942 году в Крыму, другой брат Глеб умер еще в детстве от дизентерии…

Фадеев выглядит счастливчиком, которому было дано жить за всех остальных. Он сделал отличную карьеру, пережил самые опасные времена и тут, словно больше не надеясь погибнуть по той или иной внешней причине, приговорил себя сам. Скорректировал свою судьбу, приведя ее к гибельному варианту, много раз бывшему столь вероятным.

Последним коммунаром суждено было стать Голомбику, скончавшемуся в 1974 году. «Никому из членов коммуны не выпал легкий удел, — писал он. — Наша жизнь прошла в труде и борьбе, никто из нас ни одного дня не жил бесполезно».

С браунингом и банкой варенья

Путь Фадеева в партизаны и комиссары начался с работы в большевистском подполье Владивостока — далеко не всегда безобидной.

После «белочешского переворота» летом 1918 года наиболее заметные большевики Владивостока (почти весь состав исполкома Совета во главе с Сухановым) были арестованы. Уцелела небольшая группа — Птицын, Зоя Станкова, Зоя Секретарева, доктор Сенкевич, Раев, Меркулов, Таня Цивилева, Ершов, Климов, Дольников, Игорь Сибирцев… Они ушли в подполье, занявшись организацией рабочего Красного Креста.

Реальные задачи Красного Креста были шире официальных. Организация искала средства для помощи заключенным и их семьям, снабжала продуктами и даже оружием партизанские отряды, содействовала побегам политзаключенных, печатала фальшивые документы. Петр Никифоров[30] вспоминал: «Красному Кресту было поручено, кроме обеспечения постоянной связи с тюрьмой и лагерями, доставать медикаменты, обувь, одежду, оружие и организовывать нелегальные склады, снабжать всем необходимым отряды рабочих, уходящих на фронт».

Красный Крест был своего рода школой подпольной работы для молодых. Следующими этапами становились партия и партизанское движение.

Когда в 1918 году Фадеев вернулся из Чугуевки во Владивосток к очередному учебному году, Всеволод Сибирцев сидел с Сухановым в чешском лагере, а Игорь работал в подполье. Фадеев остановился у Сибирцевых, которые тогда жили уже в одной из казарм Сибирского флотского экипажа, и сразу примкнул к подполью, где к тому времени работал «коммунар» Ися Дольников. Через Фадеева туда же попали Бородкин, Билименко, Нерезов.

В сентябре 1918 года Фадеев вступает в партию большевиков. Произошло это в той же казарме № 8 флотского экипажа. Саша волновался, Зоя Секретарева вспоминала его «тоненькую, совсем еще ребячью шею» — ему не было и семнадцати. Но коммунара все знали, в партию приняли сразу, без кандидатства.

В этот период Фадеев распространяет листовки, пишет в газету «Красное знамя»[31], выполняет другие задания. Из воспоминаний Татьяны Цивилевой: «Функции Красного Креста расширялись с каждым днем. Надо было почти ежедневно переносить большие тюки с продовольствием и одеждой в концлагерь для наших товарищей, что и делали ребята, в том

числе и Саша Фадеев. Далее задачи… углублялись: помощь бежавшим из лагеря, устройство их на квартиры, обеспечение документами, одеждой, отправка в партизанские отряды; доставка в лагерь и тюрьму информации заключенным товарищам и обратно от них в подпольную парторганизацию».

Одним из необычных заданий стала охрана от бродячих собак 15 тысяч пельменей, налепленных женщинами Красного Креста для заключенных под новый, 1919 год и вынесенных на фанере для замораживания прямо на Алеутскую улицу.

Людмила Красавина (она же Настя Нешитова) вспоминала: «Мы с Сашей из Владивостока отвозили на подводе под матрацами оружие для партизанского отряда… Чтобы не слышать острой тревоги внутри нас, мы громко пели… Я была и сама не робкого десятка, но Саша удивил меня своей выдержкой. Раньше я думала, что гимназисты и интеллигенты вообще не могут быть сильными и бесстрашными, такими, как наши рабочие парни, но Саша разубедил меня в этом своей храбростью».

В другой раз вместе с Настей Саша пошел в чешский концлагерь, чтобы передать записку арестантам-большевикам. Записку спрятали в банку с вареньем. «По дороге в лагерь мы с Сашей строили планы нашего поведения в случае отказа принять варенье. Варианты плана я уже забыла, но отчетливо помню, что мы готовы были выполнить самый фантастический из них: браунингом, который был у Саши, и банкой варенья, которой была вооружена я, перебить охрану лагеря и освободить наших узников, — вспоминала Красавина. — Юным горячим сердцам невозможное казалось возможным. Однако чех не дал осуществиться нашему страстному желанию освободить товарищей — он передал банку с вареньем».

Тамара Головнина: «Саша получал поручения от партийного комитета. Это касалось главным образом работы в рабочем Красном Кресте по снабжению политических заключенных и красногвардейцев бельем, продуктами и другими передачами, которые рабочий Красный Крест организовал на добровольные взносы рабочих Владивостока… Городской комитет партии выпускал листовки, воззвания, которые нельзя было распространять легальным путем, и вот Саша и другие „соколята“ — Саня Бородкин, Гриша Билименко, Петя Нерезов — совместно с Таней Цивилевой, Зоей Станковой, Зоей Секретаревой отправлялись расклеивать вечерами листовки. Ходили по двое, парень с девушкой, разыгрывая влюбленных».

Раз Фадеев с одной из девушек наклеил листовку прямо на двери чешского штаба.

Это была настоящая приморская «Молодая гвардия». Корни

книги Фадеева о краснодонских комсомольцах — здесь. В молодогвардейцах четверть века спустя он увидит юного себя.

В январе 1919 года Фадееву поручили проводить представителя Центросибири[32] Дельвига из Рабочей слободки на Первую Речку — к большевику, железнодорожному рабочему по кличке «дядя Митя». На этой встрече Фадеев впервые увидел Сергея Лазо.

Как звучит: Дельвиг и Фадеев идут по наводненному интервентами ночному Владивостоку…

Поначалу Саша намеревался после учебы поехать к родителям в Чугуевку и устроиться там агрономом или учителем. Но вышло по-другому. Бросил учебу, ушел в партизаны — и завертелось на всю жизнь.

Трагедия в опереточных декорациях

Нужно понять, что это было за время, что происходило тогда в бурлящем послереволюционном Владивостоке.

«Там творилось великое черт-те что, и только Богу было известно, чем и когда это может закончиться», — писал из Японии о штормовом Владивостоке 1990-х переводчик и прозаик Дмитрий Коваленин.

В те времена, когда юный подпольщик Фадеев уходил в партизаны, во Владивостоке тоже творилось именно «великое черт-те что». Если бы было возможно на время перенестись в иную историческую эпоху, я бы отправился именно туда — во Владивосток революционной поры.

Если Гражданская война в основном закончилась в 1920 году, то на Дальнем Востоке она шла до конца 1922-го. Это даже если не брать ее позднейшие судороги — в 1923 году на Охотоморье разбили Бочкарева и захватили Пепеляева, в 1924 году был решен вопрос о принадлежности острова Врангеля, куда высадились было канадцы, и лишь в 1925-м японцы ушли с Северного Сахалина.

А уж в 1918–1922 годах во Владивостоке бурлило жарко и непрестанно. Это был последний оплот белой России и гнездо интервентов из десятка стран, преследовавших самые разные, порой противоположные цели.

От безумного, веселого, страшного времени нам осталось несколько калейдоскопных осколков.

Михаил Щербаков[33] считал Владивосток последним островком гибнущей России: «В этот городок, прилипший ласточкиными гнездами к обрывам сопок — сколько людей, сколько пламенных надежд лилось… из агонизировавшей России… Чего-чего там только не было: и парламенты с фракциями, и армия, и журналы, и университеты, и съезды, и даже — о, архаизм! — Земский Собор. Точно вся прежняя Россия, найдя себе отсрочку на три года, микроскопически съежилась в этом каменном котле, чтобы снова расползтись оттуда по всем побережьям Тихого океана… Странная жизнь текла тогда во Владивостоке: тревожно-острая, несуразная, переворотная».

Жозеф Кессель[34], оказавшийся во Владивостоке в 1919 году в составе Французского экспедиционного корпуса, был скорее ошарашенным, нежели очарованным странником: «все было мрачным и грязным», «жалкий провинциальный городок в глухой местности», «ни одного проспекта или приличной улицы». Разбойничьего вида казаки-семеновцы (вырванные ноздри,

нагайки, водка, гитары — весь набор), бордели, «русские страсти», пальба из револьверов в потолок, кабацкий надрыв — разве что дрессированных медведей не хватает. Или дело в том, что Кессель писал свои мемуары полвека спустя, уже не разбирая, где собственные впечатления, а где голливудская клюква времен холодной войны?

Из воспоминаний канадских интервентов о городе *Vladi:* «Гиблое место… В ту зиму на улицах почти каждый день раздавались выстрелы и находили убитых… Законы не действовали». Город, «пытавшийся ослепить цивилизованностью», утопал в «грязи и дикости».

Элеонора Прей[35] написала в ноябре 1918 года: «За исключением Парижа, Владивосток в данное время — это, вероятно, самое интересное место на свете».

Поэт Николай Асеев оказался здесь в конце 1917 года: «Когда я попал во Владивосток, он еще был типичным большим морским портом со всей специфичностью этого рода городов, экзотикой лиц, говоров, одежд, с множеством кабачков, игорных притонов, опиекурилен, веселых домов; с визгом, гомоном доков, кранов, лебедок и пароходных сирен».

Арсений Несмелов[36] попал во Владивосток в 1920-м: «Военные корабли в бухте, звон шпор на улицах, плащи итальянских офицеров, оливковые шинели французов, белые шапочки моряков-филиппинцев. И тут же, рядом с черноглазыми, миниатюрными японцами, — наша родная военная рвань в шинелях и френчиках из солдатского сукна».

Выразительное описание оставил Константин Харнский[37]: «Этот скромный окраинный город был тогда похож на какую-нибудь балканскую столицу по напряженности жизни, на военный лагерь по обилию мундиров. Кафе, притоны, дома христианских мальчиков, бесчисленные, как клопы в скверном доме, спекулянты, торгующие деньгами обоих полушарий[38] и товарами всех наименований. Газеты восьми направлений. Морфий и кокаин, проституция и шантаж, внезапные обогащения и нищета, мчащиеся автомобили, кинематографическая смена лиц, литературные кабачки, литературные споры, литературная и прочая богема. Напряженное ожидание то одного, то другого переворота. Мексиканские политические нравы. Парламенты. Военные диктатуры. Речи с балконов. Обилие газет и книг из Шанхая, Сан-Франциско и откуда угодно. Английский язык, „интервентские девки“. Мундиры чуть ли не всех королевств, империй и республик. Лица всех оттенков, всех рас до американских индейцев включительно. Белогвардейцы и партизаны, монархический клуб рядом с митингом левых.

Взаимное напряженное недоверие. Американские благотворители. Шпики. Взлетающие на воздух поезда в окрестностях. Пропадающие неведомо куда люди. Проекты и прожектеры. Бесконечные слухи, то радостные, то пугающие слухи, которыми, казалось, был пропитан воздух. И полная изолированность от Москвы, превратившейся во что-то сказочное, недоступное, более далекое, чем Нью-Йорк или Лондон… А над всем этим интервентский кулак… Вообразите себе ухудшенный тип прежней Одессы, вообразите себе горы вместо степи и изрезанный, как прихотливое кружево, берег вместо прямой линии, перенесите все это куда-нибудь за 8 тысяч верст от Советской земли, отдайте одну улицу белым, а другую красным, прибавьте сюда по полку, по роте солдат разных наций, от голоколенных шотландцев до аннамитов и каких-то неведомых чернокожих — и вот вам Владивосток переходных времен».

В эти годы во Владивостоке, куда бежали от революции и войны, население росло. В 1914 году в городе жило около 100 тысяч человек, в 1918-м — уже 130 (к 1923 году население сократится до 106 тысяч жителей — многие уедут). Владивосток всасывал человеческие потоки, которые частично уносились историческими сквозняками дальше: беженцы, пленные, дезертиры, авантюристы, артисты… Здесь отметились писатель-разведчик Моэм и изобретатель телевизора Зворыкин, Штирлиц[39] и Колчак, национал-большевик Устрялов и фашист Родзаевский.

Владивосток тогда (и только тогда) был одним из центров культурной жизни России. Поэты были востребованы как мало когда и где. Одни, как Костя Рослый[40] или автор «По долинам и по взгорьям»[41] Петр Парфенов, шли в партизаны. Другие, как красный Асеев и белый Несмелов, пикировались на страницах газет, а вечером выпивали в «Балаганчике», обустроенном Асеевым со товарищи в подвале гостиницы «Золотой Рог». «Во Владивостоке в то время было около пятидесяти действующих (как вулканы) поэтов», — вспоминал Несмелов. Мелькали здесь Сергей Третьяков, Давид Бурлюк[42], Сергей Алымов, Венедикт Март, возможный автор «Поручика Голицына» Юрий Галич, Алексей Ачаир… Из тайги приходил в «Балаганчик», это дальневосточное «Стойло Пегаса», и юный партизан Булыга-Фадеев.

Разнузданное веселье, бесшабашность, угар — именно что «балаганчик». И — суровые шинельные времена, в которые жизнь не стоила почти ничего.

В 1921 году по Владивостоку гуляла чума. По утрам горожане спотыкались о подброшенные к палисадникам трупы.

Это был пир во время чумы, кровавый карнавал, когда драматические и трагические события нередко облекались в откровенно фарсовые, опереточные одеяния.

После Февральской революции во Владивостоке установилось шаткое двоевластие: буржуазный Комитет общественной безопасности и пролетарский Совет рабочих и солдатских депутатов (большевики, эсеры, меньшевики). Во Владивосток возвращаются революционеры-эмигранты: Агарев, Нейбут, Дельвиг, Кушнарев, Краснощеков…

Власть переходит к Совету, который постепенно обольшевичивается. В ноябре председателем исполкома Совета стал большевик Нейбут[43], меньшевики во главе с Агаревым из него вышли.

В декабре на Дальнем Востоке была провозглашена советская власть[44]. В марте 1918 года Совет переизбрали: во главе его встал Константин Суханов, заместителем — Петр Никифоров, секретарем — Всеволод Сибирцев. При Совете создаются финансовая коллегия, совет по рабочему контролю, штаб Красной гвардии. Отношения с думой и городской управой (головой был избран Агарев) стремительно портятся. Уссурийское казачье войско раскалывается. Возникают прообразы будущих красной и белой армий.

Альберт Рис Вильямс[45], попавший в это время во Владивосток, так описывал Суханова: «Обыкновенный пылкий юноша не годился бы для Владивостока, представлявшего собой в то время пороховой магазин. Благодаря его дипломатическому искусству и такту ему удавалось не раз вывести Совет из затруднительного положения».

Уже в ноябре 1917 года на владивостокском рейде маячит американский крейсер «Бруклин». 12 января 1918 года пришел японский броненосец «Ивами», за ним — английский крейсер «Суффолк», японский «Асахи». В марте вернулся и «Бруклин», но пока все они стоят на якорях и десантов не высаживают[46]. Японский консул заявил: военное присутствие связано «исключительно с целью защиты своих подданных», правительство Японии «нисколько не намерено вмешиваться в вопрос о политическом устройстве России».

Вот как вспоминал начало 1918 года большевик Моисей Губельман: «В совете и день и ночь кипела работа… Перед краевым советом стояла важная задача — вывезти до начала интервенции все ценное с Дальнего Востока… Город разделился на два враждебных лагеря, и каждый лагерь жил своей обособленной жизнью… На Светланской улице близ порта по

вечерам загорались ослепительные фонари, и шикарный ресторан Кокина гостеприимно раскрывал свои двери. В прекрасно обставленных залах, украшенных гирляндами из живых цветов, люстрами и хрусталем, собирались иностранные представители — штатские и военные, меньшевики, эсеры, кадеты, японские шпионы, спекулянты и шансонетки… Спорили о том, кому достанутся горные богатства края — японцам или американцам».

21 января в гостинице «Версаль» кто-то ограбил иностранцев. Для охраны японского и английского консульств с кораблей высадились военные патрули.

4 апреля во владивостокском отделении японской торговой конторы «Исидо» неизвестными убиты двое японцев и ранен еще один. Большевики расценили это преступление как провокацию[47]. Оно используется как повод для интервенции: уже 5 апреля с английского и японского крейсеров на берег высаживаются солдаты[48]. 7 апреля Ленин телеграфирует во Владивосток: «Японцы наверное будут наступать… Надо начинать готовиться без малейшего промедления, и готовиться серьезно, готовиться изо всех сил. Больше всего внимания надо уделить правильному отходу, отступлению, увозу запасов и жел-дор. материалов. Не задавайтесь неосуществимыми целями. Готовьте подрыв и взрыв рельсов, увод вагонов и локомотивов, готовьте минные заграждения…»

В это же время Чехословацкий корпус, сформированный в 1917 году из пленных чехов и словаков, перешедших в мировой войне на сторону России, отправляют во Владивосток. Отсюда, через два океана, они должны были по решению Франции и Чехословацкого военного совета вернуться в Европу, на Западный фронт (с декабря 1917 года корпус числился в составе французской армии). От кратчайшего пути — через Архангельск — отказались. Уже сама эта странная логистика наводит на мысли о провокации, о том, что чехословаков использовали втемную. В меморандуме британского военного ведомства 25 марта 1918 года прозвучали сомнения в целесообразности возвращения чехов в Европу; во Франции обсуждали возможность использовать корпус совместно с японскими интервентами. Говоря попросту, никто не собирался возвращать чехословаков в Европу — по крайней мере пока. Они должны были выступить против большевиков. 8 апреля на совещании представителей Антанты в Версале было принято предложение английского Генштаба считать корпус частью союзных интервенционистских войск в России.

Только во Владивостоке к июню 1918 года скопилось 16 тысяч «белочехов»[49], как их называли в советской традиции.

Поначалу они вели себя лояльно. «Дальневосточный совет, получив предписание Совнаркома о необходимости оказать всяческое содействие быстрейшей отправке чешских войск из пределов советской России… встретил чехов тепло и дружески. Им были отведены лучшие казармы, из складов выдано продовольствие, обмундирование… Чешский национальный совет в лице доктора Гирса, Гурба, Шпачек и других выразил Владивостокскому совету свою благодарность, — пишет Губельман, однако добавляет: — Было ясно, что чехословаками руководили французские и английские капиталисты, которые задались целью разбить при их помощи сибирскую Красную армию и свергнуть советы».

В мае легионерам объявили, что советское правительство приказало поместить их в лагеря, и призвали пробиваться во Владивосток. Части корпуса заняли города от Пензы до Красноярска, продвигаясь по Транссибирской магистрали. Советы рушились. Появился новый повод для наращивания интервенции: помощь союзникам-легионерам.

Известия о стычках с чехами поступили во Владивосток в начале июня. Суханов и Никифоров даже осмотрели занятые чехами казармы и оружия не нашли. Но 29 июня «мятеж белочехов» начался и в Приморье. В этот же день на берег высаживаются английский и японский десанты, за ними — китайцы, американцы. Совет пал. Два полка чехов, отказавшиеся выступить против Советов, были интернированы на Русском острове. Красная гвардия с боями отходит к Никольск-Уссурийскому. Из сообщения информбюро при Дальневосточном краевом совете народных комиссаров от 8 июля 1918 года: «В Никольск-Уссурийске идет бой… Чехословаки и белогвардейцы вырезывают поголовно всех рабочих и крестьян, имеющих у себя какое-нибудь оружие. Идут массовые расстрелы членов рабочих союзов… Во Владивостоке введены военно-полевые суды, расстреливают массами арестованных рабочих, на улицах повторяются картины, напоминающие последние дни Парижской Коммуны». Вскоре к боевым действиям присоединяются японцы, англичане, французы. Уже в сентябре 1918 года белые и интервенты берут Хабаровск (им стал править атаман Калмыков), Благовещенск, Читу (там другой атаман — Семенов).

Суханов — в лагере на Первой Речке. 18 ноября он будет убит «белочехами» якобы при попытке к бегству[50].

К власти в Приморье приходит эсер Петр Дербер — глава Временного правительства автономной Сибири, поддержанного Приморской областной земской управой во главе с правым эсером Медведевым и городской думой во главе с меньшевиком

Агаревым. Осенью Дербера сменит экс-управляющий КВЖД генерал Дмитрий Хорват как уполномоченный Временного Сибирского правительства. В июле 1919 года правителем Приамурского края и уполномоченным Колчака, провозглашенного в ноябре 1918 года в Омске Верховным правителем России, стал генерал Сергей Розанов.

«Владивосток представлял из себя какой-то хаос… Какая-либо русская власть, которая могла бы наладить жизнь и урегулировать отношения, отсутствовала… Во Владивосток прибывали да прибывали союзники… Распоряжался каждый по-своему, мало считаясь не только с русскими людьми, но и с русскими интересами», — описывал происходящее генерал К. Сахаров[51].

На здании Владивостокского совета — американский, английский, французский, канадский, японский, китайский и трехцветный русский флаги. На перекрестках дежурят интервенты. На старых фото видно: по Светланской маршируют американцы в широкополых панамах, у вокзала — англичане в мохнатых шапках, похожих на папахи. Идут белогвардейцы, итальянцы в «наполеоновских» треуголках, канадцы, японцы. На Светланской — неуклюжие бронемобили, похожие на походно-полевые кухни. В Золотом Роге — крейсера и броненосцы интервентов, в том числе «Хидзэн» — бывший русский «Ретвизан», захваченный японцами в Порт-Артуре. В порту выгружают французские танки «Рено», похожие на разъевшихся жуков. На путях у вокзала — «Калмыковец», карательный бронепоезд одиозного атамана с «вагоном смерти»[52]. Атаман Семенов — с Георгием, при шашке, улыбающийся, с роскошными усами (кажется человеком средних лет, а было ему тогда всего около тридцати). Американский генерал Гревс. Молодой чех Радола Гайда, еще не поднявший мятеж против Колчака, — худощавый, губы сжаты, вид упрямый, напряженный… Японская цветная открытка: в бухту Золотой Рог входит императорский флот, и владивостокцы приветствуют корабли, размахивая японскими флажками.

Дальневосточная интервенция была разнородна по национальному составу, мотивам, манерам. Интервенты боролись не только с большевиками, но и друг с другом, имели противоречия и с белыми. Командующий канадским контингентом генерал Элмсли указывал: «Между союзниками ни в чем нет согласия… Русские, американцы и японцы откровенно враждуют».

Это была многовекторная игра.

В намерениях японцев относительно Дальнего Востока тайны

не было с самого начала. Их «сибирская экспедиция» должна была прирастить владения императора. Они сразу захватили рыбные промыслы, а на Северном Сахалине даже наладили добычу нефти. «Англия, Америка, равно как и прочие союзники, подозревали японцев в тайном намерении захватить богатые сибирские земли и негодовали по поводу разросшейся японской армии», — пишет канадский историк Бенджамен Айзитт. Из информации Дальневосточного подпольного комитета РКП(б), январь 1920 года: «Наиболее агрессивными из всех интервентов были японцы. Численность их войск на Дальнем Востоке сейчас не менее ста тысяч».

В каком-то смысле это было продолжение Русско-японской войны, которая по-настоящему закончилась лишь в 1945 году. Из-за боев с японцами Гражданская война в Приморье приобретала черты национально-освободительной. В 1920 году интервенты из других стран покинут Дальний Восток, до конца 1922 года останутся одни японцы[53].

Американцы (корпус генерал-майора Гревса насчитывал 7950 человек) пытались соблюдать нейтралитет и не допускать усиления японцев. Они прохладно относились к прояпонскому атаману Семенову и к колчаковскому правительству, прозванному «ноксовским»[54] (по имени английского генерала Нокса). Ленин уже 14 мая 1918 года отметил: «Противоречием, определяющим международное положение России, является соперничество между Японией и Америкой. Экономическое развитие этих стран… подготовило бездну горючего материала, делающего неизбежной отчаянную схватку этих держав за господство над Тихим океаном и его побережьем». Убеждая японцев вывести войска, американцы объективно помогали красным (хотя снабжали Колчака и участвовали в карательных операциях, пусть не столь активно, как японцы). Старались избегать боев, шли на переговоры с партизанами, порой снабжали их едой и даже оружием[55]. Председатель ЦИКа Михаил Калинин в 1923 году отметил своеобразный характер американской интервенции: «…На вопрос, какая из армий интервентов была мягче, культурнее, лучше обращалась с населением, менее сделала вреда, вы получите указание на Америку, что ее войска держались корректнее, меньше морального и материального вреда сделали на данной территории… Американское правительство не искало здесь территориальных завоеваний».

Из статьи Сергея Лазо «Япония и Дальний Восток» (январь 1920 года): «Интересы Америки совершенно иные, чем интересы Японии: политика последней ставит своей конечной целью оккупацию края, тогда как Америка благодаря необычайной мощи

своего финансового и промышленного капитала не стремится к захвату территории. Для американского капитала необходимо только одно — свободный доступ на Дальний Восток, так как он знает, что при свободной конкуренции он легко сломит молодой японский капитал».

Интересны мемуары генерала Уильяма Гревса. «Японцы всегда надеялись занять Восточную Сибирь», — пишет он. Атамана Семенова называет «убийцей, грабителем и самым беспутным негодяем», который «финансировался Японией и не имел никаких убеждений». Атамана Калмыкова аттестует как головореза: «Вряд ли можно будет найти такое преступление, которого бы Калмыков не совершил. Япония в своих усилиях „помочь русскому народу“ снабжала Калмыкова вооружением и финансировала его… Солдаты Семенова и Калмыкова, находясь под защитой японских войск, наводняли страну подобно диким животным, убивали и грабили народ, тогда как японцы при желании могли бы в любой момент прекратить эти убийства». Об армии Колчака: «Поведение этих войск… почти приближается по своим масштабам к бесчинствам войск Семенова и Калмыкова». Гревс де-факто встает на сторону красных: «В Восточной Сибири совершались ужасные убийства, но совершались они не большевиками, как это обычно думали… На каждого человека, убитого большевиками, приходилось 100 человек, убитых антибольшевистскими элементами… Большевики попросту были русскими на русской земле… Действия… казаков и других колчаковских начальников, совершавшиеся под покровительством иностранных войск, являлись богатейшей почвой, какую только можно было подготовить для большевизма». Неудивительно, что другие интервенты обвиняли Гревса в «порозовении».

Генерал — человек не только искренний, но и смелый — почти диссидентствует: «Я сомневаюсь, мог ли какой-нибудь непредубежденный человек считать, что САСШ не вмешивались во внутренние дела России. Вследствие этого вмешательства САСШ при помощи своих вооруженных сил помогли продержаться непопулярному и монархически настроенному правительству». После прочтения записок Гревса, изданных в 1931 году, становится понятно, почему уже через год они вышли и в СССР под названием «Американская авантюра в Сибири» (*America's Siberian Adventure)*.

Иногда японцы и американцы даже переходили на сторону партизан. «Японские солдаты… стараются сблизиться с нашими партизанами при каждом удобном случае. „Твоя бурсука“, т. е. „ты большевик“, говорит какой-нибудь японец. Наш кивает головой: „Да, бурсука. Хочешь получить на память красный

бантик? Если ты рабочий или трудящийся крестьянин… то и ты бурсука, получай“. Солдат-японец смеется, радостно пожимает руки партизанам, берет бантик и прикалывает его с обратной стороны шинели на подкладку», — вспоминал П. Постышев[56]. Фадеев в «Последнем из удэге» описал переговоры партизан с китайскими таежными бандитами — хунхузами, назвавшими себя «революционными войсками китайского народа». Переговоры окончились безрезультатно: партизаны отказались признавать в хунхузах своих.

Из тех же хунхузов вышел Чжан Цзолинь — в те годы маршал и правитель Маньчжурии, отправивший свои войска в Приморье на помощь интервентам. Правда, в военных действиях они почти не участвовали. Партизанский командир Мелехин писал о событиях 1919 года: «Командиру китайской роты было предложено невмешательство… Офицер заерзал на скамейке и побледнел. Затем… заговорил о том, чтобы разрушение полотна железной дороги мы произвели подальше от места расположения его части. Ему дано было на это согласие. Кроме того, командиру охранной железнодорожной роты было предложено одолжить нам до десяти тысяч патронов. Он сначала отказался, но в конце концов согласился».

Канадская экспедиция, как пишет в книге «Из Виктории во Владивосток» Бенджамен Айзитт, должна была помочь белым свергнуть Советы. Были и другие цели: «Сибирская экспедиция с самого начала рассматривалась как благоприятный повод расширить канадское торговое присутствие на Дальнем Востоке». Однако, признаёт Айзитт, «цели Канады в России были достаточно сложными, размытыми и запутанными»[57].

Ценные воспоминания «Союзная интервенция в Сибири» оставил начальник английского экспедиционного отряда полковник Джон Уорд. Его, в отличие от Гревса, никто не мог обвинить в симпатиях к большевикам. Он высоко отзывался о Колчаке и Семенове, а партизан и большевиков изображал самыми черными красками. Уорд утверждал, что Англия вмешалась в российские дела из альтруизма, а местное население доверяло только британцам. Эта книга, что интересно, тоже была издана в Советской России «с колес», так как описывала нюансы взаимоотношений стран Антанты между собой и с Колчаком. Советским пропагандистам не нужно было ничего придумывать об интервентах — те с удовольствием разоблачали друг друга сами.

Так, Уорд пишет, что получил первый приказ о переброске своего батальона из Гонконга во Владивосток уже в ноябре 1917 года, что свидетельствует: интервенция была реакцией не на

Брестский мир, как до сих пор утверждают отдельные историки, а на Октябрьскую революцию[58].

Или такой момент: когда в конце 1918 года встал вопрос об отправке иностранных контингентов из Владивостока на Урал для поддержки Колчака, Япония саботировала эту инициативу, не желая покидать Дальний Восток. «Японцы никогда не доверяли своим союзникам… С чешскими командирами они обращались недостаточно вежливо, а вагоны английских офицеров наводнялись их рядовыми, которые дерзко спрашивали, что нам нужно в Сибири… Но наивысшее презрение они питали к русскому народу. Этих несчастных людей они сбрасывали с железнодорожных платформ, пуская в ход приклады своих винтовок… обращаясь с ними точь-в-точь, как с племенем покоренных готтентотов».

Американцев Уорд обвиняет в симпатиях к большевикам: янки, объявив Сучанский округ нейтральной зоной, помогли красным оправиться от поражения. Партизаны даже согласовывали с американцами диверсии на железной дороге, проводя их вне зоны ответственности войск США.

Из воспоминаний Константина Сахарова: «Вначале, в 1918 году, японцы… стремились как можно больше и скорее набрать того, что плохо лежало; это были главным образом секретные карты и планы, делались съемки в районе Владивостокской крепости, занимались казармы в важных стратегических пунктах. Но уже с января 1919 года… отношения резко переменились в самую лучшую сторону. Поведение японского командования и войск стало вполне союзническим, даже рыцарственным… Они одни остались теперь в Сибири, чтобы помочь русским людям, русскому делу». В секретные карты верится легко, в рыцарственность и помощь русскому делу — куда труднее. Слова генерала скорее похожи на попытку самооправдания.

Из записок белого полковника Александра Камбалина: «Ряд ошибок местной администрации, отсутствие твердой власти на верхах, бесчинства и грабежи как добрых союзников — чехов и поляков, так и наших карательных отрядов только подливали масло в огонь деревенского революционного движения, играя на руку большевикам».

Читая мемуары интервентов и белых, находишь немало пассажей, комплиментарных (прямо или косвенно) по отношению к большевикам. Это нужно учитывать, размышляя о причинах победы красной идеи и красной практики. «Успокоение страны будет достигнуто лишь при наличии трех факторов: твердой власти, жизненной организационной работы правительства и самого живого участия в ней народных масс», — писал

К. Сахаров.

Красные смогли выполнить эти условия.

Учителя из Сучанской долины

Первые партизанские силы в Приморье возникли уже осенью 1918 года. Сначала это были отряды самообороны, охранявшие свои села. Потом они становились похожи на регулярные части, начинали действовать согласованно.

Павел Постышев отмечал: «Партизанские отряды не организовывались стихийно… Партизанская борьба на Дальнем Востоке — не партизанщина в прямом смысле этого слова… Это была организованная борьба, причем организована она была коммунистической партией и проходила под руководством ее представителей». Возможно, Постышев лукавил из конъюнктурных соображений, но во многом он был прав: движение шло и снизу, и сверху. Уже 22 декабря 1918 года Владивостокский комитет РКП(б) постановил: перейти к активной борьбе против белогвардейцев и интервентов, помочь оружием, снаряжением и людьми начавшемуся партизанскому движению.

Главным партизанским очагом в Приморье стала долина Сучана. Ядро первых «нелегальных боевых дружин» составили жители деревень Хмельницкой и Серебряной — учителя Николай Ильюхов и Тимофей Мечик[59], крестьяне Корней Гурзо, Краснов, Суховей, Пряха, Кошман… В октябре 1918 года на собрании в доме Ильюхова они объявили себя «комитетом по подготовке революционного сопротивления контрреволюции и интервентам». Председателем избран Ильюхов, «товарищем председателя» (заместителем) — Мечик. Сельские дружины входили в волостную единицу — батальон — и подчинялись комитету.

Уже на этом этапе сучанцы пытались наладить связь с большевиками Владивостока, но безуспешно: актив был разгромлен, уцелевшие образовали подпольный обком, но он был слишком глубоко законспирирован.

21 декабря 1918 года в Фроловке[60] проходит съезд руководителей боевых дружин Сучанской, Цемухинской, Майхинской долин[61]. Был избран первый штаб партизанских отрядов Приморья.

К весне 1919-го в Приморье насчитывалось несколько десятков партизанских отрядов. Белые стали осторожнее, опасались лезть в тайгу. Японцы усилили гарнизоны на железной дороге. В марте тетюхинские партизаны с боем заняли Ольгу и объединились с Сучаном, консолидировав тем самым силы партизан Ольгинского уезда[62]. Блокировали высадку с моря десанта интервентов. На юго-востоке Приморья возникла настоящая партизанская республика. «Всё, чему учили военные

книги и собственный боевой опыт, всё это было бессмысленно и невозможно в условиях незнакомой… горной лесистой местности — по отношению к противнику, численность которого никогда не известна, который не защищает никаких позиций, но находится везде, всегда невидим, но видит каждый твой шаг» — так Фадеев передавал ощущения белых в «Последнем из удэге».

В марте 1919 года Фроловка принимает второй съезд партизанских руководителей. Накануне поступили первые директивы от большевиков Владивостока. Что интересно, сучанцам предписали провести «организованную ликвидацию» восстания: холод, голод, патронов мало… Партизаны выступили против: движением уже охвачена огромная территория, появился боевой и организационный опыт, улучшается дисциплина, налаживается снабжение продовольствием со стороны крестьян. «Володя-маленький» (Шишкин), доставивший директивы, в итоге согласился с партизанами[63].

Из Владивостока, Никольска, с Сучанских, Зыбунных и Угловских копей, с железной дороги на Сучан отправлялось пополнение. Весной 1919 года партизанское движение приняло широкий размах. В сопки потянулись рабочие, матросы, шахтеры, студенты — в том числе и юный Фадеев с «соколятами». Свою роль сыграла начатая на рубеже 1918–1919 годов мобилизация в колчаковскую армию[64] и изъятие у населения оружия. Кто не хотел к Колчаку — вынужден был скрываться или уходить в сопки.

К 1 мая почти во всем Ольгинском уезде, а также на части территорий Уссурийского и Иманского уездов власть Колчака была свергнута, Советы восстановлены. Движение координировал временный военно-революционный штаб Ольгинского уезда, базирующийся во Фроловке. При штабе создаются отделы: военно-оперативный, внутренних дел, связи, хозяйственный, судебно-следственный, санитарный, национальный («вернее — корейский», уточняют Ильюхов и Титов[65]), редакционный. Это было целое альтернативное правительство. Появились даже партизанские загсы, где браки скрепляли при помощи печати из старой резиновой калоши. Родившуюся в сопках дочь Ильюхова назвали Пролетарией, один мальчик получил имя Совет. К услугам партизанского суда нередко прибегали местные жители[66]. Если сначала при захвате врага его попросту расстреливали, то с появлением полевых судов с выборными судейскими тройками возникли такие наказания, как штраф, внесение залога, предупреждение. Появились своя печать, своя промышленность, пусть специфическая (отливка пуль, изготовление ручных гранат — невольно вспоминаются

гранаты-«хаттабки» и автоматы «борз» чеченской войны). Были попытки чеканить и печатать собственные деньги. Фроловский и Анучинский ревштабы были связаны между собой телефоном и телеграфом.

Структурно отряды начинают напоминать Красную армию. В основу их организации положены резолюция VIII съезда РКП(б) «По военному вопросу», решение ЦК РКП(б) от 19 июля 1919 года о партизанском движении в Сибири и «Дисциплинарный устав партизанской армии Приморья». Теперь отряды должны были действовать как часть единого механизма. Проявлялись, конечно, и анархистско-сепаратистские тенденции, яркий пример чему — фигура «красного казака» Гаврилы Шевченко.

Белый офицер Георгий Думбадзе так оценивал движение: «От Енисейской губернии до Приморья партизанщина приковала десятки тысяч наших войск и воспрепятствовала их присоединению к главному фронту». Думбадзе отмечал «из ряда вон выходящие способности» партизанских командиров, «их необыкновенную изобретательность в снабжении вооружением отрезанных от всего мира частей» и примеры «необыкновенного военного таланта, редко встречающегося даже у профессиональных военачальников».

Считалось, что в «народной» партизанской армии дисциплина уже не может насаждаться муштрой и казармой. Приходилось надеяться на «сознательность», хотя в арсенале дисциплинарных мер был и расстрел. «Помнится случай, когда за изнасилование корейки[67] партизан был расстрелян по приговору отрядного суда, — пишут Ильюхов и Титов в книге „Партизанское движение в Приморье“. — К корейскому населению как угнетенному меньшинству мы вообще относились с особой чуткостью и вниманием, тем более что корейская молодежь дружно вступала в партизанские отряды»[68]. В некоторых отрядах мародеров и пьяниц пороли розгами по решению общего собрания[69].

По словам Ильюхова и Титова, крестьяне охотно кормили партизан, брали их на ночлег, случаи принудительного вселения в избы были единичными. Со временем партизаны ввели налог на кулаков и зажиточных крестьян. Прибегали к киднеппингу: похищали «буржуя» и требовали контрибуцию. Так, в мае 1919 года в Раздольном был похищен приморский водочный король Пьянков. Партизаны взяли у него лошадей, восемь пишущих машинок для выпуска газеты «Вестник партизана» и 150 тысяч рублей выкупа[70]. «Этот путь был опасным, скользким; поэтому мы воздерживались от возведения его в систему», — смущенно пишут Ильюхов и Титов.

Патронов не хватало. По воспоминаниям З. Двойных, приходилось изобретать оригинальные тактические приемы: «С ружьями, заряженными самодельной картечью, партизаны темной ночью подбирались к расположению японской части… И пойдет пальба из дробовиков… По направлению выстрелов открывался ураганный ружейно-пулеметный огонь… Когда японцы уходили, партизаны подбирали после такой „потехи“ груды пустых гильз от винтовочных патронов. У партизан было несколько японских винтовок. Капсюли от охотничьих ружей подходят к японскому патрону». Каждому командиру и партизану вменили в обязанность подбирать на поле боя гильзы и сдавать их для новой зарядки.

Было налажено производство свинцовых пуль — их отливали сучанские шахтеры. Белые сетовали на то, что партизаны будто бы употребляли «нарезные патроны» (имеются в виду пули с надпиленной медной оболочкой, превращенные тем самым в разрывные — «дум-дум», — практически не оставляющие шанса даже при легком ранении). По воспоминаниям Титова и Ильюхова, такие слухи появлялись из-за того, что самопальные партизанские пули были мягкими — без оболочки, из чистого свинца. «Приготовленные подобным способом патроны в случаях попадания делали такие раны, что спасти раненого было почти невозможно… Мы, в ответ на обвинение нас со стороны белых в жестокости, неоднократно предлагали их офицерам выход, а именно: мы предлагали снабжать нас из складов владивостокской крепости, находившихся в их руках, фабричными патронами». Но те на такой шаг не пошли.

Одновременно партизаны стремились добывать пули с твердой оболочкой, потому что безоболочечные боеприпасы годились только для старых берданок, но не для трехлинеек. Помогало «царское наследство» — земляной вал-пулеулавливатель в Анучине на старом стрельбище.

«Для пополнения боевых запасов было организовано кустарное производство, — вспоминал Мелехин. — Бомбы[71] делались из железных труб, начиненных динамитом и обрезками железа». Партизан поджигал шнур и на счет «девять» бросал. «Взрыв был потрясающий; своеобразно соединялся глухой гул с режущим ухо треском. Содержимое банки-бомбы разлеталось во все стороны, поражая все на пути… Попадавший в тело кусок гвоздя или грязной ржавой жести не только рвал на куски мясо, но, как правило, производил заражение крови, — пишут Ильюхов и Титов. — Такими средневековыми способами мы вынуждены были пользоваться: нельзя же было идти с голыми руками против вооруженного с ног до головы врага».

Порой партизаны обзаводились пушками. Есть сведения даже о применении танков «рено». Но все же главным оружием партизана были винтовка, граната, сабля. Фадеев в «Последнем из удэге» писал о весне 1919 года: «Во всем Сучанском районе не было уже ни одной берданы или обреза, которые не были бы пущены в дело. В последнее время добровольцы приходили вооруженные дробовиками и дедовскими кремневыми ружьями. Тот, кто приходил с пустыми руками, терпеливо ждал, пока отобьют винтовку у неприятеля или освободится ружье погибшего товарища». По словам Фадеева, обычный запас патронов не превышал 40–50 на каждого бойца, стрелять полагалось только по видимой цели, на близком расстоянии и по команде. В небольшой стычке партизан расходовал до пяти патронов, в крупном по местным меркам сражении — 20–30.

В конце июня 1919 года партизаны под руководством Сергея Лазо провели одну из самых громких акций — вывели из строя Сучанский рудник и железнодорожную ветку, чтобы лишить Владивосток угля[72]. «Операция прошла успешно: американский гарнизон был разбит, а железнодорожный путь разрушен, — вспоминала вдова Сергея Лазо Ольга. — Шахтеры взорвали подъемники на узкоколейке, по которой доставлялся уголь, партизаны уничтожили шесть мостов, захватили винтовки, патроны, телефонную аппаратуру и походные палатки. Эти палатки они впоследствии использовали для устройства госпиталя в глухой тайге. В этой операции партизанские отряды действовали уже не разрозненно, а под единым командованием. И их действия сочетались с забастовочным движением рабочих в городе».

Лазо, избранный командующим партизанскими отрядами Приморья, делает доклад о новой оргструктуре: командир отряда избирается партизанами, во главе отрядов уезда стоит командующий, избранный революционным исполкомом Советов и утвержденный партизанами. Он самостоятелен в исполнении боевых операций, но «в отношении общих целей и задач» исполняет указания революционного исполкома[73].

Успех партизан на Сучанской ветке вызвал ожидаемую реакцию. Уже в июле белые и интервенты проводят ряд карательных акций — только на Сучан брошено до восьми тысяч человек. «Начались бои, в которых кроме белых участвовали японцы и американцы… Устоять против них партизанам было трудно, приходилось отступать, — вспоминал Губельман. — В одном из боев был ранен адъютант Лазо тов. Попов. Белогвардейцам удалось его захватить, и он был зверски замучен. Ему выкололи глаза, отрезали уши, привязали к хвосту лошади и,

волоча по деревне, допрашивали, каковы силы партизан и кто ими командует. Но ничего добиться они не смогли. Тогда обозленные палачи вырезали тов. Попову язык и еще живого зарыли в яму».

Разбитые партизанские отряды отходят к Анучино и Чугуевке. Почти во всех селах Сучанской долины встают колчаковские гарнизоны. Наступает «полоса тяжелой реакции». Уцелевшие партизаны прячутся в сопках. Лазо бродит по тайге — с палкой, с походной канцелярией за плечами, опухший от болезни почек, одинокий[74]. В среде партизанских командиров начинаются распри. Появляются «батьковщина» и «атаманство», случаются грабежи. Иные командиры дошли до порок и расстрелов староверов («этого, правда, наиболее реакционного элемента приморской деревни», — замечали Ильюхов и Титов).

Дело идет к осени. Партизаны строят в тайге зимние базы. Но зимовать в сопках не пришлось. Упадок июля-сентября 1919 года сменился новым подъемом.

К началу 1920 года на Дальнем Востоке и в Забайкалье действовало около двухсот партизанских отрядов и групп, в которых насчитывалось до пятидесяти тысяч партизан. Возникли четыре партизанские армии: Восточно-Забайкальская, Приморская, Амурская и Прибайкальская[75].

Красная армия в это время переваливает Урал, идет по Сибири. В Приморье пробегают искры между колчаковцами и чехами. Атаман Семенов в Забайкалье и атаман Калмыков в Приамурье ведут каждый свою политику. В армии Колчака теперь в основном — мобилизованное, «немотивированное» крестьянство. Гарнизоны норовят перейти на сторону партизан. Тактика красных меняется: они стремятся уже не победить колчаковцев, а превратить их в своих. Ведется пропаганда, готовится восстание.

Метод Гайды и метод Лазо

Первый антиколчаковский мятеж поднял Радола Гайда, он же Рудольф Гейдль, один из лидеров Чехословацкого корпуса. Гайда был организатором чешского мятежа в Ново-Николаевске, потом поступил на службу к Колчаку, стал генералом. Поссорившись с «верховным правителем», Гайда прибыл во Владивосток из Омска в августе 1919 года.

Отношения колчаковцев и интервентов портились. Подполковник Карл Хартлинг, командовавший одной из рот Учебной инструкторской школы на Русском, считал, что генерал Розанов ведет себя слишком мягко по отношению к Гайде: «Аппетиты этого честолюбца перешли границы всего возможного… Вокруг него стали группироваться все элементы, недовольные правлением адмирала Колчака». Интервенты даже потребовали от Розанова вывести из Владивостока все русские части — и тот было подчинился, но вмешался Колчак: «Сообщите союзному командованию, что Владивосток есть русская крепость, в которой русские войска подчинены мне».

Советские историки не говорили о том, что мятеж Гайды поддержали не только эсеры, но и большевики. Эсеры, решив использовать Гайду, чтобы избежать со стороны интервентов обвинений в «покраснении», в октябре 1919 года предложили присоединиться к восстанию Дальневосточному комитету РКП(б). Большевики высказались «за», посчитав, что, если Гайда сбросит Розанова, перехватить власть у эсеров и чехов будет проще. Для подготовки восстания в штаб-поезд Гайды, стоявший на путях владивостокского вокзала, были посланы видные большевики — председатель Центрального бюро профсоюзов Владивостока Г. Раев, экс-командующие Уссурийским и Гродековским фронтами В. Сакович и А. Абрамов. Сакович даже стал начальником оперативного отдела при гайдовском начальнике штаба.

В городе, пишет Хартлинг, не было ни одной части, способной подавить мятеж. Это можно было поручить лишь военно-учебным заведениям — Учебной инструкторской школе с Русского острова или Морскому училищу (Гардемаринские классы).

17 ноября пришло известие о занятии Красной армией Омска — колчаковской столицы. В тот же день во Владивостоке происходит «путч Гайды». Мятежники открыли огонь по штабу крепости[76] с поезда и захваченных кораблей. «Стрельба слышна была положительно со всех сторон», — пишет Хартлинг[77].

Большевики, сочтя мятеж обреченной на неуспех авантюрой, решили отказаться от его поддержки. Некоторые из их людей, однако, не успели получить соответствующее распоряжение. Так, грузчики Эгершельда вступили в бой под лозунгом восстановления Советов и были перебиты японскими войсками.

Просчет гайдовцев состоял в том, что руководство стран Антанты еще не отказалось от поддержки Колчака[78]. Отряды повстанцев оказались изолированными друг от друга. Пробиться с вокзала в город Гайда не смог: по его поезду японцы открыли артиллерийский огонь с Тигровой сопки, колчаковцы — от штаба крепости, с миноносцев и бронепоезда. В городе началась паника, магазины закрылись, трамвай встал. На рассвете 18 ноября курсанты школы с Русского штурмом взяли вокзал. Вот что он представлял собой после боя (свидетельство Хартлинга): «Вся лестница была завалена трупами, и их было так много, что нам невольно приходилось иногда ступать по ним. На площадке, между этажами, один умирающий слегка приподнялся и стал умолять добить его… На месте, где Нижняя Портовая улица сливается с набережной, был завал трупов». На вокзале было убито до трехсот мятежников, захвачено до четырехсот. Уже упоминавшаяся госпожа Прей, «первый блогер Владивостока», писала 18 ноября: «Почти повсюду вокруг вокзала и вдоль причала лежат тела, и мокрый снег, который выпал вчера, делает всё еще более мрачным». На фото американца Меррилла Хаскелла — побитый пулями и снарядами вокзал, присыпанные снежком трупы.

Колчак приказал судить изменников военно-полевым судом, но Розанов, не желая обострять отношения с интервентами, передал арестованного Гайду чехам, и вскоре тот через Шанхай вернулся на родину[79]. «Несмотря на то, что правительственные войска одержали блестящую победу над гайдовцами, особого удовлетворения все же не чувствовалось, — пишет Хартлинг. — Жизнь Владивостока продолжала течь по прежнему руслу разложения и разрушения. Разнузданность нравов, спекуляция и все прочие прелести тылового города были налицо. В ресторанах по-прежнему пьяные голоса надрывались, вопя на мотив „Шарабана“:

Погон российский,
Мундир английский,
Сапог японский —
Правитель омский…»

Неудачный мятеж Гайды проанализировал Лазо и решил

пойти другим путем — сделать ставку не на винтовки, а на агитацию, привлечь солдат врага на свою сторону.

Становится известно о новых победах Красной армии в Сибири: вслед за Омском взяты Ново-Николаевск и Томск. Войска Розанова в Приморье выходят из повиновения. 30 ноября при поддержке партизан восстает гарнизон Сучана, за ним — гарнизон Шкотова.

Восстание во Владивостоке готовит Лазо. Его успех во многом зависел от позиции Учебной инструкторской школы. Школу создали в конце 1918 года на острове Русском, отделенном от Владивостока морским проливом, при участии британского генерала Нокса. Она имела три батальона — офицерский и унтер-офицерские. «В полуразвращенные революцией воинские чины нужно было вдохнуть здоровый дух, показать им все преимущества крепкой дисциплины», — пишет Хартлинг. Это была не просто «учебка» для мальчишек, а, как сказали бы сейчас, элитная часть. Отсюда понятно значение, придававшееся «школе Нокса» и красными, и белыми. Хартлинг пишет, что в школе орудовали красные агенты, «разлагавшие» личный состав.

В советское время бытовал сюжет о том, как Лазо один, без оружия и охраны, отправился по льду на Русский и убедил курсантов школы держать нейтралитет, чем обеспечил успех восстания[80]. «За кого вы — русские люди, молодежь русская?.. Мы русскую душу не продавали по заграничным кабакам… Мы грудью нашей, мы нашей жизнью будем бороться за Родину против иноземного нашествия! Вот за эту русскую землю, на которой я сейчас стою, мы умрем, но не отдадим ее никому!» — будто бы сказал Лазо на Русском. В характер риторики верится легко: патриотизм для белогвардейцев не был пустым словом, а то, что творили интервенты, было всем известно. Но сама реалистичность «ледового похода» Лазо на Русский вызывает сомнения.

Ни в личном мужестве, ни в незаурядности Лазо сомневаться не приходится. Он уже при жизни стал фигурой легендарной, этаким дальневосточным Че Геварой. Но в его «Дневниках и письмах» (Владивосток, 1959) о походе на Русский ничего не говорится. Историк Русского острова Олег Стратиевский сомневается, что такое вообще было возможно: Лазо был загружен работой, почти не спал, писал огромное количество воззваний, принимал делегатов[81]. «Мог ли… председатель оперативного штаба… державший все ниточки сложного процесса подготовки к решающему выступлению, бросить управление и пойти к юнкерам? — пишет Стратиевский. — А появившаяся в 50-

е годы в официальных документах дата его выступления — 30 января 1920 года — вовсе не выдерживает критики. После ареста офицеров на острове 28 января и за день до восстания агитация юнкеров была бессмысленной. Тем более она становилась бессмысленной после восстания». Краевед Нелли Мизь говорит о том же: «Школа прапорщиков уже тогда была против выступления, то есть ее агитировать уже было не надо».

Да и вообще странно было вот так наобум идти на Русский — Лазо бы попросту убили или как минимум арестовали.

Последние дни школы на Русском подробно описал Карл Хартлинг. 26 января 1920 года происходит — еще без участия большевиков — бунт егерского батальона: конвой генерала Розанова вышел из повиновения и занял здание коммерческого училища, где еще год назад учился Фадеев. Бунт подавили силами инструкторской школы. Слово Хартлингу: «Как только орудие было втянуто на Комаровскую улицу, я приказал портупей-юнкеру Михаилу Балышеву встать на перекрестке Суйфунской, так как через несколько минут над этой улицей должны были пролетать снаряды и она могла оказаться под пулеметным огнем со стороны розановских егерей. Балышев остановил двух старушек, заявив, что сейчас начнется стрельба. Старушек это как-то совсем не удивило, и одна только спросила: „Как, опять переворачиваетесь?“ А другая добавила: „Ну, ну, переворачивайтесь!“, и обе своротили на Комаровскую улицу. Подобное безразлично-беспечное отношение к переворотам жителей Владивостока объясняется тем, что из-за присутствия интервентов Владивосток не знал особенно кровавых переворотов, а обыватель привык к тому, что время от времени нужно „переворачиваться“»[82].

28 января 1920 года Хартлинг готовился получить приказ об аресте Розанова (командование школы перестало доверять генералу, заподозрив того в «покраснении»), но тут школа вышла из-под контроля. Восставший унтер-офицерский батальон арестовал 60 человек во главе с начальником школы, другие батальоны поддержали восставших, после чего некто Подеревянский по льду отправился в город, чтобы связаться с Лазо. Школа превратилась в «вооруженную революционную толпу».

29–31 января[83] происходит переворот во Владивостоке. Власть принимает земская управа, в город вступают партизаны, Розанов на яхте отбывает в Японию. Подходит партизанский бронепоезд, но гарнизон перешел на сторону красных без выстрела. Хартлинг: «Переворот совершен бескровно; об этом позаботились интервенты — международная полиция. Отряды ее

сопровождали вступавшие в город отряды войск и партизан и все время поддерживали порядок. Заметно, что всем дирижируют американцы, а японцы как-то тушуются».

Ильюхов и Титов писали по-своему: «Разложившийся вконец труп контрреволюции уже не обладал способностью сопротивления партизанам. Никакие меры империалистических держав не могли воскресить этот труп».

Город покидают интервенты — все, кроме японцев.

Стихи о том, как «партизанские отряды занимали города…», Петр Парфенов написал именно о январе 1920 года. Это потом, когда его текст отредактирует поэт Сергей Алымов, стихи превратятся в песню об октябре 1922 года — днях окончательного освобождения Приморья от белогвардейцев и интервентов.

Варфоломеевская ночь по-японски

Одни большевики настаивали на немедленном восстановлении советской власти, другие предлагали подождать, полагая, что Красная армия пока не может напрямую помочь Приморью. В итоге, чтобы «не обострять», власть передали Приморской областной земской управе во главе с эсером Медведевым. Однако фактически власть взяли коммунисты: зампред правительства и председатель финансово-экономического совета — Никифоров, управляющий отделом путей сообщения — Кушнарев. Военный совет возглавили эсеры Медведев и Линдберг, однако 6 марта в совет вошли большевики Лазо, Вл. Сибирцев, Луцкий, Мельников. Заместителем председателя стал Лазо — он и принимал все решения, тогда как Медведев был лишь формальным главой. Большевики создали своего рода альтернативную систему управления, полутеневой кабинет. Началось формирование революционных войск: Приморскую область разделили на Никольск-Уссурийский, Спасско-Иманский, Хабаровский и Ольгинский военные районы, а также крепость Владивосток.

Создание «розового» правительства было тактическим ходом большевиков. Карл Хартлинг так и назвал главу своих мемуаров — «Под красным флагом областной земской управы». Вот что он пишет об этих днях: «Новая власть определенно пользуется симпатиями американцев и чехов… Скрывавшийся до сего времени большевизм теперь открыто вышел на улицу… Главные нити управления… крепко держались товарищами из коммунистов… Такие люди сильны только скопом, но воля партии их делает действенными. Они много работают. Они не боятся переутомления…»

Из воззвания Дальневосточного комитета компартии большевиков (февраль 1920 года): «Советы не созданы на Дальнем Востоке по нескольким причинам. Во-первых, из-за присутствия здесь значительного числа иностранных войск… Японцы… присылают сюда все новые и новые войска с оружием и большим количеством снарядов, будто бы для охраны наших железных дорог и для помощи чехам уехать отсюда. Но каждый из нас понимает, что все такие уверения являются наглой ложью… Другая причина, почему на Дальнем Востоке нельзя немедленно восстановить Советскую власть, — это наша полная оторванность от Советской России… Мы считаем временную передачу власти земству переходной ступенью к Советской власти».

Наступает странное затишье. В феврале и марте в Приморье

мирно сосуществуют красные и японские гарнизоны. Между Приморьем и Советской Россией — «читинская пробка» атамана Семенова.

К апрелю японцы под предлогом помощи чехословакам доводят численность своих войск в Приморье до 175 тысяч человек, хотя уполномоченный чехословацкого правительства Гирс заявлял: «Ничьей помощи мы не просим, присылка японцами корпуса солдат только тормозит нашу эвакуацию» (Дальневосточное обозрение. 1920. № 251). Красные имели во Владивостоке и окрестностях 19 тысяч бойцов, японцы — 70 тысяч с превосходством в пулеметах и артиллерии. На рейде стояли японские корабли. По сути, это была не интервенция — оккупация[84]. С Японией Россия воевала всю первую половину XX века, и даже странно, что эта война — из-за нашего хронического евроцентризма? — попала как бы в тень мировых войн.

В качестве повода для «японского выступления» 4–5 апреля 1920 года был использован «инцидент Тряпицына» — он же «николаевский инцидент», он же «кровавая баня в Николаевске-на-Амуре». Если бы не Тряпицын — японцы нашли бы другой предлог, но Тряпицын оказался кстати. Прапорщик-орденоносец Первой мировой, в Гражданскую войну этот молодой (1897 г. р.) и, судя по всему, талантливый военачальник командовал партизанским отрядом, крупным соединением, затем — Охотским фронтом. Советские историки и мемуаристы не жаловали Якова Тряпицына, расстрелянного уже летом 1920 года, — называли вздорным, неуправляемым, жестоким[85]. Писали, что он брал к себе анархистов и уголовников, завел черно-красное знамя и черно-красные ленты на шапках, игнорировал указания партии, злоупотреблял властью, проводил «беспричинные расстрелы», в том числе коммунистов. А в период перестроечных разоблачений всего и вся нередко писали, что Тряпицын будто бы попросту уничтожил Николаевск-на-Амуре и вырезал всех его жителей.

Есть все основания считать «николаевский инцидент» следствием провокации японцев. «Именно японцы… неожиданно напали на партизанские отряды в Николаевске-на-Амуре… Партизаны ответили на провокационное нападение таким мощным ударом, что не только отстояли Николаевск-на-Амуре, но и разбили наголову японские части… Японское командование отказалось участвовать в расследовании событий в Николаевске-на-Амуре. Оно хорошо понимало и знало, к чему приведет это расследование», — писал Губельман.

В начале февраля 1920 года партизаны Тряпицына захватили крепость Чныррах и около месяца держали Николаевск-на-Амуре в блокаде. В ответ на предложение перемирия японцы убили

парламентеров Орлова и Сорокина. Тогда партизаны открыли орудийный огонь по казармам. Японцы пошли на переговоры. После подписания соглашения партизаны вошли в город, но уже 12 марта гарнизон майора Исикавы вероломно напал на них. После трех дней боев японцев разбили. Позже, когда вскрылся Амур, японцы направили сюда военные суда и два батальона пехоты. Партизаны ушли в тайгу. Будучи не в силах защищать город, штаб Тряпицына согласовал с Советами в Благовещенске вопрос об эвакуации пятитысячной армии и пятнадцатитысячного населения. Сам город было решено сжечь, чтобы помешать японцам создать базу в устье Амура.

Тряпицынская тема еще ждет вдумчивого и беспристрастного исследователя[86]. Для нас же сейчас важнее то, что эта история стала поводом для японского выступления.

Готовилось оно заранее. Слухи о «варфоломеевской ночи» ходили во Владивостоке с марта. 3 апреля 1920 года Лазо заявил: «То, что делают японцы, создает тревожное положение. Ими занят в городе ряд важных пунктов, вывешен флаг на Тигровой горе». Японцы проводили «учебные занятия» с оружием, занимали сопки, устанавливали на перекрестках пулеметы. Генерал Нисикава в мемуарах «История Сибирской экспедиции» признавал: уже в марте японцы готовились к нападению.

В первых числах апреля генерал Таканаги предъявил Приморской управе ультиматум, потребовав предоставить японским войскам самые широкие права и признать все соглашения, ранее заключенные с белыми властями. Создается русско-японская комиссия для выработки — чисто азиатское коварство! — мирного соглашения. Губельман: «Японское командование уверяло нас в своем миролюбии, разговаривало в согласительной комиссии, а на деле энергично готовилось к полному занятию края».

В ночь на 5 апреля японцы атаковали красные гарнизоны на Дальнем Востоке. «Выступление японцев являлось враждебной оккупацией Владивостока, сопровождавшейся бессмысленной, вызвавшей человеческие жертвы, стрельбой на улицах… Имеется достаточно подробностей для доказательства того, что открыли стрельбу японцы…» — писал генерал Гревс.

Никифоров: «В 11 часов вечера они начали захватывать правительственные учреждения. С Тигровой сопки и японских судов по городу ударили орудия, улицы простреливались из пулеметов».

Губельман: «Сотни убитых и еще больше арестованных — таков кровавый итог выступления».

Ильюхов и Титов: «Город превратился в ад».

С особой жестокостью японцы взялись за корейцев, к которым испытывали давнюю вражду. Ольга Лазо: «Окружили Корейскую слободку и буквально сжигали там людей» (где-то там мог находиться и малолетний дедушка Виктора Цоя). Губельман: «Вывели корейцев из помещения, приказали лечь в грязь и снова избивали. Потом арестованных заперли в здание школы и подожгли. Из охваченного огнем помещения неслись отчаянные крики. Корейское население следило издали, беспомощное, напуганное, лишенное какой бы то ни было возможности спасти заживо сжигаемых». Ильюхов и Титов: «Озверелые банды японских солдат гнали несчастных корейцев… избивая их прикладами».

Николай Асеев вскоре опубликовал стихи:

> И в воздухе, крик, пади и разбейся,
> В газету влейся красной строкой:
> — Куда уводят бледных корейцев
> С глазами, поющими вечный покой?

О том же писали стихи Алымов, Третьяков, Бурлюк[87]. Третьяков вспоминал: «Японское население Владивостока вышло на улицу торжествовать победу. Прачечники, парикмахеры, часовщики и тысячи японских проституток шли… по улице, дома которой были утыканы японскими флагами цвета яичницы — белое с красным диском… Мы тряслись от гнева, беспомощности и мести. Многих твердолобых советоненавистников в этот день японцы научили верности своей стране».

То же творилось в других городах; в Спасске был ранен Фадеев. Всего погибло до семи тысяч красных бойцов и мирных жителей. Во Владивостоке японцы схватили руководство военного совета — Сергея Лазо, Алексея Луцкого[88], Всеволода Сибирцева. Здесь мы подходим к другому загадочному сюжету, связанному с Лазо, — к его гибели.

По Губельману, японцы в конце мая доставили Лазо и его товарищей на станцию Уссури, где в то время стоял белый отряд Бочкарева[89]. Бочкаревцы и совершили казнь: «Первым был сожжен тов. Лазо. Его вынули из мешка и хотели живым втиснуть в топку. Завязалась борьба. Лазо, обладая большой физической силой, уперся руками, но удар по голове лишил его сознания, и он был брошен в топку… С другими товарищами было поступлено иначе: они были пристрелены в мешках, а затем брошены в топку».

Эта версия в советское время стала официальной[90]. История Лазо, родившая глумливые пародии вроде «бьется в тесной

печурке Лазо…», а также, возможно, позднейшее выражение «фтопку», была одним из советских героических мифов наряду с казнью Космодемьянской или подвигом Маресьева. Неудивительно, что в перестройку ее стали оспаривать, как и другие советские «жития». Говорили, что в топку того паровоза «пролезет только кошка». Удивлялись, зачем японцы увезли пленников за несколько сотен километров от Владивостока и передали бочкаревцам. Заявляли, что «паровоз Лазо», стоящий в Уссурийске, не тот — серии не «Ел», а «Еа», выпуска 1940-х…

Тут следует прежде всего заметить, что людей в паровозах в те времена действительно жгли (жутко читать про сожженного Джордано Бруно — но это ведь где-то там, в средневековой Европе… Еще более жутко изучать материалы Гражданской: наши соотечественники сжигали друг друга меньше века назад). Газета «Красное знамя», 27 июня 1920 года: «Жители Спасска… заявляют, что калмыковцы и бочкаревцы заживо сожгли в топке паровоза не только уполномоченного Временного правительства в Спасском районе Кустовинова, но еще и других шесть человек, имена которых неизвестны… Звери-люди сначала жестоко избили свои жертвы, а потом живыми, в полном сознании, бросили их в разведенную топку паровоза… Заживо сжигаемых мучеников изуверы тыкали и поворачивали, как поленья, раскаленными докрасна железными щипцами и кочергами». Есть данные о сожжении близ Спасска в паровозной топке партизанского командира Андреева. Из доклада Спасского комитета РКП(б) от 3 августа 1920 года за подписями Розен-Паспарне и Булыги (Фадеева): «Японцы и белогвардейцы в Спасске убили до 30 чел. Так, например, в последних числах июля было снято с поезда и сожжено в паровозной топке неизвестных два человека…»

И уж, наверное, тогда люди представляли себе размеры паровозной топки. Если бы сжечь в ней человека было технически невозможно — вряд ли эти рассказы появились бы. Лазо вполне могли убить именно таким способом. В это поверить куда проще, чем в его поход на Русский.

Что до паровоза «Ел-629», установленного в Уссурийске на проспекте Блюхера[91], то путаница с его серией — недоразумение: при очередной покраске этого памятника маляр случайно превратил букву «л» в «а»[92]. Размер шуровочного отверстия топки — 350×550 мм, колосниковой решетки, где сгорает топливо, — 2746×2191 мм, минимальная высота топки (со стороны будки машиниста) — 1645 мм. То есть человек влезет.

Передача пленников бочкаревцам тоже объяснима: вскоре после выступления японцы были связаны новым мирным

соглашением. Отпускать арестантов не хотели — и покончили с ними чужими руками, вдали от Владивостока.

Партию паровозов серии «Е» Россия заказала в Америке еще в Первую мировую. Согласно рассказу преподавателя Приморского института железнодорожного транспорта (Уссурийск) Сергея Бойчуня, о том, что Лазо сожгли именно в паровозе «Ел-629», сообщил в 1927 году кочегар, ставший свидетелем гибели большевиков[93]. По номеру паровоз в 1949 году опознали на станции Маньчжурия, а в 1960-х доставили в Уссурийск, где Бойчунь приводил его в порядок. Топка, говорит он, «специально сконструирована, чтобы в нее можно было залезть человеку. Это связано с технической необходимостью. Все помощники машиниста через это проходили, и я в том числе»[94].

И еще одно свидетельство. Бывший уполномоченный Госполитохраны ДВР Антонин Проценко в 1970-х рассказывал историку Борису Мухачеву о задержанном в 1921 году хорунжем Михайленко. Тот сообщил: в мае 1920 года на станции Уссури японцы передали Бочкареву, Михайленко, Овечкину и еще двоим казакам Лазо, Луцкого и Сибирцева. Большевиков хотели в мешках сбросить в реку с железнодорожного моста через Уссури, но японский капитан посоветовал сжечь: «Это самый лучший и проверенный метод, когда политические враги исчезают бесследно». Пленных привезли на станцию Муравьев-Амурский. Из паровоза «Ел-629» прогнали машиниста, оставив кочегара-китайца. Пленников по одному затолкали в топку, после чего туда же отправили кочегара. Хорунжий Михайленко и еще двое участников расправы были расстреляны по приговору трибунала 2-й Амурской армии.

О Лазо следует сказать подробнее.

Он был личностью действительно выдающейся. «Лицо поразительной интеллектуальной красоты», — писал о нем Фадеев. Был математиком, блестящим шахматистом. Партизанский командир Певзнер отмечал «исключительную культурность» Лазо. Спокойный, обаятельный, уверенный… М. Губельман: «Во всей внешности — ничего грозного, подчеркнуто боевого. Скромен, прост, приветлив и спокоен… Я всегда удивлялся огромным запасам знаний, которыми он обладал». Фадеев отмечал в Лазо таланты организатора и переговорщика (сумел обуздать анархиствующих партизан Шевченко). Когда высокий Лазо ехал верхом, стремена едва не касались земли, а сам он возвышался над крупом лошади, как каланча. «Внешне он напоминал Дон-Кихота», — пишет Фадеев, но тут же спохватывается: «Это совершенно не соответствовало

внутреннему его облику». Между тем у Дон Кихота и Лазо могло быть не только внешнее сходство. Оба были идеалистами. «Чувствовалось, что он совершенно не беспокоится о своей судьбе. Как я убедился потом, это качество было присуще ему и в боевой обстановке», — писал Фадеев. Вспоминается и прощальное письмо родителям романтика революции Че Гевары: «Я вновь чувствую своими пятками ребра Росинанта, снова, облачившись в доспехи, я пускаюсь в путь…» Между аргентинцем Геварой, испанцем Кихано и молдаванином Лазо — прямые параллели. Даже почечная болезнь Лазо рифмуется с астмой команданте Че[95].

Известен список книг, изучавшихся Лазо зимой 1918/19 года во владивостокском подполье: Маркс, Энгельс, Ленин, Бокль, Шопенгауэр, Мах, Вольтер, Фихте, Клаузевиц, «Этика японцев» Инчикавы, книги о судовых турбинах, двигателях внутреннего сгорания, Салтыков-Щедрин, Чернышевский, Короленко, Вересаев, Герцен, Лондон, высшая математика…

Асеев вспоминал митинг в марте 1920 года, посвященный годовщине падения самодержавия. Просил слова, но эсер Медведев не пускал поэта на трибуну. Тут подошел молодой человек — «красивый, рослый и осанистый», спросил, что Асеев хочет читать. Тот ответил: стихи о партизанах. Тогда молодой человек отвел его за вокзальную площадь, где шел альтернативный митинг — пролетарский. «Грузчики слушали стихи как надо. Ни кашля, ни шепота за пятнадцать минут читки». Вслед за Асеевым выступил и сам этот молодой человек, оказавшийся Сергеем Лазо, — «тонкий, ловкий и легкий, как девушка».

Лазо был выше других на голову не только в прямом смысле. Не погибни он в свои двадцать шесть (герои той эпохи задолго до рок-звезд жили быстро и умирали молодыми), он сделал бы блестящую карьеру. В 1941 году Лазо было бы 47 лет — генеральский возраст. Они почти ровесники с Жуковым, Рокоссовским, Коневым. Ильюхов: «Полководец нового, советского типа… На полях сражений в Забайкалье в 1918 году он образцово сочетал… оперативное искусство с талантом организатора и воспитателя масс».

Лазо — потомственный дворянин[96]. В 1912 году он поступил в Петербургский технологический институт, в 1914-м — на физмат Московского университета. Работал братом милосердия в солдатском госпитале. В 1916-м призван в армию, направлен в Алексеевское военное училище в Москве. Получил чин прапорщика и назначение в Красноярск, в 15-й стрелковый запасной полк. В дневнике Лазо — размышления, описания

природы… У него был несомненный литературный дар.

Он осознанно порвал с предназначенной ему судьбой. Лазо с юности тяготило сознание того, что у него есть собственность и избыток денег: «Нужно было отказаться от всего, от всех благ, но и от всех зол того строя, в котором я вырос». Лазо не желал «судьбы городского обывателя, который чувствует себя неловко вне своей квартиры и привычного места службы», не хотел «превратиться в трусливое животное, готовое поступиться своими мыслями и вступить в сделки с совестью, лишь только ему угрожает опасность и лишения». «Всем существом моим… овладевало стремление к знанию и стремление к действию… Ради этих стремлений я готов был пожертвовать и жертвовал и удовольствием, и личным счастьем», — писал он.

Прапорщик, вместо фронта попавший в запасной полк в Сибири, проявил себя блестящим военачальником. Далеко не всегда он полагался на силу или тактику. Своей задачей видел не уничтожение противника, а перерождение общества. Умел работать с людьми, в том числе с врагами. Это был наименее кровопролитный, самый гуманный — но и очень непростой путь: нужно было представлять «настроения масс», знать, о чем думают солдаты и офицеры. Видимо, здесь — не на пустом месте — и возник миф о походе Лазо на Русский.

Во Владивостоке скульптуру Лазо водрузили на постамент адмирала Завойко — героя обороны Камчатки в Крымскую войну 1853–1856 годов. Адмиралу после смерти фатально не везло: памятник снесли, поселок Завойко на Камчатке переименовали в Елизово, пароход «Адмирал Завойко» стал «Красным вымпелом»… Сегодня во Владивостоке нередко говорят о необходимости восстановить историческую справедливость. Завойко, безусловно, — выдающаяся личность. Но мне бы не хотелось, чтобы теперь Лазо снимали с пьедестала, как когда-то сняли Завойко. Оба они — герои нашей истории, и памятника заслуживает каждый.

Тем более что у Лазо нет даже могилы. Он ушел напрямую в приморское небо — через паровозную трубу.

Японское выступление возмутило не только красных. Никифоров вспоминал: «Японцы обратились к представителям крупной владивостокской буржуазии с предложением возглавить кабинет. Буржуазия… не только отказалась организовать власть, но и выступила с публичным протестом против провокационных действий японских интервентов и заявила о поддержке правительства Приморской областной земской управы».

Не сумев найти подходящего кандидата для создания

лояльного правительства, японцы согласились оставить власть у земской управы[97]. Но ситуация была уже совсем иной, чем в феврале — марте. С японцами пришлось заключить вынужденное соглашение, прозванное «дальневосточным Брестом», — о прекращении боев и отводе войск от японских гарнизонов и железной дороги, которая осталась под контролем интервентов. 22 апреля японцы высадились на Северном Сахалине, в мае оккупировали Николаевск[98]. Воевать с сильной японской армией красные не могли, терять Приморье не хотели. И тогда Москва идет на необычный шаг — создание Дальневосточной республики.

Фантом с кочующей столицей

Виктор Кин в своем «дальневосточном» романе «По ту сторону» писал: «О, это была веселая республика — ДВР! Она была молода и не накопила еще того запаса хронологии, имен, памятников и мертвецов, которые создают государству каменное величие древности… Республика была сделана только вчера, и сине-красный цвет ее флагов сверкал, как краска на новенькой игрушке».

ДВР создали почти одновременно с японским выступлением, хотя идея ее появилась раньше. В советское время предпочитали не говорить о том, что идею эту большевикам подсказал меньшевик И. Ахматов — представитель Политцентра[99]. 19 января 1920 года в Томске Ахматов на совместном заседании Сиббюро ЦК РКП(б), Сибревкома, 5-й армии и Политцентра изложил предложение умеренных социалистов о «временном буферном государстве на демократических началах». И. Н. Смирнов, председатель Сиббюро и Сибревкома, идею поддержал и уже 20 января проинформировал по телефону Ленина и Троцкого: есть идея создать «буфер» от Зимы до Владивостока, чтобы с помощью Америки очистить Дальний Восток от японцев. Смирнов говорил о «фиктивном государстве», создаваемом на четыре недели.

Ленин в телеграмме от 21 января (вот скорость принятия решений!) идею одобрил, посчитав недопустимым вести войну на востоке, пока на западе не все окончено — иначе «Деникин оживет и поляки ударят». Чтобы не воевать на два фронта, было решено создать «красный буфер» — демократическую де-юре суверенную страну, а восстановление Советов отложить[100]. «Обстоятельства принудили к созданию буферного государства — в виде Дальневосточной республики, — писал Ленин. — Вести войну, с Японией мы не можем и должны все сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить войну с Японией, но, если можно, обойтись без нее»[101]. Ильюхов и Титов: «Требование Советов в чистом виде вело к вооруженному столкновению с Японией, чего нельзя было в то время допустить… Этому прямому, беспересадочному, но губительному пути был противопоставлен более длинный путь, зигзагообразный, но верный…»

Интересно, что 2 марта 1920 года Далькомитет РКП(б) успел принять решение о советизации Приморья, и она даже началась — земства стали ликвидировать. 16 марта 1920 года в Никольск-Уссурийском открылась 4-я Дальневосточная краевая

партконференция. Многие, в том числе Лазо, выступили против ДВР, за немедленное восстановление Советов. Президиум конференции даже успел послать Ленину телеграмму о советизации Дальнего Востока, но тут из Москвы прибыли новые директивы ЦК РКП(б). Вскоре Дальневосточный партком отменил постановление конференции о введении советской власти. «Казалось странным, что после стольких лет борьбы с контрреволюцией надо отказаться от немедленного создания Советской власти, — писала Ольга Лазо. — Когда нам стали известны соответствующие директивы центра, Сергей немедленно начал проводить разъяснительную работу среди масс и доказывать, почему мы должны пойти на организацию „розовой власти“ в Приморье». Лазо понимал диалектику и был дисциплинированным солдатом партии[102].

О Дальневосточной республике, этом странном государстве или фантоме, следует сказать подробнее. Гражданами ДВР числились столь разные фигуры, как будущий писатель Фадеев и Юлий Борисович Бринер (он же — звезда Голливуда Юл Бриннер[103], герой «Великолепной семерки»).

Республика просуществовала чуть больше двух лет — с 6 апреля 1920 года по 14 ноября 1922 года — но миф о ДВР оказался куда живучее самой республики. Флаг ДВР нередко поднимают сторонники (впрочем, немногочисленные) дальневосточного сепаратизма, замешенного на антимосковской идеологии. Факт, однако, в том, что Дальневосточная республика была создана Москвой — и Москвой же упразднена. ДВР и сепаратизм не имели ничего общего. Марионеточная ДВР не была самостоятельным государством, этаким островком тихоокеанской вольницы, хотя такую роль ей приписывают некоторые современные дальневосточники, утомленные непродуманной региональной политикой Центра. Если появление в те же годы различных республик на юге России было связано с «местническими тенденциями», то ДВР была учреждена сверху, реальной независимостью не обладала, исторических корней не имела. Хотя имела все внешние признаки самостоятельного государства: правительство, символику, марки, конституцию, деньги[104].

Формально власть ДВР распространилась на огромную территорию от Забайкалья до Камчатки. Де-факто республика контролировала поначалу небольшое пространство в Прибайкалье, где сохранялась Временная земская власть, находившаяся под влиянием коммунистов. Поэтому первой столицей ДВР стал Верхнеудинск — нынешний Улан-Удэ (велась

речь о Владивостоке, но там столь некстати случилось японское выступление[105]).

Республика была разорвана «читинской пробкой»., Связь пришлось устанавливать через Охотский телеграф. Председатель Далькомитета РКП(б) Кушнарев ехал из Владивостока в Иркутск через Китай и Монголию. Большевик Смирнов считал: «Владивосток для нас погиб»[106]… Дальневосточная республика могла съежиться вокруг Верхнеудинска и превратиться в Забайкальскую.

По конституции ДВР, принятой в феврале 1921 года, высшую исполнительную власть осуществляли правительство (нечто вроде коллективного президента) и Совет министров. Правительство возглавил Александр Краснощеков[107] — незаурядный экономист, которого ценил Ленин. Петр Никифоров стал во главе Совета министров. Впрочем, ряд историков называют реальным негласным правительством этого временного советского протектората Дальбюро ЦК РКП(б). Существенные вопросы внутренней политики и все без исключения вопросы внешней решал именно ЦК через Дальбюро. Чиновникам ДВР следовало «прилагать все усилия к устранению местного сепаратизма».

Конституция ДВР была демократической в плане прав человека, социалистической с точки зрения защищенности трудящихся, либеральной в смысле экономических свобод. Граждане ДВР избирали Народное собрание — высший законодательный орган, который избирал правительство, а уже последнее формировало Совет министров. Был предусмотрен «народный контроль» — наблюдение за деятельностью органов власти, своего рода общественная прокуратура.

Правящей партией в буржуазно-демократической ДВР признавалась коммунистическая, а Народно-революционная армия (НРА) республики рассматривалась как одна из армий Советской России. В «Кратких тезисах по ДВР», принятых 13 августа 1920 года Политбюро ЦК РКП(б), говорилось, что буржуазный демократизм республики — чисто формальный, «введение парламентского строя… не должно быть допущено».

Признавалась частная собственность — но капиталистов ограничивали (вплоть до конфискации предприятий «врагов народа» и введения госмонополии на хлеб). Доктор исторических наук Юрий Качановский указывал, что в ДВР не было ни военного коммунизма, ни нэпа по-советски: «С самого начала допускалась свобода торговли и частного предпринимательства. Не были национализированы банки. Не вводился рабочий контроль, не требовались обязательные коллективные договора

предпринимателей с профсоюзами. Не конфисковывались жилища богачей, рабочие не переселялись в лучшие квартиры. Сохранялись частные школы… Частным лицам сдавались в аренду большие участки пашни и лугов. Не создавались комбеды, не вытеснялось кулачество». Действовало всеобщее избирательное право, сохранялась многопартийность.

Большевики привлекали к управлению «торгово-промышленный класс» и альтернативные политические силы. В мае 1921 года они раздали крупным коммерсантам, эсерам, меньшевикам портфели нескольких министерств, в том числе финансов, промышленности, национальных дел, просвещения[108], юстиции, земледелия. Правда, долго они не проработали — уже в конце 1921 года эсеры и меньшевики вышли из коалиции, не добившись права участвовать в работе МИДа и военного ведомства.

«Для буржуазии и кулачества было предоставлено пропорциональное их численности участие в строительстве республики, решающее же влияние в экономической и политической жизни ДВР принадлежало рабоче-крестьянскому большинству», — пишет Никифоров. Летом 1921 года был взят курс на либерализацию в экономике. Появились торгово-промышленные палаты — самостоятельные организации бизнесменов. Разрешили частную добычу и продажу золота, создание концессий. Внешнюю и внутреннюю торговлю почти целиком контролировал частный капитал. В 1922 году преемникам фирмы Чурина даже решили вернуть национализированные ранее спичечную фабрику, кожевенный и винокуренный заводы.

Но считать экономическую политику ДВР в полном смысле либеральной нельзя. Судя по статье П. Маслова 1922 года «Основные принципы таможенной политики в ДВР», здесь имел место даже не протекционизм, а ультрапротекционизм. Летом 1920 года в ДВР ввели продразверстку — хлебную и мясную, позже замененную натуральным налогом.

В апреле 1920 года во Владивостоке открылся Государственный Дальневосточный университет[109], созданный на базе Восточного института (к восточному факультету добавили еще два — историко-филологический и общественных наук). Весной 1921 года в Чите открылся Госинститут народного образования.

ДВР была страной двойственной, многосмысленной. Похожей на колеблющийся мираж, призрак, фантом. Гибкий диалектик, Ленин решил отсечь конечность, пораженную гангреной, чтобы сохранить организм; а если гангрену удастся одолеть, то ничто не

помешает пришить эту конечность обратно. Так и вышло. Словно жидкий терминатор из фильма Кэмерона, страна сделала вид, что рассыпалась, чтобы потом вновь собраться воедино[110].

В июле 1920 года на станции Гонгота было подписано соглашение о перемирии и установлена нейтральная зона между японскими войсками и НРА. С августа 1921-го по апрель 1922 года власти ДВР вели бесплодные переговоры с Японией в Дайрене (он же Далянь, Дальний). Одновременно усиливалась поддержка республики со стороны Советской России.

Армия ДВР двинулась на восток. В конце 1920 года военным путем покончили с «читинской пробкой» атамана Семенова, хотя Никифоров в телеграмме Ленину настаивал на переговорах. Вопрос о перемирии с интервентами обошли просто: японцам, обращавшимся к Краснощекову по поводу действий Амурского фронта, отвечали, что это действуют не части НРА, а самодеятельные партизаны. Новой столицей ДВР стала Чита. В июне 1921 года пост военного министра ДВР и главкома НРА занял герой Перекопа Василий Блюхер[111]. Вновь начались споры о возможности немедленной советизации ДВР — и вновь решено погодить. Ближайшая задача — захватить Хабаровск и Приморье.

Едва ли «буферная» природа ДВР могла кого-то обмануть. В Приморье в начале 1921 года при помощи Японии, Англии, Франции и США переброшены войска Семенова и Каппеля[112]. Растет японский контингент. Семеновцы, каппелевцы и японцы готовят новый переворот.

Этот переворот, названный «меркуловским», произошел 26 мая 1921 года. К власти пришло Временное Приамурское правительство во главе со Спиридоном Меркуловым (его брат Николай тоже вошел в правительство). Из информации Приморского областного ревкома: «Переворот… произошел при полном участии японцев. Японские жандармы в военном и переодетые в штатское выдавали оружие каппелевцам»[113]. РКП(б) объявили преступной организацией, гербом стал двуглавый орел без монархических символов. В Совет управляющих ведомствами вошли бывшие царские и колчаковские чиновники. Сторонники коммунистов и областного управления ДВР преследуются, большевики снова уходят в подполье. Ильюхов: «Закипела работа по организации партизанских отрядов из рабочих и крестьян. Началась новая тяжелая… вторая партизанская война». Именно в это время во Владивосток, по Юлиану Семенову, прибыл журналист Исаев — агент Дзержинского[114].

В июне приехавший из Дайрена атаман Семенов предъявил

претензии на власть. Японцы поддерживали Семенова, американцы делали ставку на Меркуловых; лишившись поддержки японцев, Семенов уехал в Порт-Артур[115].

Всеволод Никанорович Иванов[116] в воспоминаниях «Крах белого Приморья», написанных по горячим следам, утверждал: «Меркуловым… Приморье обязано тем, что в течение полутора лет — с 1921 по 1922 — имело передышку и некое человеческое существование». По Иванову, это был утверждающийся национально ориентированный капитализм: «Начала оживать Сибирская флотилия, был положен конец вожделениям Вандерлигов на Камчатку. Раздался пушечный выстрел по пароходу-хищнику, идущему под английским флагом. Начали поступать платежи с иностранцев за пользование русскими лесными и морскими богатствами… Восстановилась пограничная охрана… Стало меркнуть обаяние атамана Семенова, внеконкурентного до сей поры в глазах японской военной клики». Иванов утверждал, что меркуловское правительство «было признано всем населением», а роль интервентов в усилении Меркуловых принижал, добавляя: «Не существовало никакой реальной опасности отторжения территории».

Иванов, вероятно, лукавит, потому что иные оценки можно найти даже у самих интервентов и белых, не говоря уже о красных. Вот что писал П. Антохин («Из истории борьбы за власть Советов в Приморье». Владивосток, 1942): «При Меркуловых грабеж Приморья достиг невиданных размеров. В июне 1921 года братья Меркуловы и атаман Семенов за 50 тыс. иен, 24 пулемета, 8 орудий и некоторое количество боеприпасов… предоставили интервентам право контролировать Уссурийскую ж. д., а также вырубать лес, ловить рыбу, добывать уголь и руду, бить пушного зверя… на всем приморском побережье от Николаевска-на-Амуре до Посьета. Хотя и раньше интервенты увозили немало русского леса и рыбы в свою страну, но после этого сговора они набросились на богатства Приморья с особенной алчностью. Братьями Меркуловыми были проданы интервентам за бесценок пять морских пароходов… 19 авиационных моторов, 14 верст телефонного кабеля и множество другого государственного добра»[117]. На портовых складах, пишет Антохин, было на десятки миллионов золотых рублей государственных грузов[118] — после меркуловщины не осталось почти ничего.

К осени 1921 года Временное Приамурское правительство оказалось на грани экономического, политического, морального краха. Большевики во главе с В. Шишкиным ведут работу среди каппелевцев, готовят переворот. Однако в октябре контрразведка[119] раскрывает заговор. Арестовано около двухсот

подпольщиков, тела руководителей большевистского подполья позже выловят в море. История конца 1919-го — начала 1920 года не повторилась. Дальбюро и правительство ДВР отказываются от идеи антимеркуловского переворота. Военком Приморских войск НРА ДВР В. Владивостоков в записке в Дальбюро 15 января 1922 года пишет: теперь «приморский вопрос» может быть решен только силой.

Армия ДВР воюет с переменным успехом. В конце 1921 года белые и японцы отбивают Хабаровск («Хабаровский поход»), народоармейцы отступают к станции Ин. Линия фронта — у Волочаевки, ключа к Хабаровску. А взятие Хабаровска открывает путь на юг, к Владивостоку.

5–6 января 1922 года НРА безуспешно пытается взять Волочаевку. Генерал Молчанов[120] превращает сопку Июнь-Карани (Июнь-Корань) у Волочаевки в укрепрайон с несколькими рядами проволоки. Равнина к западу от сопки просматривается и простреливается, глубокий снег притягивает боевые действия к полотну железной дороги.

В феврале 1922 года здесь происходит решающее сражение — те самые «волочаевские дни» из песни. Блюхер вспоминал: «Все части белоповстанческих отрядов имели прекрасную специальную подготовку и опытное командование. Они были поставлены в очень хорошие жилищные условия, будучи размещены до боев по домам, хорошо питались, были тепло одеты и для сохранения боеспособности во время больших переходов перебрасывались на обывательских подводах… В короткий срок части белоповстанческой армии укрепились за целым рядом искусственных проволочных заграждений… По отзыву самого командующего белоповстанцами генерала Молчанова, деревня Волочаевка… являлась для нас недоступной».

Перед наступлением Блюхер обращается к генералу Молчанову и его бойцам с воззванием, полным патриотической риторики (она не была оторвана от практики: в ходе Гражданской войны на Дальнем Востоке именно большевики вели себя как самые последовательные «державники», как бы это ни расходилось с некоторыми современными оценками): «Какое солнце вы предпочитаете видеть на Дальнем Востоке: то ли, которое красуется на японском флаге, или восходящее солнце новой русской государственности?.. Единственным, кто стоял за единство России, кто отстаивал ее от вожделений иностранных империалистических акул, была… Советская власть, которая… до сих пор ни одного клочка русской территории не отдала в цепкие лапы иностранных претендентов, не в пример русским временным правительствам… Кто до сих пор делал истинно

национальное русское дело, хотя и имел интернациональные задачи? Советская власть и только она одна»[121]. Обещая сдавшимся жизнь, Блюхер напоминал: каппелевцы в штабе НРА ДВР занимают высокие должности.

Не сработало — пришлось воевать. Волочаевку потом назовут «Дальневосточным Перекопом». 10 февраля на морозе части двинулись в наступление. Проволоку рвали штыками, прикладами, руками. «Первый ряд проволоки уничтожен, завален трупами… Люди лезут на второй ряд. Но первая наша атака отбита. Бойцы бегут назад, за снеговые окопы. На проволоке остаются висеть тела убитых и раненых… Слышны изредка стоны умирающих на проволоке», — вспоминал участник штурма А. Захаров.

Ряд историков и наблюдателей критикуют Блюхера за напрасные потери. Пишут, что Серышев и Покус[122] убеждали главкома отремонтировать мосты, чтобы пехота наступала во взаимодействии с бронепоездами, но 10 февраля, несмотря на то что ремонт еще не был завершен, Блюхер не стал отменять штурм. Артиллерия отстала, пехоте пришлось воевать самостоятельно, тогда как бронепоезда белых подходили к цепям народоармейцев почти вплотную. «Волочаевки могло и не быть», — считал Генрих Эйхе[123].

К 12 февраля мосты и полотно восстановили. В бой вступили бронепоезда и артиллерия, Волочаевка была взята. Блюхер: «Даже противник был восхищен подвигом наших частей. Полковник Аргунов, командовавший белоповстанческими частями района Волочаевки, убегая к Иману, сказал, что он всем красным героям Волочаевки дал бы по Георгиевскому кресту»[124].

«Город нашенский»

Через считаные дни был взят Хабаровск, за ним — Бикин, Иман.

Дальбюро принимает новую тактику: не соблюдать границы нейтральной зоны, не бояться стычек с японцами. Однако когда к апрелю части НРА оказались уже у Спасска и японцы, напомнив о нейтралитете, открыли артиллерийский огонь, Блюхеру приказали отойти к Иману[125] и прекратить вооруженные столкновения с японцами[126].

Уже в июне 1922 года японцы обещают вывести войска с территории Дальнего Востока (кроме Сахалина) к 1 ноября. В августе эвакуация начинается. Одно из условий — демилитаризация Владивостока, упразднение крепости.

Тем временем во Владивостоке — очередной переворот. 31 мая Народное собрание низложило правительство Меркуловых. В июле открывается Земский собор. На нем было принято решение восстановить в России монархию, по поводу чего послана телеграмма великому князю Николаю Николаевичу. В августе правителем Приамурского земского края (после отказа бывшего генерал-губернатора Гондатти) был избран прибывший из Харбина генерал Михаил Дитерихс[127]. Он стал «воеводой земской рати», назвал себя «князем Пожарским нового времени», а Владивосток — Четвертым Римом.

В оценке Дитерихса, что интересно, совпадают противопоставлявшиеся выше Вс. Н. Иванов и Антохин: первый называет его «случайно подвернувшимся бесталанным ничтожеством», второй — «выжившим из ума стариком». Арсений Несмелов заметил: «Трагедия борьбы белых с большевиками в то время на Востоке уже выродилась в комедию». Поэт понимал опереточность, фарсовость происходящего — а тогдашние правители края уже не понимали. Они потеряли фарватер истории.

В Приморье вводится строжайшая цензура. Белый террор достигает апогея. В топках канонерской лодки «Манджур», ставшей плавучим застенком, сжигают людей. Тела профсоюзных лидеров Гульбиновича и Башидзе обнаруживаются в Золотом Роге. Продолжается распродажа того, что не успели продать при Меркуловых.

Дитерихс объявил поход на Москву[128], но дошел лишь до Спасска. Здесь штаб генерала Молчанова занял то самое здание, из которого в апреле 1920 года убегал в тайгу Фадеев. В начале октября Спасск пал, за ним — Никольск-Уссурийский. На этом

этапе столкновений с японцами уже не было — война шла между красными и белыми.

Уходя, японцы вырубают лес, забирают металл, флот, разрушают крепостные сооружения, увозят даже рельсы. Из информации оперативного отдела штаба партотрядов Приморья: «Японцами грузятся на пароходы части железнодорожных стрелок, железо, части машин и станков, скаты, железнодорожное имущество, части машин от аэропланов и автомобилей и разная мебель. В общем, увозят награбленное русское добро. Правительством Дитерихса продан китайцам миноносец „Инженер-механик Анастасов“ и узкоколейная жел. дорога с вагонетками и прочим оборудованием, снятая с портов гор. Владивостока, которая отправлена в гор. Харбин».

15 октября Дитерихс констатирует: борьба окончена. Предлагает рати «разойтись» или уйти в Китай[129]. Контр-адмирал Старк намеревался оборонять Владивосток при помощи крепостных фортов и кораблей Сибирской флотилии, но Дитерихс этот план не поддержал, а японцы отказались передавать боеприпасы и оружие.

Старк уводит за границу 30 судов Сибирской флотилии с армией Дитерихса и беженцами. «Город переворотов, город радужных надежд и горьких разочарований доживал свои последние дни», — писал Михаил Щербаков, покинувший Владивосток с флотилией Старка. Уходит в Китай и Всеволод Владимиров-Исаев, будущий Штирлиц. «Оттянули трап, замелькали платки, заработали машины, придвинулись чернеющие в малиновых сумерках, усеянные огнями мощные силуэты созерцающих наше бегство японских и американских крейсеров[130], и над закатом, пылавшим над похоронно-черным Владиво, как называли японцы Владивосток, дрожа в черной воде, встала рубиновая вечерняя звезда», — писал Вс. Н. Иванов.

НРА под командованием Уборевича 19 октября занимает пригород Владивостока — станцию Океанскую. Японское командование обещает завершить эвакуацию 25 октября, и Уборевич отводит войска чуть назад, к Угольной. В это же время во Владивостоке подпольный облнарревком принимает меры против грабежей и расправы со сторонниками Советов во время эвакуации. Ведется работа среди городской милиции, создаются рабочие дружины, берутся под охрану важные объекты.

24 октября на пригородной станции Седанка подписано соглашение с японцами о порядке занятия Владивостока красными. 25 октября народоармейцы без выстрела входят в город. Эта дата считается днем освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов.

К. Гвозд, служивший в 1-м Читинском стрелковом полку, вспоминал: «Впереди колонны шли, увешанные гирляндами цветов, командир полка Гнилосыров и военком Машин, за ними рота за ротой бойцы во главе со своими командирами и политруками, также украшенными цветами. На наших трофейных верблюдах важно и с волнением восседали дети». Верблюдов полк отбил в Монголии — у барона Унгерна. «Во время движения наших войск было несмолкаемое „Ура!“. Мы были засыпаны цветами, многие от радости плакали… Картина была величественная и радостная. В городе полный порядок», — телеграфировал 26 октября Уборевич в Москву.

История ДВР закончилась. По требованию трудящихся (кого же еще!) уже в ноябре 1922 года республика была ликвидирована и влилась в РСФСР[131].

Тогда-то, 20 ноября, Ленин и произнес на пленуме Моссовета известные слова про «город нашенский». То есть — никакой больше самостоятельности, даже на бумаге. Дальневосточную республику поглотила единая Россия. Фраза, которую в советском Владивостоке лепили повсеместно (меня она коробила обилием запятых), полностью звучит так: «И вот, взятие Владивостока показало нам (ведь, Владивосток далеко, но, ведь, это город-то нашенский) всем всеобщее стремление к нам, к нашим завоеваниям. И здесь и там — РСФСР».

Кажется удивительным, как в те смутные годы Приморье умудрилось не отпасть от основной России — это ведь всегда легче, чем потом воссоединиться.

Исторический прецедент позволяет надеяться на лучшее даже тогда, когда других оснований для оптимизма нет.

…ДВР исчезла, но миф о ней продолжает жить.

Сегодня никому уже не важно, чем была реальная ДВР. Ее смутный образ наполняется фантастическим содержанием: Атлантида, земля обетованная, то ли существовавшая в действительности, то ли нет. В 1992 году некая Дальневосточная республиканская партия даже потребовала референдума о восстановлении ДВР, угрожая сформировать временное правительство и выступить в ООН и в Гаагском суде. Тогда это не выглядело совсем уж бредом — вот и уралец Россель успел в 1993-м создать Уральскую республику, да и на якутской границе в начале 1990-х появлялись таможенные посты… «Дискуссии о возрождении ДВР шли на полном серьезе», — говорит владивостокский историк Сергей Корнилов.

К началу XXI века все эти поползновения были пресечены. Сегодня едва ли можно всерьез говорить о дальневосточном

сепаратизме, но беспокойный призрак ДВР нет-нет да оживет. Взять хоть местную поговорку 1990-х: «Запретите правый руль — и получите Дальневосточную республику». Появление в 2010-м «приморских партизан» тоже не могло обойтись без конспирологических версий о «запуске сепаратистского сценария» и воссоздании Дальневосточной республики. А сайт gazeta.ru даже назвал ДВР «Новороссией Дальнего Востока»[132]…

К реальности миф о ДВР может иметь мало отношения. Но миф красивый — пусть живет.

Приморский партизан

В апреле 1919 года семнадцатилетний Фадеев бросает училище, где как раз начались выпускные экзамены, и уходит в партизаны под кличкой «Булыга»[133].

Подпольное паспортное бюро оборудовали под сценой Народного дома. Девушки доставали в городской управе вышедшие из употребления паспорта, смывали старые фамилии и надписывали новые.

Лев Никулин[134] вспоминал: «Партийная кличка, которую он придумал себе, — „Булыга“ — вызывала у него улыбку:

— Почему Булыга? Сам не понимаю».

Игорь Сибирцев стал Селезневым, Билименко — Судаковым, Нерезов — Сомовым, Бородкин — Седойкиным… Булыга — наиболее выразительный псевдоним. Он похож на подпольные имена будущих руководителей СССР — «Молотов», «Сталин», «Каменев»… Образный ряд тот же, но «Булыга» — не просто камень, а камень твердый, крупный[135]. Глыба, валун, «орудие пролетариата». Уже здесь проявилось фадеевское чувство стиля. Даже странно, что потом он отказался от звучного псевдонима, вернувшись к своей заурядной фамилии (или она была ему дорога из-за оставившего семью отца, которого он не помнил?). Аркадий Голиков, к примеру, навсегда превратился в Гайдара, да и фадеевский друг Гриша Билименко так и жил под именем Георгия Судакова — те прозвища легко прирастали навсегда. Но Булыга вновь стал Фадеевым, хотя довольно долго подписывался двойной фамилией: Булыга-Фадеев. Многие думали, что Булыга — его настоящая фамилия, а Фадеев — псевдоним; даже сегодня некоторые источники приводят эту ошибочную версию.

В 1972 году после боев на Даманском[136] в ходе антикитайской топонимической кампании село Сандагоу[137] в Приморье переименовали в Булыга-Фадеево. Получается, в честь не столько писателя, сколько партизана — иначе назвали бы попросту «Фадеевкой».

Апостольское имя «Фаддей» («Фадей») переводят то как «божественный дар», то как «хвала», то как «мужское сердце». Все три варианта выглядят применительно к судьбе Фадеева провидческими. А в «Булыге-Фадееве» слышится и пришвинский «камень-сердце».

Фадеев партизанил в Приморье, Приамурье и Забайкалье около двух лет — с весны 1919-го по начало 1921 года.

19 апреля 1919 года во Владивостоке прошла подпольная

конференция РКП(б). Заслушан доклад Лазо «О задачах партии в Приморье», принято решение усилить отряды партизан лучшими большевиками. «В помощь и для руководства партизанским отрядом комитет в разное время посылал Лазо, Губельмана, Шумяцкого, Дорошенко, Игоря Сибирцева, Владивостокова, Сашу Фадеева (Булыга), Руденко, Исаака Дольникова, Судакова, Нерезова, Мишу Мышкина (Вольский), Тамару Головнину, Гаврилу Шевченко, Попова, Мамаева и других товарищей», — пишет А. А. Воронин-Птицын в воспоминаниях «Владивостокское подполье». Фадеева единственного он называет «Сашей», видимо имея в виду его молодость. Одни направлены в Анучино, другие — на Сучан, третьи — в Тетюхинско-Ольгинский район. Не рядовыми бойцами — для руководства, организации.

Уход Фадеева в партизаны не был спонтанным: он уже был большевиком и подпольщиком. Имелось и решение партконференции, что, конечно, не отменяет добровольности совершенного Сашей и его друзьями поступка (этот сюжет довольно точно рифмуется с краснодонским подпольем 1942–1943 годов).

Именно весной 1919 года в Приморье объявили мобилизацию в армию Колчака, чем объясняется уход немалой части молодежи в партизаны. «Забривали» и учащихся средних учебных заведений — был издан приказ о досрочных выпусках. Из «соколят» мобилизации подлежали все, кроме Фадеева — родившемуся в декабре, ему еще не было восемнадцати. Фадеев вспоминал: «Брали молодых людей, даже учащихся, родившихся в 1899 и 1900 гг.». Он-то мог и подождать. Но — пошел.

Могут сказать: задурили голову пацану… Что это такое вообще — уйти в партизаны? Не в регулярную армию, не по мобилизации. Такой шаг — куда серьезнее, он многое говорит о человеке. По своему человеческому типу юный Фадеев напоминает национал-большевиков Эдуарда Лимонова 1990-х. Лимонов ведь не придумал нацболов, не синтезировал их — он их услышал, вызвал и собрал, а были они всегда. Во времена Фадеева они шли в партизаны, в наше время — в ополчение Новороссии. Социальная реальность воспроизводится в более или менее сходных формах в разных точках и временах: Лазо, Ким Ир Сен, Фидель… Маек с Лазо, впрочем, в Советском Союзе выпустить не додумались, хотя Лазо не менее крут, чем Че Гевара, а снежный и морозный Сихотэ-Алинь — чем Сьерра-Маэстра.

Уход в партизаны был личным выбором Фадеева — но можно сказать, что никакого выбора у него не было или что он был предопределен окружением, обстановкой. Сам Фадеев писал в

1949-м: «Мы полны были пафоса освободительного, потому что над Сибирью и русским Дальним Востоком утвердилась к тому времени власть адмирала Колчака, более жестокая, чем старая власть. Мы полны были пафоса патриотического, потому что родную землю топтали подкованные башмаки интервентов. Как писатель своим рождением я обязан этому времени. Я познал лучшие стороны народа, из которого вышел. В течение трех лет вместе с ним я прошел тысячи километров дорог, спал под одной шинелью и ел из одного солдатского котелка».

Родом писатель Фадеев — из Приморья смутного времени. Имею в виду даже не темы книг, не «жизненный опыт» в смысле фактов. Дело в другом: то, что он увидел и пережил в приморских сопках и распадках, обострило его восприятие, наложившись на тягу к письму, которая была у Фадеева с детства[138].

Первыми ушли в сопки Нерезов, Билименко и Дольников, с ними — Заделенов и Фельдгер (Фадеев: «Эти двое не были большевиками и не участвовали с нами в подпольной работе. Но мы их всегда держали в резерве, зная их „левые“ высказывания и антиколчаковские настроения»). Через несколько недель отправился на Сучан (от Владивостока — 150–200 километров) и Фадеев. Для проезда были нужны пропуска от коменданта Владивостокской крепости. Саша схитрил. Его товарищ Женя Хомяков только что сдал выпускные экзамены, получил аттестат и собрался в имение отца — на хутор под Шкотово. «Я, зная, что мне все равно ехать в партизаны, и не будучи ни в какой степени готов к экзаменам, попросту не явился на них», — вспоминал Фадеев[139]. Попросился в гости к Жене, тот получил два пропускало Шкотова, где Саша все ему объяснил и попрощался[140]. В другом месте, впрочем, Фадеев пишет, что до Шкотова добрался пешком — это порядка 80 километров.

Дальше разночтений нет: сел в поезд до станции Кангауз (ныне Анисимовка), по узкоколейке добрался до станции Сица, где была «явка к одному столяру», и получил направление в Сучанский отряд, штаб которого располагался в Фроловке — партизанской столице Приморья. Именно этот путь в «Последнем из удэге», где под Скобеевкой понимается Фроловка, проделает Лена Костенецкая. Дорога эта ведет из Владивостока к нынешним Находке, Партизанску, Лазо.

Здесь «мушкетеры» снова встретились.

Пополнению на Сучане находили различное применение.

Исю Дольникова как парня начитанного оставили при штабе для помощи в выпуске «Партизанского вестника». Он воспринял это как личную обиду — не дают повоевать. Фадеев: «Не понял всю политическую вкусность порученной ему работы, начал

хныкать, якать и демонстративно бездельничать». Откровенный разговор не получился, и «соколята» перестали общаться с Дольниковым.

Фельдгер, по словам Фадеева, пришел не воевать, а прятаться от мобилизации, и уклонялся «решительно от всего». Заделенов «в первых же боевых столкновениях оказался неимоверным трусом, можно сказать, трусом стихийным, почти безумным, снискав этим всеобщее презрение и насмешки». Некоторые соученики «соколят» пошли к белым. «Кое-кого из бывших товарищей мы теперь, не дрогнув, расстреляли бы, если бы он попал к нам в руки», — писал Фадеев.

Партизан Булыга несет караульную службу при штабе, затем идет в агитпоход на северо-восток — в Ольгу, в Тетюхе. В июне 1919 года четверку «мушкетеров» зачислили бойцами в Новолитовскую роту Сучанского отряда, и они приняли боевое крещение в устье Сучана. «Сучанский отряд, хотя и был объединен общим командованием, не представлял собой единого целого. Он сложился постепенно из нескольких отрядов, каждый из которых имел свою историю, своего выборного командира, был связан корнями с той или иной местностью, национальностью, профессией, — описывал этот период Фадеев в „Последнем из удэге“. — Отряды эти назывались теперь ротами… Количество людей в ротах было неодинаковым: в иной не более сорока, а в иной и все двести пятьдесят. Роты не имели порядковых номеров, а отличались одна от другой названиями прежних отрядов: Новолитовская рота, рота Борисова, рота горняков, корейская рота».

Тамара Головнина вспоминала, как весной 1919 года едва не поссорилась с юным Булыгой: «У меня был кавалерийский карабин, а у него берданка. Его мужское самолюбие было задето… Конфликт кончился тем, что, уезжая во Владивосток по заданию штаба для передачи сведений подпольному партийному комитету, я оставила свой карабин Саше. В отряд мне вернуться уже не удалось, я была арестована и заключена в тюрьму».

Д’Артаньян вскоре остался один — троих «мушкетеров» откомандировали в Анучино. Но потом в сопки пришли Игорь Сибирцев, другие знакомые подпольщики. «Я очень быстро повзрослел… Научился влиять на массу, преодолевать отсталость, косность в людях, идти наперекор трудностям, все чаще обнаруживал самостоятельность в решениях и организаторские навыки», — вспоминал Фадеев.

К лету 1919 года отряды под общим командованием Лазо стали серьезной силой — почти регулярными войсками и по организованности, и по вооруженности. Фадеев участвует в

выпуске газеты «Партизанский вестник»[141], которую изготовляли на гектографе, читает товарищам стихи Пушкина, Лермонтова, «Русских женщин» Некрасова… По словам Ильюхова, Лазо, выслушав его рассказ о декламаторских талантах Фадеева, сказал: «Если Булыга прочитал поэму Некрасова так, как ты мне рассказал, значит, он сам имеет поэтические задатки… Это очень важно иметь в виду!»

Выходит, Лазо первым разглядел в Фадееве литератора. А тот хотел ввести его в число героев «Последнего из удэге», но не успел.

Ильюхов: «За какой-нибудь месяц пребывания в партизанских отрядах Булыга и булыгинцы стали центром партизанских литературных сил». Был здесь поэт Костя Рослый — его стихи Фадееву нравились, а вот партизана-футуриста Колю Хренова он не жаловал. В газете даже появился литературно-художественный раздел — после налета на владения купца Пьянкова бумаги хватало.

«Мы удивлялись, как его худенькая, сложенная, казалось, только из костей и кожи, вытянутая, как молодой стебелек, фигурка может выдерживать целый вулкан клокочущей энергии и через край бьющего энтузиазма», — вспоминает Ильюхов. Булыге шел восемнадцатый год. «Высокий, с тонким лицом, на котором поблескивали живые серые глаза» — таким запомнил его большевик К. Серов-Вишлин.

27 июня на съезде трудящихся Ольгинского уезда в Сергеевке Булыга — не только один из секретарей, но и оратор. Губельман: «На съезде произошла горячая и резкая схватка между крестьянами и рыбаками… Мужички цену на хлеб… держали выше установленной штабом и нарушали его решение… И вот тут-то проявился горячий темперамент Саши Фадеева. Совершенно неожиданно для всех нас он взял слово и со всей присущей ему горячностью начал свою речь с упреков хлеборобам, обвиняя их в жадности, стремлении поживиться в тяжелый момент борьбы, которую ведут рабочие, крестьяне, рыбаки вместе. Он увлекся, говорил, что некоторые хлеборобы проявили кулацкий подход к делу и что это ведет к срыву единства рабочих и крестьян. Его выступление разбередило крестьян, пришлось объявить перерыв, чтобы они успокоились. Речь Фадеева имела большое значение. Никто до него так искренне и резко не ставил перед ними этот важнейший вопрос. После перерыва крестьяне согласились с ценами, предложенными штабом». Сам Фадеев сетовал потом на свою горячность: «Это было глупо и нетактично… Во время перерыва Лазо подошел ко мне, посмотрел на меня довольно выразительно своими умными

глазами, ничего не сказал, только головой покачал. Я готов был уйти под землю»[142].

Фадеев почувствовал вкус к общественной работе. Он видел себя не только бойцом, но пропагандистом и агитатором. В анкете 1920 года напишет, что, несмотря на склонность к работе агитационной и редакционно-издательской, главное желание — «непосредственно находиться с массой, в которой я готов вести какую угодно работу, так как хорошо знаю массу и умею иметь с нею дело». Оратором он был если и не искушенным в приемах, то искренним и убедительным.

Летом 1919 года, после операции на Сучанской ветке, происходит разгром партизан. Фадеев: «Потянулись недели тяжких поражений, потерь, голодовок; немыслимых (по расстояниям и по быстроте движения) переходов из района в район». Партизаны уходят с Сучана на север, к Иману[143]. В составе отряда Мелехина уходит и Булыга. Маршрут, которым шел мелехинский отряд, Фадеев частично воспроизведет в «Разгроме», как и фамилии некоторых тогдашних своих товарищей. Неподалеку от Имана к Мелехину присоединяются отряды Дубова (Кишкина) и Петрова-Тетерина. Булыга в составе конного отряда Петрова-Тетерина участвует в боях в районе Молчановки, Монакина и Вангоу.

На границе лета и осени 1919 года Фадеев с Игорем Сибирцевым оказываются в Чугуевке, считавшейся партизанским тылом. Игорь и Саша живут в «летнем домике» родных Фадеева — его отчим Свитыч еще в 1917-м умер на фронте от тифа, а мать перебралась во Владивосток. Братья работают на мельнице Козлова за одежду и еду, ремонтируют плотину на Улахе.

В это время в Чугуевку входит отряд Иосифа Певзнера. «Вроде колчаки, а погонов нет…» — сообщила жена Козлова о странном отряде, походившем на регулярную часть, а не на партизанское войско. Идут строем, винтовки на плечах, с песней, все — в шинелях[144]. Фадеев пошел проверить, что это за люди, и увидел большеглазого спокойного человека «очень маленького роста, с длинной рыжей бородой, с маузером на бедре, который сидел на крыльце и беседовал с крестьянами». Это был Иосиф Максимович Певзнер, ставший прототипом (впрочем, не единственным и не буквальным) Левинсона в «Разгроме». Правой рукой Певзнера был юный Андрей Баранов, попавший в «Разгром» под фамилией Бакланов. Костяк отряда составляли рабочие Свиягинского лесопильного завода и железнодорожники.

Саша, Игорь и Анатолий Тайнов (товарищ Фадеева по училищу и подполью) вступают в Свиягинский отряд, считавшийся образцовым. Позже он стал «Особым

Коммунистическим», в разное время назывался 4-м сводным, 1-м Дальневосточным коммунистическим, «отрядом особого назначения». Губельман: «Саша был ярым врагом неорганизованности и партизанщины. К сожалению, это имело место в ряде анархиствующих отрядов, захватывавших в других отрядах лошадей, запасы питания… На мой вопрос, почему он переходит в отряд Певзнера, Саша ответил просто и ясно: „Перехожу потому, что в отряде командующего товарища Певзнера больше дисциплины, порядка, что отряд Певзнера — коммунистический“[145]. Действительно, отряд этот, небольшой по численности, был боевым, крепко спаянным и находился в постоянном действии, выполняя план, намеченный подпольным Дальневосточным комитетом партии. Отряд этот, в отличие от многих других, за исключением отрядов Сучана, находившихся под руководством Н. К. Ильюхова, держал тесную связь с Дальневосточным комитетом партии и военным комиссаром».

Фадеев вспоминал: отряд Певзнера был «самым дисциплинированным, самым неуловимым и самым действенным… Он совершенно был лишен черт „партизанщины“. Это была настоящая сплоченная боевая воинская часть».

В составе отряда Певзнера Булыга попадает на «Свиягинскую лесную дачу». Бойцы получили новые «колчаковские» шинели, трехлинейки, патроны. Здесь, делая вылазки на железную дорогу, они прожили до начала 1920 года. «Никогда не забуду, с каким увлечением Саша рассказывал об удачном спуске под откос поезда с интервентскими войсками и колчаковцами, о том огромном впечатлении, какое на него произвели выдержка и самообладание партизан в этом деле, при выполнении которого удалось разоружить белогвардейцев, захватить оружие, патроны. Он был потрясен слепой дисциплиной японских солдат. Раздавленные упавшими на них со второго яруса товарного вагона тяжестями, истекая кровью, они разбирали магазинные коробки своих винтовок и разбрасывали их части, чтобы они не достались нам», — вспоминал Губельман.

Ильюхов: «Активность отряда Певзнера была изумительной. На значительном протяжении Уссурийской железной дороги он врагу не давал „ни отдыху, ни сроку“, взрывал железнодорожные мосты[146], нападал на вражеские гарнизоны, безжалостно истреблял предателей и провокаторов… Во всех боевых действиях отряда Певзнера принимал участие вместе с Игорем Сибирцевым и Саша Булыга». Партизан Барышев вспоминал, как в конце 1919 года они с Булыгой и Игорем Сибирцевым «взорвали броневик с четырьмя теплушками и доставили в отряд большое количество винтовок, пулеметов, патронов и обмундирования»[147].

Игорь Сибирцев скоро стал начальником штаба отряда, Саша Булыга — его помощником.

После вылазок отряд отсиживался на «даче» в бараках. Здесь Фадеев выпускал стенгазету. «Это была прежде всего юмористическая газета. В ней участвовало подавляющее большинство бойцов… Над заметками этой газеты еще до их появления в номере ржали в обоих бараках до того, что сотрясались исполинской толщины стены», — говорил Фадеев. Если вдруг появлялась женщина, газету срывали — цензуры в ней не было.

Но вот Колчак пал. В один из последних дней января 1920 года отряд Певзнера без выстрела занимает Спасск-Приморский[148]. Белые части переходят на сторону красных, японцы не вмешиваются. Наступает двухмесячное затишье.

Фадеев называл Спасск городком своего детства, утверждал, что может ходить по нему с завязанными глазами. Сюда он заезжал за Гришей Билименко, возвращаясь с чугуевских каникул в город. Здесь его ранили апрельской ночью, когда партизаны уходили из города под огнем японцев. Сюда же он писал в 1950-е своей безответной юношеской любви Асе Колесниковой о том, как тоскует по ней и по Приморью…

Недавно я получил письмо из Спасска. Обычное, бумажное (то есть по нынешним временам — как раз необычное), от пожилой женщины И. А. Стрельниковой. Та самая Ася Колесникова была у нее в послевоенные годы классной руководительницей в спасской школе № 5. «Ася жила в доме напротив школы, с матерью, у них были куры и утки. Школа № 5 была тогда средней, а потом ее сделали семилеткой, дав ей номер 4…» — пишет Стрельникова.

В письме — никаких сенсаций, зато бесконечно ценное ощущение прикосновения к прошлому, которое куда ближе к нам, чем кажется: оно тут, рядом, какие там «шесть рукопожатий». Вот Фадеев ходит в коммерческое училище Владивостока; вот получает пулю в Спасске, где четырьмя годам раньше родился мой дед по отцу (дед в 1960-е, став большим приморским начальником, будет встречаться с фадеевскими знакомцами — Микояном, Симоновым); вот в 1921 году едет с будущим маршалом Коневым из Читы в Москву, а год спустя под Читой родится мой дед по маме, который в 1943-м в составе Степного фронта Конева будет освобождать Белгород и Харьков. В 1942 году в Спасске родится мой отец. Много позже я поступлю в ДВГУ и буду ходить за стипендией в здание, где располагалось Владивостокское коммерческое училище. Я застал своих дедов и говорил с ними; внучка Фадеева — моя ровесница. Всё

закольцовывается, потому что всё — рядом. Время и пространство сжаты и обжиты, глобальная история тесна и интимна. Каждый частный человек вовлечен в тектонические процессы, в которых всё так переплетено, как будто население Земли состоит всего из нескольких сотен человек, а жизнь человечества утрамбована в какие-то десятки лет.

Игоря Сибирцева и Фадеева избирают в состав Спасского уездного комитета партии. Несколько позже Булыгу изберут делегатом 4-й Дальневосточной краевой конференции большевиков, на которой Лазо (жить ему оставалось чуть больше месяца) выдвинул молодого, но уже заметного Сашу в помощники политуполномоченного (комиссара) Спасско-Иманского военного района. Причем комиссаром становится Игорь Сибирцев, а командующим войсками района — Певзнер. Фадеев так вспоминал конференцию: «Я при всяком удобном и неудобном случае бубнил, что надо назначить комиссаром Игоря Сибирцева… Лазо вдруг на меня посмотрел, засмеялся и сказал: „А что, если мы назначим политическим уполномоченным Булыгу?“».

Губельман: «Оказанное доверие Саша оправдал полностью, образцово поставив политическую работу в частях войск района».

С тех пор — и навсегда — Фадеев становится комиссаром, политработником. Великую Отечественную он встретит с ромбом бригадного комиссара в петлицах. Да и «на гражданке» будет оставаться комиссаром.

Комиссар того времени — это не позднесоветский замполит из анекдотов и тем более не нынешние военкомы, задача которых — ловить «косящих» от армии призывников. Это, во-первых, боец; во-вторых, самый грамотный человек во всех смыслах и моральный авторитет. Первая задача — очевидная: агитировать, чтобы боец «знал, за что воюет». Вторая — просветительская, образовательная. Затем — обуздание «махновщины», превращение партизанских отрядов в нормальную армию. Наконец — присмотр за командиром. Комиссары имели надзорные функции, участвовали в административном и хозяйственном управлении. В 1919 году видные советские пропагандисты Н. Бухарин и Е. Преображенский в «Азбуке коммунизма» определяли: «Коммунистическая ячейка — часть правящей партии, комиссар — уполномоченный всей партии… Отсюда же его право надзора за командиром. Он смотрит за командным составом, как политический руководитель смотрит за техническим исполнителем». Троцкий писал: «В лице наших комиссаров… мы получили новый коммунистический орден

самураев, который — без кастовых привилегий — умеет умирать и учит других умирать за дело рабочего класса». Комиссары участвовали в разработке планов боевых действий, их права в отношении личного состава не уступали командирским. При каком-либо подозрении комиссар имел право отстранить беспартийного командира и взять командование на себя.

Важные акценты находим в романе «Два мира» Владимира Зазубрина[149], автор которого успел послужить и у Колчака, и у красных. В романе бывший царский полковник, перешедший от красных к белым (время действия — 1919 год), рассказывает колчаковцам о том, как теперь устроены красные: «Красная Армия… спаяна железной дисциплиной, причем дисциплина там не только, как говорится, сверху, но и снизу… Неисполнительного, неаккуратного красноармейца тянут свои же товарищи… Дисциплинированность масс в армии наших врагов создается общими усилиями командного состава и самих красноармейцев, и основывается она не только на насильственных мерах воздействия, но и на поднятии культурного уровня солдат. В Красной Армии организован, как нигде, аппарат по политическому воспитанию солдатской массы, по поднятию ее сознательности… Прежде чем пустить стрелка в цепь, красные обрабатывают его, обучают не только военному делу, но и политической грамоте. Воспитание солдат там сводится к тому, чтобы каждый из них, когда ему будут командовать — направо, налево или вперед, — не только бы слепо выполнял приказания командира, но был бы убежден, знал бы твердо, что ему нужно именно идти туда, а не сюда. Красные так воспитывают своих солдат, что когда им скажут о назначении их на фронт, о выступлении на позицию, то каждый знает, что туда идти ему нужно, что идти и драться он обязан, и не за страх только, а и за совесть. В этом огромная, страшная сила Красной Армии».

Тут важно то, что сформулировано это не задним числом по чьему-то указанию, а тогда же, по горячим следам, причем человеком, воевавшим с обеих сторон.

Показателен и фурмановский «Чапаев», где самая интересная линия — отношения Чапаева с комиссаром Клычковым. Комиссар ставит на правильные рельсы храброго, но анархиствующего, несознательного, вспыльчивого, самонадеянного и даже, может, недалекого командира, превращает его лихих рубак в дисциплинированных бойцов Красной армии.

Первая пуля

Штаб Спасско-Иманского района и японские казармы разделяли какие-то 200 метров. Певзнер отлучился в Иман (ныне Дальнереченск), Фадеев с Игорем Сибирцевым были в штабе.

Губельман: «События в городе Спасске развивались почти так же, как и в других местах… Производя одни и те же маневры в массовом масштабе, японцы приучали население к мысли, что эти занятия носят обычный учебный характер. На самом деле маневры были органической подготовкой к боевым действиям…»

Рано утром 5 апреля 1920 года японцы открыли ураганный огонь из винтовок и пулеметов. Губельман, описывая отступление партизан, отмечает «исключительную организованность» в спасских частях, «огромную степень сопротивляемости». Но сам Фадеев откровенно говорил: «По существу, это была паника». Нападения на спасский гарнизон никто всерьез не ожидал. Фадеев потом напишет: «В „Таежных походах“[150] я не без удивления прочитал, как организованно мы отступили из-под Спасска и что это объясняется той политической работой, которую провели тт. Певзнер, Сибирцев, Фадеев». Признавая, что отступление велось с боем, организованно, Фадеев говорит о неразберихе: «Народ мчался, какие-то кони, двуколки. В одном месте панику остановишь, в другом начинается. Частей много, пространство большое, бегут там, бегут здесь». Погода была мерзкая: мокрый снег, вода, грязь. Губельман: «Установить точное число жертв в Спасске не представлялось возможным… В окрестностях находилось много несобранных трупов. Нами было обнаружено и похоронено около 100 человек и столько же подобрано тяжело раненных. Однако и японцы в боях по овладению Спасском понесли значительные потери. Впоследствии мы случайно узнали, что в эти дни японское командование заказало до четырехсот гробов».

Фадеев, по воспоминаниям фельдшера Тимофея Ветрова-Марченко[151], успел собрать какие-то штабные документы и деньги и выскочил с несколькими бойцами наружу. Улица простреливалась. На окраине Спасска, где стоял эллинг — ангар для дирижаблей (здесь еще до революции располагалась воздухоплавательная рота), в ногу Булыге попала японская пуля — в бедро, около паха. Юноша упал прямо в грязь. Его поднял боец Феодосий Свергун и на руках отнес на пункт первой помощи.

…Спасск-Дальний, Краснознаменная, 34, старинный дом

красного кирпича. Здесь, у начальника спасского гарнизона, в свое время останавливались генерал-губернаторы Приамурья Унтербергер и Гондатти. С января по апрель 1920 года в здании размещался штаб отрядов Спасско-Иманского района, а осенью 1922-го квартировал белый генерал Молчанов. Теперь это — жилой дом. На подоконнике снаружи сушатся чьи-то ботинки, у входа — реклама такси и «мужа на час». Неподалеку — руины царских казарм и советского ШМАСа (школа младших авиационных специалистов).

Научный сотрудник городского краеведческого музея Сергей Мынкин показал мне поле на окраине Спасска, где стоял эллинг. Через это поле партизаны бежали к спасительной тайге. «У нас спорили: здесь, не здесь… Мы в прошлом году копнули — и пошло: шрапнель, пули от нашей трехлинейки, от японской „арисаки“, — рассказал Мынкин. — А от эллинга не осталось никаких следов. Еще до войны здесь стоял полк „И-16“. Когда делали взлетные полосы — все сровняли. Потом стояли вертолетчики»[152].

В чистом поле — надгробие: братская могила двухсот красных партизан, погибших в бою 5 апреля 1920 года.

Раненый Булыга, вспоминал Марченко, «держался молодцом». Сказал: ранен не смертельно, подожду, пока перевяжут других. Введя в раневой канал зонд, фельдшер увидел: кость не задета, пуля прошла насквозь сквозь мышечную ткань. «До свадьбы заживет», — сказал Ветров-Марченко. Булыга улыбнулся и ответил: «Я тоже так думаю».

Но идти Фадеев не мог. Игорь и партизан из бывших жандармов Жиляев подхватили Булыгу на руки. «Ах, Саша, ах ты мой бедный… Ну что мне с тобой делать?!» — кричал Сибирцев. Увидел конного партизана, приказал остановиться, тот не послушал, Игорь крикнул: «Стой, убью!» «Я верю, что он убил бы, если бы тот не остановился, — писал Фадеев. — Взяли у него лошадь. Меня посадили на эту лошадь… Двадцать семь километров проехал на этой лошади без перевязки. В деревне Калиновка, куда мы отступили, я уже лежал перевязанным. Игорь пошел меня отыскивать. Нашел, ни слова не говоря, положил голову на грудь, полежал молча минут пятнадцать. Это было единственное проявление нежности с его стороны за все время».

Из Калиновки потрепанный отряд пошел дальше — в тайгу. Партизан Иван Пикуль: «Мы шли по извилистой проселочной тропе, мимо полей и перелесков, через холмы и долины, реки и болота, бережно неся раненых. Иногда приходилось брести по горло в воде, приподнимая носилки с раненым над собой. Какие-

нибудь пятнадцать километров пути мы проходили с большим трудом и в следующую деревушку добирались уже ночью, уставшие, измученные. Но донесли всех. В пути мы поочередно отдыхали, носилки переходили из одних рук в другие. В этом нелегком походе и мне не раз приходилось подставлять плечо под носилки, на которых лежал Фадеев». Какое-то время Булыгу нес партизан Семен Пишелка, о чем Фадеев потом вспоминал с особой благодарностью.

От раны он лечился на станции Корфовской, под Хабаровском, в штабном вагоне бронепоезда, наспех сооруженного рабочими Вяземских мастерских. Здесь жили Игорь Сибирцев, Ветров-Марченко, а командовал поездом Пищелка[153]. «Под Красной Речкой на долю бронепоезда выпала нелегкая задача прикрыть отступление, а вернее, бегство наших частей, когда японцы шуганули нас из-под Хабаровска. А потом уже и штаб и основная „база“ бронепоезда была на Корфовской, и вы буквально каждый день выезжали проведаться с японцами под Красную Речку», — писал Фадеев Пищелке в 1950-м.

Всеволод Сибирцев в тот же день 5 апреля был схвачен японцами во Владивостоке и вскоре погиб вместе с Лазо. Игорь переживет его ненадолго — раненый, застрелится в декабре 1921 года под Хабаровском. Тогда же погибнет друг Фадеева Саня Бородкин (по воспоминаниям К. Серова, он был избит шомполами, подбородок разрублен, глаза выколоты).

Из письма Фадеева в Приморье Исааку Дольникову 1 мая 1922 года: «Последнее время в голове… кошмарный винегрет: погибли Санька, Фельдман, Игорь, Харитоша, Серобабин, ранен Володя-маленький, поморозились Гришка и Хомяков, ампутированы ноги у Никитенко…»

За три месяца до смерти Фадеев напишет Ильюхову: «Из той группы молодежи, о которой ты вспоминаешь, остался в живых лишь я один».

Гражданская война была для Фадеева братоубийственной в прямом смысле слова.

Комиссар Булыга

В мае — июне 1920 года на потрепанном пароходике «Пролетарий»[154] с баржей «Крестьянка» Игорь Сибирцев и Булыга эвакуируют имущество и вооружение из Имана по Уссури и Амуру в Амурскую область, где формируется Народно-революционная армия Дальневосточной республики. Спускались до станицы Казакевичевой, потом, прячась от сторожевых катеров японцев, шли к левому берегу Амура по протоке, вытекавшей из Амура и впадавшей в Уссури выше Хабаровска. Случалось, приставали к китайскому берегу — покупали консервы, водку, одежду.

Фадеев совершает два не то три рейса. «Рейсы по Уссури в 1920 году — одно из самых счастливых воспоминаний моей юности. Мне было 18 лет. Я поправлялся после ранения, полученного мною под Спасском, еще хромал, но уже было ясно, что все будет хорошо. Все время стояла ясная, солнечная погода, мы много ловили рыбы неводом, и я — по немощности — бывал за повара. В жизни не едал такой жирной налимьей и сомовьей ухи! Постоянное напряжение опасности, наши — иногда кровопролитные — схватки с дезертирами из армии, не раз пытавшимися овладеть пароходом, чтобы удрать за Амур[155], — все это только бодрило душу», — вспоминал писатель.

Летом 1920 года Фадеев — в Ракитном. Он — комиссар пулеметной команды и редактор партизанской газеты «Шум тайги». Пищелка обучает его украинским песням; в Ракитном организуется настоящий хор. Фадеев не только пел — он любил и умел танцевать, даже получил потом от политуправления армии выговор за поощрение танцулек.

Затем Булыгу отзывают во Владивосток. В августе — сентябре 1920 года он живет у Сибирцевых на даче — на 26-й версте, на берегу Амурского залива: «Я был просто влюблен в этот солнечный Владивосток с окружавшими его сверкающими от солнца бухтами и заливами».

В октябре Фадеев с Игорем Сибирцевым и Тамарой Головниной пробирается из Владивостока на территорию, подконтрольную ДВР. Едут поездом по КВЖД до Харбина, потом на китайском пароходе по Сунгари и Амуру до Благовещенска. На руках — фальшивые документы на имя Селезнева, Булыги и Амалии-Мальвины Нератнис. Сам Фадеев в письме Головниной 1952 года называл эту поездку «феерической». Вспоминал, как пароход то и дело садился на мель, как уже на Амуре его остановил красный военный катер и друзья предъявили

подложные документы (настоящие были в обуви, под стельками), не имея возможности даже шепнуть о себе в окружении множества пассажиров. К счастью, документы не вызвали подозрений.

В Благовещенске друзья получают назначение во 2-ю Амурскую дивизию НРА. Сибирцев назначен комиссаром 2-й стрелковой бригады, которой командует знакомый братьям по Приморью Петров-Тетерин, Головнина — в политотдел 2-й Амурской дивизии. Фадеева направляют в районы, только что освобожденные от белых, для организации комсомольских ячеек — «от Свободного до Зилова». Он перемещается на поездах, на лодке, на ручной дрезине…

Потом — Забайкалье. Здесь Булыга участвует в боях против атамана Семенова, ликвидируя «читинскую пробку». В 1954 году в письме Булочникову[156] Фадеев вспоминал свое участие в Борзинской операции вместе с 22-м (тогда еще 13-м) полком: «Прорвали восемь рядов проволочных заграждений, заняли окраину и не могли перейти широкую улицу, перпендикулярно к железной дороге, т. к. был сильный огонь с противоположной стороны улицы и особенно фланговый, пулеметный, — то ли с белого бронепоезда, то ли просто выставили пулеметы с фланга — сейчас не помню». Борзя была взята.

Фадеев участвует во взятии Даурии (между Борзей и Даурией — каких-то полсотни километров[157]): «Помню этот великолепный ночной бой, артиллерийскую дуэль, взорвавшуюся церковь, — она была начинена снарядами». Судя по всему, это была церковь, приспособленная под артсклад бароном Унгерном. Леонид Юзефович в документальном романе об Унгерне «Самодержец пустыни» пишет: «В октябре 1920 года белые, отступая из Даурии, взорвали находившиеся в церкви снаряды. Разнесенное по Аргуни эхо взрыва слышно было за двести верст». Через этот взрыв Фадеев соприкоснулся с легендарным бароном, хотя напрямую столкнуться им не пришлось — Унгерн ушел в Монголию брать Ургу, а когда в 1921 году вновь вступил в войну с красными, Фадеев уже уехал в Москву вместе с Коневым. С Унгерном пришлось драться другому впоследствии знаменитому полководцу — Рокоссовскому, командовавшему здесь кавалерийским полком[158].

Из воспоминаний Фадеева об октябре — декабре 1920 года: «Почти каждый разъезд, каждая станция брались нами с жестокими боями… Мороз стоял в ту пору 30–40 градусов, люди были плохо одеты и обуты, отмораживали руки, ноги и слепли от белизны снега на сверкающем солнце».

В Даурии народоармейцы захватили много муки и сахара.

Разводили костры, пекли лепешки. После взятия Даурии Фадеев вернулся в Борзю и получил назначение комиссаром 13-го (22-го) полка, входившего в 5-ю Амурскую стрелковую бригаду (впоследствии ставшую 8-й). Сдружился с командиром полка Шамониным, бывшим колчаковцем, который, что интересно, в Великую Отечественную войну возглавит партизанский отряд.

Потом был пеший марш из Борзи под Нерчинск — в деревню Шивки. Полк отправили пешком в том числе для того, чтобы бойцы оставили запасы муки и сахара, захваченные в Даурии. «Но мы обратились к помощи населения и вывезли свою мучку и сахар на новое место, где впоследствии никакие комиссии свыше уже не могли у нас эти запасы обнаружить», — пишет Фадеев. Молодой комиссар занимался не только сахаром: так, он подписал приказ о назначении двух-трех учителей в каждую роту, а по возможности — в каждый взвод.

В начале 1921 года Фадеев замещает Булочникова — исполняет должность комиссара 8-й Амурской стрелковой бригады 3-й Амурской дивизии. В позднейшем письме Булочникову писатель так объяснял свой «карьерный рост»: «Несмотря на свою молодость, 19 лет, я уже прошел школу партизанской борьбы в Приморье, борьбы с японцами после 4–5 апреля, был ранен, имел за плечами комиссарский стаж, имел среднее образование, был относительно политически грамотен и был уже известен… как хороший агитатор-массовик. Но, кажется, я уже расхвастался…»

В феврале 1921 года «врид военкомбрига 8» Булыга-Фадеев избран делегатом на II конференцию военкомов, политработников и комячеек НРА ДВР. Она прошла в Чите, куда переехала из Верхнеудинска столица Дальневосточной республики. На конференции Фадеев избирается делегатом X съезда РКП(б) с решающим голосом (мандат № 77). Среди других делегатов от армии ДВР — Моисей Губельман, военком 5-й бригады Конев, начальник инженерного снабжения 2-й армии Певзнер. Из семи сотен делегатов с решающим голосом лишь двое моложе двадцати лет. Один из них — Фадеев.

Антал Гидаш[159] потом спрашивал Фадеева, не чувствовал ли он себя мальчишкой. «Нет, — отвечал Фадеев. — Я чувствовал себя опытным партработником».

Есть второй возраст — не паспортный. Иные до пятидесяти остаются детьми, особенно в наше время «продленной молодости» — часто не столько молодости, сколько инфантильности. Фадеев был из других.

Видный партийный деятель Анастас Микоян вспоминал: «Поразительно: ведь там было немало заслуженных

коммунистов… а они послали своим избранником на съезд партии именно его — большевики Дальнего Востока увидели в Фадееве неугасимую коммунистическую искру». Не только коммунистическую — человеческую тоже.

12 или 13 февраля поезд отправляется из Читы в Москву, где в марте открылся съезд партии. Вот поворотный момент в жизни: Фадеев едет в столицу, уже чувствуя тягу к писательству и общественной работе.

Приехав на Дальний Восток шестилетним, он покинул его незадолго до двадцатилетия, проведя здесь почти четверть жизни. «В юности мне очень трудно было расстаться с Дальним Востоком. Тогда мне казалось, что все близкое моему сердцу остается здесь… Я любил наш край большой мужественной любовью», — писал Фадеев.

В следующий раз он попадет сюда через 12 лет.

Красный лед Кронштадта

До Москвы Булыга едет вместе с Иваном Коневым. Тот — унтер-офицер Первой мировой — добровольцем пошел к красным. Как и Булыга, стал комиссаром бригады. Из мемуаров Конева «Сорок пятый»: «В течение почти целого месяца ехали вместе от Читы до Москвы в одном купе, ели из одного котелка. Оба мы были молоды: мне шел двадцать четвертый, ему — двадцатый; симпатизировали друг другу, испытывали взаимное доверие. Он нравился мне своим открытым, прямым характером, дружеской простотой, располагавшей к близким и простым товарищеским отношениям. Эта дружба, завязавшаяся во время долгого пути через Сибирь, окрепла на самом съезде».

Купе Конева и Булыги превратилось в подобие клуба, причем Фадеев даже играл на балалайке. Тогда Конев не знал настоящей фамилии Булыги и, даже прочитав через несколько лет «Разгром», не догадывался, что писатель Фадеев и его знакомый Булыга — один человек.

На съезде идет дискуссия о профсоюзах, обсуждаются замена продразверстки продналогом, переход от военного коммунизма к нэпу, запрет фракций в партии… Фадеев и Конев внимательно слушают, но не выступают — не по чину. Оказавшись рядом с Лениным, Фадеев украдкой прикасается к его пиджаку — по-детски, а может, по-евангельски.

В эти же дни вспыхивает Кронштадтский мятеж: гарнизон Кронштадта и личный состав кораблей Балтфлота выступают против большевиков. Проходит митинг под лозунгом: «Власть Советам, а не партиям!», звучат требования свободы торговли, перевыборов Советов, упразднения комиссарства…

Прямо со съезда на ликвидацию мятежа посылается около трехсот делегатов во главе с Ворошиловым — будущим многолетним главой военного ведомства СССР. В их числе — Фадеев с Коневым. «После сообщения Ленина о тяжелом положении в Кронштадте и призыва направить часть делегатов съезда для усиления наших частей, приступающих к ликвидации кронштадтского мятежа, и Фадеев и я, не сговариваясь, подали записки в президиум о том, что готовы добровольно ехать в Кронштадт. Записавшись, мы поехали в Петроград в одном поезде. Между прочим, это был поезд Михаила Васильевича Фрунзе», — вспоминал Конев.

Петроград в эти дни стал военным лагерем. Историк Сергей Семанов пишет: «Организовывались вооруженные коммунистические отряды, части особого назначения

патрулировали ночные улицы, несли охрану стратегических объектов города и важнейших учреждений. На местах вся власть находилась в руках ревтроек, подчинявшихся в порядке строгой централизации».

Атаки на мятежную крепость начались еще до прибытия делегатского подкрепления, но первая попытка штурма была отбита. Велся «беспокоящий» обстрел фортов Кронштадта и кораблей, делались попытки бомбовых авиаударов. С воздуха сбрасывались воззвания к мятежникам: «Многие из вас думают, что в Кронштадте продолжают великое дело революции. Но действительные руководители ваши те, которые ведут дело скрытно, которые из хитрости покуда не высказывают своей настоящей цели…» Дело было не только в том, чтобы обеспечить чисто военный перевес в силе. Конев отмечал: «Положение было сложное, разговоры и настроения самые разные, некоторые курсанты отказывались наступать, а артиллеристы — стрелять».

Советская писательница Елизавета Драбкина в те дни была санитаркой: «На Кронштадтский фронт прибыли делегаты Десятого съезда партии. Они шли большой, шумной гурьбой по улицам Ораниенбаума… Кто был одет в шинель, кто в темное пальто… Делегатов было немного — в нашей Южной группе человек двести. Но в подготовке штурма они сыграли ту же роль, какую в химической реакции играют катализаторы. Произошел какой-то незримый процесс — и армия стала внутренне готова к бою».

Делегатов разделили на два направления: ораниенбаумское и сестрорецкое. Конев и Фадеев попали на сестрорецкое, но Фадеева направили в пехоту, а Конева, учитывая его военный опыт, — в артиллерию. Два будущих маршала — военный и литературный — расстались на косе Лисий Нос, у наблюдательного пункта батареи.

Штурм начался в ночь на 17 марта. Под прикрытием темноты нужно было пройти большую часть расстояния до фортов — ведь на льду укрыться негде, каждый метр пристрелян кронштадтской артиллерией. В крепости насчитывалось более 140 орудий, у причальных стенок стояли линкоры «Петропавловск» и «Севастополь».

Атакующих заметили поздно, когда цепи уже стали преодолевать проволочные заграждения.

Елизавета Драбкина: «Особенную музыку кронштадтского боя создавало то, что в нем действовали орудия самых различных калибров и типов… Пулевых ранений в это время еще не было, были только осколочные, очень разнившиеся между собой в зависимости от того, каким снарядом они были причинены.

Меньше всего среди раненых было таких, которые пострадали от снарядов тяжелых орудий. Снаряды этого калибра, ударившись об лед, взрывались, уходя под воду вместе с огромной массой льда и увлекая за собой на дно людей, повозки и лошадей. Раненых после себя они почти не оставляли, а если и были после них раненые, то чаще осколками льда. Иное дело шимозы[160]. Они летят с пронзительнейшим визгом, разрываясь не на земле, а в воздухе, на множество разлетающихся во все стороны осколков. В отличие от тяжелых снарядов, после разрывов которых оставались полыньи со страшной черной, полной смерти водой, в тех местах, над которыми разрывались шимозы, лед бывал почти не поврежден, но круг за кругом лежали раненые и убитые мелкими и мельчайшими осколками, чаще всего в голову… Бой ушел вперед, оставив позади себя развороченный лед, темнеющие проруби, мертвых, раненых и санитаров».

Конев: «Самое трагичное заключалось не в том, что рвались тяжелые снаряды, а в том, что каждый снаряд… образовывал огромную воронку, которую почти сейчас же затягивало битым мелким льдом, и она переставала быть различимой. В полутьме, при поспешных перебежках под огнем, наши бойцы то и дело попадали в эти воронки и тут же шли на дно. Так нам с Фадеевым пришлось стать участниками небывалого в истории войн события, когда первоклассная морская крепость, дополнительно обороняемая линейными судами, была взята штурмом сухопутными войсками».

К утру первые отряды наступающих ворвались в Кронштадт. Начался тяжелый уличный бой. В итоге мятеж подавили. Штурмующие потеряли 527 человек убитыми и 3285 ранеными. Мятежников было убито около тысячи, свыше двух тысяч ранено и взято в плен, еще восемь тысяч ушли в Финляндию.

Фадеев до Кронштадта не дошел. На льду Финского залива он получил свое второе ранение[161]. Потеряв сознание, лежал на льду, малозаметный в белом халате. Почти два километра полз. Был подобран санитарами.

По данным советского литературоведа Виталия Озерова, Фадеев получил осколочное ранение. Ростовский писатель Павел Максимов, ссылаясь на самого Фадеева, утверждает, что это была пуля: «Он рассказал мне, что ранен был в ногу, и, как он говорил, ранен „удачно“: пуля не раздробила кость, а прошла сквозь сустав, на сгибе между стопой и голенью, только частично повредив кости и связывающие их сухожилия. Но это „удачное“ ранение было ужасающе болезненным…»[162]

По данным Б. Беляева, Фадеева ранило на ближних подступах к крепости, а не погиб он только потому, что оказался прикрыт

телами убитых товарищей.

Кто-то утверждал, что Конев выносил раненого Фадеева из-под огня, но это легенды. Сам Конев писал: «В бою я Фадеева не видел. Каждый был увлечен своим делом, и пока мы до конца не выполнили задачу, пока не очистили Кронштадт, ни я, ни остальные не в состоянии были думать ни о чем другом».

Еще одна легенда, кочующая из источника в источник, но не соответствующая действительности, — о том, что за Кронштадт Фадеев получил орден Красного Знамени[163].

Известные стихи Багрицкого:

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед…

— в прямом смысле слова о Фадееве.

Как и строки Исаковского, хорошо знавшего Фадеева[164]:

Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я на льду…

Обратно в Петроград и Москву Конев ехал один. Он еще успеет вернуться на Дальний Восток и довоевать там.

А Фадеев около пяти месяцев провел в петроградском госпитале, где его отыскали друзья через полпреда ДВР в Москве Кушнарева. «Сейчас же были откомандированы полпредством в Ленинград я и Маруся Кушнарева, — вспоминала Татьяна Цивилева. — Саша был рад нам, шутил, смеялся, обещал скоро вернуться в Москву». Со слов Гидаша, Фадеев так вспоминал о госпитале: «Никогда в жизни столько не читал. Тут тебе и утопические социалисты, и Ленин, и Мильтон, и Блок… Чего-чего только не прочел».

Он мог бы, наверное, вернуться в Забайкалье, принять участие в походе на Приморье в 1922-м…

Но — сложилось так, как сложилось. Кусочек злого металла, угодивший в Фадеева на кронштадтском льду, оказался судьбой.

После лечения его уволят с военной службы. Он останется в Москве и поступит в горную академию — поначалу планируя вернуться в Приморье горным инженером.

Не выйдет.

В столице Фадеева навсегда захватят две главные страсти его жизни: партия и литература.

Новые академии

Он мог стать геологом — и открывал бы золотоносную провинцию на Чукотке, или якутские алмазы, или приморский вольфрам… Горная академия идет Фадееву больше, чем коммерческое училище. Геологом его представить можно, коммерсантом — никак.

Но карьера горняка не удалась, как и военная.

Летом 1921 года Фадеев выписывается из госпиталя и возвращается в Москву. В качестве вида на жительство получает у уполномоченного ДВР Кушнарева удостоверение в том, что Булыга-Фадеев действительно является гражданином Дальневосточной республики. Селится поначалу у Тамары Головниной и ее мужа в Глазовском переулке. «Комната по вечерам наполнялась друзьями-дальневосточниками, которые с путевками в рабфаки и вузы приезжали в Москву и временно останавливались у товарищей, пока не обзаводились своим жильем, — вспоминала Головнина. — Было так принято: не удивляться, если в открывшуюся дверь входил кто-нибудь из ребят с рюкзаком за плечами и заявлял: „Вот и я приехал, пока побуду у тебя“. Ему освобождалось место, и он, расстелив свою шинельку, ложился на пол».

«Несмотря на внешнюю неустроенность и весьма скудное питание… мы были счастливы тем, что могли пойти в Политехнический музей, слушать Маяковского, Луначарского, побывать на диспуте, где Коллонтай выступала на тему „О крылатом эросе“, попасть в Колонный зал, где выступала перед студенческой аудиторией Крупская, — пишет Головнина. — Мы были переполнены пафосом строительства нового мира, и это захватывало нас».

В сентябре по путевке ЦК Фадеев поступает в созданную в 1919 году декретом Ленина Московскую горную академию на геолого-разведочный факультет. Ежедневно, прихрамывая, ходит учиться на Калужскую площадь. Ильюхов вспоминал студенчество той поры: «Это были прежде всего участники гражданской войны и большевистского подполья».

Девиз академии — «Умом и молотком». Ректор — Иван Губкин, основатель советской нефтяной геологии, автор «Учения о нефти», который вскоре обоснует открытие «Второго Баку» в Башкирии. Среди профессоров был Владимир Обручев — геолог и фантаст, автор «Земли Санникова» и «Плутонии». Один из однокашников Фадеева (и тоже участник подавления Кронштадтского мятежа) — Иван Тевосян, впоследствии

выдающийся металлург, зампред Совмина СССР, министр черной металлургии. Их пути пересекутся позже, когда Фадеев сядет за свой последний роман.

Фадеев становится секретарем парторганизации факультета. Ветерану и комиссару — всего двадцать, в по-мальчишески веселых письмах этого времени он использует выражение «Каррамба!», а вместо «до свидания» пишет по-японски «саёнара»…

Горная академия — эскиз несложившегося сценария фадеевской судьбы. Одна из жизненных развилок.

Ровесник Фадеева — Юрий Билибин (1901–1952). Биографии их до какого-то времени идут параллельными путями: в 1919 году Билибин вслед за своим отцом приходит в Красную армию, Фадеев в том же году попадает в партизаны — тоже в соответствии с взглядами уже покойных на тот момент отца и отчима. В 1921-м Билибин поступает в Петроградский горный институт, Фадеев — в Московскую горную академию.

В 1926 году Билибин, окончив учебу, получил путевку в трест «Алданзолото». Одновременно с ним на Алдан отправились несколько молодых специалистов, окончивших в том числе и Московскую горную. Теоретически среди них мог оказаться и Фадеев — и вся его судьба сложилась бы по-другому. П. Максимов вспоминал, как в 1927 году он спросил известного геолога Андрея Архангельского (тот был деканом геолого-разведочного факультета), не помнит ли он такого студента, Фадеева. «Как же, очень хорошо помню, — ответил профессор. — Способнейший был студент, светлая голова! Очень жаль, что он не окончил академии. Был бы отличнейший геолог».

Произошло так, как произошло: в академии Фадеев недоучился, пробовал перевестись в другой вуз, но снова бросил и пошел «по партийной линии». Билибин стал отцом золотой Колымы, великим практиком и теоретиком геологии россыпей, Фадеев — большим писателем и общественным деятелем.

Другой нереализованный вариант фадеевской судьбы мы видим в биографии маршала Конева. До 1921 года военные карьеры Булыги и Конева примерно совпадали. Но Фадеев после ранения был демобилизован — и потому его судьба оказалась более похожей на судьбу не Конева, а столь же молодого и талантливого командира Голикова-Гайдара, уволенного из армии после тяжелой контузии. Правда, похожей опять же до известного момента. На рубеже 1920-х и 1930-х Фадеев взмыл круто вверх в писательской (а затем — и не только писательской) иерархии. Гайдар, попавший на Великую Отечественную военкором,

фактически самовольно ушел в партизаны и погиб в бою осенью 1941-го, тогда как военкор и большой чиновник Фадеев таких зигзагов позволить себе уже не мог, хотя в недостатке личной храбрости его не мог упрекнуть никто.

Специального оборудования в горной академии не хватало, в помещениях было холодно, с питанием сложно: небольшая стипендия, скромный паек — ржаная мука, ржавая селедка. Фадеевский однокашник Владимир Уколов вспоминает: в общежитии № 1 в Старомонетном переулке, где поселился Фадеев, образовалась студенческая коммуна, как когда-то во Владивостоке. Таков был дух времени. Сдавали стипендию в «общак», помогали друг другу. Если потом коммуна распадалась — то по жизненным обстоятельствам: семьи, дети[165].

Студенты активно читают, в том числе уже новую, советскую литературу — «Неделю» Либединского[166], «Бронепоезд 14–69» Иванова[167]…

На четырехлетие академии в феврале 1923 года приходит «всесоюзный староста» Калинин, шефствовавший над вузом. Его избирают почетным студентом. С приветствием от партячейки академии выступает второкурсник Фадеев. Теперь он носит черную блузу со стоячим воротником и множеством мелких пуговичек от подбородка чуть ли не до колен, которую некоторые называли «фадеевкой» (но слово не прижилось так, как прижилась «толстовка»).

К этому времени относится знакомство Фадеева с Розалией Землячкой, которая тогда была секретарем Замоскворецкого райкома и курировала вуз. Это еще одно случайное, казалось бы, но очень важное, как станет понятно потом, знакомство, каких в жизни Фадеева было несколько — случайности выстраивались в судьбу. Землячка впоследствии станет зампредом Совнаркома СССР, будет курировать Комитет по делам искусств и Литфонд. В начале 1920-х она уже была живой легендой — сидела, воевала, первой из женщин получила орден Красного Знамени, имела партийную кличку Демон. Мы помним Землячку как одного из организаторов красного террора в Крыму — а Фадеев знал другую Землячку, которой мы в какой-то мере обязаны появлением «Разгрома».

В 1921–1923 годах, будучи студентом, Фадеев работает секретарем партячейки чугунолитейного и механического завода «Красный блок» (бывший «Людвиг и Смит») и инструктором Замоскворецкого райкома партии. В декабре 1922 года на заседании партбюро академии принято решение разрешить студентам, занятым на общественной работе, свободное

посещение. Среди них — Фадеев.

Он начинает писать и печататься.

Голомбик: «С учебой в академии у Фадеева не ладилось, конечно, не из-за недостатка способностей или трудолюбия, а из-за того, что у него очень много времени уходило на литературную и общественную работу. Его смущали два обстоятельства: есть ли у него действительно такой талант, чтобы посвятить свою жизнь этому делу, и, главным образом, — дадут ли ему возможность по-настоящему, серьезно работать, не загрузят ли его всякими общественными делами настолько, что он не сможет всерьез заняться литературой».

Опасение это оказалось ненапрасным.

В декабре 1923 года в журнале «Молодая гвардия» опубликован рассказ «Против течения». В мае 1924-го в ленинградском альманахе «Молодогвардейцы» выходит повесть «Разлив».

На стыке 1923–1924 годов Фадеев начинает знакомиться со столичной литературной средой. По четвергам в Доме печати на Никитском бульваре собираются литераторы, близкие к «Молодой гвардии». Здесь-то Юрий Либединский — завотделом журнала — и представил молодого автора: гимнастерка, синие полугалифе, сапоги… «Такие лица, такие фигуры можно встретить на полотнах Сурикова, рядом с Ермаком, Разиным или среди мятежных стрельцов. Мне особенно запомнились его глаза: в их яркой синеве было что-то твердое. Взгляд серьезный и словно испытующий… Много раз видел я эти глаза и добрыми, и грустными, и нежными, и решительными, и даже яростными, когда в них словно загорался синий огонь. Но никогда не видел в них тусклого равнодушия и мелочного ожесточения», — вспоминал Либединский знакомство с Фадеевым.

Здесь же Фадеев знакомится со своей будущей женой Валерией Герасимовой[168]. Она вспоминала: «Нельзя сказать, чтобы этот высокий человек в гимнастерке показался мне красивым. Но во всем складе этой высокой, гибкой, как бы сплетенной из мускулов фигуры было что-то поразившее меня… Веяло от этой фигуры не только по-настоящему мужской или спортивной, а скорее всего охотничьей хваткой».

Это был уже не тот мальчик с большими ушами, на которого не обращала внимания Ася Колесникова. Фадееву — двадцать два: высокий крепкий молодой мужчина с войной и двумя ранениями за плечами.

В феврале 1924 года он оставляет академию и переводится на второй курс мехфака Московского механико-электротехнического института им. Ломоносова[169]. К занятиям приступить не успел:

в конце марта в числе ста «идейно зрелых» товарищей был мобилизован на партработу и убыл в Краснодар, как пятью годами раньше — на Сучан.

Друзья и «Враги»

Булыга-Фадеев поступает в распоряжение Кубано-Черноморского обкома партии[170]. Утверждается в должности инструктора орготдела, исполняет обязанности завсектором информации, временно занимает должность секретаря первого райкома Краснодара.

Много ездит по региону.

Показательный для понимания характера Фадеева эпизод. Когда в августе 1924 года вспыхнуло восстание грузинских меньшевиков, Фадеев находился в Сухуми с группой рабочей молодежи Краснодара. По воспоминаниям М. И. Звонцова, Фадеев сразу заявил: теперь мы — боевой отряд. И повел товарищей в Абхазский обком за назначением и оружием (в обкоме им, правда, сказали, что с меньшевиками уже покончено). Здесь четко видно: для Фадеева демобилизация не наступила никогда. Пока иные уклонялись от войны — он, даже комиссованный, рвался в бой. Возможно, именно это потом помешает ему исполнить одно из сокровенных желаний — вернуться в Приморье насовсем. Он так и не сможет уйти с передовой, считая себя не вправе сделать это, пока идет бой. А бой будет идти всегда.

Здесь же, на юге, работает его московская знакомая Землячка. «Адски хочется писать», — говорит он ей. Литература влечет его не меньше, чем партийная работа. Он просит Розалию Самойловну устроить его в московскую газету, но его пока оставляют в распоряжении Северо-Кавказского крайкома[171]. Правда, с уточнением: «Для работы в области литературы». Уже в октябре 1924 года Фадеева с учетом его пожеланий по решению Землячки и секретаря Юго-Восточного (потом Северо-Кавказского) крайкома партии Анастаса Микояна переводят в Ростов-на-Дону.

Вот еще одно вроде бы случайное, но такое важное знакомство. Произошло оно в Ростове осенью 1924 года, но могло случиться и раньше — оба были делегатами X съезда. Микоян был всего шестью годами старше, но, как писал он сам, в революционные годы «все мы как-то рано взрослели, и разница даже в два-три года чувствовалась довольно заметно». Фадеева он увидел таким: «Молодой человек довольно высокого роста, стройный, подтянутый, одетый в модную у нас тогда кавказскую рубашку темно-синего цвета с множеством пуговичек, подпоясанную узким — тоже кавказским — ремешком, в галифе и сапогах».

Фадеев становится инструктором крайкома партии,

завотделом партийной жизни газеты «Советский юг». Пишет о партстроительстве, сельсоветах, проблемах общества, разнородного и в социальном, и в национальном плане. Много общается с местными жителями, в том числе шахтерами — «угольным племенем», с которым он был связан всю жизнь, начиная с Сучана (а впереди еще — молодогвардейцы Донбасса). Вот названия статей Фадеева этого времени: «Нужно изучить торговую практику мест», «О выдвижении и выдвиженках», «Еще о работе в деревне», «Итоги агитпропработы в Таганрогском округе», «Сельсовет как центр общественной жизни деревни», «Задачи советских ячеек». Выступления в газете на партийные темы подписывает «Ал. Булыга», прозу и литературно-критические статьи — «Фадеев». То есть Булыга — это комиссар, а Фадеев — это писатель. От «Булыги» он избавится через несколько лет, хотя, например, партизану Пищелке и в 1950 году напишет: «Твой Саша Фадеев, он же Булыга».

Ростовский литератор Павел Максимов познакомился с Фадеевым в редакции «Советского юга»: «Раскрылась дверь кабинета редактора, и оттуда вышел высокий, еще очень молодой (на вид лет двадцати — двадцати трех) бритый парень в длинной серой суконной гимнастерке и в сапогах… По документам он был Александр Булыга, но он тут же сказал мне, что его подлинная фамилия — Фадеев». Для оформления удостоверения Фадеев дал Максимову фото, на котором он был «в сибирской меховой шапке с длинными, свисающими наушниками» — известный снимок. К новым товарищам Фадеев сразу обращался на «ты», но, пишет Максимов, это было не фамильярностью, а «паролем классового братства и солидарности».

В Ростове Фадеев активно работает сразу над несколькими вещами: «Таежной болезнью», «Последним из удэге» (отрывок «Хунхузы» из «Последнего из тазов», как поначалу назывался роман, публиковался в ростовской комсомольской газете «Большевистская смена»), «Разгромом» — все о партизанском Приморье.

Задумывает «Провинцию» — уже на местном материале, «роман о районировании». Тогда огромный Северо-Кавказский край готовились разбить на округа и районы в соответствии с национальными и хозяйственными особенностями, чем и заинтересовался Фадеев. Книга задумывалась не только о районировании как таковом; кавказская тема горяча и сейчас. Наброски романа он потом привезет в Москву, но, говорит Либединский, «дальневосточные впечатления… еще продолжали с особенной силой владеть его душой», и «Провинцию» вытеснил замысел «Удэге». Максимов тоже считал: «Провинция» не

получилась потому, что Фадеев, живя в Ростове, «своим сердцем, своей душой… еще продолжал жить на родном ему Дальнем Востоке».

Для объяснения того, почему не написалась «Провинция», такая версия уместна, в случае с «Удэге» — уже вряд ли. Доведен до конца лишь один замысел этой поры — «Разгром». Да и сколько их еще будет потом, нереализованных фадеевских сюжетов — и приморских, и неприморских!

Молодой писатель включается в местную литературную жизнь. Здесь уже работают драматурги Николай Погодин и Владимир Киршон, Вера Панова, Бусыгин, Максимов, Ершова, Кац, Серебрянский, Соколов… Неподалеку жил Михаил Шолохов. Свою Вешенскую он покидал неохотно, но, пишет Микоян, «когда это было нужно, приезжал в Ростов, принимал участие в общественно-политической жизни и в деятельности писательской организации». Вот — разница характеров: Шолохов — «когда это было нужно», Фадеев — погружался всегда и с головой. Оба, кстати, как раз в эти годы начинают крупные и во многом перекликающиеся вещи — «Тихий Дон» и «Последний из удэге».

Фадеев вступает в РАПП — Ростовскую ассоциацию пролетарских писателей — и вскоре избирается в правление. Ассоциацией руководит Владимир Киршон — впоследствии видный рапповец и «напостовец», по ряду свидетельств, — доносчик и карьерист, гонитель М. Булгакова и А. Лосева. Потом его расстреляют, обвинив в троцкизме. Пожалуй, единственное, что осталось от Киршона, — строчки «Я спросил у ясеня…», ставшие всенародно известными благодаря музыке Таривердиева и фильму Рязанова «Ирония судьбы».

Фадеев «пробивает» в крайкоме создание литературного журнала «Лава». Максимов: «Он ходил в крайком партии, хлопотал об этом; добившись успеха, был чрезвычайно доволен, просто сиял от радости…» Микоян: «Помню, с какой настойчивостью Булыга убеждал всех нас, членов бюро крайкома, в необходимости организации специального краевого литературного журнала. И ведь убедил, добился своего!» Первый номер выходит весной 1925 года. В 1927-м журнал переименовали в «На подъеме», ныне это «Дон». Но «Лава», по-моему, — лучше всего. Очень характерное название для кипящих 1920-х: тут и вулканическая лава — свежая кровь земли, прорывающая старые застывшие слои, и конники, несущиеся в атаку лавой… Это потом лава застыла, что отразилось и в поскучневших названиях литературных журналов. Скажем, владивостокский «Красный молодняк», где впервые опубликовал стихи Павел Васильев, станет «Тихоокеанским комсомольцем», а

сам Фадеев на Дальнем Востоке будет редактировать еще один журнал с названием уже безлико-дежурным — «На рубеже». Потом его переименуют в «Дальний Восток» («оба хуже», как сказал бы лучший друг советских писателей).

Соредакторами «Лавы» стали Киршон, Ставский и Фадеев, но, по словам Максимова, «основным, фактическим редактором» был именно Фадеев. Он работал с текстами и авторами «с великой серьезностью, с сознанием важности дела и вместе с тем с явным удовольствием». Не стеснялся резких оценок. Уже тогда, отмечает Максимов, Фадеев «не размахивал пресловутой рапповской дубинкой», глядел «гораздо шире, глубже и дальше ростовских „вождей“ и „вождиков“». Это проявилось и в журнале: «Как редактор… Фадеев ориентировался не только на писателей-рапповцев». В программном заявлении «От редакции» уже в первом номере «Лавы» говорилось: журнал намерен привлечь, помимо «сплоченных кадров пролетарских писателей», и «близких к нам одиночек, крестьян и горцев» — то есть «попутчиков».

В «Лаве» вышли первые тексты известных впоследствии советских писателей — Пановой, Софронова, Бабаевского, сатирика Леонида Ленча. В 1928 году журнал «На подъеме» напечатал стихи «Дорога» пятнадцатилетнего пятигорского поэта Сергея Михалкова. Присылали материалы именитые неместные авторы — Мате Залка[172], Либединский, Артем Веселый, даже Маяковский. Журналом интересовался из-за границы сам Горький.

Помимо «Лавы» Фадеев вместе с женотделом крайкома организовал в том же 1925 году краевой журнал «Труженица Северного Кавказа», который, как писал Микоян, «содействовал росту политического сознания женщин» многонационального региона.

В январе 1926 года Фадеев становится заместителем заведующего отделом печати Северо-Кавказского крайкома. Координирует работу прессы, работает с литераторами и рабселькорами, развивает издательское дело и книготорговлю. Тогда в крае издавалось порядка 25 газет и шесть журналов, не считая красноармейской, комсомольской, пионерской печати. Действовало издательство «Севкавкнига». Микоян пишет, что в 1924–1926 годах Северо-Кавказский край занимал по этим показателям одно из первых мест в СССР.

По свидетельству Микояна, Булыге не раз поручали редактирование «серьезных политических документов». Так, в 1926 году он редактировал «Известия Северо-Кавказского крайкома партии». Микоян, вспоминая выступление Булыги на

краевом съезде раб-, сель-, юн-, воен- и деткоров, пишет: «Это был уже зрелый, сформировавшийся политический деятель».

Вот очередная развилка сюжета фадеевской жизни: он мог бы сделать блестящую партийную и государственную карьеру, учитывая личные качества, биографию да и поддержку со стороны Микояна и Землячки, которых, кстати, минуют репрессии, не миновавшие многих их соратников. Но Фадеев всю жизнь будет метаться между партией и литературой.

«Разгром» он начал писать в 1924 году в Краснодаре, продолжил в Ростове-на-Дону.

По данным Озерова, первой рукопись «Разгрома» прочитала Землячка, активно поощрявшая литературные занятия товарища по партии. Максимов говорит: Микоян и Землячка специально создавали Фадееву возможности для того, чтобы он дописал «Разгром».

Уже в январе 1925 года Фадеев публично читает в Ростове начало «Врагов» (первое название «Разгрома»), о чем появляется заметка в «Советском юге». В том же году главы из «Разгрома» напечатаны в «Советском юге», «Лаве», «Октябре», «Молодой гвардии»…

Вскоре «Враги» превратились в «Разгром», а «Врагами» стала одна из его глав. По одной из версий — потому, что пьеса «Враги» уже была у Горького. Впрочем, название «Разгром» тоже нельзя назвать оригинальным[173].

Некоторые главы Фадеев переписывал 20 раз и больше — а кажется, они сделаны легко, стремительно, одним дыханием. Нет в «Разгроме» главы, переписанной менее четырех-пяти раз. Павел Максимов: «В этой рукописи творилось что-то невероятное: буквально каждая строка была зачеркнута, и над нею написана новая, но она была тоже зачеркнута и написана вновь под строкой, потом на поле, потом на обороте, потом на подколотом бумажном листке, и все это вновь зачеркнуто и перечеркнуто…» То ли дело сейчас, во времена *Word!*

Обычно Фадеев не курил, но когда писал, в комнате из-за дыма не было видно его самого: прикуривал папиросу от папиросы. Говорил, что берет не талантом, а «усидчивостью и мозгом: упорно, многими часами сижу, как пришитый, на стуле за письменным столом и мысленно, в мозгу, десятки раз поворачиваю одну и ту же фразу и так и эдак… Фраза, написанная с лету, — редко удается».

Р. Фраерман вспоминал, что Фадеев «рыдал, если не мог схватить нужное звучание строки».

Микоян: «Он писал, писал упорно, по многу раз переписывал,

исправлял, опять переписывал: я видел это по черновикам его рукописи, когда он приходил, чтобы почитать написанное. Булыга был очень строг и требователен к себе, ему не хотелось писать плохо».

Позже, в Москве, за работой Фадеева наблюдал его новый друг Юрий Либединский. Фадеев писал сутками, «запоем», отсыпаясь в любое время суток и снова садясь за стол. Неудивительно, что, как вспоминают многие, он нередко читал свою прозу наизусть.

В апреле 1926 года Фадеев временно назначен ответственным редактором «Советского юга» — по совместительству с работой в отделе печати крайкома. Здесь он проводит ряд «реформ» для удобства сотрудников: например, пробивает люк в полу для передачи гранок и рукописей из редакции в типографию и обратно — чтобы не бегать по сто раз на дню вниз-вверх. Максимов вспоминал: прежний редактор, вернувшись из длительной поездки, обошел с мрачным видом редакцию и возле дыры в полу с видом короля Лира трагически прошептал: «Маль-чи-шка!»

В мае 1926 года в «Севкавкниге» выходит авторский сборник Фадеева «Большевики» — глава из «Разлива», глава из «Разгрома», рассказ «Против течения».

Летом он дописывает «Разгром» на даче под Нальчиком.

Ростовский период Фадеев вспоминал как один из самых счастливых. Не в одном Ростове, наверное, дело — просто сам он был молод, активен, на подъеме. Это был чуть ли не единственный период в его жизни, когда он гармонично сочетал оба своих призвания — писательское и общественное, когда всё получалось. Писал «Разгром», занимался партийной работой, был «литфункционером» (без уничижительного оттенка) — и одно только помогало другому. Не так будет потом.

Да и в личной жизни все тогда складывалось прекрасно. В 1925-м Фадеев и Герасимова поженились.

Револьвер, если он действительно хранил его с Гражданской, спал в кобуре. Ружье висело на стенке и стрелять еще не собиралось.

Вскоре Фадеев возвращается в Москву. Его командируют в распоряжение ЦК для работы в правлении РАППа[174] — Российской ассоциации пролетарских писателей.

В это же время, осенью 1926 года, Фадеев заканчивает «Разгром». Он выйдет в 1927 году отдельной книгой в ленинградском издательстве «Прибой» и будет иметь громкий

успех. Только колючий Осип Брик напишет отрицательную рецензию — тоже своего рода реклама.

Фадеева избирают оргсекретарем РАППа, вводят в бюро правления ассоциации.

Он еще хранит кавказский облик. Анна Караваева[175] познакомилась с Фадеевым вскоре после его возвращения с юга: «Черная „кавказская“ рубашка с высоким воротником (несмотря на летнюю жару!), узкий кожаный пояс с серебряными насечками, отлично подогнанные военные сапоги… Лицо его, словно еще недовылепленное, было так худощаво, что на запавших ямками щеках, как тончайший дымок, темнела тень, когда он поворачивал голову. Русые волосы лежали на ней неровно и даже слегка торчали, как мягкие иглы, — наверно, по привычке он частенько прочесывал их худой рукой».

Любуется. Им многие любовались.

Вскоре Фадеев перевозит из Приморья в Москву мать, затем — сестру с ребенком.

Ему двадцать пять. Он молод, но уже зрел. Вдохновенен и многообещающ. Ему всё удается. Позади — целая жизнь, впереди — тоже целая жизнь, которая, конечно, будет долгой и счастливой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НАВСЕГДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК

Фадеев в «Разливе»

Написал Фадеев немного. Несколько раз выходило четырехтомное собрание, самым полным собранием считается семитомник — и то там больше статей и писем, чем прозы.

Есть Фадеев общеизвестный (с поправкой на его сегодняшнюю полузабытость) — «Разгром» и «Молодая гвардия».

Есть менее известный — неоконченные «Последний из удэге» и «Черная металлургия». «Удэге» довольно широко издавался — это полновесная двухтомная книга, пусть и оборванная на полуслове.

И — почти уже не известный: «Разлив», «Рождение Амгуньского полка», очерки, сценарии…

Если исключить военную «Гвардию» и послевоенную «Металлургию», весь остальной Фадеев — дальневосточный.

Мы невольно рассматриваем текст вкупе с известными нам внетекстовыми обстоятельствами, не можем выпустить из внимания полускрытый айсберг контекста. Непросто заставить себя оценивать текст как таковой.

Хороший ли писатель Фадеев?

Вершиной его остался юношеский «Разгром». Иногда слышишь даже: Фадеев случайно написал одну удачную книгу.

Но возможно ли такое? И действительно ли всё его дальнейшее творчество было движением по нисходящей? Считать так было бы слишком просто и неверно.

Другое дело, что он всю «послеразгромную» жизнь старательно, искренне и осознанно наступал на горло собственной песне, как сформулировал другой художник, тоже выстреливший себе в сердце.

Помимо лучшего фадеевского текста — «Разгрома» (о нем будем говорить отдельно, как и о «Последнем из удэге») — дальневосточным произведениям Фадеева относится прежде всего его дебютная повесть «Разлив», законченная в мае 1923 года и вышедшая год спустя в ленинградском альманахе «Молодогвардейцы».

Сам Фадеев впоследствии называл «Разлив» произведением «несерьезным и неряшливым», с 1932 года не переиздавал. Сек сплеча: «Есть удачные страницы описаний природы, изображения отдельных лиц, событий, но в целом произведение рыхлое, с неясной мыслью, написанное дурным языком», много «ложных, искусственных, вычурных образов». Причины неприятия Фадеевым своей ранней вещи были чисто эстетическими, никакой

политики. «Повесть… была „серой“ — от неопытности, от неумения писать…» Перфекционизм и позже часто мешал Фадееву — взять хоть «Молодую гвардию», хоть «Черную металлургию», хоть «Удэге». Благо он не взялся переписывать «Разгром», хотя вносил от издания к изданию все новые поправки.

При всем том «Разлив», безусловно, заслуживает внимания. Завершив повесть, студент-горняк Фадеев переписал ее начисто на бумаге из бухгалтерской книги и отнес в редакцию журнала «Молодая гвардия». Там этот «самотек» и лежал, пока не попал в руки Либединского и Сейфуллиной[176], хорошо отозвавшихся о повести[177].

Либединский написал о «Разливе» статью «Художник-большевик», дав молодому автору очень высокую оценку — отчасти авансом (Фадеев отработает этот аванс «Разгромом»). Недостатки стиля и композиции, писал Либединский, искупаются «общим ощущением свежести и силы юного своеобразного таланта». Произведение было «по-настоящему русское», а если что-то в нем напоминало Джека Лондона, то это объяснялось прежде всего тем, что природа и суровость Дальнего Востока напоминают Аляску. «Если бы в природе существовал только „Разлив“ Фадеева, мы бы исключительно на основании его утверждали начинающийся расцвет пролетарской литературы», — заявил Либединский. Это, конечно, чересчур. Просто автору статьи хотелось, чтобы появлялись новые имена с новыми темами, чтобы все видели: русская литература продолжается, причем свежими, пролетарскими кадрами.

Названия первых произведений Фадеева — «Разлив» и «Против течения» — перекликаются[178]. В обоих человек борется со стихией, причем не только природной[179]. А в 1934 году Фадеев напишет рассказ «Землетрясение», один из героев которого говорит: «Пущай бы уж всю землю перетрясло. Поди, те, кто живы б остались, по-новому жить начали».

Фадеев всегда писал о бедах и несчастьях: то разлив, то разгром, то свои стреляют в своих, то фашисты казнят молодогвардейцев… Хваленой соцреалистической бодрости, сытого слепого оптимизма у Фадеева не было никогда. То ли он чувствовал, что из одного «позитива» литературы не получится, то ли полемизировал с иными не в меру жизнерадостными коллегами, то ли просто был человеком трагического (или даже апокалиптического?) сознания.

Время действия «Разлива» — 1917 год, между Февралем и Октябрем. Действие начинается с того, что большевик Иван Неретин, младший сын приморского первопоселенца Кирилла Неретина, возвращается с фронта в Сандагоу. Под этим именем

(герои повести порой говорят «Сундуга» — характерный для Приморья случай «русификации» китайских названий) по ряду примет узнается Чугуевка. Как мы уже говорили выше, было и реальное Сандагоу неподалеку, ныне Булыга-Фадеево, но Сандагоу «Разлива» — это все-таки Чугуевка. На это указывает, например, то обстоятельство, что в повести речь идет о «волостном селе». Именно Чугуевка с 1911 года была «столицей» волостного масштаба, причем в Чугуевскую волость Иманского уезда входило и Сандагоу, тогда как Сандагоуской волости, о которой пишет в «Разливе» Фадеев, не существовало. Присутствуют в тексте и реальные фамилии жителей Чугуевки — Неретин, Кислый, Горовой[180], Копай[181].

Иван с ходу берется за дело: проведя молниеносную избирательную кампанию, становится главой волостной земской управы, борется с разливом Улахе[182], отбирает у кулаков лодки, спасает людей…

Рискнем сказать, что «Пожар» Валентина Распутина 1985 года — своего рода анти-«Разлив». Советская литература и вообще «советский проект» начались «Разливом» — а закончились в первом перестроечном году «Пожаром». «Разлив» фиксировал начало новой эпохи, «Пожар» — ее завершение. Обе повести — об изменениях, происходящих в обществе, но если у Фадеева побеждает организация, то у Распутина — дезорганизация. Разлив начала века побежден — пожар конца века оказался сильнее. Там рождался (как положено — в муках) новый человек — здесь он умирал. Не у Фадеева, а именно у Распутина происходит окончательный «Разгром», хотя его герой говорит, лишь чуть перефразируя фадеевского Левинсона: «Будем жить».

«Новый человек пришел из другого мира… Крик его был беспомощен, но требователен» — так Фадеев описывает в «Разливе» роды.

О создании нового человека — весь Фадеев, с «Разлива» до «Черной металлургии». Проживи он на пять лет дольше — взялся бы за роман о космонавтах.

В 1936 году он записывает в дневнике «замечания в связи с Конституцией»: «Формируется новый характер, тип Человека с большой буквы на основе общественной социалистической собственности…» Фадеев искренне хотел верить, что сталинская конституция фиксирует необратимо происшедшие в обществе изменения к лучшему: стяжательство отмирает, новый человек — это коллективист, стремящийся «подтянуть, поднять отсталых и слабых». Развитая личность — уже не исключение: такие личности формируются миллионами. Новый человек — культурный, образованный, он участвует в общественной жизни и

управлении государством. Эту характеристику можно отнести не только к уже созданному писателем Левинсону или еще не известным Фадееву Кошевому и Туркеничу, которые ведь уже где-то жили и росли; слова эти — и о самом Фадееве. Участие в общественной жизни и госуправлении виделось Фадееву обязанностью советского гражданина. Вот ответ на вопрос о том, почему он всю жизнь разрывался между литературой и общественными нагрузками.

Текст «Разлива» довольно подробен топонимически. В нем фигурируют то Спасск-Приморск (то есть Спасск-Дальний) и село Самарка, то реки Нота (Ното, после 1972-го — Журавлевка) и Улахе (ныне — верхняя часть Уссури).

Повесть написана с видимым удовольствием, с молодым вкусом к жизни: «А так как приставом Улахинского стана уже давно питались в озере сомы, то вопрос оказался исчерпанным». Или: «Паут только что напился и развозил по белому тонкие полоски лошадиной крови. Он разомлел от жары, не мог летать и жужжал нудно и густо, как протодьякон».

«Разлив» — вот отличительная черта раннего Фадеева — переполнен метафорами, как и многие произведения 1920-х: «На сходке по кочковатым головам мужиков прыгали короткие рубленые слова Неретина. Раздвигали они плотно сшитые черепа и согласно укладывались внутри, как мелкие, хорошо колотые дрова». В голове Неретина, «в этом луженом и крепком солдатском котелке, уже варились и кипели простые, обыденные мысли о работе». Лавочник Копай «был полон секретарского достоинства и дышал тяжело и жирно, как сазан». Девушка Каня была «свежей и гибкой, как улахинский кишмиш»[183], а местные парни — «широкогруды и мохнаты, как изюбры». Воля таежного человека «густа, как кровь, а кровь ярка и червонна, как тетюхинская руда»[184]…

Позже Фадеев с осторожностью подходил к такому жонглированию метафорами — уже «Разгром» написан в более сдержанной манере. Он ведь не для красного словца еще в 1924 году называл себя «старовером языка»[185], когда его упрекали в «старомодности» стиля. В то время делались попытки создать принципиально новый язык пролетарской литературы, отрешившейся от старой «буржуазной» словесности. Это позже маятник качнется обратно, к новому открытию старой классики. Но Фадеев-то с самого начала был ближе к Толстому и Горькому, хотя, конечно, глупо было бы упрекать его в ретроградстве или недостаточной преданности идеалам революции. Преемственности он никогда не отвергал, считая советскую

литературу наследницей не только русской, но и западноевропейской и вообще мировой литературы[186]. Сейчас это утверждение может показаться общим местом — но не тогда.

В конце «Разлива» говорится: «И думал Неретин о том, как неумолимые стальные рельсы перережут когда-нибудь Улахинскую долину, а через непробитные сихотэ-алиньские толщи, прямой и упорный, как человеческая воля, проляжет тоннель. Раскроет тогда хребет заповедные свои недра, заиграет на солнце обнаженными рудами, что ярки и червонны, как кровь таежного человека. По хвойным вершинам впервые застелется горький доменный дым, и новые жирные целики глубоко взроет электрический трактор. И оттого, что воспоминание о тракторе было связано с нехитрой жалобой гольда на обрывке березовой коры, захотелось Неретину, чтобы одним из таких тракторов управлял седой и молчаливый таежный сын — Тун-ло»[187].

Ниточки отсюда ведут и к «Разгрому», и к «Удэге», и к «Землетрясению». Имя Тун-ло находим в записках партизана Яременко, описавшего китайский партизанский отряд под командой товарища Тун-ло, отдыхающий между Бреевкой и Архиповкой (окрестности тех же Чугуевки и Сандагоу). У Фадеева Тун-ло — не китаец, а гольд, то есть нанаец, и это важно: с одной стороны, он хочет показать, как воспрянули с революцией «коренные малочисленные народы», с другой — здесь чувствуется влияние Арсеньева, о чем мы скажем позже.

Рассказ (иногда его называют повестью) «Против течения» был написан осенью 1923 года, опубликован в конце того же года в журнале «Молодая гвардия». В 1934-м вышел в новой редакции под названием «Амгуньский полк» (автор дописал финальную главу, из которой становилась ясной судьба полка). С 1938-го издавался уже как «Рождение Амгуньского полка».

Это произведение — о том, как непросто разношерстные партизанские отряды превращались в регулярную армию Дальневосточной республики. Рассказ посвящен памяти Игоря Сибирцева, вместе с которым Фадеев в 1920 году эвакуировал по Уссури и Амуру оружие из Приморья в Амурскую область. Именно Сибирцев — один из прототипов коменданта парохода «Пролетарий» Никиты Селезнева. А вот его команда: «Тут были рослые крепкоскулые пастухи с заимок Конрада и Янковского[188] … Были замасленные и обветренные машинисты уссурийских паровозов, с черными, глубоко запавшими глазами, похожими на дыры, прожженные углем. Были тут и разбитные парни с консервной фабрики, с острыми, ядовитыми язычками и жесткими ладонями, порезанными кислой жестью».

«В ту весну по Уссури то и дело сплывали книзу безвестные трупы, и от них сомы жирели, как никогда» — вот фон, на котором разворачивается действие.

Один из центральных персонажей — анархиствующий командир Семенчук, которого пытается обуздать юный комиссар Челноков (похожий конфликт — в фурмановском «Чапаеве»). Бойцы 22-го Амгуньского стрелкового полка НРА ДВР по-прежнему считали себя «семенчуковским отрядом», привыкли к безвластию и безнаказанности, боялись порядка и дисциплины. После разгрома красных в Приморье (Фадеев в красках описывает «неудержимую звериную панику» с «оставлением орудий, винтовок и амуниции, с беспощадными драками между своими из-за каждого паровоза, вагона или двуколки») они решают дезертировать, уйдя за Амур, и пытаются для этого захватить пароход Селезнева, груженный динамитом. Заканчивается «Против течения» безжалостным пулеметным огнем с парохода по своим. Фадеевский Челноков поставлен в условия более суровые, чем фурмановский Клычков, стычки которого с «Чапаем» были лишь словесными.

«Против течения» — это Гражданская война, возведенная в степень, дошедшая до высшего накала. Тут уже не белые убивают красных — сами красные убивают друг друга. В 1930-х Фадеев несколько смягчит рассказ подобием хеппи-энда. К тому времени раны Гражданской вроде бы подзажили, страна готовилась биться с внешним врагом (правда, совсем скоро развернется и война с врагом внутренним — в виде массовых репрессий). В рассказе, переименованном из безнадежного «Против течения» в оптимистическое «Рождение…», мятежный Семенчуковский отряд становится регулярным 22-м полком, готовым выполнять приказы командования. Фадеев как будто пытался примирить нацию с самой собой — или фиксировал уже происшедшее примирение, пусть даже относительное и временное.

К началу 1920-х относятся несколько нереализованных замыслов Фадеева, которые частично переплавились в «Разгром» и «Последний из удэге».

Известен «Один в чаще» — глава из повести «Таежная болезнь». Фадеев работал над ней в 1924–1925 годах, потом переключился на «Разгром», с которым здесь — масса совпадений в линиях и фамилиях.

Например: «— Стоит отряд, я знаю! — снова ввернул парнишка, млея от радости. — Дубова отряд, я знаю… Пятьдесят два пеше, шишнадцать конно!.. Старик расспросил еще о японцах и казаках. О японцах никто ничего не слыхал, а казаки стояли в

Ракитном — в двадцати верстах от Ариадны» («Таежная болезнь»). Ровно те же детали — в «Разгроме».

В «Таежной болезни», как и позже в «Разгроме», появляются Дубов, Мечик, даубихинский спиртонос[189] Стыркша. Описан переход отряда из Шибишей через трясину в долину Тудо-Ваки. «Таежную болезнь» можно рассматривать как один из черновиков «Разгрома». А можно взять шире: у Фадеева почти все тексты росли из единого замысла — «Последнего из удэге».

В свой «второй дальневосточный период» (1933–1935) Фадеев вновь с удовольствием обратится к местному материалу. В 1935-м в «Красной нови» выходит то ли рассказ, то ли очерк «Землетрясение» — о тайге и Гражданской войне и о позднейшем «мирном строительстве», взрыве Бархатного перевала ради прокладки железной дороги. Здесь появляется колоритный персонаж — тигролов и партизан Кондрат Фролович Сердюк, весь в шрамах и царапинах: «Старик ростом с Петра Великого, но куда пошире и бородатый… К тиграм он относился ласково, но без уважения, называл их не иначе как „котами“… Живых тигров он поставлял торговой фирме Кунста[190] для германских зверинцев, а убитых — китайским купцам на лекарства». С Гражданской действие переносится в 1934 год — время написания рассказа; это своего рода послесловие к «Разгрому», здесь тоже слышится звучавшее в последнем (хоть и негромко) неоднозначное отношение к «новому миру», возможности создания «нового человека» и прогрессу вообще. Описывая преображение приморской тайги, Фадеев вроде бы приветствует «модернизацию», но одновременно рисует говорящие сами за себя пейзажи: Бархатный перевал «погиб», тайга «начисто разметена, разнесена в щепки». «Мертвая тайга вдоль всей дороги была порублена, побита взрывами так, что одни щербатые пеньки торчали, как гнилые зубы…

— Распугали тигров твоих, дед! — сказал Майгула.

— Ничего! Мой век уже кончился, — спокойно отвечал Кондрат Фролович».

Метафоры и лексика выражают настрой автора не менее явно, чем прямые высказывания. А в Федоре Майгуле — бывшем партизане, ныне художнике, рано поседевшем человеке, в 1934 году приехавшем в родное Приморье, — можно узнать самого Фадеева.

Уже по «Амгуньскому полку» и «Землетрясению» (и по «Разгрому», конечно) видно: Фадеев — писатель хотя и безусловно «красный», давно и навсегда определившийся со стороной баррикад, но при этом честный и не слепой — видящий и изображающий жизнь во всех ее противоречиях.

Будут еще дальневосточные очерки — «Семья Сибирцевых», «Особый Коммунистический», «Сергей Лазо»…

Да и на «Молодую гвардию» — текст, далекий от приморских реалий, — повлиял дальневосточный опыт Фадеева, о чем мы скажем в своем месте.

Помимо прозы и очерков есть фрагменты записных книжек 1948 года, опубликованные «Вопросами литературы» в 1959-м, — например, о том, как юный Фадеев на экскурсии с училищем рассматривал городища Золотой империи чжурчжэней в районе нынешнего Уссурийска.

И еще — письма. Если бы не они — сколько бы мы не узнали о нем. Сколько он хранил в памяти своей, так и не собравшись записать, — но, слава богу, Фадееву писали, интересуясь в том числе партизанской его юностью, и он подробно отвечал.

«Мне так безумно хочется в Приморье!», «Как бесконечно тянет меня снова побывать в Приморье»… Эту мысль в последние годы он повторяет постоянно. Она, что называется, — лейтмотив. Не только писем — жизни.

Письма Асе

Рискну предположить, что, возможно, вообще самые лучшие тексты Фадеева наряду с «Разгромом» — это его поздние (1949–1956) письма в Спасск-Дальний, в маленький домик по улице Советской, 78, к юношеской своей неразделенной любви Асе (Александре Филипповне) Колесниковой. Посмертно они вышли в журнале «Юность» в 1958 году и составили книгу «…Повесть нашей юности».

Колесникова работала учительницей в Спасске, на пенсии переехала к сыну в Волгоград. Переписка могла бы завязаться раньше: в 1930-е Фадеев получил письмо от Аси, но не ответил. В 1949-м объяснил почему: «Какое волнение и смуту вызвало оно, то Ваше письмо, в моей душе — и, как нарочно, в ту пору, когда только-только началась новая моя жизнь и у меня уже был сын[191] и я уже знал, что теперь не должен (и не могу даже пытаться) изменить эту мою жизнь до самой смерти!»[192]

Значит, были мысли о том, чтобы «изменить жизнь»? Чуть бы раньше — и все могло пойти по-другому.

Письма эти, во-первых, объемнее большинства других писем Фадеева — деловых или личных. Во-вторых, они безумно искренние, трогающие, отчаянные, нежные. По сути, это документальная мемуарная лирическая проза.

«Моя далекая милая юность» — называет Фадеев Асю. «Родная моя», «самый близкий мне человек на земле». Обращается на «Вы», но подписывается просто «Саша», просит не писать больше о «разнице положений»…

Трудно сказать, были ли у него в эти годы какие-то намерения, связанные с Асей. Или он просто заново переживал свою юность, острые приступы тоски, любви, невозможности счастья?

Он пригласил ее в Москву (и сам обещал приехать в гости — но уже давно не принадлежал себе), хлопотал о помещении рядовой учительницы в подмосковный дом отдыха ученых в Болшево, договаривался об этом напрямую с президентом АН СССР Сергеем Вавиловым. И она приехала — летом 1950 года. В следующих письмах он уже пишет ей «ты», сообщает, что «с трудом удерживался от слез», когда она уехала, хотя той близости, о которой мечтал, не получилось. В Асе он чувствовал «какое-то торможение»; получилось «больше дружбы, чем любви».

То есть — все-таки рассчитывал на что-то большее? У нее к тому времени брак уже распался, но сам он был женат…

В 1951 году Фадеев напишет: лето 1950-го было «чудесное,

счастливое лето моей жизни… последнее возрождение юности и ее конец». «С тобой, первой и чистой любовью души моей, жизнь свела так поздно, что и чувства и сама природа уже оказались не властны над временем истекшим, над возрастом, и ничего в сложившейся жизни уже не изменить, да и менять нельзя».

А потом вдруг снова переходит на «Вы» и спохватывается: «Как будто мы идем не к завершению круга жизни нашей, а все начинаем сначала!»

Переписка с Асей поднимала «светлую печаль в сердце», но доставляла и боль. «Тот прекрасный чистый круг жизни, который был начат мною мальчиком, на Набережной улице, в сущности, уже завершен и — как у всех людей — завершен не совсем так, как мечталось…»

Фадеев писал Асе сериями — часто из больницы, просто потому, что там у него появлялось время. В июне 1949 года — три письма подряд, в апреле — мае 1950-го — 11 писем, да все огромные. Писал приступами, как одержимый. Потом реже — но все равно писал вплоть до весны 1956 года. Писал и другим дальневосточным знакомым, но Асе — больше и страстнее всех.

Эти письма — автобиографическая повесть Фадеева о его приморской юности. Много лет не бывавший в Приморье, он без запинки и ошибки вспоминает улицы, погоду, фамилии; тоскует по местам и людям, воскрешает юношеские переживания. Это тот настоящий Фадеев, которого не все уже могли видеть за «железным занавесом» его гранитно-медального облика.

Фадеев описывает купальню «Динамо» на набережной во Владивостоке[193]: «Я мог часами лежать под солнцем на горячих досках… ощущая все тот же, что и в детстве, особенный, неповторимый — от обилия водорослей — запах тихоокеанской волны». Вспоминает о том, как в 1930-е с Океанской «пешком ходил во Владивосток через Седанку, Вторую речку, Первую речку, мимо дома, где жил Саня Бородкин. Я выходил на Комаровскую, заходил во двор домовладения, где жил в детстве у Сибирцевых. И все было таким же, как в детстве (только на пустыре против дома, где мы играли в футбол, поставили цирк)»[194].

Письма Асе ценны не только фактическим материалом, но и эмоциональной нагруженностью, тем более что писал их зрелый человек (под и за пятьдесят), «живой классик», советский вельможа. Напиши он в той же интонации автобиографические записки — они были бы великолепны. Но у Фадеева почти нет текстов о себе, от себя. Он вводил себя в книги очень осторожно — через Мечика, через Сережу Костенецкого… Намеренно уничтожал в себе возможного — и яркого — литературного

персонажа, оставаясь только автором. Этот пробел частично восполняют письма Асе, читающиеся как цельное произведение.

В этих письмах рождаются и умирают так и нереализованные сюжеты (их, безжалостно абортированных, у Фадеева куда больше, чем удавшихся). Они поблескивают, как золотинки в речном песке.

Чего стоит, например, такой. Фадеев в детстве дружил с Женей Хомяковым, Гришей Кравченко и Шурой Дрекаловичем, родители которых имели богатые хутора на берегах Уссурийского залива — под Шкотовом, в Петровке и на периферии Владивостока, в районе нынешней Горностаевской трассы. «Мне фатально пришлось участвовать в 1919 году в разорении партизанами всех трех этих хуторов!» — пишет Фадеев, поясняя: «Хутора эти… всегда служили базой для командования белых карательных экспедиций… В амбарах было много хлеба, а в конюшнях, пунях и хлевах — немало лошадей, коров, свиней, — все это было захвачено для партизанских отрядов… К чести моей сказать, я не испытывал решительно никаких угрызений совести. Никого из хозяев, понятно, не было уже на хуторе, но прислуга и работники Хомяковых меня узнали и пытались через меня отстоять хозяйское добро. Пришлось мне прочесть им целую лекцию о революционной законности».

Из последнего письма Фадеева Асе: «Меня и вправду очень потянуло на родину. Я ведь всегда вспоминаю и мечтаю о ней… Иной раз я испытываю просто тоску по Дальнему Востоку… Я буду кончать „Удэге“. И вот тогда-то поеду!.. В сущности, я так мало написал в своей жизни!»

Письмо это написано 16 марта 1956 года. Жизни оставалось меньше двух месяцев.

Иные считают, что после «Разгрома» Фадеев пропил, продал, промотал свой яркий юношеский талант. Письма Асе доказывают, что это не так. В них он — снова настоящий: молодой (даром что литературный генерал), страстный, любящий, искренний, беспощадный к себе, страдающий, сомневающийся. Когда он писал о том, что было ему по-настоящему близко, — он писал прекрасно.

В этих письмах — может, на тот момент уже только в них — Фадеев чувствовал себя свободным от предыдущих лет, от должностей и тяжестей.

Он возвращался в свою юность, снова стал мальчиком с большими ушами, который скоро уйдет в партизаны под именем Булыги. Слова его становились горячими, как молодая партизанская кровь (характерна оговорка Веры Инбер, назвавшей письма Асе «юношескими»). Под броней орденоносца, лауреата,

генсека жил чувствительный, ранимый юноша. Сохранить в себе юношество — дорогого стоит, тем более что здесь это никакая не инфантильность.

Есенин ушел в 30, Маяковский в 37, Шпаликов — тоже в 37… Фадеев — на 55-м году, но внутренне он был моложе. Паспортный возраст, как и ранняя седина, не должен никого обманывать. Да и разве это возраст — «за 50»?

Дальневосточный текст

Лучший Фадеев — дальневосточный Фадеев. Самое сильное у него — то, что пропущено через себя, причем даже не ради литературы, а просто в силу того, что какие-то события и люди были самой его жизнью.

«Молодая гвардия» и тем более «Черная металлургия» жизнью Фадеева стать не могли, сколь добросовестно ни изучал он материал. Писательскую психику и оптику Фадеева сформировали Приморье и Гражданская.

Он принял участие в развитии того крыла отечественной словесности, которое мы рискнем назвать «дальневосточным текстом».

Давно известны понятия московского, питерского, даже одесского и киевского текстов как составных частей русской литературы с некоторыми характерными особенностями.

С дальневосточным текстом — сложнее.

Дальний Восток спасали и спасают «гастарбайтеры», «легионеры». Местные же играют во втором-третьем эшелонах, лишь изредка поднимаясь до вершин гамбургского счета. У них немало интересного и хорошего — но зачастую не хватает того большого, что могло бы стать общероссийским и через это — мировым. Тихоокеанская окраина не избалована обилием талантов нерайонного значения. Как провинция, и к тому же провинция малолюдная и молодая, мы записываем в дальневосточные авторы всех, кто хоть раз тут побывал — как Гончаров и Чехов в веке XIX, Пришвин и Гайдар в веке XX — или даже просто где-то нас упомянул, как Довлатов или Лимонов.

Руку к созданию дальневосточного текста приложили Павел Васильев, впервые опубликовавший свои стихи во Владивостоке[195], расстрелянный и забытый Виктор Кин с книгой «По ту сторону», Рувим Фраерман с собакой Динго, Сергей Диковский с катером «Смелый». В том же ряду Андрей Некрасов — создатель капитана Врунгеля, Юлиан Семенов — отец Штирлица. Симонов, баталистская звезда которого взошла на Халхин-Голе. Твардовский с его поэмой «За далью — даль». Олег Куваев с «Территорией» и «Правилами бегства»…

Не все приезжали сюда по своей воле. Иные, как Шаламов, через Владивостокскую пересылку попали на Колыму[196]. И как сегодня представить русскую литературу без «Колымских рассказов»?

Еще при царе освоение Дальнего Востока шло в том числе за счет ссыльных, становившихся первыми исследователями

региона, подвижниками, учеными, писателями — как поляки Пилсудский (старший брат маршала-диктатора), Янковский, Серошевский, Черский… В СССР пенитенциарная система тоже имела геополитико-культурологическое измерение, как бы кощунственно это ни звучало.

При всем при этом литературная освоенность востока нашей страны по-прежнему недостаточна. Дальний Восток, занимающий треть территории России, похож на разбросанный архипелаг. Слишком далеки даже друг от друга, слишком малы и немногочисленны здешние человеческие поселения и слишком мало между ними дорог. Наиболее подходящий образ для понимания Дальнего Востока — Курилы: острова, к тому же далекие, к тому же малолюдные, атакуемые тайфунами и цунами, оспариваемые соседями. Характерная местная фигура речи — выражение «на материк», используемое на Дальнем Востоке отнюдь не только островитянами.

У Одессы были Бабель, Багрицкий, Олеша, Козачинский. На Дальнем Востоке шла и происходит никак не менее интересная жизнь, чем в Одессе, — но своих Бабелей не нашлось, и целые пласты героев, сюжетов, судеб канули в Японское море.

На Дальнем Востоке — фатальное несоответствие между числом больших художников и массивом материала.

Взять ту же Гражданскую: если бы не Фадеев — не было бы мифа о «приморских партизанах». Если бы не Арсеньев — не было бы мифа об Уссурийском крае, где живет Дерсу Узала и ходит тигр — хозяин тайги.

Главные литературные бренды Приморья — именно Арсеньев и Фадеев (даром что оба родились вдалеке от здешних краев — тот самый случай, когда дальневосточниками не рождаются). Трудно назвать сопоставимые с ними фигуры: одни слишком локальны по своему масштабу, другие искусственно притянуты, попав в Приморье — эту пересылку для гениев — ненадолго или случайно. Петербургский Арсеньев и тверской Фадеев — авторы безусловно приморские и притом очень значительные. Тем более странно, что оба остаются недопрочитанными. Если Фадеева определили в резервацию «советских функционеров», то Арсеньева — в не менее тесную ему нишу «краеведов». Прославленные и прославившие, они по-настоящему не осмыслены до сих пор и требуют нового — заинтересованного и непредвзятого взгляда. Им (а на самом деле нам) нужно новое прочтение, свободное от советской и антисоветской тенденциозности.

Фадеев состоялся в столице. В этом проявилась центростремительность нашей страны, где Арсеньев, начавший

свою настоящую карьеру отъездом из столицы на Дальний Восток, — скорее исключение. Дальневосточные провинциалы нередко реализовывались в столицах, но дальневосточниками при этом оставались не все. Фадеев — остался. Иные стремились забыть свое происхождение — он считал себя дальневосточником всегда и постоянно эксплуатировал эту тему, эту свою оказавшуюся драгоценной провинциальность.

Вот типичный мемуар о Фадееве («Дальний Восток», № 3 за 2014 год, Юлия Шестакова): «Мне вспоминается первая встреча с Фадеевым в 1950 году, когда в продолжение 40 минут мы говорили о Дальнем Востоке, и когда он спросил меня, кто мой муж, а я назвала ему фамилию Рослого, он очень оживился, узнав, что это брат Кости, с которым у него связана юность, гражданская война на Дальнем Востоке…

— Давно бы надо написать о нем, — сказал Фадеев. — Это был настоящий герой и талантливый человек. Я мог бы рассказать о нем много интересного… Но вот как-то руки не доходят».

Тут все показательно: и — что «очень оживился», и — что «руки не доходят».

Тексты Фадеева нередко требуют расшифровки именно потому, что они — о Дальнем Востоке. Ведь даже сейчас Дальний Восток остается едва ли не *terra incognita* для жителей так называемой Центральной России.

Возможно, имеет смысл составить словарь дальневосточной лексики Фадеева (к «Разливу» он даже сам сделал ряд примечаний, объясняя непонятные слова):

— «маньчжурка» — местный табак, ввозившийся из соседнего Китая (вот и у Фраермана Васька-гиляк «нащупал лист маньчжурского табаку и, растерев его на ладони, набил свою трубочку»);

«Хай-шинвей» — китайское название Владивостока;

«манзы» — приморские китайцы;

«пантовка» — добыча молодых оленьих рогов;

«хунхузы» — китайские разбойники (в «Разливе» они присылают местным корейцам «разверстку» на опиум)…

Не говорим уже о местной топонимике, претерпевшей с времен Фадеева серьезные изменения. Не лишним было бы издание его дальневосточной прозы с научным комментарием.

Фадеев никогда не покидал Дальнего Востока. Последний настигал писателя даже в самых неожиданных местах. В Чехословакии Фадеев найдет не только бывших чешских легионеров, в пору Гражданской отметившихся в Приморье, но и

своего владивостокского преподавателя физкультуры Ивана Мойжиша. В блокадном Ленинграде отыщет двоюродную сестру — Веронику («Ничку») Сибирцеву… Уверен, что, когда в ленинградских очерках Фадеев с особым интересом писал о защитниках полуострова Ханко, он вспоминал приморское озеро Ханка.

Запись военкора Фадеева (1944 год, 3-й Украинский фронт, Одесса): «Отдельная мазанка-кухонька, в ней украинская печка, какие у нас на Дальнем Востоке ставят прямо на улице под навесом…»

Январь 1946-го, Чкаловская (Оренбургская) область: «Коровы часто в укрытии — плетушке, закиданной соломой, с открытым входом, — такие у нас на Дальнем Востоке зовут „пунькой“»…

Кавказ, 1947 год, вспоминает поэт Николай Тихонов:

— У нас в Приморье, — сказал Фадеев, — фазаны бродят стаями. Как ручные. Их палками можно бить. Птица там непуганая. А раз мы видели, как медведь рыбу ловил на реке.

«У нас». Именно.

Публикация в газете «Тихоокеанский комсомолец» к восьмидесятилетию писателя названа просто: «Наш Фадеев».

Согласно данным краеведа Людмилы Мартемьяновой, приморский художник Иван Рыбачук[197] за несколько дней до гибели Фадеева привез в Переделкино заказанную писателем картину — вид Амурского залива.

Владивосток фадеевский и Владивосток сегодняшний заметно отличаются, но Амурский залив остался тем же. Мои окна выходят как раз на залив, и смотреть на закаты никогда не надоедает.

Братья по краю: Фадеев и Арсеньев

В уже упомянутой поэме «За далью — даль» Александр Твардовский писал:

> …Как этот, в пору новоселья,
> Нам край открыли золотой
> Ученый друг его Арсеньев
> И наш Фадеев молодой.

Арсеньева и Фадеева принято числить по различным ведомствам. Фадеев — краснознаменный, советский, сталинист, функционер… Арсеньев — царский офицер, ученый, краевед, естествоиспытатель. Очень разные фигуры — но они гораздо ближе друг к другу, чем это может показаться. В их текстах и судьбах — множество пересечений самого разного порядка.

Владимир Клавдиевич и Александр Александрович ходили буквально по пятам друг друга.

По итогам экспедиции 1906 года Арсеньев писал: «Между устьем Бэйцухе[198] и Иманом приютилась небольшая корейская деревушка Саровка». Через два-три года в Саровке поселятся мать и отчим Фадеева, здесь будущий писатель пойдет в школу.

Биограф Арсеньева Анна Тарасова пишет: Владимир Клавдиевич (разведчик, великолепно знавший Приморье, в том числе в военно-топографическом плане) в начале 1920 года консультировал военный совет Сергея Лазо.

В апреле 1920-го Фадеев получит в Спасске пулю в бедро и будет потом лечиться на станции Корфовской под Хабаровском. Именно у Корфовской в 1908-м убили Дерсу Узала — проводника и героя Арсеньева.

К сожалению, они так и не познакомились по-настоящему. Когда Арсеньев в 1921 году издал во Владивостоке первую книгу «для широкого читателя» — «По Уссурийскому краю», — комиссар Булыга-Фадеев уже уехал из Читы в Москву. Он еще вернется и будет подолгу жить во Владивостоке — но уже после смерти Арсеньева, случившейся в 1930-м. Если бы не эта смерть — они бы непременно познакомились. А как иначе, если во Владивостоке Фадеев встречался с писателем Борисовым[199], которому вдова Арсеньева Маргарита перед своим арестом передаст бумаги Арсеньева, а те уже после смерти Борисова попадут к Константину Симонову и будут найдены в его архиве; если осенью 1933-го Фадеев таежными тропами шел с Сучана в

Улахинскую долину, и проводником его был Василий Глушак — пятидесятилетний богатырь, тигролов и медвежатник, бывший партизан, спутник Арсеньева и друг Дерсу Узала? Арсеньев и Фадеев не просто ходили одними маршрутами (Арсеньев писал о привале у реки Ваку, фигурирующей в «Разгроме») — у них даже был один проводник.

Или вот: по данным Тарасовой, участник экспедиций Арсеньева 1927 и 1930 годов Прокопий Гончаров в Гражданскую воевал в Сучанском партизанском отряде. Мог встречаться с Булыгой.

Из экспедиции 1927 года Арсеньев отправлял заметки в хабаровскую «Тихоокеанскую звезду». В 1939-м эти тексты опубликовал журнал «На рубеже» — дальневосточный «толстяк», а очерк Арсеньева «Голодовка на реке Хуту» вышел в этом же журнале еще в 1934-м. В 1935-м Фадеев на некоторое время стал его редактором.

Более того, состоялась и личная встреча Арсеньева и Фадеева — только Фадеев был тогда ребенком. Писатель Семен Бытовой (приехал в 1933-м на Дальний Восток по совету Фадеева с книжкой Арсеньева в кармане — и сколько было таких!) приводит рассказ Фадеева о том, как он видел Арсеньева в Хабаровске в Гродековском музее в 1913 году, но лично знаком с ним не был. Арсеньев, руководивший тогда музеем, сам провел экскурсию для учеников[200]. Фадеев, рассказав об этом Бытовому, добавил: пора издавать полное собрание сочинений Арсеньева…[201] Другой дальневосточный литератор, Василий Кучерявенко[202], писал со ссылкой на Фадеева, что Арсеньев тогда целый вечер рассказывал ученикам «о своих богатых приключениями путешествиях». Без особой натяжки можно сказать, что Арсеньев Фадеева благословил.

Так или иначе, в текстах своих они «встречаются» то и дело. Это и понятно: жили в Приморье, писали в одно — плюс-минус — время… Но дело еще в их настроенности на одну волну — вот откуда в произведениях Арсеньева и Фадеева так много созвучий.

Есть у них и общая литературная генеалогия. Горький говорил, что Арсеньев объединил в себе Брема и Купера, а сам Арсеньев указывал в сцене знакомства с Дерсу: «Передо мной был следопыт, и невольно мне вспомнились герои Купера и Майн Рида». Фадеев называл своими учителями тех же Купера и Майн Рида, Джека Лондона (конечно, у обоих были и другие литературные отцы[203]). А бремовская «Жизнь животных» фигурирует у Фадеева в «Последнем из удэге» — с ее помощью партизаны и подпольщики зашифровывают свою переписку.

И Купер, и Лондон слышны уже в фадеевском «Разливе», где

гольд Тун-ло (соплеменник Дерсу) говорит: «Земля была наша. Потом пришли русские. Русские взяли всю землю. Русские были сильнее, потому что их было больше… Нехороший порядок. Теперь гольд платит за землю. Гольд платит за фанзу, хотя делает ее сам из своего леса и своей глины… Тун-ло слыхал, теперь порядок будет другой. Что думает сделать Неретин для гольдов?»[204]

Первая художественная (условно; скорее — синтез *fiction* и *non-fiction)* книга Арсеньева под комбинированным названием «По Уссурийскому краю (Дерсу Узала). Путешествие в горную область Сихотэ-Алинь» вышла во Владивостоке в 1921 году. В 1923-м здесь же издана вторая — «Дерсу Узала. Из воспоминаний о путешествии по Уссурийскому краю в 1907 году». Это позволяет усомниться в том, что на момент написания «Разлива» Фадеев, живший уже в Москве, успел внимательно прочесть Арсеньева. В это же время у Фадеева рождается замысел «Последнего из тазов»; если здесь еще нет прямого влияния Арсеньева (оно проявится позже), то отсылка к Куперу уже есть.

Джек Лондон оставался для Фадеева важным до конца жизни. В 1941-м он процитирует Лондона: «Но мои подвиги должны быть непременно материального, даже физического свойства. Для меня гораздо интереснее побить рекорд в плавании или удержаться в седле, когда лошадь хочет меня сбросить, чем написать прекрасную повесть… Впрочем, я должен сознаться, что небольшую аудиторию я все-таки люблю. Только она должна быть совсем-совсем небольшая и состоять из людей, которые любят меня и которых я тоже люблю». И прокомментирует: «В юности я совпадал с автором этих строк по обеим линиям. Теперь я все больше и больше утрачиваю первое из этих свойств. Не есть ли это признак лет?» В 1948-м Фадеев написал критику Бушмину: «Напрасно Вы категорически вымели Джека Лондона из числа моих литературных учителей». Тогда же признался, что не мог без волнения читать «Мою жизнь» Сетон-Томпсона: «В его юношеских склонностях так много общего с моими».

Можно говорить не только об общем географическом, литературном и лексическом (Из «Разлива»: «Утром гольд слез с теплого кана, насыпал в мешок чумизы и принялся за чистку ружья» — совсем по-арсеньевски; или вот: «На скрещении двух хребтов стояла маленькая, похожая на скворечню китайская кумирня с красной тряпкой, на которой вышито было по-китайски: „Сан-лин-чи-чжу“ — „Владыке гор и лесов“. Было очень росисто и холодно, но веяло уже терпким, свинцовым и сладостным запахом зацветающих рододендронов» — сразу и не

скажешь, Арсеньев это или все-таки Фадеев) пространстве обоих писателей, но и о буквальных совпадениях и даже прямых заимствованиях, сделанных Фадеевым у Арсеньева.

Вот у Арсеньева появляется некто Кашлев по прозвищу «Тигриная смерть» — тихий, скромный, невысокий, худощавый. У Фадеева в «Последнем из удэге» читаем: «Мартемьянов сказал Сереже, что Гладких — сын прославленного вайфудинского охотника, по прозвищу „Тигриная смерть“[205], убившего в своей жизни более восьмидесяти тигров. Правда, по словам Мартемьянова, Гладких-отец был скромный сивый мужичонка, которого бивали и староста, и собственная жена».

Известны следопытские таланты Дерсу — а вот описание удэгейца Сарла у Фадеева: «Рассматривая следы, человек заметил дорогу, идущую из соседнего распадка. Он немного спустился, изучая ее. Одна лошадь была поменьше, кованная только на передние ноги, другая — побольше, кованная на все четыре. Вел их один — русский, судя по обуви, — человек с небольшими ступнями. Несмотря на то, что он лез в гору, он шел не на носках, как ходят молодые, сильные люди со здоровым сердцем, а ставя накось полные ступни, — человек этот был немолодой».

Коренных дальневосточников — эвенков, нанайцев, нивхов, айнов… — России открывали путешественники XIX века, бывшие одновременно и военными, и учеными, и литераторами. Потом сюда поехали профессиональные писатели — Гончаров, Чехов, Дорошевич…

Целостный и притягательный образ «инородца» первым создал Арсеньев. Чуть позже тем же занялся Фадеев.

В середине 1920-х Рувим Фраерман пишет «Ваську-гиляка»[206], в конце 1930-х — «Дикую собаку Динго», где школьники неназываемого Николаевска-на-Амуре жуют «серу» (лиственничную смолу, благодаря которой зубы сохраняют белизну, причем продает эту серу китаец на углу), едят оленину, которую покупают у тунгусов… Нанайский мальчик Филька в этой повести — уже не дикарь, а нормальный советский школьник.

На следующем витке, в следующем поколении, когда Филька вырос, — вслед за Арсеньевым, Фадеевым и Фраерманом появились опекаемые советской властью национальные писатели. Они писали о «коренных малочисленных» уже не со стороны, а изнутри: чукча Рытхэу[207], нанаец Ходжер[208], нивх Санги[209], удэгеец Кимонко[210]… Они обогатили нашу культуру, причем далеко не только с сугубо информативной точки зрения. Появление литераторов в «инородческой» среде было важным и для них самих, и для всей нашей большой и сложной страны.

Как и Арсеньев, Фадеев доброжелательно относился к «инородцам» («коренным малочисленным народам») и негативно — к местным китайцам, их закабалявшим.

Задолго до революции Арсеньев называл народ удэге (или «удэхе»; современный этноним «удэгеец», по звучанию далеко ушедший от самоназвания «лесных людей», тогда еще не устоялся) коммунистами, пусть и первобытными. Он противопоставлял этих «дикарей» современному европейцу, который с прогрессом многое приобрел, но многое и потерял — прежде всего в отношении человеческих добродетелей: «Я видел перед собой первобытного охотника, который… чужд был тех пороков, которые… несет городская цивилизация».

О том же писал и Фадеев: «Пржевальский[211] совершенно не понял удэгейцев… Он, конечно, не мог и подозревать, что имеет дело с первобытными коммунистами… Об удэге написал: „Он забывает всякие человеческие стремления и, как животное, заботится только о насыщении своего желудка“. Какая жестокая неправда!»

Старовер под Пластуном говорит Арсеньеву о Дерсу: «Хороший он человек, правдивый… Одно только плохо — нехристь он, азиат, в Бога не верует… У него и души-то нет, а пар». А вот фадеевский Мартемьянов: «Работать сами не умеем, да еще норовим на своего же брата верхом сесть: вали, брат Савка, у тебя и язык другой, и глаза косые, и пар заместо души! А ежели по-настоящему разобраться, народ этот куда лучше нашего — простой, работящий, друг дружке помогают, не воруют…» Герой «Землетрясения» Кондрат Сердюк (его прототип — тот самый проводник Глушак) говорит о гольдах: «Благородство в них есть… Потому что у них промеж себя братский закон». При этом Сердюк вспоминает разговор с «одним образованным полковником», который «места наши на карту снимал» — не с Арсеньевым ли?

Были, впрочем, у Арсеньева и Фадеева некоторые различия в акцентах. Если Арсеньев с неприкрытой горечью писал о разрушении традиционного быта «инородцев» — и «цивилизацией» как таковой, и китайскими водкой и опиумом, и русской оспой, — то Фадеев убежден в пользе модернизации, приобщения туземцев к достижениям века. Его Сарл — удэгеец «прогрессивный»: «Весной он добыл у корейцев семена бобов и кукурузы и, впервые в истории народа, понудил женщин возделать землю… Но это было только начало! А вот у сидатунских китайцев[212] Сарл подсмотрел как-то домашнюю мельницу: сытый, ленивый мул с завязанными глазами, с подопревшими ляжками, ходил вокруг столба, вращая верхний

жернов, и зернистая, как золото, кукурузная мука струилась в джутовый растопыренный зев».

Арсеньевский герой Дерсу Узала, как показывает его биограф Алексей Коровашко[213], серьезно идеализирован по сравнению со своим прототипом — Дэрчу Одзялом. Арсеньев не упоминал, к примеру, чем пах и что курил Дерсу — об этом мы знаем лишь из воспоминаний первой жены писателя. Если интеллигентный Арсеньев и испытывал чувство брезгливости по отношению к некоторым чертам «инородческого» быта, то умолчал об этом. Не то — у Фадеева. Вот его Сережа, во многом автобиографичный, попадает к удэгейцам: «Чем ближе они подходили к поселку, тем ощутимее становился донесшийся к ним еще издалека тошноватый запах несвежей рыбы, разлагающейся крови и чада и тот специфический острый чесночный запах, которым пахнут туземные жилища и одежды… Сережа, почувствовав внезапный приступ тошноты, отвернулся…»

Арсеньев в книге «Сквозь тайгу» так описывал камлание шамана: «От музыки его становилось жутко. Кто знает, что сумасшедшему может прийти в голову! Было достойно удивления, откуда у этого старого человека бралось столько энергии… Он куда-то мчался, кого-то догонял и кричал, что не видит земли, что мимо него летят звезды, а кругом холод и тьма». А вот Фадеев: «Толстолицый рябой удэге с неимоверно длинными обезьяньими руками… выделывал вокруг костра чудовищные прыжки, часто ударяя в бубен, сутулясь и сильно вращая задом; подвешенные к его поясу железные трубки издавали неистовый лязг. Он проделывал эти телодвижения без единого возгласа, с лицом серьезным и сосредоточенно-глупым от напряжения… Позы, которые принимал пляшущий, были так дики, нелепы и унизительны и так порой смешны, что Сереже делалось неловко за него». Арсеньев так написать не мог. Он опускал неприятные постороннему черты «первобыта». Для него важнее было другое — этический кодекс «инородцев», их жизнь в гармонии с природой и другими людьми.

К прогрессу, надо сказать, и у Фадеева отношение было неоднозначным, что чувствуется и в подтекстах «Разгрома», и в «Землетрясении». Ему равно дороги и старая тайга, и новая жизнь, которая эту тайгу уничтожает.

Известно, что в пятой части «Последнего из удэге» (где автор, разделавшись с перипетиями Гражданской войны, наконец переходит собственно к удэгейцам) Фадеев хотел показать борьбу «инородцев» против китайских эксплуататоров-«цайдунов», описать лесных бандитов — хунхузов… Не будет большой натяжкой сказать, что он собирался перевести наблюдения и

выводы Арсеньева в поле художественного; олитературить, беллетризовать его «Китайцев в Уссурийском крае». И даже начал эту работу: «Места эти, в которых уже погулял топор, в те времена мало посещались людьми и были богаты зверем, но, когда хлынула в край вторая китайская волна, племя покинуло их, распавшись по родам. Иные попали в кабалу к китайским „цайдунам“, пополнив собой ту вырождавшуюся от водки, трахомы и опиума часть народа удэ, которая уже много десятилетий несла рабскую кличку „да-цзы“ (или „тазы“), что значит — не русский, не китаец, не кореец, почти не человек — инородец…»

Опровергая расхожее представление о Приморье как «исконно китайской земле», Арсеньев доказывал, что китайцы появились здесь за какие-то два десятка лет до русских — ближе к середине XIX века. О том же пишет Фадеев. Его Масенда, родившийся в 1818-м, застал приход первых китайцев: «Они перевалили хребет с верховьев речки Арму — притока Имана — и пришли из страны маньчжуров. Им нужны были шкурки соболя, молодые оленьи рога — панты и корень женьшень. И каждый охотно отдал им большую часть того, что имел… Китайцы были веселый народ и пили горькую воду, от которой становились еще веселее. Они угощали этой водой и удэге…»

И у Арсеньева, и у Фадеева находим зародыши нереализованных сюжетов, связанных с грандиозным переселением на восток — с освоением Приморья Россией. Сначала — по суше, по бездорожью, потом — пароходами Доброфлота[214] из Одессы и наконец — железной дорогой. К сожалению, великих книг об этом не появилось, и приходится довольствоваться фрагментами, вставными новеллами, где мелькают удивительные личности и судьбы.

Вот что рассказывает у Фадеева некто Боярин: «С нами на пароходе хохлы ехали, семьи четыре, — мы-то сами воронежские, а то хохлы, — так они всю дорогу гундели: „О це ж Зелений Клин, да коли ж Зелений Клин! Да там трава с воловика, да там с винограду аж деревья гнутся, да там земля чорна на сажень!..“ Ай, дураки-и… Ха!.. Тьфу!.. — И Боярин вдруг крепко выругался, махнул костлявой рукой, похожей на конскую берцу, и даже топнул».

Действительно, никто из переселенцев с Украины или Центральной России толком не знал, что его здесь ждет. Одни верили в землю обетованную; другие, опасаясь, что в Приморье может не оказаться даже обыкновенных камней, везли с собой гнет для квашения капусты…

А лианы и пробковые деревья в тайге? А тигры с леопардами?

Рассказы о несбывшихся ожиданиях первых переселенцев есть и у Арсеньева. Вот история крестьянина Пятышина. Он открыл в Ольге торговлю, но, «будучи по характеру добрым и доверчивым человеком, роздал в кредит весь свой товар и разорился». Занялся рыбалкой — вода унесла невода, добывал морскую капусту — рабочие-китайцы взяли задаток и разбежались, строил кирпичный завод — сбыта не было. Ломал мрамор, выжигал известь, пытался строить дома, снова рыбачил… Ни на кого не жаловался, винил только судьбу и продолжал с ней бороться, пока не умер.

А вот история о том, как рабочие лесопромышленника Гляссера в 1907 году заболели золотой лихорадкой: «Эти несчастные, душевнобольные люди бродили подолгу в горах в лесу в надежде найти золото… Видя, что золото не так-то легко найти, что для этого нужны знания, время и деньги, они решили поселиться тут же, где-нибудь поблизости. Для этого они отправились во Владивосток, там получили в Переселенческом управлении денежные пособия и вскоре возвратились назад уже в качестве переселенцев. На полученные деньги они прежде всего купили водки. Спустя два месяца они были в том же положении, как и в первый день своего приезда на р. Санхобэ[215]… Они сами не знали, как будут жить дальше, что делать и чем питаться. Очень немногие из них интересовались землею, большая же часть были авантюристы — искатели приключений. В 1908 году на побережье моря таких переселенцев явилось еще больше. Иначе не могло и быть. В такую изолированную вследствие бездорожья местность пойдут только два элемента: 1) старообрядцы и 2) искатели приключений, искатели золота, искатели легкой наживы».

Или такое замечание Арсеньева: «Вся ошибка заключается в том, что переселенцы совершенно не были знакомы с краем. Крестьянин, положим, Рязанской губ., отправляясь в Уссурийский край, ожидал и там найти такую же Рязанскую губ. Прибыв на место, многие переселенцы не трудились даже присмотреться к краю и узнать, что может дать он. Поэтому выходило, что переселенец северных губерний сеял рожь, а южанин старался возделать землянику и виноград. Китаец и русский переселенец, одновременно водворившиеся в Уссурийском крае, через год-два живут уже совершенно различно. Китаец сразу же начинает пахать землю и, собрав осенью хлеб, на зиму уходит в горы на соболеванье. Русский же, ничего не знающий о крае, долго не может освоиться, несмотря на то, что он получает некоторое пособие».

В «Кратком военно-географическом и военно-статистическом очерке Уссурийского края» Арсеньев пишет: «По рассказам самих

удэhe, раньше в прибрежном районе их было так много, что „белые лебеди, пока летели от Императорской Гавани до зал. Св. Ольги, от дыма, подымавшегося от их костров, становились черными“». Тот же оборот приводит Фадеев в «Удэге»: «Когда-то народ был велик. В песне говорилось, что лебеди, перелетая через страну, становились черными от дыма юрт». Вряд ли Фадеев пользовался этим специальным трудом Арсеньева, который стал раритетом сразу после выхода в свет (1912), но он мог ориентироваться непосредственно на «Дерсу Узала», где говорится: «Лет 40 назад удэгейцев в прибрежном районе было так много, что, как выражался сам Люрл, лебеди, пока летели от реки Самарги до залива Ольги, от дыма, который поднимался от их юрт, из белых становились черными». В пользу этого предположения говорит повторенное Фадеевым неместное, тюркское слово «юрта», которое Арсеньев употребил для обозначения жилищ удэгейцев просто потому, скорее всего, что другого слова в его лексическом арсенале тогда не было.

С другой стороны, книги Арсеньева отнюдь не были единственным источником знаний Фадеева о жителях Уссурийского края. Скажем, вот как Арсеньев писал о таежных бандитах — «промышленниках»: «Промышленник идет в тайгу не для охоты, а вообще, „на промысел“… Он ищет золото, но при случае не прочь поохотиться за „косачами“ (китайцами) и за „лебедями“ (корейцами), не прочь угнать чужую лодку, убить корову и продать мясо ее за оленину. Встреча с таким промышленником гораздо опаснее, чем встреча со зверем». А вот что говорит фадеевский Мартемьянов: «Случилось так, что русский тут один, промысленник, убил в тайге ихнего удэгея. Промысленник тут — это такая профессия: ходит он по тайге, высматривает бродячих манз или корейцев, которые, скажем, с мехами идут, или с пантами, или с корнем женьшенем, и постреливает их полегоньку. Называется это — охота за „синими фазанами“ да за „белыми лебедями“, потому китайцы всегда в синем ходят, а корейцы в белом». Налицо некоторые расхождения: «промышленники» и «промысленники», «косачи» и «фазаны». Это может говорить о том, что ряд деталей Фадеев брал напрямую из жизни, даже если что-то и подсмотрел у Арсеньева. Совпадения порой могут объясняться тем простым обстоятельством, что оба имели дело с одним материалом, дышали одним воздухом и ходили по одним дорогам.

Однако в любом случае Фадеев был внимательным читателем Арсеньева. Вот цитата из выступления Фадеева на конференции московских писателей в марте 1941 года, где обсуждалась повесть Нины Емельяновой «В Уссурийской тайге»: «Возьмем „В дебрях

Уссурийского края“ Арсеньева. Там дыхание покрупнее. Он ставил более серьезные проблемы гуманизма. Эту книгу можно пустить массовым тиражом, но имейте в виду, что и эта книга тоже не была книгой для всех… Какая-то сторона этого произведения не доходила до читателя…»

Здесь Фадеев совершенно прав: и сегодня Арсеньев остается недопрочитанным, недооцененным.

Яснее всего прямое влияние арсеньевских текстов на Фадеева прослеживается в таежных главах «Последнего из удэге» — да и сам Фадеев не скрывал своей преемственности по отношению к Арсеньеву: «Об этом народе (удэгейцах. — *В. А.)* имеются прекрасные исследования В. К. Арсеньева… Я считал себя вправе использовать эти труды в своем романе».

Возможно, даже имена героев «Последнего из удэге» Фадеев брал у Арсеньева. У последнего упомянут старик Люрл — это имя встречаем и в «Последнем из удэге». Описывая зверства китайского цайдуна Ли Тан-куя, Арсеньев упоминал: «Двое из удэхейцев — Масенда и Само из рода Кялондига[216]… поехали в Хабаровск с жалобой». Масенда, как мы знаем, тоже появляется у Фадеева. И у фадеевского Сарла есть двойник: Арсеньев писал, что в местности со странным названием Паровози живет старшина удэгейцев Сарл Симунка. Сарл Фадеева принадлежит к роду Гялондика — почти Кялондига[217].

Прозу Фадеева часто возводят к толстовской традиции, но есть в ней и арсеньевские мотивы. Вряд ли на кого-то Арсеньев вообще повлиял сильнее — разве что на Пришвина с его дальневосточными повестями 1930-х[218].

Называя Арсеньева писателем «не для всех» (это, разумеется, не в упрек Арсеньеву — скорее в упрек читателю), сам Фадеев писал для всех. Если Арсеньев подходил к материалу прежде всего как ученый, хотя степень беллетризации и у него достаточно высока (и потому не стоит воспринимать «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» как документ), то Фадеев дополнял Арсеньева, осмысливая тот же материал уже в художественном ключе. Нон-фикшн Арсеньева иногда кажется фундаментом, на котором Фадеев строил свой художественный текст. Едва ли стоит считать Фадеева плагиатором — если он и брал что-то у Арсеньева, то был в своем праве хотя бы потому, что работал в ином жанре. Да и немалую часть материала он получал все-таки непосредственно «из жизни» — недаром, возобновив работу над «Удэге», Фадеев в 1930-е специально едет в Приморье.

Арсеньев помогал Фадееву, но и Фадеев — Арсеньеву. Фадеев вытаскивал арсеньевские темы и сюжеты в поле массовой (в хорошем смысле слова) литературы.

Фадеев продолжил с того места, где остановился Арсеньев.

Арсеньев — редкий в России пример творческого человека, которому для самореализации нужно было не приехать в столицу, а, напротив, покинуть ее. Петербуржец Арсеньев стал дальневосточником и здесь нашел себя.

Фадеев, хотя и сформировался как писатель уже после отъезда с Дальнего Востока, писал на приморском материале и всю жизнь считал себя дальневосточником.

В 1910 году Арсеньев, вновь попав в Петербург, отказался от карьеры столичного ученого и вернулся на Дальний Восток. На первый взгляд это, говоря нынешним языком, дауншифтинг, — но выбор Арсеньева оказался совершенно правильным даже и с точки зрения карьеры.

Фадеев в 1930-х тоже пробовал вернуться в Приморье, причем это были не просто «творческие командировки», но осознанные попытки бегства из столицы. Не удалось.

«Интриг между учеными в Петербурге — хоть отбавляй! В этом отношении у нас в провинции лучше… Карьеризм поглотил хорошие чувства человека! Этот Вавилон закрутил было и меня, да, слава богу, я вовремя очнулся и убежал к себе в Приамурье», — писал Арсеньев этнографу Льву Штернбергу.

Фадеев очнуться не сумел — тонул в столичных делах, наступал на горло собственной писательской песне, и чем все закончилось — известно.

В 1911-м Арсеньев писал путешественнику Петру Козлову: «Административная деятельность мне не по душе… Я с удовольствием променял бы даже губернаторский пост на скромную роль географа-исследователя… Гондатти… хочет пристегнуть меня к администрации — а я брыкаюсь».

«Брыкался» и Фадеев — просил временно снять часть нагрузок, дать творческий отпуск… Но в итоге возвращался к общественной и партийной работе, искренне считая, что так надо. «Нужно было жить и исполнять свои обязанности».

И Арсеньев, и Фадеев открывали Приморье большой России. Каждому выпала здесь своя война: Арсеньев дрался с хунхузами, Фадеев — с интервентами. Фадеев не окончил «Последнего из удэге» — Арсеньев не завершил «Страну Удэхе», которую полагал главным делом жизни.

Фадеев писал Асе Колесниковой: «Когда образовалась „коммуна“, вы, девочки, вернее, уже девушки, были естественным центром ее притяжения, а домик на Набережной был главным местом сбора…» Владивостокский дом Арсеньева, где он жил последние годы и умер, — буквально в двух шагах.

Арсеньев не дожил до пятидесяти восьми, Фадеев — до пятидесяти пяти.

Арсеньев завещал похоронить его в тайге — его погребли в городе, на Эгершельде, а потом перенесли на Морское кладбище. Фадеев просил похоронить себя рядом с матерью — его положили на Новодевичьем.

Как видим, и после жизни судьбы их оказались схожи.

Крутой маршрут Иосифа Левинсона

В 1920-е целое поколение молодых людей «вдруг» стало сочинять великолепные книги — разноуровневые, но живые, интересные, яркие. «Два мира» Зазубрина, «Партизанские повести» Иванова, «Чапаев» Фурманова, «Хулио Хуренито» Эренбурга, «Барсуки» Леонова, «Голый год» Пильняка, «Белая гвардия» Булгакова, «Сорок первый» Лавренева, «Города и годы» Федина, «Россия, кровью умытая» Веселого, «Тихий Дон» Шолохова, «Конармия» Бабеля, «Школа» Гайдара — можно перечислять еще долго.

Если Первая мировая, попав в тень последующих событий, в российской прозе отразилась слабее, чем в западной (там были Ремарк, Хемингуэй, Гашек, Олдингтон, Селин, Барбюс, Юнгер — а у нас «германская» появляется как бы в неглавной роли у Толстого, Шолохова, Пастернака, Горького, и «окопная проза» того же Несмелова здесь кажется скорее исключением), то Гражданская дала поистине «железный поток» новой литературы. Отнюдь не всегда ортодоксально-краснознаменной, если внимательно перечитать тех же Бабеля, Гайдара, Фадеева, Фурманова.

Заговорили новые писатели — участники и творцы истории. В следующий раз подобное случится после Великой Отечественной, когда заговорят носители «окопной правды» — военный инженер Виктор Некрасов, разведчик Эммануил Казакевич, самоходчик Виктор Курочкин, артиллерист Юрий Бондарев…

1920-е видятся фантастическими. Было возможно, кажется, решительно всё — от сексуальной революции и народовластия с социальными лифтами на реактивной тяге до постижения секрета бессмертия и путешествий во времени. Это потом подморозило, гайки затянули, возникла «Российская империя 2.0», прошедшая сталинский апгрейд — индустриальный, социальный, идеологический.

А тогда все были молодые, почти неподцензурные, бодрые, агрессивные, смелые, часто — гениальные. Многие увязнут потом в идейно выверенных эпических полотнах или просто замолчат, даже уцелев в репрессиях и войнах. Перекипала, костенела революционная стихия? Гении утрачивали связь с небом? Но в любом случае эта лавина юности была великолепна. Вулканичность истории приводила («обыкновенная биография в необыкновенное время» — гайдаровская формулировка) к ускоренной психической возгонке, удивительно раннему

созреванию и мудрению.

В юном возрасте при совпадении некоторых условий происходит стремительная реакция — и рождается художник. Молодой автор как бы играючи создает шедевр, а дальше нередко бывает так, что опыта становится больше, мастерства — тоже, но алхимия куда-то уходит. Став «профессиональным писателем», автор не может повторно взять преодоленную однажды планку. Вместе с ощущениями, которые он испытывал в юности, тем более если на эти годы выпали война, или тюрьма, или другой экстремальный опыт, уходит что-то очень важное.

Быть может, дело в связи текста и жизни, во внутреннем состоянии. Когда человек испытывает серьезную опасность, он гораздо острее чувствует саму жизнь, ярче переживает любое физическое и эмоциональное ощущение. На Гражданской Фадеев, дважды раненный, видевший гибель друзей и братьев, испытал то, что, прореагировав с уже имевшейся основой (он ведь был начитанный, умный, пишущий парень), переплавилось в великолепный «Разгром». Это не исповедь и не автобиография, но все-таки — пережитое.

Если в Гражданскую Фадеев был участником военных действий, то потом — даже в блокадном Ленинграде, даже в только что освобожденном Краснодоне — наблюдателем, пусть страстным, вовлеченным. Сам он говорил в 1937 году: «В чем несчастье многих талантливых людей… В том, что то знание жизни, которое было когда-то приобретено своим горбом, когда писались вещи, имевшие неповторимый цвет, вкус и запах действительности, — это знание осталось в прошлом. Теперь многие из писателей первого призыва жизнь наблюдают со стороны…» Для примера он назвал Вс. Иванова и Леонова — но говорил, несомненно, и о самом себе, о невозможности повторения «Разгрома». Вспоминал горьковское «идите в люди», сам шел — и когда писал «Гвардию», и когда писал «Металлургию», — но это был уже поход профессионального писателя, и оказалось, что накопленный опыт и выросшее мастерство всего не решают. Говоря о Н. Островском, Фадеев заметил: в «Рожденных бурей» мастерство автора выросло, но зато «Как закалялась сталь» — она «как песня». Перешел к себе: многие, мол, говорят, что «Разгром» лучше, чем «Удэге»… «Ну, что ж поделаешь, это как первая любовь. В первом произведении все то, что хотело запеть, запело».

И правда, «Разгром» был песней — свежей, чистой, четкой, страстной. Самолетик из листка бумаги, стремительная серебристая рыба, сверкающий кристалл. Последующие крупные вещи были конструкциями тяжеловатыми, порой изнемогающими

под собственным весом, как выбросившийся на берег кит.

Нереализованного таланта всегда жаль. Когда талант зарывается, надо понять, где копать. Сокровищем Фадеева, его писательским капиталом была дальневосточная тема — и он всю жизнь пытался к ней вернуться. Напиши он своего «Удэге» в 1920-х — это мог бы быть дальневосточный «Тихий Дон». Но Фадеев то терял нужный эмоциональный градус, то отвлекался на другое…

А может, дело и в объеме тоже? Казалось, что настало время многотомных эпопей, а уж Фадееву и по статусу было положено писать увесистые «кирпичи». Напиши он три-четыре повести, объемом и зарядом сопоставимые с «Разгромом», — назвав их, например, «Смерть Ченьювая», «Таежная болезнь», «Последний из тазов», — и был бы совсем другой Фадеев.

Но другого Фадеева у нас нет.

«Разгром» (его называют то романом, то повестью) — лучший текст Фадеева. С ним он остался в литературе, и этой книги уже достаточно: вес взят. Классическая вещь, на все времена. Несмотря на невеликий объем — это целый мир, в котором можно жить и постоянно находить новое.

Сам Фадеев вспоминал, что изначальный замысел возник уже в 1921–1922 годах. Он думал, что это будет один роман («Последний из удэге»), но, слава богу, «Разгром» вовремя отпочковался, спасся с неповоротливого корабля «Удэге», так и не дошедшего до порта назначения.

Книгу заметил — еще из Италии — Горький. Наркомпрос Луначарский назвал ее «бесспорно глубоко художественным произведением», свидетельством начинающегося расцвета пролетарской литературы.

«Разгром» наследовал русской классике. «Бессюжетной, бесфабульной прозе, которую рьяно поддерживали и пропагандировали формалисты, роман Фадеева наносил сильнейший удар», — пишет Озеров. Этим объясняется выпад из лефовского[219] лагеря — статья Осипа Брика «Разгром Фадеева» («Новый ЛЕФ», № 5, 1928), в которой он назвал Фадеева «интуитивистом», написавшим книгу «по самоучителю» — то есть подражая Толстому и Чехову. «Имеет ли вообще смысл сейчас писать беллетристическое произведение на тему гражданской войны, о которой у нас сохранилось столько ценных и увлекательных документов?» — ставил вопрос Брик.

Споря с рапповцами, лефовцы высказывались против вымысла, типизации, собирательных образов. В пример Фадееву ставился фурмановский почти документальный «Чапаев». Задачи литературы ЛЕФ сводил к простому отображению фактов, по сути — репортерству[220]. Фадеев казался безнадежным консерватором

— «старовер языка», он шел в фарватере старой доброй классики. Уничижительные оценки «Нового ЛЕФа» получили «Дело Артамоновых» Горького, «Барсуки» Леонова, Булгаков, Шишков… «Роман как жанр вычеркивался из литературного словаря», — напоминает биограф Фадеева Иван Жуков (интересно, что и сегодня мы нередко слышим о «смерти романа», в том числе по новым основаниям — в связи с развитием Интернета, твиттеризацией восприятия… А роман все равно жив).

Та дискуссия интересна и другим: атмосферой творческой свободы. Всего какое-то десятилетие спустя всё круто изменится, а на смену литературным группировкам придет монолитно-цементирующий Союз писателей.

«Разгром» принято выводить из толстовской манеры. Поэт Безыменский даже назвал Фадеева «марксовидным Толстым». «Отчасти это верно, отчасти нет, — сказал сам писатель по этому поводу. — Неверно в том смысле, что в этом произведении нет и следа толстовского мировоззрения. Но Толстой всегда пленял меня живостью и правдивостью своих художественных образов, большой конкретностью, чувственной осязаемостью изображаемого и очень большой простотой. Работая над произведением „Разгром“, я в иных местах в ритме фразы, в построении ее невольно воспринял некоторые характерные черты языка Толстого».

Эренбург указывал, что толстовские длинные фразы с изобилием придаточных были для Фадеева естественными: «Он не умел писать иначе». Даже телеграфируя — просил Эренбурга помочь, чтобы тот надиктовал ему телеграмму о сессии борцов за мир короткими фразами. В 1953 году Фадеев напишет: «У меня смолоду выработалась привычка к довольно усложненной фразе — условно говоря, „толстовского“ типа. Это так же трудно теперь изменить, как походку». В это время Фадеев будет уже жалеть, что его походка не похожа на тургеневскую или пушкинскую. Будет рекомендовать молодежи в качестве образцов стиля не только Пушкина и Тургенева, но и Чехова, к которому относился спокойно. В 1946-м напишет: современный литературный язык «изрядно попорчен», поэтому нужно читать Лескова, Мельникова-Печерского и Даля. Хотя тут же оговорится, что мысли Лескова «примитивны и анекдотичны», а юмор — «мелок».

Эренбург добавляет, что языком влияние Толстого не ограничивалось: Фадеев преклонялся перед «Воскресением», считал, что «гений должен служить добру, гуманизму». Либединский писал: «Лев Толстой отвечал самым глубоким запросам Сашиной души… Сам Лев Николаевич еще в

молодости… писал, что главным героем его произведений является — правда. Вот эта-то всепокоряющая сила правды и привлекала Фадеева в творчестве Толстого». По этой же причине, пишет Либединский, Фадеева взволновала бунинская «Деревня» — своей «жестокой правдой».

Явно слышен в «Разгроме» и Горький. Корнелий Зелинский в книге 1956 года о творчестве Фадеева его главным литературным учителем называет именно Горького. Кстати, есть не только внешние параллели между горьковским Данко с пылающим сердцем и Левинсоном с факелом, которые выводят людей из гибельного леса, но и более глубокие: если сердце Данко растоптали спасенные им люди, то прото-Левинсона — Певзнера — расстреляли в эпоху «большой чистки»[221].

Очевидно и влияние «партизанских» повестей Всеволода Иванова, которые Фадеев прочитал еще студентом горной академии. В 1955 году он писал Иванову: «Мы еще только собирались тогда написать о пережитом и сомневались в своих силах. И вот оказалось, что это возможно, да еще как возможно — со свободой почти головокружительной! Студент того легендарного времени — я ходил из комнаты в комнату по общежитию и читал вслух Всеволода Иванова очень звонким голосом. Помимо всего прочего, это оказалось и выгодным во времена, когда студенческий паек состоял в основном из ржавой селедки. Упоенные, как и я, слушатели и слушательницы родом из деревни охотно делились со мной хлебом и салом».

В «Разгроме» партизанский отряд разбит, но Левинсон с горсткой бойцов спасается, и нам ясно: он наберет новых людей и продолжит борьбу. Ко времени написания романа было давно известно, что победа в этой борьбе осталась именно за Левинсоном. Однако Фадеев пишет о поражении — осознанный эстетический выбор! — и называет книгу «Разгромом». По уже современной оценке писателя Юрия Бондарева, это была «смелейшая» книга. «Кто, кроме Фадеева, решился бы написать подобное? — говорит Бондарев. — Даже в лагере врагов раздались уважительные голоса. Могла ли подобную реакцию вызвать книга, само-восхваляющая победность?»

В «Разгроме» — масса скрытых смыслов. Роман этот, конечно, — «красный», а не «белый», но он, как всякая хорошая литература, — о жизни в ее сложности, а не о том, кто хороший, а кто плохой. И он куда глубже, чем это представляло себе официальное советское литературоведение.

Интересен разбор литературоведа Петра Ткаченко[222], анализирующего библейские линии «Разгрома».

Сотворение нового мира, сотворение человека — вот главная

тема книги[223]. Ткаченко смело проводит параллели между «Разгромом» и Библией, и, даже если какие-то из его предположений кажутся спорными или натянутыми, отмахиваться от них не стоит. «Разгром» — лучший текст Фадеева еще и потому, что он действительно многомерен и содержит смысловые пласты, не сразу открывающиеся читателю. Можно напомнить, как Фадеев работал над романом, сколько раз переписывал каждую главу. В «Разгроме» — ядерно плотном, образовавшемся, как алмаз, в условиях сильнейшего смыслового сжатия, — нет ни одного случайного слова.

Намеки на библейские мотивы рассыпаны по тексту повсеместно. Уже в начале автор говорит, что впереди у отряда — «трудный крестный путь». Далее Левинсон получает письмо из владивостокского большевистского подполья и ногтем подчеркивает раздел IV — «Очередные задачи», который состоит из пяти пунктов. Ткаченко считает: пять пунктов символизируют Пятикнижие (Моисеев закон), а четвертый раздел — его четвертую книгу, «Числа». В «Числах», повествующих о скитаниях евреев по пустыне после исхода из Египта («Разгром» повторяет этот древний сюжет; а в конце романа Морозка, нового коня которого зовут Иудой, прямо мечтает об «обетованной земле»), речь идет об исчислении воинов — сынов Израилевых. Левинсону приказывают «сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы». «Е-ди-ни-цы», — повторяет он для непонятливых.

Здесь же становится ясным появление самой фамилии Левинсон. Дело не в «роли евреев в революции», а в том, что командир — *левит,* представитель колена Левия, упоминающегося в «Числах». Это идейный вождь, священнослужитель, призванный «стоять на страже у Скинии» — походного храма. В одном месте Фадеев даже набирает фамилию курсивом: «Он был уже тем Левинсоном, которого все знали именно как *Левинсона,* как человека, всегда идущего во главе».

Важный нюанс: в «Числах» Господь велит Моисею не исчислять левитов вместе с сынами Израиля. Фадеев это учел. Когда спасшихся бойцов считает партизан-подрывник Гончаренко, он насчитывает девятнадцать — «с собой и Левинсоном». Дальше, где мы слышим мысли уже самого Левинсона, говорится о восемнадцати партизанах, молча ехавших следом. То есть Левинсон не причисляет себя к ним.

А вот спор Гончаренко и Морозки «о мужике» и единственный разговор по душам Левинсона и Мечика, в которых поднимается все та же тема нового человека. В Левинсоне жила «огромная, не сравнимая ни с каким другим желанием жажда нового,

прекрасного, сильного и доброго человека. Но какой может быть разговор о новом, прекрасном человеке до тех пор, пока громадные миллионы вынуждены жить такой первобытной и жалкой, такой немыслимо скудной жизнью». Разговор происходит на пятый день пути — и Ткаченко считает, что это не случайно: движение отряда соотносится с библейской легендой о сотворении мира. Бог творит человека на шестой день — в том самом бою, после которого пьяный Морозка на все село орет каторжанские и «похабные» песни. Новый человек не получился — или получился не таким, как думалось? Практика революции разошлась с божественным замыслом? Левинсон ошибся, заведя свой отряд в болото и обрекая его на разгром? На пути к спасению неизбежны трясина и чудовищные жертвы? Кто-то должен сгинуть в болоте, став гатью для других?

Левинсон с каждым днем все хуже владеет собой из-за усталости и болезни, которая не называется. Командир не знает, куда вести людей, но ведет; довел отряд до гибели — и тут же начинает формировать новый. Альтернативой Левинсону мог бы стать Метелица, не случайно названный «пастухом», — вот он, прирожденный руководитель. Но Левинсон, искусный манипулятор, выдает свой план выхода из окружения за план Метелицы, словно заранее возложив вину за возможную неудачу на того, кто потом уже не сможет оправдаться.

Мечик исповедуется перед Левинсоном — но тому не нужны откровения, а нужны хорошие бойцы. К Левинсону с его «нездешними глазами» и «шестым чутьем», ни с кем не делившемуся своими мыслями и чувствами, вообще возникает масса вопросов.

«Отбор человеческого материала», «огромнейшая переделка людей», которую производит Гражданская, — так определял идею «Разгрома» автор. Но здесь можно увидеть и глубоко спрятанный — не от себя ли самого? — скепсис, неверие в нового человека. Куда откровеннее скажет несколько лет спустя один из героев «Дороги на Океан» Леонида Леонова: «Новые-то люди родятся от старых, а ты загляни вовнутрь себя. Тебе все ясно там?»

Странно толковать в библейских координатах насквозь, казалось бы, советский роман — но тут уже вопрос к советскому литературоведению, видевшему книгу одномерно и настроившему читателя соответствующим образом. Советский человек не прочитал «Разгром» по-настоящему, несмотря на гигантские тиражи, а постсоветский человек не прочитал его совсем. «В нынешнем отрицании… всей литературы советского периода… просматривается все та же старая болезнь… — вульгарный социологизм… Но, думается, если мы, каясь в старых

грехах, не хотим впадать в новые, то должны заняться не огульным отрицанием, а новым прочтением литературы. И, уверен, многое в ней откроется для нас, — справедливо пишет Ткаченко. — „Разгром“ буквально пронизан такими подробностями и деталями, о смысле и значении которых мало кто задумывается».

Действительно, у Фадеева многое кроется в символах и подтекстах, хотя, конечно, не следует видеть в нем законспирировавшегося диссидента, зашифровавшего крамольные смыслы во внешне ортодоксальном романе. Безусловно, Фадеев — искренний коммунист, но в том и заключаются природа и магия художественного произведения, что оно способно перерасти своего автора, обрести смыслы, которые откроются только впоследствии.

Путь на Тудо-Ваку

Текст романа изобилует шахтерско-таежными метафорами. «Рыба билась у ног, как сердце от невысказанных, вскипающих слов». «Слова Дубова упали в тишине с тяжелым медным грохотом, как гулкий антрацит». «Подземная вода, мутная, как слезы ослепших рудничных лошадей, день и ночь сочилась по шахтным стволам». «По мглистым нехоженым тропам Млечного Пути в смятении бежали звезды. Из темной дыры сеновала выскакивали — один за другим — взъерошенные партизаны»…

Написанный на приморском материале, «Разгром» насыщен местными деталями. Тут и «майхинские спиртоносы»[224], и «маньчжурка», и чумиза… В тексте — смесь русских, украинских, корейских, китайских и «коренных малочисленных» словечек и привычек. Вот Левинсон сидит «поджав по-корейски ноги» — не по-турецки и не по-татарски, как написал бы недальневосточник.

Естественно, масса топонимов. «Разгром», действие которого происходит летом — осенью 1919 года, Фадеев писал несколько лет спустя вдали от Приморья. Выверял ли он с физической картой и компасом маршруты, которыми отряд Левинсона уходил от врага?

В 1972 году, вскоре после конфликта СССР и КНР на острове Даманском, в Приморье переименовали сотни рек, поселков, сопок, носивших местные (не обязательно китайские, но явно нерусские — например, тунгусо-маньчжурские или корейские) названия. Приморье переделывалось в «исконно русскую» землю — символический акт, своего рода крещение с присвоением нового имени. Впрочем, иные упраздненные топонимы, как Лефу (река Илистая), Суйфун (Раздольная) или Шамора (бухта Лазурная), в ходу до сих пор — бюрократия, к счастью, не всесильна, сама территория порой сопротивляется попыткам ее переименовать. Другие прочно забыты. Новое поколение уже не знает, что Дальнереченск был Иманом, Партизанск — Сучаном, а Дальнегорск — Тетюхе.

До начала 1970-х большинство приведенных в «Разгроме» топонимов оставались актуальными. Любопытный читатель мог, «привязавшись» к карте, легко понять, откуда и куда шли люди Левинсона. Сегодня текст «Разгрома» нуждается в историко-топографической расшифровке. Не говоря уже о том, что неместный читатель вообще не обязан разбираться в приморской топонимике — ни новой, ни тем более старой.

Несколько названий Фадеев, видимо, придумал, создавая художественное пространство, пересекающееся с реальностью

лишь частично. Однако и сохраненных в тексте реальных топонимов хватает для того, чтобы вычертить путь партизанского отряда.

Целый ряд топонимов приводится вскользь — для обрисовки «театра военных действий» или вписывания локальных событий в исторический контекст. Деревня Уборка и река Фудзин (ныне Павловка), японский десант в Ольге и Анучине, «чугуевские ребята», Монакино Уссурийского района… — Фадеев застолбил добрую половину территории Приморья, видимо обозначая этим размах партизанского движения (хотя отряд Левинсона действует в куда более скромных масштабах).

«Разгром» — не хроника, а литература. Ни разу не называются ни Владивосток, присутствующий за кадром как «город», ни субъект, так сказать, федерации. В 1930-м Фадеев написал: ни в «Разгроме», ни в «Удэге» он не придерживался «абсолютной географической точности». Используя «наиболее благозвучные и оригинальные» названия рек, гор и селений, он не стеснялся сдвигать их со своих мест, сохраняя «общий колорит края».

Костяк отряда Левинсона — сучанские шахтеры, но события романа разворачиваются в других местах Приморья. Сначала отряд стоит недалеко от Крыловки (это и сегодня — Крыловка Кировского района). Отсюда Морозка едет в Крыловку с пакетом: «Морозка выехал на Свиягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка; там стоял отряд Шалдыбы»[225].

Где именно стоял отряд Левинсона? Владивостокские филологи О. Рублева и Е. Кулакова в работе «Топонимическое пространство романа А. Фадеева „Разгром“» дают разные варианты ответа, каждый из которых может быть верным, поскольку речь идет о художественном тексте. По одним приметам (госпиталь, где лежит Мечик, стоит у слияния двух ключей) подходит соседний поселок Большие Ключи. Указание на то, что Морозка возвращается в отряд через реку на пароме, отсылает к Успенке — большому селу на берегу Уссури. С 1939 года это Кировский, ныне — административный центр одноименного района Приморья (в обиходе все говорят «Кировка», не всегда зная, что в Ханкайском районе Приморья есть и настоящая Кировка).

«Тревожный улахинский ветер» несет «дымные запахи крови». Улахе — старое название той части реки Уссури, которая расположена выше впадения в нее Арсеньевки (Даубихе). Улахе текла мимо сегодняшнего Булыга-Фадеево (Сандагоу), Чугуевки и Кокшаровки и сливалась с Даубихе как раз в районе Крыловки.

Отсюда Левинсон отступает на восток — в Шибиши у верховьев Ирохедзы: «Согласно брякнули мундштуки, шумно скрипнули седла, и, колыхаясь в ночи, как огромная в омуте рыба, густая вереница людей поплыла туда, где из-за древних сихотэ-алиньских отрогов — такой же древний и молодой — вздымался рассвет». Тут Фадеев выдумывает: следов Шибишей и Ирохедзы обнаружить не удалось. «Это названия… „зашифрованные“, созданные по образцу и подобию реальных», — пишут Рублева и Кулакова. Шибиши Фадеев «синтезировал» по аналогии с деревнями Унаши или Сабаши, Ирохедзу мог сплавить из Ирочхона и Хауни-хедзы.

По следам отряда идут враги: «Вся Улахинская долина, вплоть до Уссури, была занята неприятелем». Левинсон, развернув карту, говорит: «Единственный путь — на север, в Тудо-Вакскую долину… Здесь можно пройти хребтами, а спустимся по Хаунихедзе. Далеко, но что ж поделаешь…» И вот отряд выступает «в долину Тудо-Ваки, богатую лошадьми и хлебом».

Хаунихедза — нынешняя речка Быстрая, берущая начало у границы Кировского и Дальнереченского районов. Она течет на северо-восток и впадает в Малиновку — ту самую Тудо-Ваку. Последняя — уже достаточно большая река, текущая из самых дебрей Сихотэ-Алиня через села Ариадное, Савиновку, Любитовку, Малиново и Ракитное к Дальнереченску, где она сливается с Большой Уссуркой (бывшим Иманом). Русла Быстрой и Малиновки четко обозначают путь отряда.

Спустившись по Быстрой почти до устья, Левинсон отправил Метелицу в разведку. Тот встречает подростка-пастуха: «— А вон, — кивнул мальчишка в сторону огней. — Ханихеза — село наше… Сто двадцать дворов, как одна копеечка, — повторил он чьи-то чужие слова и сплюнул».

В Ханихезе стоит казачий эскадрон, дальше, в волостном селе Ракитном, — «цельный полк».

Ханихезой раньше назывался Крутой Яр Красноармейского района Приморья, но здесь мы на неверном пути: Красноармейщина — куда севернее. А вот Ракитное, сохранившее свое имя доныне, — реальный населенный пункт Дальнереченского района как раз на пути партизан, идущих долинами Быстрой и Малиновки.

Но до Ракитного еще далеко. После неудачной разведки и гибели Метелицы партизаны с боем занимают Ханихезу. Она — где-то между Малиновом и Ракитным, у впадения Быстрой в Малиновку, причем скорее — на Быстрой, судя по созвучию «Ханихезы» и «Хаунихедзы». Рублева и Кулакова, впрочем,

полагают, что под Ханихезой может скрываться Любитовка, о чем говорит наличие церкви.

В Ханихезу приходят — очевидно, из Ракитного — превосходящие силы белых. «Пока собирался и строился взвод, стрельба занялась полукругом до самой реки, загудели бомбометы, и дребезжащие сверкающие рыбы взвились над селом… Пулеметы затрещали вслед, и сразу запели над головами ночные свинцовые шмели».

Люди Левинсона уходят в тайгу. Впереди — трясина, ее приходится гатить. «Люди побросали горящие головни, которые они до сих пор несли почему-то в руках, увидели свои красные, изуродованные руки, мокрых, измученных лошадей, дымившихся нежным, тающим паром, — и удивились тому, что они сделали в эту ночь».

Бойцы прорываются к «государственному тракту на Тудо-Ваку» — очевидно, дорога от Ариадного до Дальнереченска — но там их ждет засада. На тракте, где-то в районе Ракитного, отряд разбивают наголову. В живых остаются 19 человек во главе с Левинсоном, которые выходят в обетованную долину Тудо-Ваки, чтобы «жить и исполнять свои обязанности».

Итак, вот путь отряда, его зигзаги неудачи с точки зрения современной топонимики: из Кировского или Больших Ключей Кировского района — на северо-восток, по рекам Быстрой и Малиновке — на север, затем на северо-запад, к Дальнереченску.

В 2013 году мы с товарищами попытались повторить маршрут Левинсона. Начали с Кировского, где нам помогли местные краеведы Александр Грицаюк и Сергей Денисенко. По их предположениям, штаб Левинсона вначале мог стоять у Марьяновки Кировского района — неподалеку от Крыловки и Больших Ключей.

Проехать в точности по маршруту не получилось даже на японском джипе *Prado.* Стояла «большая вода», грунтовые дороги размыло, мосты кое-где обвалились. Возможно, получилось бы летом — посуху, или зимой — по зимнику, но не в межсезонье. Качество дорог с фадеевских времен изменилось не сильно. Разве что, правда, гатить…

Пришлось ехать к впадению Хаунихедзы в Тудо-Ваку кружным путем — через Дальнереченск. Асфальт сменяется грунтовкой, в дорожных знаках на обочинах все больше пулевых отверстий (это не отголоски Гражданской — это охотники балуются), а в придорожных деревнях — старых «москвичей» и «запорожцев» советского выпуска. Дорога (тот самый Тудо-Вакский тракт) и речка Малиновка (прежняя Тудо-Вака) переплетены друг с другом, как лианы лимонника.

С селом Ханихезой остался вопрос. Ясно, что оно где-то у впадения Быстрой в Малиновку. Это может быть Любитовка, или Малиново, или Вербное, или Зимники. Любовь Андреевна Семенова, 38 лет отработавшая в библиотеке села Малинова, рассказала, что был и реальный поселок Ханихеза — выше по Быстрой, где валили лес. Она же вспомнила жившую в Мангоу (ныне Зимники) бабушку, уже покойную. Та в свое время рассказывала, как казнили комиссара Метелицу (его так и звали Метелицей). Произошло это не в литературной Ханихезе, а в реальном Ракитном, «в том месте, где сейчас аптека, а раньше был колхозный амбар»:

— Повесили у амбара и три дня не снимали. Людям подойти не давали. В селе стояли казаки из карательного отряда Ширяева.

«Разгром» — вещь художественная, но не выдуманная. Есть память местных жителей, есть партизанские могилы с фамилиями из «Разгрома». На здешних сопках и в распадках перемешаны литература и история, факты и вымысел, прошлое и настоящее. Стоит ли (да и возможно ли) отделять одно от другого — сомневаюсь.

«Бренча по ступенькам избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. С полей тянуло гречишным медом. В жаркой бело-розовой пене плавало над головой июльское солнце».

Так и плавает до сих пор.

Иосиф и его братья

Левинсон — образ, сотканный из черт нескольких реальных партизанских командиров, — был ответом Фадеева на схематичное изображение коммуниста, уже принятое в тогдашней литературе. Сам Фадеев так говорил об этом: «Тип так называемого железного коммуниста в кожаной куртке или без нее, с челюстью железной или не совсем железной, но около этого… У нас есть целая серия неунывающих комсомолок и комсомольцев с кимовскими значками или без значков, но все это сущие близнецы, копирующие друг друга».

Его Левинсон — другой: живой, неказистый, невысокий, превозмогающий болезнь, но — железный человек и лидер.

Как писал Фадеев, основным прообразом Левинсона стал Иосиф Певзнер — «маленького роста рыжебородый и очень спокойный человек». Основным — но не единственным. Называют также Петрова-Тетерина, Губельмана — «дядю Володю»[226], Мелехина[227]…

Внешний облик Левинсона срисован с Певзнера. «Он отличался таким маленьким ростом, что, если смотреть ему в спину, можно было подумать, что перед вами стоит не взрослый человек, а подросток лет 12–13», — вспоминал Певзнера Ильюхов. При этом борода закрывала всю грудь и достигала чуть ли не пояса. Был молчалив, «входил в разговор осторожно, скупо», взвешивал каждое слово. Известно фото Певзнера без бороды: усы, чуб, большие глаза, мягкое, не боевое, почти робкое выражение интеллигентного лица.

Левинсона зовут Иосифом (мужики говорят: «Осип Абрамыч»). Едва ли нужно видеть тут намек на Сталина. Во-первых, Иосифом звали Певзнера. Во-вторых, имя могло быть сохранено в силу «библейскости», важной для Фадеева, хотя советские литературоведы этого не замечали или не желали замечать.

Вместе с тем отряд Левинсона — далеко не «Особый Коммунистический» Певзнера. Дело не только в том, что у Певзнера он был пеший, а у Левинсона, как и у Петрова-Тетерина, где тоже повоевал Фадеев, — конный. И не в том, что основу отряда Певзнера составляло не сучанское «угольное племя», как у Левинсона, а рабочие Свиягинской лесопилки и Уссурийской железной дороги.

Важнее другое: отряд Певзнера был похож на регулярную часть. Он был образцовым, самым дисциплинированным. А у Левинсона — партизанщина в чистом виде: дезертиры,

анархисты, склочники, гуляки. Кадровая работа пущена на самотек. Командир взвода Кубрак пьянствует, но Левинсон этого «будто не замечает», потому что заменить Кубрака некем. В сложный момент выясняется, что «весь отряд держится главным образом на взводе Дубова». Левинсон явно уступает Певзнеру как организатор.

Еще одно отличие — Певзнер был молодым человеком. В 1919 году ему было всего 26 лет. Пусть Фадеев тогда был совсем мальчишкой, но едва ли командир такого возраста мог казаться ему пожилым (Певзнер был ровесником двоюродного брата Фадеева — Всеволода Сибирцева). Левинсон же — человек средних лет. Правда, сам Певзнер вспоминал: «У меня была солидная борода, которая спасала меня во время обыска. Мне тогда было 24–25 лет, а паспорт был сорокалетнего, потому что, когда Колчак объявил мобилизацию 25-летних, мы делали паспорта на 30-летних, когда же объявили мобилизацию 35-летнего возраста — мы делали паспорта на 40-летних».

Нельзя отождествлять Левинсона с Певзнером, но на личности последнего стоит остановиться.

Иосиф Максимович Певзнер родился в Баку в 1893 году. До того как стать профессиональным революционером, работал слесарем. В начале 1919 года по указанию Лазо и Губельмана ушел из Владивостока в тайгу. Попал к партизанам, которые, как вспоминал Певзнер, «сидели дома и ждали, когда их придут бить, для того чтобы защищаться». Певзнер их возглавил, поскольку имел «кое-какой опыт командования по 1917–1918 годам» — не приморский. Первое боестолкновение Певзнера в Приморье (май 1919 года) — с американцами. Он интуитивно нащупывает правильную партизанскую тактику: «Их много — нас мало. Не принимать лобовых боев, не умирать по глупому геройству, а принести им как можно больше неприятностей». Партизаны заняли сопку, обстреляли американцев, убили около десятка и ушли. Важнее чисто военного результата оказалось влияние на настроения местных жителей — в отряд потянулось пополнение. Порой крестьяне приходили на время: участвовали в боях, потом возвращались на поля. Был и такой прием: «Уговаривали крестьянскую молодежь самим являться добровольцами в белую армию. Там их одевали, вооружали, и с этим они возвращались к нам».

От парткома Владивостока поступило задание начать диверсии на железной дороге. Достали динамит, чтобы у разъезда Дроздово взорвать эшелон японского командующего — генерала Ооой. Второпях плохо привязали шнур, фугас не взорвался. Дождались следующего поезда с броневагоном, пустили

последний под откос. Уцелевшие солдаты подняли руки — это была мобилизованная Колчаком крестьянская молодежь. Отобрали оружие, отпустили…

После Гражданской Певзнер сделал карьеру в Наркомате внешней торговли СССР, дойдя до поста главы Союзнефтеэкспорта. В феврале 1938 года арестован, в апреле признан виновным в шпионаже. Расстрелян на подмосковном полигоне «Коммунарка».

«Морозке» — непутевому партизану Морозову — Фадеев оставил его собственную фамилию.

Осенью 1919 года в деревне Орехово (неподалеку от Ракитного) партизаны столкнулись с отрядом Ширяева. Перед боем двое партизан, высланные в разведку, наткнулись на белых, но успели дать сигнал. Из донесения Петрова-Тетерина Губельману от 5 ноября 1919 года: «В деревне Орехово я наскочил на засаду противника, ехавшие в дозоре Морозов и Ещенко убиты. Морозова и Ещенко подпустили вплотную, и, когда они закричали: „Сдавайся!“ — Морозов выхватил наган, сделал два выстрела в офицера, и оба были убиты залпом засады. Своею смертью тт. Ещенко и Морозов спасли отряд: в тумане, который был в то утро, мы также бы наскочили на них».

Долгое время на могиле погибших разведчиков (они погребены в соседней Боголюбовке) значились фамилии Семенова и Петрова. Когда выяснилось, что здесь похоронены Морозов и Ещенко, табличку заменили[228]. Фадеев лишь чуть переместил в пространстве этот эпизод и вместо реального Ещенко дал Морозке в попутчики Мечика, который, в отличие от Ещенко, сумел спастись.

Несмотря на наличие реального Морозова-Морозки, отождествлять его с двойником из «Разгрома» тоже не стоит. Писатель Павел Максимов вспоминал: «Некоторые ростовские писатели считали тогда, что прототипом для Морозки послужил наш А. Бусыгин, по крайней мере в смысле внешности и характера Морозки». Действительно, «ржавый непослушный чуб», «насмешливые зелено-карие глаза» — это приметы литератора Бусыгина, с которым Фадеев общался в Ростове в период написания «Разгрома». Сам Фадеев признавал: «Помогли мне личные наблюдения над большевиками, над рабочими, над интеллигентами не только в период гражданской войны, но и после нее».

Действует в «Разгроме» командир шахтерского взвода Дубов. Реальный Дубов-Кишкин, командовавший одним из

партизанских отрядов, нелепо погиб в 1920 году в Любитовке, расположенной как раз на пути отряда Левинсона. Из воспоминаний Ивана Мелехина: «Дубов-Кишкин — сучанский рабочий-забойщик, очень толковый и преданный делу товарищ. Он привел свой небольшой отряд в Иманский уезд… Слепая случайность вырвала из наших рядов боевого соратника. Однажды утром, сидя за завтраком в крестьянской избе в деревне Любатовка (явно опечатка. — *В. А.),* тов. Дубов отвязал свою бутылочную бомбу и начал очищать ржавчину. Я предупредил его, чтобы он вышел на улицу, но он ответил:

— Ничего не случится, не в первый раз обращаюсь с этими штуками.

Заговорившись с товарищами, он незаметно для себя снял предохранитель, и бомба зашипела. Вместо того чтобы бросить ее в окно, он выбежал с ней в сени. В сенях послышался оглушительный взрыв. Мы все выбежали в сени и увидели, что тов. Дубов лежит в луже крови с вырванным горлом. Эта нелепая утрата боевого соратника произвела на нас сильное впечатление. Мы похоронили его с почестями на хуторе Ариадное».

В Ариадном, где сохранилась могила Дубова, есть улица его имени. Иногда ошибаются — пишут «Дубовая». Местные поправляют.

Людмила Филипась, учитель истории школы Ариадною: «У нас живет бабушка — Анисья Петровна Бегун, ее отец Петр Гиргель хоронил Дубова и в первый раз, и во второй. Сначала тело привезли на телеге в Ариадное, чтобы белые не осквернили могилу, и там похоронили[229]. В 1928 году было сильное наводнение — даже село переместилось на другое место, могилу размыло. Пришлось хоронить снова. На обелиске указаны инициалы Е. В., но одна старая учительница утверждает, что Дубова звали Николай».

Помощник Певзнера Баранов стал в книге Баклановым, Кононов[230] — Канунниковым. Свои прототипы — у подрывника Гончаренко, доктора Сташинского (Сенкевич, старый революционер, после Октября вернувшийся из США во Владивосток). Мечик подружился со «стариком Пикой» — а в записках большевика Яременко находим «старика Гавриила Пику» из Сучанской долины, расстрелянного колчаковцами.

Случай Мечика

Еще интереснее случай Мечика.

Павел Мечик попадает в отряд по путевке эсеров-максималистов, но он — человек случайный и среди них (где Савинков — и где Мечик?), и среди партизан Левинсона. Интеллигент, увлекшийся революцией, но оказавшийся не подходящим для боевой работы.

П. Никифоров вспоминал: «В нерешительности оказалась городская интеллигенция — куда идти: к Колчаку или в сопки? Эту альтернативу интеллигенция, в силу своей мелкобуржуазной сущности, решала неодинаково. Большая часть ее шла к Колчаку, а меньшая — в сопки, к партизанам». Фадеевский Мечик — из вторых.

Сразу скажем, что оценки героев «Разгрома», принятые в советское время, следует пересмотреть. Павел Мечик — не подлец, а хрупкий городской мальчик, попавший к суровым шахтерского происхождения парням[231] и не сумевший с ними ужиться (если грубо — «хипстер среди гопников», хотя аналогия неточна). Партизаны Мечика разочаровали: крадут друг у друга патроны, ругаются «раздраженным матом» по пустякам, дерутся в кровь из-за куска сала, издеваются над Мечиком «по всякому поводу» — над его городским пиджаком, правильной речью… Мечику дают облезлую кобылу, толком не учат с ней обращаться. Он во многом — жертва обстоятельств, и даже его финальное предательство — относительно, что четко прописано автором. Левинсон видит «что-то неправильное» в том, что Бакланов послал в передовой дозор именно Мечика, но, полуживой от усталости, тут же забывает об этом. Мечик «плохо понимал, зачем его послали вперед». Как и Морозка, он спал на ходу и не смог быстро принять правильное решение. Хотя ранее в критической ситуации не растерялся и застрелил японца — то есть не был ни трусом, ни тряпкой.

За Мечиком в советском литературоведении утвердилась репутация негодяя и предателя, позера, мечтателя, труса, лжеца, эгоиста. «Слюнтяйство Мечика выглядит отвратительно… Точно обозначенный образ социального предателя» (Озеров). Фактически имела место подмена позиции автора позицией советской критики. Дальше — больше: о Фадееве писали, что он выступал против «гнилой интеллигенции», хотя ничего подобного в «Разгроме» нет[232]. Советская критика, в своей чрезмерной схематичности отталкивавшая читателя от Фадеева, видела все черно-белым. «Своему» Морозке прощалось всё, «чужому» Мечику

— ничего, хотя из текста Фадеева однозначных оценок вовсе не вытекает: и Морозка не так хорош, и Мечик не так плох[233].

В «Разгроме» художник больше чем идеолог. Это касается и известных эпизодов с отравлением партизана Фролова и реквизицией свиньи у корейца. Показательно, что в 1950 году критик Зелинский обвинил Фадеева в том, что он излишне подчеркивает «темные стороны партизан» — они не интересуются политикой, не вспоминают Ленина…

Лучше не читать ни советских, ни антисоветских критиков Фадеева, а читать самого Фадеева. Да, сам он говорил, что Мечик принадлежит к «худшей разновидности интеллигенции — той ее разновидности, которая плохо поддается переделке, потому что сочетает крайний индивидуализм, ячество — с дряблой волей». Но текст «Разгрома» частично опровергает эту позднюю (и, возможно, не очень искреннюю) авторскую характеристику.

В поединке между «Разгромом» и Фадеевым (и тем более между «Разгромом» и его критиками) побеждает «Разгром». Художественная правда писателя сильнее убеждений общественного деятеля.

Откуда в романе взялся Мечик?

В 1910-е годы во Владивостокском коммерческом училище учился Михаил Мечик — старший брат отца писателя Сергея Довлатова Доната Мечика.

Дед Довлатова Исаак Моисеевич Мечик был выходцем из Крыма, участвовал в Русско-японской войне, работал на строительстве КВЖД, жил в Харбине — самом русском городе Китая. Там у него родились сыновья Михаил, Донат и Леопольд, позже семья перебралась во Владивосток.

О владивостокском периоде жизни своих родных Довлатов писал в «Наших», но воспринимать его прозу в качестве документа не стоит, хотя свое место во владивостокской мифологии она по праву заняла. Вот что Довлатов писал об Исааке Мечике: «Сначала мой дед ремонтировал часы и всякую хозяйственную утварь. Потом занимался типографским делом. Был чем-то вроде метранпажа. А через два года приобрел закусочную на Светланке…»[234] По данным приморского краеведа Нелли Мизь, Исаак Мечик во Владивостоке также служил метрдотелем в ресторане восточной кухни «Эдем» на Светланской, 41.

Из трех его сыновей наиболее известен Донат (1909–1995). Он окончил Владивостокскую театральную школу, в 1920-х выступал на эстраде. Под псевдонимом Донат Весенний печатал пародии, новеллы, стихи [235]. В 1929 году вместе с братом

Михаилом переехал в Ленинград. Михаил умер в блокаду, Леопольд еще в 1925 году, отправившись морем в кругосветное путешествие, остался в Бельгии. Донат в 1980 году вслед за Сергеем Довлатовым эмигрировал в США и пережил сына на пять лет.

О Михаиле Мечике — своем дяде — Довлатов писал: «Михаил рос замкнутым и нелюдимым. Он писал стихи. Сколотил на Дальнем Востоке футуристическую группировку. Сам Маяковский написал ему умеренно хамское, дружеское письмо. У моего отца есть две книги, написанные старшим братом. Одна называется „М-у-у“. Второе название забыл. В нем участвует сложная алгебраическая формула. Стихи там довольно нелепые. Одно лирическое стихотворение заканчивается так: „Я весь дрожал, и мне хотелось, Об стенку лоб разбив, — упасть…“ В сохранившейся рецензии на эту книгу мне запомнилась грубая фраза: „Пошли дурака Богу молиться, он и лоб разобьет!..“ Михаил был необычайно замкнутым человеком. Родственники даже не подозревали, чем он вообще занимается…»

Михаил Мечик был однокашником Фадеева. Нелли Мизь сообщает, что Михаил напечатал первые стихи в сборнике коммерческого училища «Зеленые побеги», который редактировал Фадеев. Донат Мечик в мемуарах «Выбитые из колеи» писал: «Фадеев покровительствовал Мише и ласково называл его Мечик, словно это имя».

По одной версии, Фадеев дал своему персонажу фамилию этого своего товарища, что позволяет предположить: в изначальном авторском замысле Павел Мечик вовсе не был отрицательным персонажем.

По другой версии, Фадеев использовал фамилию партизана Тимофея Мечика, погибшего в долине Сучана весной 1919 года, незадолго до прибытия туда Булыги[236]. Не знать о нем Фадеев не мог.

Тимофей Анисимович Мечик родился в 1900 году в селе Казанке. В 1918 году, сдав экзамен, получил диплом учителя, после чего Ольгинский уездный отдел народного образования направил его в начальную школу деревни Серебряной. Проработал он там недолго — до осени того же 1918 года. В октябре создается «Комитет по подготовке революционного сопротивления контрреволюции и интервенции», председателем и заместителем избираются местные учителя Николай Ильюхов и Тимофей Мечик. Комитет призывает создавать дружины самообороны. Вскоре на базе дружин появился Сучанский партизанский отряд, командиром которого стал Ильюхов, а его заместителем — Мечик[237].

В конце марта 1919 года отряд готовится нанести удар по колчаковскому гарнизону во Владимиро-Александровском (ныне — центр Партизанского района). На помощь сучанцам идет Ольгинский отряд под командованием Степана Глазкова, для встречи которого сучанцы направляют роту во главе с Мечиком. Рота идет пешим порядком, Мечик и двое сопровождающих его (Гульков и Старовойтов) — верхом. 2 апреля Мечик с двумя конниками выезжают вперед и располагаются на окраине деревни Унаши (ныне — Золотая Долина). Со стороны Владимиро-Александровского в Унаши вступает колчаковский разъезд — «до 50 сабель». Мечик с товарищами пытаются скрыться и, преследуемые колчаковцами, скачут туда, откуда должны были уже показаться ольгинцы. Участник Гражданской войны в Приморье Иван Самусенко: «На перевале появился Ольгинский партизанский отряд. Заметив приближающийся кавалерийский разъезд и не подозревая, что впереди скачущих находятся наши товарищи, партизаны открыли огонь… Так 2 апреля 1919 года на девятнадцатом году жизни трагически погиб Т. А. Мечик, заместитель командира Сучанского партизанского отряда».

Мечик и Влас Гульков были сражены первыми же выстрелами, Старовойтов (или Старовойт) отделался ранением. Колчаковцы развернулись и ускакали, а ольгинцы всё стреляли. Мечик, раненный в грудь и в ногу, приподнялся и крикнул: «Товарищи, мы — партизаны!» Те не расслышали, дали еще залп. Пуля попала Мечику прямо в лоб. Гульков, увлеченный лошадью в лес, истек кровью и умер. Узнав в убитом ими Мечика, ольгинские партизаны рыдали.

Мечика похоронили в братской могиле в Казанке. На установленном в 1957 году памятнике — высоком красном четырехграннике с вензелями — значатся 19 имен. Есть очень интересные — например, Эмиль Либкнехт, возможный родственник Карла Либкнехта[238]. В Первую мировую Эмиль был немецким офицером, добровольно сдался в плен, потом пошел в красные партизаны. Погиб в мае 1919 года из-за неосторожного обращения с оружием.

Тимофей Мечик был образцовым красным героем, зачинателем партизанского движения в Приморье. Вскоре после выхода «Разгрома» бывшие партизаны обвинили Фадеева в неуважении к памяти героя — зачем, мол, дал столь славную фамилию слабаку, трусу и предателю?

Тогда сам писатель предложил еще одну версию. Редкую фамилию, оказывается, носил некий московский спекулянт (Фадеева в период учебы в горной академии в числе других студентов-партийцев мобилизовали для переписи лиц, живущих

нетрудовыми доходами). У него Фадеев ее и одолжил, потому что она «нечасто встречается и хорошо запоминается». А про Тимофея Мечика (и про Михаила Мечика, выходит, тоже) будто бы позабыл. Фадеев писал Ильюхову[239]: «Согласен с тобой, что с фамилией Мечика получилось чрезвычайно обидно для его памяти, но получилось это, как ты сам понимаешь, непроизвольно. Когда я попал на Сучан, Мечик уже погиб. Наверно, я слышал его фамилию тогда по рассказам друзей, но я был слишком молод, увлечен всем тем, что мы тогда переживали, и фамилия эта выпала у меня из памяти… О том, что эту фамилию носил мужественный, чистый и доблестный юноша в партизанской войне, я совершенно забыл, — она, должно быть, совершенно подсознательно ассоциировалась у меня с теми днями, и я использовал ее в „Разгроме“ в применении к персонажу совершенно иной складки. Оплошность свою я понял, когда вышла книга твоя в соавторстве с Титовым, но исправлять было уже поздно»[240].

Речь идет о книге Н. Ильюхова и М. Титова «Партизанское движение в Приморье», вышедшей в ленинградском издательстве «Прибой» в 1928 году. Фадеев пообещал ко второму изданию книги написать письмо в «Литературную газету», «Красное знамя» и «Тихоокеанскую звезду», чтобы объяснить: фамилия попала в «Разгром» случайно, путать персонажа с Тимофеем Мечиком нельзя[241].

Потом приморские литераторы активно исправляли «легкомыслие» Фадеева, сочиняя повести о героической партизанской борьбе Тимофея Мечика со товарищи. Он фигурирует, например, в романе дальневосточного литератора (и, кстати, секретаря Совета министров ДВР) Павла Сычева «Земля, омытая кровью».

Упомянутый Фадеевым московский спекулянт мог быть родственником владивостокских Мечиков. По крайней мере, об этом пишет Донат Мечик (сам он был младше Михаила и с Фадеевым не общался). «Смутно помню, как неожиданно приезжал во Владивосток в двадцатых годах двоюродный брат отца, тоже Исаак Мечик. Он считался богатым человеком и в годы НЭПа развернул коммерческую деятельность в Москве. Спустя какое-то время мне показали в шанхайской газете рекламу его фирмы. Видимо, он бежал из Владивостока через китайскую границу, узнав, что ему угрожает репрессия. Возможно, он и находился в списках Фадеева», — считает Д. Мечик.

Фамилия фамилией, но прототипом (одним из прототипов) Мечика мог быть и совсем другой человек. А именно — Ися Дольников, «соколенок» и сын владельца комиссионного

магазина. Об этом Асе Колесниковой писал сам Фадеев. Другой «коммунар» — Яков Голомбик, присутствовавший на первых чтениях «Разгрома», — пишет, что он и не подозревал об этом: «Только Петя и Гриша (Нерезов и Билименко. — *В. А.)* обратили внимание на то, что лошадь Мечика названа в романе так же, как лошадь Дольникова, но значения этому они не придали». Бывший партизанский командир Мелехин потом рассказывал Голомбику: когда его бойцы, воинственно настроенные, явились к Фадееву, чтобы «расправиться с ним за клевету на их товарища Мечика» (Тимофея), писатель ответил им: не волнуйтесь, Мечик — это Дольников. Обошлось без рукоприкладства, но обида осталась.

Тем более обижен был сам Дольников. По его словам, он переживал настоящую трагедию, увидев в Мечике свои черты[242]. Возмущенный, пришел к коммунарам, жившим уже в Москве. «На нашем „суде чести“ Фадеев объяснил, что писатель имеет право изобразить человека так, как сам его видит, — пишет Голомбик. — Мы обсудили вопрос и нашли, что сравнение Дольникова с Мечиком является следствием личной неприязни Сашки к Иське, появившейся после их ссоры в отряде. Дольников протестовал против того, что остальные коммунары ездят в разведку, участвуют в стычках с японцами, а он оставлен при газете, в то время как Фадеев и Билименко имеют большой газетный опыт. Работать в газете никто не хотел, все стремились в бой…» Голомбик добавляет: «Всей своей жизнью Дольников доказал верность партии и никогда ни в чем дурном уличен не был». В 1941-м Дольников вступил в ополчение и погиб под Москвой.

Возникает еще ассоциация с метчиком — твердосплавным инструментом для изготовления внутренней резьбы. Но из фадеевского Мечика нельзя «делать гвозди», тем более что метчик должен быть куда тверже гвоздя. Уместнее иная фонетическая аллюзия: Мечик, чужой среди своих, — *мечется.* Или же он — *меченый*?

Можно понимать и самого Фадеева как одного из прототипов Мечика. Легко представить, как поначалу ощущал себя Фадеев — городской начитанный подросток, «хрупкий хрустальный сосуд» — среди суровых сучанских парней; да и обстоятельства ранения Мечика напоминают обстоятельства ранения Булыги.

С другой стороны, к весне 1919 года у него уже был опыт подпольной работы. В облике Фадеева на фотографиях той поры появляется что-то хулиганское, вызывающее. Да и его карьерный рост в партизанском отряде и в армии ДВР говорит сам за себя: Саша Булыга-Фадеев был талантливым и перспективным бойцом и командиром, тогда как Павел Мечик — нет. Психологический

рисунок его личности был совсем иным.

И все-таки, все-таки… Первая жена Фадеева Герасимова вспоминала: «Мы с Ю. Либединским как-то, смеясь, говорили, что в Саше живут все герои его „Разгрома“. И Мечик — слабый интеллигент, и простодушный героический Морозка, и умный, истинный революционер-коммунист Левинсон (конечно, больше всего Левинсон и Метелица!)».

Возможно, одна из составляющих драмы самого Фадеева — стремление выдавить из себя по капле Мечика, этого «черного человека». И Фадееву удалось победить своего внутреннего Мечика.

Фадеев похож на героев своего «Разгрома» не столько буквально, сколько тем, что и он — сложнее, неоднозначнее, чем мы привыкли это представлять. Как советская критика хвалила Морозку и кляла Мечика — так Фадеев был в советское время хорошим, а потом стал плохим. Обе полярные оценки равно однобоки.

Возвращение «приморских партизан»

«Разгром» дописывается самой жизнью, обрастая новыми смыслами, о которых не мог догадываться автор.

Отголоски «Разгрома» звучат в записках Че Гевары. Одна из последних записей «Боливийского дневника» начинается со слова «Разгром», а одна из заключительных фраз перекликается с финалом фадеевской книги: «Наша группа в полном составе — 17 человек — тронулась в путь, облитая светом луны».

Само выражение «приморские партизаны», ставшее крылатым в том числе благодаря Фадееву, в 2010-м приобрело новое значение. Группу молодых людей из поселка Кировского Приморского края, нападавших на милиционеров, прозвали «приморскими партизанами». Их первый процесс завершился в 2014-м, но еще до вынесения приговора «партизаны» попали в литературу.

Нового «Разгрома» пока не написано[243], прилепинский «Санькя» — не о «партизанах», а о нацболах-лимоновцах (хотя один из погибших «приморских партизан», Андрей Сухорада, некоторое время был нацболом), но зато оперативнее прозаиков отреагировали поэты.

Алина Витухновская:

> …Станут приморские партизаны
> Некой летальностью
> По —
> Ли —
> Ти
> Чес —
> Кой,
> Преступленьем и наказаньем,
> Мести мистерией немистической.

Всеволод Емелин объединил партизан «штурмовых ночей Спасска» — с новыми:

> …Против грабежа и беспредела,
> На краю запуганной страны,
> Не жалея молодого тела,
> Поднялись простые пацаны…
> Впереди кровавая развязка,
> Не увидят никогда они

Свои боевые ночи Спасска,
Свои волочаевские дни.

Сопоставление тех и этих партизан, какой бы сомнительной ни была степень его исторической корректности, неизбежно.

Несмотря на огромный массив информации и открытый судебный процесс, до сих пор никто толком не знает, что это было. Есть несколько мифов о новых приморских партизанах, и каждый верит в тот, который ему ближе.

Что касается фактов, то они таковы. Четверых «партизан» — Романа Савченко, Владимира Илютикова, Максима Кириллова, Александра Ковтуна — задержали в июне 2010 года. Двое — Андрей Сухорада и Александр Сладких — погибли в Уссурийске при попытке их задержать (по официальной версии, застрелились). Спустя несколько месяцев к четверым оставшимся в живых добавились еще двое — Алексей Никитин и Вадим Ковтун (брат Александра). Юношам инкриминировали более тридцати преступлений, наиболее тяжкие из которых — убийство двух милиционеров во Владивостоке и селе Ракитном Дальнереченского района, а также четверых «наркобарыг» в Кировском районе. Помимо этого — нападения на пункты милиции, обстрел машин ДПС, кражи, угоны, разбои, хранение оружия… Следствие сопровождалось скандалами: то «партизаны» заявляли о пытках, то прямо из суда исчезали тома уголовного дела.

Вначале много говорилось о том, что парней довели до греха «беспредельщики» из Кировского РУВД, потом тема сошла на нет: «факты не подтвердились».

Начальник приморского УМВД Николаев заявил об обнаруженных в тайге «многочисленных схронах», в которых будто бы находились не только еда и оружие, но и «предметы с фашистской символикой и литература радикального толка».

Было и видеообращение «партизан». «Мы свои автоматы пристреливаем по вашей конституции, — говорит в кадре Александр Ковтун, сжимая автомат. — Эта страна катится в пропасть, и мы поможем ей докатиться своими убийствами и хаосом». Одна из самых интересных фраз, сказанных на камеру, — переданный «привет всем, кто состоит в сопротивлении — Северному Кавказу и другим честным достойным людям»…

Но о схронах больше не вспоминали, видеообращение запретили за экстремизм. Героический ореол оказался не нужен; произошла полная деполитизация дела. Вместо «приморских

партизан» возникла «кировская банда», действовавшая из сугубо корыстных соображений, — простая, слишком простая трактовка. В Приморье всякое было — но не было такого, чтобы пацаны просто так бегали по тайге, стреляя в милиционеров.

Адвокат Никитина Нелли Рассказова уверяла: «Они не боролись против правоохранительных органов… Они боролись с конкретными лицами и всем, что связано с наркобаронами и „оборотнями в погонах“».

Отец Романа Савченко рассказал, что сына избивали в милиции, а другой его сын еще несколько лет назад умер в камере. «Партизан» Алексей Никитин утверждал, что кировские милиционеры «крышевали» плантации конопли, а потом стали завозить в район героин: «Мы начали их плантации сжигать, конкретно мешать их бизнесу…» В таком разрезе история выглядит вполне локальной: сведение личных счетов, конфликт с конкретными милиционерами, а не попытка перевернуть страну. Но убиты были совсем другие сотрудники милиции, не имевшие отношения к Кировскому. Да и видеообращение говорит само за себя.

Александр Смольский — адвокат «партизана» Савченко — говорил в суде: «Я видел много уголовников — эти люди не похожи на уголовников. Вы слышали, чтобы хоть кто-то из них сказал об идеях ваххабизма? Ничего этого нет. Это обычные нормальные люди… Народ устал от бесправия… У меня не было задачи делать политический процесс. Но, хотим мы или не хотим, он уже вошел в историю».

Мне приходилось видеть «партизан» на их процессе в Приморском краевом суде. То гладко выбритые, то отпускающие бороды (двое в тюрьме приняли ислам); опрятно одеты, прически не без щегольства — обычные пацаны с улиц Владивостока. Шутят, улыбаются. Выпусти их — затеряются в толпе, не отличишь.

В апреле 2014 года огласили приговор. Трое — Александр Ковтун, Илютиков и Никитин — получили пожизненное, Савченко дали 25 лет, Кириллову — 22 года, Вадиму Ковтуну — восемь лет и два месяца колонии строгого режима[244]. Вину в убийствах не признал никто. Полного оправдания просили для себя Никитин и Савченко, Илютиков в последнем слове попросил дать ему меньший срок, Кириллов просил «не наказывать строго», Александр Ковтун признал, что стрелял, но не убивал: «Хотел отомстить кировским сотрудникам милиции. Будучи сбит с пути Сухорадой, я где-то стал свидетелем, а где-то соучастником эпизодов, где пострадавшими являются другие, не кировские сотрудники милиции… За то, что я сделал, — готов отвечать».

У каждого останется свой миф о «приморских партизанах». Одни считают их «борцами с ментовским беспределом», другие — сепаратистами, третьи — бандитами, связанными с наркобизнесом.

Но мы сейчас — о другом: о связи «приморских партизан» образца 2010 года с фадеевскими партизанами образца 1919 года. И здесь мы натыкаемся на поразительные топографические пересечения.

Приморье — большое. Книжный Левинсон мог воевать хоть в Сучане, хоть в Анучине — но он почему-то ходил ровно теми же тропами, которыми 90 лет спустя будут ходить «приморские партизаны». Смотрите сами: новые «партизаны» — из Кировского района, где вначале стоит отряд Левинсона. Одно из их деяний — убийство милиционера в Ракитном (том самом, где происходят события «Разгрома»). У Фадеева упомянуты японцы в Марьяновке; по словам Никитина, в Марьяновке — «терем начальника Кировской милиции стоимостью 30 млн рублей»…

Подобных совпадений — масса. Вот только врагами у новых «партизан» оказались не японцы и не казаки. И разгром произошел южнее — в Уссурийске.

Пусть те партизаны и эти — явления совершенно разные, но «Разгром» теперь не может не восприниматься по-новому.

В 1970-х в Приморском краевом драмтеатре им. Горького шел «Разгром»[245]. Тогда этот спектакль был вполне мейнстримным; может, даже конъюнктурным. А представить постановку «Разгрома» сейчас, после истории с «приморскими партизанами»? Она неизбежно, вне зависимости от желаний режиссера, стала бы политическим высказыванием — в силу того, что изменился контекст. То же — с «Молодой гвардией»: теперь этот сюжет не сможет восприниматься отдельно от новой войны на Донбассе.

…Партизанский комиссар Булыга стал большим писателем, любимцем Сталина. Добросовестно исполнял литературные и нелитературные обязанности. А сам хотел вернуться в Приморье и завершить главное — «Последнего из удэге».

Не смог, не успел. Ничего лучше «Разгрома» не написал.

Больше никогда Фадеев не будет в такой форме, как в то время, когда писал «Разгром». Идеально сошлось всё: свежесть впечатлений и жадность к сочинительству, молодость и ранняя зрелость, непосредственность жизненного опыта и «набитость» руки на «Разливе» и «Против течения». А главное — настрой, психологическое состояние, какого потом уже не будет. Уже с конца 1920-х начнут шалить нервы, потом добавятся другие

болезни. Сменится время, впечатления станут «писательскими», добавится гора общественной работы, проблем, обязанностей… Накапливающийся опыт и растущее мастерство всего этого компенсировать не смогут.

Иосифа Певзнера реабилитировали в ноябре 1956-го — через полгода после того, как боец его отряда Булыга расстрелял себя сам.

Фадеев похоронен на Новодевичьем. Певзнер лег в неуютную землю «Коммунарки». Морозка — в далекой приморской Боголюбовке, Дубов — в Ариадном…

А командир Левинсон жив. По-прежнему ведет уцелевших бойцов разбитого отряда в долину Тудо-Ваки, богатую людьми и хлебом.

Главпиарщик Дальнего Востока

Настоящей родиной Фадеева — творческой, гражданской, духовной… — стало Приморье. «Я с шести лет в нашем крае и считаю его своей родиной», — писал он. «Родным селом» называл Чугуевку, хотя провел куда больше времени во Владивостоке (уже в 1950-х писал, что для него и сейчас Владивосток остается «самым любимым и прекрасным городом»).

В 1929 году писал Землячке: «Нужно вовсе, на год, на два уехать из Москвы… вообще больше жить в провинции».

Но как это сделать? «Я знаю, что вся наша организация будет решительно против моего отъезда».

А дальше будет только хуже.

И все-таки он дважды вырывался в родное Приморье. Не просто приезжал в гости — жил.

Первый «камбэк» — с сентября 1933-го по январь 1934 года.

Фадеев, стремительно идущий вверх в писательской иерархии, вдруг добивается временного освобождения от обязанностей ответственного секретаря оргкомитета кристаллизующегося Союза писателей СССР и уезжает в Приморье. Одна из причин — сложные отношения с бывшими товарищами по РАППу. Он, в отличие от многих, после ликвидации РАППа вновь оказался на коне.

Имелись и личные причины. Формально он еще был женат, но фактически вел холостяцкую жизнь — отношения с Валерией Герасимовой разрушились (хотя и позже они будут общаться и хорошо отзываться друг о друге).

Конечно, скучал по Приморью. Да и для «Удэге» нужно было освежить впечатления.

Но просто убежать «в глушь», дезертировать было для Фадеева неприемлемо. Он находит достойный повод: затевает вместе с Александром Довженко сценарий о Дальнем Востоке[246].

29 августа 1933 года Фадеев едет на Дальний Восток с экспедицией Довженко. Тот решил снимать «Аэроград» — говорят, по личному заказу Сталина, посетовавшего на отсутствие кино о героическом Дальнем Востоке. С ними едут Юлия Солнцева, жена и помощница Довженко, и оператор Михаил Глидер.

Планировал уехать месяца на полтора-два — задержался на все пять. Фильм в итоге обошелся без Фадеева — Довженко написал сценарий сам. Беляев говорит о «творческих расхождениях», сам Фадеев в беседе с владивостокскими журналистами отнекивался: «Спросите у Довженко… Я всего-

навсего начинающий сценарист, а не какая-нибудь кинозвезда». Складывается ощущение, что он использовал фильм лишь как повод — а поехал вовсе не ради него.

Позже Фадеев, правда, напишет (недопишет) свой дальневосточный киносценарий, перекликающийся с довженковским, — «Комсомольск на Тихом океане» о закладке нового города и шпионско-экспансионистских происках японцев. Вот одна из сцен: школа в Хакодате, учитель говорит детям, обводя указкой границы Дальнего Востока: «Этот богатый край должен принадлежать Японии». Завязка: полковник Мацуока отправляется в таежную деревню, чтобы подбить староверов на восстание. Сейчас звучит наивно — тогда звучало совсем иначе: на границе с Приморьем Япония создала государство Маньчжоу-го, СССР с года на год ждал нападения не с Запада — с Востока. В фильме Довженко происходит примерно то же: на берегу Тихого океана строится «аэроград» (явные, хотя, возможно, и неосознанные переклички с «Дорогой на Океан» Леонова, завершенной, как и фильм, в 1935 году). Строителям мешают кулаки, бывшие белогвардейцы, диверсанты. Колхозник Степан Глушак гонится по тайге за самураями (японских диверсантов играли корейцы, которых тогда еще не выслали с Дальнего Востока в Среднюю Азию) и перепрятывает закопанный ими динамит. Такой была повестка 1930-х: стройки, войны, шпионы, новые города… Был соцзаказ — но был и искренний пафос.

6 сентября поезд пришел в Хабаровск. Фадеев беседует с журналистами «Тихоокеанского комсомольца», выступает на заседании дальневосточного оргкомитета Союза советских писателей, где, между прочим, говорит: «Дальневосточная тематика становится сейчас международной тематикой, далеко выходя за рамки, масштабы, границы Дальнего Востока… Самый большой вопрос, самая интересная тема — это борьба за социалистическую переделку Дальнего Востока, за превращение края царской каторги и ссылки — в форпост социализма на Тихом океане. Показ этой переделки, такой показ, чтобы людям из других концов Советского Союза захотелось ехать и работать в этом интереснейшем крае, — вот главная тема ваших будущих произведений». Сугубо прикладная задача, мелковатая для настоящей литературы? Но это (не только это, конечно) работало, и на Дальний Восток ехали люди. А вот с начала 1990-х и доныне Дальний Восток теряет население[247].

«Все, что здесь, в крае, творится, настолько необыкновенно, — не похоже ни на что российское, — что писать об этом в письме — это профанация, это почти невозможно, — сообщает Фадеев Эсфири Шуб[248]. — На этом материале можно

делать десятки сценариев и романов, но факты действительности бьют всякий вымысел. У нас головы распухли!» (Сегодня регион еще в меньшей степени осмыслен и освоен культурой, чем в фадеевские времена, и целые сюжетные пласты безвозвратно уходят в песок.)

Фадеев едет в Биробиджан — столицу создаваемой Еврейской автономии, этого маленького дальневосточного прото-Израиля. Затем — в Николаевск-на-Амуре, откуда на пароходе «Рефрижератор № 1»[249] — на Сахалин и во Владивосток, где его «буквально все узнавали на улицах».

«Планы большие, и все они связаны с Дальним Востоком», — говорит на встрече с коллективом приморской газеты «Красное знамя» Фадеев.

Вместе с Довженко они осматривают олене-песцовоенотовое хозяйство в бухте Сидеми[250]. Едут на Сучанский рудник. Совершают внушительный пеший поход — несколько сотен километров — по тайге. Здесь-то их и сопровождает Василий Тарасович Глушак (или Глушин) — старый охотник и партизан, знакомец Арсеньева и Дерсу, ловивший тигров живьем и перебивший их «без счета». Он станет прототипом главного героя «Аэрограда» — тигрятника-партизана Степана Глушака, причем выяснится, что до революции отец Василия Глушака — хлебороб с Черниговщины — знал юного Довженко. Этот же колоритный дядька войдет и в фадеевский рассказ «Землетрясение» под именем Кондрата Сердюка.

Фадеев наконец — снова в Улахинской долине. В Чугуевке его помнят и привечают (пишет матери: «Именно потому, что я твой сын»).

Писатель сообщает маме о том, что в Чугуевке «по-прежнему страшная заброшенность и оторванность от всего». Обещает добиться постройки электростанции, ремонта дороги, организации МТС[251] в Улахинской долине. Слово сдержал — начал бомбардировать инстанции письмами, в которых называл вещи своими именами. В некоторых отношениях жизнь в Чугуевке, писал Фадеев, стала хуже, чем до революции, когда «интеллигентов на селе было лишь пятеро: учитель, почтовый чиновник, лесной объездчик да моя мать — фельдшерица и мой отчим — фельдшер». Школа сгорела — и ребята учатся по хатам, медпункта больше нет… Фадеев пишет в бюро Далькрайкома: Улахинская долина от Архиповки до Самарки находится в «чрезвычайно заброшенном состоянии в смысле внимания к ней со стороны партийных, советских и хозяйственных организаций». Предлагает создать МТС, открыть в Чугуевке медпункт, наладить

радиосвязь, поставить еще одну госмельницу для жителей верховий Улахе, провести новую дорогу от райцентра — тогда это была Яковлевка — до Чугуевки.

Не забывал Чугуевку и потом — контролировал, писал, интересовался, снабжал сельскую библиотеку книгами. Уже в 1935 году в селе появятся телеграф, телефон, радиоузел и МТС, начнется строительство школы-девятилетки, новой дороги. В том же 1935 году согласно постановлению Далькрайисполкома из состава Яковлевского района был выделен самостоятельный Чугуевский район с центром в Чугуевке.

Но и в 1948 году Фадеев напишет: «Еще очень много работы, чтобы превратить Чугуевку в подлинно культурный центр социализма». В 1950-м он пишет министру просвещения РСФСР Ивану Каирову — просит помочь перевести школу с дровяного на паровое или водяное отопление, отпустить средства на оборудование кабинета химии и естествознания, выделить деньги для поездки в Москву на месяц группы школьников (причем обязуется взять на себя размещение и культурную программу). В июне 1950 года Чугуевские школьники приехали в Москву — и Фадеев их опекал, привлекал Михалкова, Маршака, Кассиля… А в 1953-м снова писал в приморские крайком и крайисполком: поступают жалобы от учителей и врачей, школы и больницы не ремонтируются, плохо отапливаются. Такое положение «нельзя назвать иначе, как безобразием, которое только ждет своего Салтыкова-Щедрина» — похоже на мягкий шантаж.

Сделанное Фадеевым для Чугуевки и Улахинской долины сопоставимо — с поправкой на объективную разницу масштабов — с Олимпиадой-2014 для Сочи и саммитом АТЭС-2012 для Владивостока. Вероятно, именно благодаря Фадееву Чугуевка выросла в райцентр. Теперь здесь есть, например, современная ледовая арена, какой не могут похвастаться другие райцентры Приморья[252]. Поэтому неудивительно, что в 1960 году в Чугуевке появился музей Фадеева и что он — редкий случай! — был создан по инициативе снизу.

Чугуевке повезло: у нее был и есть Фадеев. У большинства наших поселков и городков нет никого.

В декабре, выступая перед пионерами, Фадеев обещает написать книгу «о жизни и борьбе приморских пионеров на социалистическом фронте вместе со взрослыми». Проводит множество встреч — с писателями и литкружковцами, в университете, в клубе Дома Красной армии и флота, в театре имени Горького…

Новый, 1934 год Фадеев и Довженко встречают в

Комсомольске-на-Амуре. Город заложен два года назад, здесь еще стоят временные бараки[253]. Фадеев возьмет шефство над городом, напишет в ЦК ВЛКСМ: нужно помочь строителям — оборудовать радиоузел, создать библиотеку, открыть рабфак или вечерний техникум, решить вопрос со спортинвентарем…

Именно Комсомольск, прозванный «городом юности», — прототип кинематографического Аэрограда. В те годы не только искусство подражало жизни, но и жизнь — искусству. Смешивались фантастика и реализм, невероятное становилось действительностью. В 1938-м на экраны выйдет еще один фильм о городе юности — «Комсомольск» Сергея Герасимова. Интересно, что Комсомольск-на-Амуре — словно Довженко его запрограммировал — так и остался «аэроградом»: здесь делают боевые «сушки» и гражданские «суперджеты»[254].

В январе 1934 года в Хабаровске Фадеев участвует в работе XI Дальневосточной партконференции, призывает литераторов активнее и глубже осмысливать дальневосточные темы. Об этом он будет говорить и в Москве, и призыв услышат: на Дальний Восток писатели поедут целыми ротами. Павленко напишет «На Востоке», Фраерман — «Дикую собаку Динго», Кетлинская — «Мужество», Погодин — «Падь Серебряную», Чумандрин — «Бикин впадает в Уссури», Долматовский — цикл стихов…

Фадеева избирают в состав Далькрайкома и дальневосточной делегации на XVII съезд ВКП(б) — «съезд победителей», он же «съезд расстрелянных». Покидая Хабаровск, писатель берет на себя ряд обязательств по вопросам хозяйственного развития региона. Уже в конце января Фадеев — в Москве. Работает на съезде партии, готовит съезд писателей…

Потом он снова поедет в родные края. Надолго. Думая, что — навсегда.

Сразу после Первого съезда писателей Фадеев едет на Дальний Восток во главе целой бригады: Рувим Фраерман, Петр Павленко, Антал Гидаш[255]. Он проведет здесь почти год — с сентября 1934-го по август 1935-го. Оформил командировку от «Правды», надеялся завершить «Удэге». Обещал написать книги о Краснознаменной Дальневосточной армии, о Комсомольске…

В 1934 году Фадеев был в личном плане как никогда одинок. Называл себя «старым седым волком».

Не всё складывалось и в жизни неличной. В июне 1934 года в «Литературной газете» выходит статья Святополк-Мирского «Замысел и выполнение» с резко отрицательной оценкой «Удэге». Фадеева мучают мысли о своей необразованности, о том, что к тридцати трем годам сделано мало. В это междальневосточное

лето в шашлычной у Никитских Ворот он случайно встретит бывшего партизана Ильюхова. Скажет ему о том, что хочет вернуться на Дальний Восток насовсем, позовет с собой… Либединский: «Обстановка, сложившаяся вокруг А. А. Фадеева ко времени первого съезда писателей, была настолько для него тягостна, что он все время твердил: „В пустыню, в пустыню!“ Он мечтал о долгой поездке на Дальний Восток…»

Фадеев всерьез думал о том, чтобы переехать в Приморье навсегда. В июле 1935-го говорил «Известиям»: «Писателю трудно плодотворно работать, живя преимущественно в Москве… Придя к убеждению о необходимости переменить обстановку, я решил уехать на Дальний Восток. Дальневосточный край — почти моя родина… Я решил не покидать родной прекрасный край, остаться в Дальневосточном крае, в Москву наезжать изредка». Фадеев завидовал Шолохову, жившему в Вешенской «в тесной близости с людьми, о которых пишет». В Приморье Фадеев хотел найти свои Вешки. «Совершенно свободный, несколько „разочарованный“, что меня красило, — я вернулся на родину с намерением навсегда остаться в крае», — скажет он потом. И еще: «Человек на середине между 30 и 40 годами — вполне уже зрелый человек… Но к тому времени он незаметно накапливает и немало житейского мусора. И в случае какого-то личного душевного кризиса у него появляется желание словно „начать все сначала“, вернуться к истокам своего жизненного пути, к юности…»

И вот писатели едут на восток. Павленко — комиссар Гражданской, будущий лауреат четырех Сталинских премий. Фраерман, партизанивший в Приамурье и уже писавший о Дальнем Востоке, хотя самая известная его вещь — «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» — еще впереди[256]. Гидаш — венгр, политэмигрант; Фадеев зовет его Анатолием.

28 сентября поезд прибывает в Хабаровск. Гидаш вспоминал, что писательская бригада сразу отправилась к редактору «Тихоокеанской звезды» — старому большевику и бундовцу Иосифу Шацкому, в 1932-м бравшему на работу в газету Гайдара. «Шацкий… чуточку смущенно, стараясь шуткой перебить свое смущение, спросил, как у нас с деньгами. И Фадеев… забормотал что-то. Но, кроме громкого „ха-ха-ха“, болтавшегося на кончике бормотания, так ничего и нельзя было понять. Шацкий встал. Поднялся и Фадеев. Видно, его беспомощные „значит“, „так сказать“, „словом“, „то есть“ и опять „так сказать“ оказались достаточно убедительными аргументами: Шацкий с радостью взял у нас стихи, рассказы, отрывки из романов и выписал гонорар»[257].

У Фадеева в этот период с деньгами было плохо: гонорары за старые публикации потрачены, новых книг и пьес, которые могли бы идти в театрах годами и приносить постоянный доход, он не писал. «Временно вышел из „зажиточности“», — пишет он матери. Но при первой возможности отправлял ей деньги.

Писатели ездят по Приамурью. Встречаются с отцом и сыном Генрихом и Эммануилом Казакевичами[258], с энтузиазмом взявшимися за хозяйственное и культурное развитие только что образованной Еврейской автономной области. Чуть позже Фадеев «продвинет» старшего Казакевича в правление Дальневосточного отделения Союза писателей.

Лариса Казакевич, дочь автора «Звезды», вспоминала: «Осенью 34-го года молодой Казакевич встретился с этой группой писателей в тайге, у костра, где Фадеев жарил мясо на костре, и они пили кислое вино, закусывая жареным мясом… Фадеев, узнав, что папа перевел на идиш, в частности, „Во весь голос“ Маяковского, попросил прочитать. Когда он замолчал, все зааплодировали, а Фадеев сказал, что ритмика в переводе выдержана прекрасно, а потом подсел к Генриху Львовичу и сказал: „Хороший сын у тебя, Генрих, за такого краснеть не будешь“».

Позже Фадеев высоко оценил военную прозу Эммануила Казакевича. А Лариса Эммануиловна вспоминает и такой эпизод: «Когда в начале 50-х „новым“ писателям давали квартиры в новом доме писателей, пристроенном к старому, в Лаврушинском переулке (что напротив Третьяковской галереи), нашему семейству выделили квартиру на третьем этаже, каковой считался самым престижным (на этой же площадке была квартира Нилиных). А Первенцевым — на первом… Первенцев пошел к Фадееву просить, чтобы его этаж поменяли с Казакевичем. Фадеев выгнал его из кабинета с соответствующими словами, вместо которых обычно в тексте ставится отточие. Нет, я не хочу сказать, что это зависело только от его отношения к Казакевичу. Но это хорошо характеризует Фадеева».

С конца октября Фадеев — во Владивостоке. Здесь, на юге, необычно тепло — во второй раз зацвели вишни. С этого времени и по август 1935 года он в основном жил в пригороде Владивостока — в санатории РККА на 19-й версте (нынешняя Океанская), а если еще точнее — «в громадной и теплой даче» при санатории[259]. Писал «Последнего из удэге», собирал материалы для сценария о Комсомольске. Доработал «Против течения», превратив его в «Амгуньский полк», сочинил «Землетрясение»… — этакая «приморская осень». «Так

расписался, — признавался в письмах, — что больше ничем и заниматься не хочется». И еще: «Мне работалось трудно, но хорошо, что я объясняю тем состоянием душевной раскрытости, которая естественно возникла от соприкосновения с „корнями“».

Здесь он сумеет завершить третью часть «Удэге» — и критика признает ее лучшей книгой 1935 года.

Фадеев был одинок, вдохновенен, задумчив. «Как порою грустно мне было! Залив замерз. Метель мела… Я много гулял один и жил, можно сказать, воспоминаниями».

Но не только. Он загадочно напишет потом: «Было у меня за это время неизбежно много случайного и просто нехорошего. И в этом смысле Дальний Восток, вновь раскрыв мою душу к добру и разбередив в ней самое чистое, молодое, не принес мне, однако, счастья и даже избавления от многого дурного в самом себе».

С Океанской Фадеев порой ходил во Владивосток пешком — за 19 километров. Город не сильно изменился по сравнению с революционными временами: «Я застал его почти таким же, каким покинул». Это был еще старый Владивосток — изобилующий корейцами и китайцами, со знаменитыми притонами «Миллионки»… Много раз Фадеев ходил мимо домика на Набережной, где когда-то встречался с Асей. «Я подолгу стоял возле него, — над этим обрывом, над этим заливом, с которыми тоже так много связано в моей душе, и мне жалко было уходить». Фадеев чувствовал, что он снова влюблен в Асю, которую не видел много лет. Но Колесникова в эти годы была далеко от Приморья. Вот еще один неслучившийся вариант фадеевской судьбы: остаться в Приморье, встретиться с Асей… Как бы тогда сложилась его жизнь?[260]

В какой-то момент горсовет выделил Фадееву по его просьбе и городскую квартиру, что опять-таки говорит о том, что он хотел надолго задержаться во Владивостоке. По данным писателей Бытового и Кучерявенко, квартира располагалась на Суханова — рядом с бывшим коммерческим училищем. «Он то давал свое согласие остаться здесь на жительство, то, ссылаясь на дела в Москве, обещал бывать на Дальнем Востоке наездами», — пишет Бытовой.

У Фадеева — грандиозные творческие планы. Он записывает темы для целой грозди рассказов. Напишутся только «Землетрясение» и «О бедности и богатстве», остальные так и останутся идеями: «Оксун непобедимая» (на биробиджанском материале — история любви еврея Яслы и кореянки Оксун). «Муха» — о жене командира погранзаставы. «Любовь» — о муже, строящем дорогу в тайге, и жене, пролетающей над ним на аэроплане. «Дезертиры» — о крупном работнике, бегущем «с

Дальнего Востока в Россию», и его сыне-комсомольце, бегущем, напротив, из центра на Дальний Восток. О Билле Хейвуде — американском профсоюзном лидере. О метеорологической станции и снежном обвале… Фадеев делает записи о приморской весне, багульнике, местных деревьях. Ставит себе задачу изучить парусные, моторные и паровые суда, рыболовные снасти, вождение и устройство автомашины, авиацию, колхозное дело и сельхозтехнику, рубку леса и лесосплав, езду на собаках…

Потом появятся наброски к драме «Маленький человек», замыслы рассказов «Выкуп» и «Невысказанные чувства».

Еще позже, в 1946-м, он напишет, что в планах — россыпь рассказов: «Суровые времена» (о Тряпицыне), «Четыре тысячи двести над уровнем моря», «Дурные поступки», «Гусар», «Мой отец», «За здоровье того, кто в пути» (с отсылкой, естественно, к Джеку Лондону), «Игорь и я» (о Сибирцеве), «Окно в историю», «На берегу лазурного моря», «Да святится имя твое»…

Хотел написать книгу о войне, но уже осенью 1946 года сказал: «Мне уже вряд ли удастся написать книгу о воине Красной Армии… Передо мной стоит задача — показать современную колхозную деревню». И этого не успеет.

«Невысказанные чувства», именно…

От общественной работы — не убежать. Фадеев выступает в Хабаровске перед литераторами и учеными, делает доклад «Съезд советских писателей и социалистическая культура», выступает в клубе штаба ОКДВА, у рабочих авторемзавода… Отдохнуть, уединиться надолго ему бы просто не дали, да и сам он не мог отлынивать, но все-таки по сравнению с Москвой было куда спокойнее. «Я очень боюсь московской суеты и склок», — писал он в это время.

Неразумно было бы дальневосточникам не подключать столь сильную фигуру к решению проблем региона — и Фадеева активно использовали как лоббиста. Он вникал в проблемы рыбного хозяйства, посевной, лесозаготовок… Позже, в 1940-х и 1950-х, несколько раз избирался депутатом Верховного Совета СССР и РСФСР от Оренбургской (Чкаловской) и Калининской областей. Но сам всегда считал себя депутатом от родного Дальнего Востока — шефствовал над Чугуевкой, Комсомольском, в 1946 году обратился к Ворошилову с просьбой установить персональную пенсию в размере 1200 рублей вдове Константина Суханова.

Члены писательской бригады по одному возвращались в Москву. Последним, в январе 1935 года, уехал Павленко.

А Фадеев остался. «Рассердился и решил не уезжать» — пока не добьет «Последнего из удэге».

Это было для него чем-то вроде внутренней эмиграции. В марте он пишет Эсфири Шуб: «Жизнь моя однообразна: пишу, гуляю по лесу, читаю Шекспира, которого можно правильно понимать уже после 30 лет, когда в опыте человека, в обобщенном виде, открываются собственные думы, страсти и гадости… Здесь — весна: распускается верба, подснежники вылезают из-под листьев, иногда выпадает теплый рыхлый снег и тут же тает; красные командиры (я живу недалеко от санатория РККА) прижимают к деревьям своих подруг, обняв их большими руками, — подруги издают голубиное воркование, я завидую командирам… Иногда я выезжаю во Владивосток и гуляю по местам своего детства… Настроение у меня ровное, работящее, но я делаюсь староват для того, чтобы оно было безмятежным».

В марте же пишет сестре: хочет дописывать «Удэге» и потому послал заявление в ЦК с просьбой о разрешении остаться на Дальнем Востоке до января 1936 года.

ЦК даст отпуск только до осени. И Фадеев, как всегда, подчинится.

Бегство на передовую

В 1931-м на Дальний Восток едет Пришвин, в 1932-м — Гайдар, в 1933-м — Фадеев, в 1934-м — он же с Фраерманом, Павленко и Гидашем… Писатели словно передавали друг другу дальневосточную вахту.

И для Пришвина, и для Гайдара, и для Фадеева это было попыткой, с одной стороны, убежать от внешних и внутренних проблем, а с другой — открыть себе и стране экзотический, молодой, удивительный край. Для Фадеева «творческая командировка» стала еще и возвращением домой, к своей юности.

Что-то есть в этом старинно-казачье: убежать от государя как можно дальше, чтобы прирастить пределы России «туземной» глушью, освоить новые земли, куда в конечном счете придет власть того же самого государя; удаляться от цезаря, продолжая служить ему.

Это было бегство, но не на Гоа и даже не в тайгу, а на передний край. Дальний Восток был не провинцией — передовой. Шло лихорадочно-бурное строительство, ожидалась война с Японией[261]. «Творческие работники» ехали туда наперегонки. У каждого были на то свои причины, в том числе личного характера, но, так или иначе, восток стал для страны одной из главных тем.

Симонов, сочинявший стихи об Испании и отправившийся на Халхин-Гол (эта его первая поездка в горячую точку стала судьбоносной: он на всю жизнь остался заложником военной темы), говорил в «Товарищах по оружию» от имени своего героя: «Назначение именно на Дальний Восток, особенно после прошлогодних хасанских событий, было… пределом того, чего мог желать для себя человек, избравший военное дело своей профессией». Поэт Евгений Долматовский писал: «Испания и Дальний Восток были в те времена самыми романтическими адресами наших мечтаний. В Испанию я не попал. Что ж, махну на Дальний Восток!»

Аркадий Гайдар и Павел Васильев писали репортажи о промысле тихоокеанской сардины «иваси». Илья Сельвинский ходил на «Челюскине» и служил на Камчатке уполномоченным Союзпушнины. Побывали на востоке Евгений Петров[262], режиссеры братья Васильевы[263], писатели Лапин и Хацревин[264] Фадеев активно помогал дальневосточным литераторам, организовывал поездки столичных коллег на восток. Рекомендовал переиздавать дальневосточные книги — «Приключения катера „Смелый“» Диковского, «Путь к океану»

Виталия Тренева о Невельском… Это был настоящий пиарщик региона, какого остро не хватает сейчас, даже с учетом созданного министерства по развитию Дальнего Востока.

Интересны воспоминания Е. Долматовского, которого в 1938 году отправил на Дальний Восток Фадеев, а сопровождал поэта корреспондент «Комсомолки» писатель Сергей Диковский (он погибнет через полтора года в Финляндии вместе с писателем и военкором Борисом Левиным). Фадеев накануне дал Долматовскому совет: ночуй в гостиницах, а не в гостях у местного начальства. «Распространилась опасная подозрительность… Ночью могут за ними прийти, вот и придется тебе вставать с раскладушки и подписывать протокол», — прямо пояснил Фадеев. Так и вышло: в Спасске-Дальнем ночью *взяли* секретаря горкома. Долматовский, не послушавший совета, встал с раскладушки и увидел хозяина стоящим между двумя военными и повторяющим слово «недоразумение»…

В прекрасные и жуткие 1930-е Дальний Восток был одним из главных нервных узлов страны. В 1929 году вспыхивает конфликт на КВЖД, в 1932-м у советских границ возникает марионеточное государство Маньчжоу-го. Нарком Ворошилов едет во Владивосток и «расконсервирует» Владивостокскую крепость, возрождает на Тихом океане полноценный военно-морской флот. Страна воюет нон-стопом, готовясь к великой битве: 1936-й — Испания, 1937-й — Китай, 1938-й — Хасан, 1939-й — Халхин-Гол и Финляндия. На купюрах 1938 года изображаются красноармейцы и военлеты, и даже в шахтере-забойщике уже угадывается будущий шолоховский бронебойщик Лопахин не то с отбойным молотком, не то с противотанковым ружьем на плече. В 1945-м будет еще Япония, в 1950-м вспыхнет Корея.

Не случайно звание Героя Советского Союза родилось на Дальнем Востоке — первыми героями стали летчики, спасавшие челюскинцев. Первый орден Красной Звезды получил командующий Дальневосточной армией Блюхер за операцию на КВЖД. Первые медали «За отвагу» вручили участникам хасанских боев.

Песни про Катюшу и трех танкистов — это тоже Дальний Восток. Казалось, здесь шли интенсивные, непрекращающиеся учения — но только с боевой стрельбой, настоящими убитыми и ранеными.

По разным причинам на Дальний Восток попадало множество молодых, активных, умных, талантливых людей. Заштатной провинцией такая территория не могла быть просто по определению.

Фадеев говорил о размахе происходящих на Дальнем Востоке

событий, которым требуется соразмерное отображение: «Вот масштаб! Сотни миллионов людей на берегах Тихого океана творят величайшие в мире дела, накануне величайших столкновений. Попробуйте это отразить в одном произведении! Для этого нужна новая монументальная, синтетическая форма».

В июне 1934 года, между двумя дальневосточными побегами, он выступает на Всесоюзном совещании по оборонной художественной литературе: «Учтите, какое странное противоречие получается: какая серьезная военная опасность, непосредственная угроза стране, делу социализма нависает со стороны Дальнего Востока, а о Дальнем Востоке написано гораздо меньше очерков и стихов, чем об остальных краях и областях нашей республики. Как повезло, например, Средней Азии: кто только не писал о Средней Азии и романы, и повести, и очерки в бесконечном количестве, и стихи! И в этом деле участвовали лучшие художники… А о Дальнем Востоке, где сейчас завязался огромный узел мировых противоречий, написано чрезвычайно мало, а то, что написано, уже устарело… У советского рядового гражданина, рядового колхозника, рабочего такое представление о Дальнем Востоке, что это где-то очень далеко и что там очень неуютно: что-то такое немножко северное, немножко таежное. Если напомнить любому гражданину Советского Союза, что г. Владивосток лежит на одной параллели с Сухумом и Ниццей, он удивится. Узнав о том, что Сахалин находится южнее Москвы, он удивился бы еще больше. Дальний Восток кажется ему необычайно глухой, заброшенной окраиной. Он совершенно не представляет себе, что при всей исторической, ныне преодолеваемой отсталости дальневосточного края, он в настоящее время находится в центре мировых событий. Он граничит с таким многомиллионным народом, как китайцы, которые живут интенсивнейшей революционной жизнью[265]… Дальний Восток граничит с Кореей, которая находится в перманентной революционной схватке с японским империализмом; он граничит с такой страной, как Япония — одной из самых передовых империалистических стран с самой бешеной экспансией. Когда человек попадает на Дальний Восток, он не только не чувствует, что попал на глухую окраину, наоборот — он ощущает сплетение всех мировых противоречий, он чувствует себя в одном из мировых центров».

Кажется, что это сказано сегодня, если сделать поправку на изменившийся контекст. Вместо «японского империализма» и «угрозы делу социализма» — «азиатские тигры», АТЭС, АСЕАН, новый Шелковый путь… Восприятие Дальнего Востока из так называемой Центральной России и сейчас остается примерно

таким же, как во времена Фадеева — несмотря на все заявления о «растущей роли Азиатско-Тихоокеанского региона» и о Владивостоке как «тихоокеанской столице России».

Речь Фадеева — настоящий манифест: «Обстановка на Дальнем Востоке — это обстановка бешеных темпов строительства. Например, Украина, с ее 34-миллионным населением, с ее могучей парторганизацией, с ее энергетической и топливной базой, должна освоить в 1934 году три с лишним миллиарда капиталовложений, а Дальний Восток, с двухмиллионным населением, с очень несовершенной техникой, с очень слабыми кадрами, в том же 1934 году должен освоить 1700 миллионов. Таких темпов, какими строится Дальний Восток, пожалуй, не знала никакая часть нашего Союза даже в самые бурные годы первой пятилетки».

Вот ответ на вопрос о том, что тянуло сюда в 1930-е ведущих литераторов — и не только литераторов.

Далее: «Столкновения мирового характера, которыми чревата обстановка на Тихом океане, конечно, не могут не воспламенять настоящего художника на настоящее большое произведение. Но я должен с великим сожалением сказать, что писателя такого типа, который был бы в состоянии охватить всю громаду этой темы, я пока даже не вижу. Вообще говоря, такой писатель пока что не в плане русской литературной традиции. Некоторые товарищи называют меня дальневосточным романистом. Это заблуждение. Я не дальневосточный романист. Я дальневосточный только потому, что я вырос на Дальнем Востоке и больше всего знаю дальневосточный материал, но меня как художника до сих пор интересовал не сам Дальний Восток, а проблемы совсем иного характера. Меня интересовали и интересуют, если можно условно так выразиться, проблемы новой морали, проблемы формирования нового человека в революции». Это так — но все-таки Фадеев и очень дальневосточный, подтверждение чему — уже сама эта речь. Может быть, «открещивание» связано с тем, что Фадеев не хотел считать себя «местечковым» писателем, не желал, чтобы его помещали в региональную резервацию — и был в этом прав.

Сам он думал, что должен появиться другой писатель, не похожий на него: «Литератор другого масштаба, другого размаха, который более свободно владел бы интернациональной тематикой, который мог бы дать вот этот сложный комплекс политических столкновений, которые на Дальнем Востоке грядут и которые уже происходят… Нужен романист такого типа, который бы весь этот сложный комплекс сумел бы охватить, чтобы его герои спокойно перелетали на самолете через Тихий

океан, чтобы художник смелой кистью изображал новые города, их мировое революционное значение, мог свободно перебрасывать место действия в революционную Корею, в Китай, а из Китая сразу перебрасываться на Чукотку, в Аляску и т. п.».

Еще: «Человечество селилось по Средиземному морю[266], по Атлантическому океану. И черт его знает с какого времени создалась литература, в которой освещается то, что делалось вокруг Средиземного моря и вокруг Атлантического океана, а о том, что делалось вокруг Тихого океана, где жили и живут народы с такой огромной историей, с такой огромной будущностью, народы, выходящие сейчас на арену гигантской борьбы, — об этом почти ничего, имеющего массовое значение, не написано».

«Писателя такого типа», способного решить заявленные Фадеевым задачи, не появилось до сих пор.

В 1930-е на Дальний Восток была в хорошем смысле слова мода. Потом всё надолго изменила война. Следующая волна дальневосточной моды пришлась на туристско-геолого-бамовские 1960-е и 1970-е. Но тогда писатели Куваев и Мифтахутдинов, уехавшие на Дальний Восток, смотрелись уже немного чудаками[267]. А в «лихие» 1990-е народ повалил оттуда толпами, наперегонки («Почему вы еще не в Москве?» — часто спрашивают меня, жителя Владивостока). Теперь на миграцию в страну, а не из страны, а внутри нее — на восток, а не на запад, смотрят как на подвиг самоотречения, изощренный дауншифтинг или особую форму помешательства.

А тогда здесь искрило. Писатели, словно чуткие радары, улавливали сигналы с востока и ехали сюда. Вот как сформулировал это ощущение Фраерман в рассказе «Два снайпера»: «Я спросил у него, почему он так стремился на Дальний Восток. Он ответил:

— Здесь — граница и ближе враг. — Потом, подумав немного, добавил: — Тут есть виноград и кедры».

Вот оно: передний край плюс экзотика.

Характерен роман «На Востоке» Петра Павленко, написанный в 1936–1937 годах. Сам Павленко говорил: «Не было бы Фадеева, не было бы моей книги». Автор описал не только появление нового города на Амуре (читай — Комсомольска, снова тема «аэрограда»), но и будущую войну с Японией. Павленко писал и думал: успеет он поставить точку — или его опередит война? Ее считали неизбежной, и скорое будущее показало: это была не паранойя, а всего лишь реалистичный прогноз.

Из романа: «В канун женского дня Тарасенкова ночевала с самолетом близ старого нанайского стойбища. Бен Ды-Бу,

здешний уроженец, ездивший делегатом стойбища в Москву и вернувшийся авиабомбардиром, устраивал вечер. Евгению посадили в президиум между пионеркой, совершившей два парашютных прыжка, и древней старухой, открывшей ясли. После доклада Бен Ды-Бу началась художественная часть — участники вечера слушали патефон, рассматривали виды Москвы и глядели, как Бен Ды-Бу танцует с Евгенией западные танцы».

Потом советские самолеты летят бомбить Японию — согласно известному лозунгу «Малой кровью на чужой территории». В кабине бомбардировщика сидит Бен Ды-Бу и поет «Интернационал». Сильная сцена, своего рода прото-Хиросима — разве что обошлось без ядерных бомб.

Главного героя в романе нет: «И — встали все».

В финале японские военнопленные строят еще один город под Владивостоком и стремительно перековываются.

Так Павленко — и не он один — видел сценарий грядущей войны. Реальность оказалась другой: полыхнуло не на востоке, а на западе, и куда страшнее, и воевать пришлось на своей земле, совсем не малой кровью…

Но тут хочется подчеркнуть вот что: литература Второй мировой войны появилась в СССР еще до ее начала. Война уже была в эфире, и писатели выхватывали ее из воздуха, торопливо фиксируя на бумаге.

Осенью 1933 года в Хабаровске учреждается дальневосточный литературный «толстяк» — журнал (первоначально альманах) «На рубеже»[268]. Первым редактором стал Шацкий. Среди рубрик — «За колхозные поля», «На шахтах, стройках, промыслах», «Оборона границ»… В ряде источников говорится, что Фадеев участвовал в учреждении журнала и даже придумал ему название[269].

В марте 1934 года Фадеев рецензирует первый номер альманаха в «Правде», отметив, в частности, стихи Э. Казакевича о труде евреев-переселенцев. Сетует, что изданию не хватает размаха: не отражены строительство БАМа, Комсомольска, добыча железных руд и угля, проблема рабочих рук и заселения края… В 1934-м альманах преобразован в журнал, а в начале 1935 года, когда Фадеев снова находился на Дальнем Востоке, его вводят в редколлегию и вскоре назначают редактором.

Офис — в Хабаровске, рукописи привозят Фадееву во Владивосток, и он работает с ними — причем работает серьезно, не как свадебный генерал. Привлекает к сотрудничеству маститых авторов: Павленко, Далецкого, Сельвинского, Луговского, Фраермана, Лидина, Т. Борисова, М. Зингера.

Печатается сам, поддерживает молодежь, правит, советует… Редактором он числился до 1936-го или даже 1937 года[270], помогал журналу и позже.

Для Фадеева поездки в Приморье были попыткой вторично войти в улахинскую воду.

После возвращения с Дальнего Востока он едет в Чехословакию, в Крым, в Абхазию. В декабре 1935 года пишет Либединскому: «Я, персонально, в конце февраля собираюсь уже отбыть на Дальний Восток…» Не вышло. В 1936-м скажет, что собирается на Дальний Восток в начале следующего года; опять не выйдет.

В 1951-м обещал Асе Колесниковой приехать в гости, формально — для работы над «Удэге». Не случилось. Придумал новый повод: для «Черной металлургии» ему совершенно необходимо ознакомиться с предприятиями Комсомольска-на-Амуре. Но в Комсомольске предприятия оказались не те; в итоге поехал в Магнитогорск.

Фадеев был обречен на невозвращение в Приморье, как Шукшин не вернулся на Алтай.

На Дальний Восток Фадеев особенно стремился тогда, когда в жизни что-то не удавалось. Со временем не удавалось все больше и больше, но в свой потерянный рай, на свою Итаку он так и не вернется — разве что в тех самых письмах Асе, в главах «Удэге», между строк «Молодой гвардии»… Владивостокская бухта Улисс осталась без своего Одиссея.

В 1949 году он доберется до Харбина — только что учреждена КНР, Фадеев возглавляет советскую делегацию. В голове у него — одна мысль: «Подумать только — от Харбина всего лишь часов 12 езды до Ворошилова[271], а от Ворошилова 4–5 до Спасска!»

В августе 1951 года Фадеев пишет Асе: «Мне так безумно хочется в Приморье!.. Не для того, чтобы уйти от настоящего, не для того, чтобы отдохнуть от бурь жизни, а просто для того, чтобы еще лучше осознать свой путь жизни и почерпнуть из прошлого — молодости, веры, бодрых сил и чистоты душевной».

В 1952-м, ей же: «Как бы я хотел повидать тебя и такие родные, родные для меня места!.. Я боюсь того, что если я не сумею этого сделать теперь, то мне уже никогда не удастся этого сделать».

В 1953-м: «Если дадут мне полный творческий отпуск… не сомневаюсь, что поездка моя на родину осуществится непременно», «Тянет меня, неудержимо тянет побывать в родных местах, тем более тянет, чем старше я становлюсь!», «На Дальний

Восток я обязательно поеду, — отпуск творческий, кажется, мне дадут».

1955-й, Темнову: «Как бесконечно тянет меня снова побывать в Приморье!.. Дальний Восток у меня в крови с детства».

16 марта 1956 года, последнее письмо Асе: «Меня и вправду очень потянуло на „родину“. Я ведь всегда вспоминаю и мечтаю о ней… Иной раз я испытываю просто тоску по Дальнему Востоку. И все-таки мне невозможно сейчас поехать». Хотел закончить «Металлургию», а потом снова взяться за «Удэге»: «И вот тогда-то поеду! Поеду надолго, сознавая, что мне как писателю, приближающемуся к 60-ти, „в самый раз“ заняться темами, связанными с моим прошлым. Они также могут быть оснащены современным материалом, но уже более автобиографически окрашены. Эти темы всегда подспудно живут во мне и просятся наружу. В сущности, я так мало написал в своей жизни!»

Так и не вырвался.

Тихий Сучан

Замысел романа-эпопеи «Последний из удэге» был у Фадеева первым, главным и — на всю жизнь. Над ним он работал с начала 1920-х по середину 1950-х, до конца.

Именно от этого замысла, родившегося в 1921–1922 годах, отпочковались «Разлив» и «Разгром» — а сначала думалось, что будет один роман.

«Последний из удэге» — и недороман в том смысле, что так и не был завершен, и сверхроман в том смысле, что он содержит несколько больших сюжетов: судьба Лены Костенецкой, партизанская война в Приморье, таежный народ удэге… Подсюжеты, сумевшие отделиться от основного ствола, выжили. Оставшиеся в теле замысла так и погибли вместе с «матерью», не успев родиться.

«Удэге» — незавершенный фадеевский «Тихий Дон». Рваный, неровный, писавшийся с огромными перерывами, но занимавший мысли автора в течение трех с половиной десятилетий.

Все началось с раннего рассказа «Смерть Ченьювая»[272]. Вплотную над «Последним из тазов» (рабочее название книги) Фадеев стал работать в 1926-м. Уже в 1929 году началась публикация глав романа.

Коренные малочисленные народы Приморья, которых раньше называли «инородцами» и «туземцами», — это удэгейцы («удэхе», «удэ»), нанайцы («гольды»), орочи… Тазы — потомки «инородцев» и «манз», то есть местных китайцев, внешне уже не отличимые от последних.

Позже Фадеев заменил тазов на удэге — то ли чтобы убрать ненужную ему здесь китайскую тему и показать коренной народ Приморья, то ли просто для благозвучия или более точного созвучия с «Последним из могикан» Купера (видимо, так; иначе было бы — «Последний из удэгейцев»).

Почему «последний» — сразу не совсем понятно. Ведь фадеевский посыл — как раз в том, что советская власть открывает «инородцам» новые горизонты. Возможно, дело опять-таки в юношеском увлечении Купером.

Фадеев стремился к этнографической точности. «Удэгейские» страницы романа достаточно информативны: облик удэ, их обычаи, быт, верования… Роман, однако, — далеко не только о приморских аборигенах.

Владимир Тан-Богораз — знаменитый этнограф, исследователь Дальнего Востока, автор первых, дошаламовских

«Колымских рассказов» — писал Фадееву об ошибках в романе, но тот объяснял, что они допущены «не от незнания». «Таких туземцев, какие мною созданы, нет на свете», — объяснял он. Фадеев читал книги обо всех туземцах мира и наделял своих удэгейцев чертами индейцев и даже зулусов: «Я стремился к тому, чтобы создать образ человека первобытного коммунизма, однако меня очень мало интересовал вопрос — будет ли это именно дальневосточный туземец».

Тут интересно замечание Юрия Либединского, который вместе с Фадеевым восхищался таитянами Гогена. Он утверждал, что в романе чувствуется присутствие этого художника, особенно в «удэгейских» местах: «Пейзажи в этих главах были написаны под прямым влиянием чистых и свежих красок Гогена». В структуре же книги, считал Либединский, Фадеев использовал роман «На отмелях» Джозефа Конрада. А, например, в изображении Боярина отталкивался от Бунина. Но сам Фадеев писал, что идея романа родилась под влиянием книги Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

Фадеев вообще шире штампованных представлений о нем.

В 1948 году, в очередной раз возвращаясь к «Удэге», он ищет новые тома «Истории первобытного общества» — первый том, вышедший в 1939-м, писатель в свое время приобрел. Так же он будет потом штудировать специальную литературу по металлургии. Это говорит о его тщательности, добросовестности. В то же время мы видим, что теперь материал берется Фадеевым не из непосредственных ощущений и жизненного опыта, как было с «Разгромом», «Разливом», «Против течения», а из книг, что не могло не отразиться на текстах.

Литературовед Игорь Кузьмичев определил жанр романа как «революционно-героическую эпопею». Можно добавить — социологическая, этнографическая, историческая… Критик Зелинский так объяснял замысел: «Автор эпопеи хотел художественно развернуть реальные картины пути человечества к такому строю, когда снова возродится равенство между людьми, как в древнем родовом бытии, но уже в иных, высших формах».

По сути, это книга о коммунизме — о том, как первобытный, стихийный коммунизм должен превратиться в коммунизм современный, научный, продуманный. Как и любая книга Фадеева, «Удэге» повествует о создании нового человека.

Толстовское влияние сохраняется — но теперь это не «Казаки» или «Хаджи-Мурат», а «Война и мир», не меньше. Это был эпический замысел, характерный для советской литературы того времени. Эпос тогда писали даже в стихах — «150 000 000» Маяковского, «Про землю, про волю, про рабочую долю» Бедного.

Рождались драмы с массовыми действами, оратории. Толстой пишет «Хождение по мукам», Шолохов — «Тихий Дон», Панферов — «Бруски». Горький, взявшись за «Самгина», писал в 1926 году: «Очень характерно, что теперь на Руси многих тянет делать большие книги, — добрый признак! Я знаю человек десять литераторов, работающих над романами, и сам тоже увлечен построением огромнейшего». Серафимович задумывал «Борьбу», Фурманов замахивался на эпопею — вот и Фадеев взялся за «Удэге», не захотев воплотить этот замысел по-разгромовски стремительно и еще не зная, что увязнет в нем навсегда.

Поначалу роман двигался довольно бодро. Первая книга «Последнего из удэге» (две части) вышла в 1930-м в Госиздате. В 1941-м вышли две книги — четыре части. Первые главы пятой части опубликованы «Литературной газетой» в 1940 году. Всего частей планировалось не менее шести — но работу надолго прервала война.

Дело, впрочем, не в одной войне. Уже в 1932-м писатель признавался: «Роман… мне дается с большим трудом… Десятки раз начинал „Последний из удэге“, и всякий раз неудачно». В том же 1932-м Горький предупреждал Фадеева, ввязавшегося в дискуссии вокруг ликвидации РАППа: «Если Вы бросите писать роман и полезете в драку — это будет дико и непростительно…»

Фадеев и в драку лез, и роман писал — но тот шел туго.

В 1934 году он публично признал, что композиция книги несовершенна, причем «от неумения» автора.

Антал Гидаш считал, что дело в сопротивлении материала: «Живые силы романа не желали подчиниться ему, вернее сказать, художник-реалист Фадеев не мог насиловать действительность, не мог следовать не совпадавшей с действительностью, отвлеченной идее… Роман шел своим естественным путем. А Фадеев упорствовал, хотел победить непобедимое».

Либединский видел проблему в самой огромности замысла: «Кое-кто в то время пренебрежительно посмеивался над Фадеевым, который-де никак не может справиться с сюжетом „Последнего из удэге“. Самонадеянные фармацевты от литературы, уверенные в том, что владеют всей рецептурой сюжетостроения, предлагали Фадееву поучиться у них. И на поверхностный взгляд получалось действительно странно. „Разгром“ в отношении сюжета построен был превосходно, фигуры там расставлены мастерски, ни одна не заслоняет другую, с первой главы и до последней сюжет увлекает читателя… Куда же делось все это умение при работе над „Последним из удэге“? Похоже было, что Фадеев стал с азов учиться искусству

сюжетостроения. Но ему действительно пришлось учиться сначала, так как он вышел за узкие рамки изображения судьбы одного партизанского отряда».

В романе несколько линий: удэгейская, партизанская, белогвардейская. Иван Жуков не без оснований пишет, что Фадеев сочинял свою книгу, прислушиваясь к музыке булгаковской «Белой гвардии». Поэтому его критиковали уже за выбор героев. Взять офицера, дворянина Всеволода Лангового — «родного брата Алексея Турбина» (критик Святополк-Мирский), для которого родина, честь и присяга, как подчеркивает Фадеев, были не просто словами. Ланговой[273] мечтает о восстановлении былой мощи империи и считает возможным полагаться в этом деле на английских и французских союзников, а вот японцев ненавидит и потому настроен против Калмыкова, Семенова и Хорвата. А мечущаяся между красными и белыми Лена Костенецкая, а Сережа, которого тошнит в удэгейском стойбище — разве это настоящие герои вроде Левинсона? Поэт Безыменский в 1930 году на XVI съезде партии прямо с трибуны читал стихи, критикующие коллег. Про Фадеева было так:

> …А писатель, почистив винтовку,
> Но забыв о сегодняшнем враге,
> Пятый год примеряет толстовку,
> Перед зеркалом «Последнего из удэге».

Роман Фадеева неожиданно стал актуальнее в начале 1930-х, когда возникла угроза войны с Японией и Дальний Восток превратился в огнедышащую повестку дня.

Тогда и сам Фадеев едет на восток, взбадривается, пишет третью часть.

А потом — снова столица, Союз писателей, война…

Хохмач Безыменский оглашает новую эпиграмму:

> Уже который год ему кошмаром снится
> В «Последнем удэге» последняя страница.

В письмах Фадеева с 1920-х и до самой смерти — сквозной мотив: «Вот возьмусь за „Удэге“», «Вот кончу „Удэге“»… После войны и «Молодой гвардии» он уже собрался было ради «Удэге» вновь ехать в Приморье — но вместо этого взялся за «Черную металлургию».

Название «Последнего из удэге», как мы уже сказали,

частично опровергается самим текстом.

Да и вообще собственно «инородцам» в книге отведено до странности мало места. Куда больше говорится о Гражданской войне в Приморье, о Владивостоке под властью белых и интервентов. Удэгейцы появляются эпизодически, исчезают, позже возникают снова. Гораздо больше внимания автор уделяет боям на Сучане и личной жизни Лены Костенецкой. Неудивительно, что в конце жизни Фадеев хотел дать роману новое название и ввести образ Лазо (не успел — но зато уже во второй части действует «хуторской молдаван Митрий Лоза»). С другой стороны, есть фадеевские записи, из которых видно, как он предполагал оправдать название: хунхузы уничтожают вольнолюбивые роды удэге, но жена Сарла спасает сына и несет последнего воина племени на север, к родичам. Здесь можно услышать полемику с Купером: если род Чингачгука гибнет, то сыну Сарла, пусть чудом выжившему, должен открыться новый мир.

Фадеев хотел закончить роман вступлением армии ДВР во Владивосток в 1922 году. По одному из вариантов, шестая часть переносила действие в середину 1930-х. Из записи Фадеева 1947 года: акцент следует сделать на борьбе удэгейцев против эксплуататоров-китайцев…

Задумывался роман одним человеком, писался уже другим. Менялось время, менялся сам Фадеев. Терял мелодию романа, внимательно в нее вслушивался… но на три десятилетия никакого дыхания не хватит. Да, ушли неопытность и наивность — но ведь и наивность в какой-то мере полезна. Может быть, именно в ней порой кроется секрет прелести первой книги? Писатель становится начитаннее, опытнее, сноровистее, но у него уже не выходит того, что раньше получалось как бы само собой, впроброс, между делом. Когда писалось — как дышалось. Ведь не один Фадеев — многие из ярко стартовавших в 1920-е не смогли повторить своих юношеских удач.

За 30 лет, в течение которых с перерывами писался роман, его замысел претерпевал трансформации. В итоге книга переросла придуманное ей в детстве имя. Отсюда же — заметная неровность романа, неравноценность его глав и частей. Юрий Бондарев назвал «гениальной» главу, где описана смерть Игната Саенко по прозвищу Пташка, Либединский считал лучшими главы с Алешей Маленьким и Сурковым, Зелинский утверждал, что многие страницы «Удэге» по своим художественным достоинствам выше и «Разгрома», и «Молодой гвардии»… Но никто не считал роман удачным в целом.

В 1948-м Фадеев попросил директора Гослитиздата

Головенченко не переиздавать первые два тома «Удэге», пока не будет закончен третий, — хотел переработать и те части, которые уже выходили в свет. В 1954-м посоветовал филологу Ворониной, взявшейся за диссертацию об «Удэге», сменить тему работы. Казалось бы: живой классик, бронзовый человек… Нет — он был по-прежнему требователен к себе и самокритичен.

Роман, который у нас есть, — в основном о первом (до-«Разгромном») периоде Гражданской войны в Приморье: чешский переворот 1918 года, «великий исход рабочих с Сучанского рудника в партизаны», операция на Сучанской ветке в июне 1919 года с взрывом подъемников.

Известны прототипы многих героев. В Петре Суркове, еще недавно «обремененном кантами и Меркуриями коммерческого училища», узнается Петр Нерезов (хотя очевидны и параллели с Константином Сухановым, другими лидерами Владивостокского совдепа). В Сереже Костенецком много самого Фадеева. Прообразом семьи Чуркиных стала семья Цапуриных, хотя, как писал Фадеев Григорию Цапурину[274], «в романе, как и полагается, все наврано». Так, Алеша Чуркин по прозвищу Алеша Маленький[275], уточнял Фадеев, списан больше с Владимира Шишкина («Володя Маленький»). Упоминается в книге и «Володя Большой» (то есть Моисей Губельман) — «наиболее крупный работник из сидящих в тюрьме». В Лену Костенецкую Фадеев вложил многое от своей первой жены Валерии Герасимовой — характер, внешность, часть биографии. В промышленнике Гиммере, владельце железных рудников под Ольгой, можно увидеть отсылку к семье Бринеров — известных в Приморье предпринимателей швейцарского происхождения, добывавших серебро и свинец в Тетюхе[276].

Только в пятой части — едва начатой, написаны лишь несколько коротких главок — Фадеев всерьез берется за удэгейскую тему. Эти главы и звучат по-иному, нежели предыдущие: возвышенно, эпически-торжественно. Если до сих пор на удэгейцев, изредка мелькавших в тексте, мы смотрели снаружи (глазами героев — владивостокских европейцев), то здесь — изнутри. Кажется, что четыре части романа были разбухшим прологом или вообще другой книгой — чем-то вроде развернутого в «полный метр» «Разгрома» или «Разлива», а вот теперь-то и начинается настоящий «Последний из удэге». Эти страницы хочется цитировать целиком. Здесь — по-юношески свежий и по-взрослому мудрый Фадеев, сумевший соединить детские впечатления с жизненным и литературным опытом; оторвавшийся от взлетной полосы собственной биографии и

устремившийся к высотам художественности. Здесь слышатся и Купер, и Джек Лондон: «Когда-то народ был велик… Лебеди, перелетая через страну, становились черными от дыма юрт. Племя удэге кочевало в широкой и очень длинной полосе лесов и рек, протянувшейся между хребтом Дзуб-Гынь и океаном, и по ту сторону хребта, по течениям рек Бикина, Хора, Имана, Улахэ, Даубихэ — рек, получивших эти названия много позже от китайцев. Эти реки впадали в одну большую реку, за которой жил народ маньчжуры. А эта большая река впадала в еще большую реку, из-за которой приходили гиляки, солоны и еще десятки племен, а откуда и куда она текла, эта самая большая река, об этом никто не знал…»

Страниц тех — нет и двух десятков. Рассказ о судьбе народа удэге — и с ним роман — обрывается на полуфразе: «Вторым и последним счастливым событием в жизни Масенды-воина было рождение первого сына. Потом у него были и еще сыновья и дочери, но он уже не радовался им, зная, что они рождаются на несчастье себе».

В изображении удэгейцев Фадеев, как мы уже отмечали, следует арсеньевской традиции (уважение к «туземцу» и его жизни, в том числе внутренней), но и отталкивается от нее, идет дальше. Если Арсеньев не без влияния идей Руссо считал, что прогресс для коренного таежника губителен, то Фадеев был уверен, что советская власть должна дать и даст удэге необходимый модернизационный импульс.

Интересен вопрос о численности удэге. «Пока он сочинял, поднялся маленький, вымиравший удэгейский народ, и уже впору было менять название романа», — заметил однажды Долматовский. В 1928 году, когда Фадеев уже работал над романом, в приморской («уссурийской») тайге документалист Александр Литвинов снимал фильм «Лесные люди». Помогал ему Арсеньев, выступивший консультантом и познакомивший киношников со своим проводником по имени Сунцай Геонка. В фильме Литвинова говорится, что численность народа удэге составляет 1327 человек. Сам Фадеев в 1930 году писал, что удэгейцев в Уссурийском крае насчитывается «не более 1500 человек».

Разрушение традиционного образа жизни, межнациональные браки и самый опасный враг северных народов — алкоголь — поставили под угрозу существование удэге. Перепись населения 2002 года выявила в России 1657 удэгейцев (918 — в Приморье, 613 — в Хабаровском крае, 126 — еще где-то). Перепись 2010 года — 1493. В докладе уполномоченного по правам человека в

Приморье за 2013 год говорилось о том, что в крае проживает «менее 1500» удэгейцев, тазов, нанайцев, орочей. По данным Приморскстата, с 2002 по 2010 год численность удэгейцев сократилась на 13,6 процента, нанайцев — на 8,2 процента, тазов — на 1,2 процента. Лишь 5,4 процента удэгейцев указали, что владеют удэгейским языком.

Так что название «Последний из удэге» актуализируется с каждым годом.

Неоконченный или бесконечный?

Первые две книги романа ценны уже тем, что это — самый владивостокский текст Фадеева. Нигде больше у него не говорится так подробно о Владивостоке. Это настоящая энциклопедия Владивостока революционной поры.

В романе много информации, ценной с исторической и социологической точек зрения: «Влево и вправо по горам и падям в дымке от фанерных заводов и мельниц тянулись слободки — Рабочая, Нахальная, Матросская, Корейская, Голубиная падь, Куперовская падь, Эгершельд, Гнилой угол[277]. У заднего подножия Орлиного гнезда начинались зеленые рощи, за рощами — длинные холерные бараки, за бараками — одинокое, тяжелое, темно-красного кирпича здание тюрьмы… И, подпирая небо, как синие величавые мамонты, стояли вдали отроги Сихотэ-Алиньского хребта».

Сопка Орлиное гнездо, сообщает Фадеев, была изрыта окопами и блиндажами, оставшимися со времен Русско-японской войны, и подростки лазили по этим рукотворным пещерам. Сейчас эта сопка застроена небоскребами.

Вот порт: «На пристани пахло рыбой, мазутом, апельсинами, водорослями, опием. Бухта была забита торговыми, военными, парусными, паровыми судами. Меж ними сновали шлюпки, китайские шампуньки, шаланды… Сережа и Лена бродили меж цинковых пакгаузов, тюков и ящиков с товарами, портовых кабаков и парикмахерских, оглушаемые грохотом лебедок, ревом сирен, пьяными песнями, руганью матросов и грузчиков, сновавших с тяжелыми кладями по подгибающимся сходням, разноязыким говором — китайцев, японцев, американцев, французов, корейцев, малайцев, индусов, кишевших на пристани в своих разноплеменных одеждах — синих робах, матросках, круглых, похожих на поварские, белых и синих шапочках, китайских ватных шароварах, корейских халатах, японских кимоно, индусских и малайских белых, желтых чалмах…» (ощущение, что автор не в силах остановиться и перевести ДУХ).

Китайский квартал: «Пахло чесноком, копченой рыбой, древесным углем… У ворот висели бумажные фонарики, похожие на разноцветные цилиндрические гармоники. За стенами кустарных мастерских бренчали жестянщики, медники. Китайские нищие спали, свернувшись у крылечек: их никто не трогал, и они никого не трогали».

Сад Невельского: здесь проходит благотворительный аукцион.

Семеновский базар: «людской гнойник», чрево Владивостока.

«Слобода Голубиная падь лежала за Орлиным гнездом, большой лысой горой, возвышавшейся над городом… В вершине пади стояло квадратное деревянное строение голубиной почты, похожее на китайскую пагоду. Стаи голубей носились вокруг него». Почты давно нет, а вот название «Голубинка» сохранилось.

Интервенты: «Днем и ночью по улицам мчались, ревя, автомобили и мотоциклы с военными, шли, хрустя сапогами, бряцая оружием, гремя барабанами, стеная валторнами, волынками, кларнетами, разноцветные густые колонны интервентных войск — японцев, американцев, французов, англичан, канадцев, китайцев, сипаев, итальянцев, малайцев, шотландских стрелков. На рейде, отливая синей сталью, стыли их плавучие крепости с запневшими трубами и реями. Площади и улицы ломились от парадов, от криков разноплеменных команд и меди оркестров. У воинских присутствий толпились оцепленные войсками сумрачные группы уссурийских рекрутов. Газеты печатали петитом извещения о расстреле большевистских комиссаров при „попытке к побегу“[278] или по военно-полевому суду… На горах, в Гнилом углу и на Чуркином мысу днем и ночью горели костры, оттаивавшие землю, — отстраивались новые дома, бараки и казармы для войск, госпиталей и пленных. Днем и ночью ледоколы, скрежеща, ломали лед на бухте, облака черного, оранжевого, розового дыма и пара стояли над бухтой[279]. Пристани и вокзалы грохотали от сгружаемого и нагружаемого военного снаряжения. Мощные иностранные суда отчаливали, заваленные сибирской рудой, лесом, рыбой, и сухой, пронзительный морозный ветер из Верхоянска слал им вслед ржавые тучи песка и щебня с гор».

А город живет своей жизнью: «До утра работали переполненные, сияющие огнями рестораны, по улицам без конца катились разряженные толпы, пестрящие мундирами солдат и офицеров тринадцати наций…»

В «Удэге», как мы уже упоминали, поднимается, хоть и вскользь, тема русского переселения на восток в конце XIX — начале XX века. Фадеев писал: русские способны «распространяться в необозримую ширь, с полным уважением к другим нациям, с необычайной верой в возможность преодоления любых невзгод и лишений и верой в мощь свою, своего труда, когда везде, где бы ни появился русский человек, можно сделать Россию, ту родину, которую русский человек всюду приносит с собой». Он с удовольствием приводит слова, сказанные в свое время первыми здешними русскими переселенцами

Пржевальскому: «Мы и здесь Россию сделаем». «И сделали! — продолжает Фадеев. — Сделали везде, куда только ни проник русский человек с его революционным размахом».

Переселение, особенно на первом этапе — до запуска в 1880 году пароходной линии Доброфлота «Одесса — Владивосток» и до завершения уже в XX веке Транссиба, — было сопряжено с трудностями, часто неимоверными. «Какими райскими красками были расписаны им эти новые земли с саженными назьмами, безграничными покосами, тучнеющие под тяжестью своих плодов… И как велико было разочарование, — пишет Фадеев в „Удэге“. — Лучшие земли были уже заняты сибирскими староверами, поднявшими по ста десятин и более. Вместо жирного российского чернозема — тонкие пласты перегноя, выпахавшегося в первые же годы, родившего только сорные травы. Вместо баснословных покосов — мокрый кочкарник, покрытый резучкой и кислыми злаками… А вода — каждый год сносившая в море плоды нечеловеческих трудов, а гнус — доводивший до бешенства людей и животных, а зверь — ревевший по ночам у самых землянок, — нет, это были совсем, совсем не райские земли!.. И тайга в ее буйном великолепном цветении, так глубоко поражавшая Сережу своим великолепием, — как хищный враг, как вор, противостояла людям».

Рассказ партизанского командира Гладких из «Удэге»:

«— О, мы здесь самые первенькие! — сказал Гладких с усмешкой. — Старик мой приплыл сюда… Обожди… Родился я в семьдесят седьмом — как раз в этот год тигра его покарябала… жили они тут к тому времю уж лет восемнадцать… Выходит…

— В пятьдесят девятом?[280] — подсказал Сережа.

— Да, приплыл он сюда в пятьдесят девятом — вот когда он приплыл…

Сережа вспомнил, что в это время не было еще Суэцкого канала: отец Гладких плыл вокруг мыса Доброй Надежды, и плыл под парусами. „То-то ему было о чем рассказать!“ — подумал Сережа, нарочно представляя себе не того скромного сивого мужичонку, о котором говорил вчера Мартемьянов[281], а доблестного пионера с бронзовой волосатой грудью и трубкой в зубах.

— Да что толку, — неожиданно сказал Гладких. — Приплыли они — и сели в лесу, как дураки. А ведь тут тогда — земля-а!.. — И он, сверкнув глазами, мощно повел вокруг своей тяжелой ручищей. — Староверы лет через двадцать какие десятины подняли!.. Видал, как живут? Здорово живут, малец! — воскликнул он с зычной завистью.

— А сильно она его… покарябала? — спросил Сережа.

— Тигра-то?.. У-у, покарябала на совесть. Можно бы больше, да некуда… из кусков, можно сказать, склеили».

И еще фрагмент, связанный с переселением (обильно цитируем потому, что эта тема незаслуженно осталась в тени большой литературы и нам ценна каждая кроха):

«— А и правда, блохи здесь! — сказал Мартемьянов, схватившись пониже спины, и сел. — Фамилия моя, если хочешь знать, не Мартемьянов совсем, а Новиков — Филипп Андреевич Новиков. В Самарской губернии у нас, откуда я родом, почти вся волость — Новиковы… В девяносто третьем году был у нас голод. Об этом, если рассказать тебе, как люди у нас с голоду пухли, да как у меня сестренка померла, да как у брата и отца все зубы выпали, — об этом я тебе даже не скажу… Ведь это же как голодали! Не только что хлеба ни крошки, — какой уж там хлеб, — ни черта не было! Даже мухи перевелись!.. Одним словом, пошел у нас к весне слух, будто дает казна ссуду, — переселяться на новые земли, на Дальний Восток. Земли будто дают очень хорошие, наделы — большие, и будто из других уездов многие уже не то собираются, не то повыезжали».

«— Судили, рядили, — продолжал Мартемьянов, — целую неделю. Ну, как тут бросишь все!.. Отец был за то, чтобы ехать, но одному боязно, а другие и вовсе на подъем тяжелы… Кончилось тем: послать ходоков. Вопрос: кого?.. „Ты, — говорят отцу, — больше всех кричал, тебе и идти…“ Отец говорит: „Я-то, говорит, от семьи своей ходока выставлю… (Умысел у него на меня был: в губернии он узнал, что кто на переселение идет, а срок ему, скажем, в солдаты, дают тому освобождение, а я как раз перед голодом женился)“».

«— Ах, Сережа, Сережа! — не слушая его, с внезапной тоской и злобой выдохнул Мартемьянов. — И что же это была за дорога! Народу битком — и в трюме, и на палубе; жара — аж глотки пересыхают; вши; ребята под себя ходят; бабы ссорятся… В качке все валом лежат, блюют; никто за этим не следит, не убирает; вонь, мухи; каждый тебя ногами пихает, как последнюю скотину!..

— Так вот и проехали мы полтора месяца, — со вздохом продолжал Мартемьянов. — Прибыли мы в Ольгу в середине мая. Народ измученный, обовшивел весь. Свалили нас в общие бараки, и пошел нас тиф косить. Стали тогда отделять больных от здоровых, но из поселка никого не выпускают. Люди мрут, как мухи!.. Помощи, конечно, мало, мордобою много… Исхудал я, устал, озлобился. Что делать?.. Китайцы из Шимыня[282] водку к нам возили, и пил я тогда, как уж никогда в жизни…»

Неудивительно, что имело место «обратничество» — не

сумевшие обжиться возвращались восвояси. В 1911 году «обратничество» достигло 60 процентов[283]. «Многие еще вымрут, многие убегут, вернутся в Россию, обесславят край рассказами о своих бедствиях, запугают и задержат дальнейшее переселение. Недаром нынешний год происходит небывалых размеров обратное движение из Приморской области и в пять раз меньший прилив в нее переселенцев»[284], — цитирует Ленин в статье «Переселенческий вопрос» (1912) князя Львова.

Описания тайги в «Последнем из удэге» порой похожи на арсеньевские: «Пахло багульником, от которого сплошь посинели сопки. Только успела развернуться в лист черемуха, как брызнули за ней липкой глянцевитой листвой тополя, осокори. И вот уже лопнули тверденькие почки березы, потом дуба, распустились дикая яблоня, шиповник и боярка. Долго не верил в весну грецкий орех[285], но вдруг не выдержал, и его пышная сдвоенная листва на прямых длинных серо-зеленых ветках начала покрывать собою все; а его догоняло уже бархатное дерево[286], а там оживали плети и усики дикого винограда, и кишмиша, и лимонника».

Иногда повествование превращается в историко-экономический очерк: «В крае не было крупного помещичьего землевладения. Лучшие земельные фонды находились в руках старожилов-стодесятинников. Большинство же населения составляли переселенцы, прибывшие после 1901 года и получившие наделы по пятнадцати десятин на каждую мужицкую душу, вывезенную из России. Из этих пятнадцати десятин семь засчитывалось на общественный выгон, одна отводилась под усадьбу, две падали на покос, полдесятины на лес и четыре с половиной считались пахотой. Но так как большая часть годной пахотной земли была уже поделена и запахана старожилами или переселенцами, приехавшими первыми, то эти четыре с половиной десятины главным образом падали на кочкарник или вырубку, которую надо было корчевать».

Иногда — в очерк социологический: «До тридцати процентов населения составляли рыбаки и охотники, не сеявшие хлеба. И так как выход на внешний рынок прекратился, а рыбаки и охотники не могли обходиться без хлеба, в то время как крестьяне могли обходиться без рыбы, пушнины и дикого мяса, то цены на продукты охоты и рыбной ловли пали необыкновенно низко, а цены на хлеб взвинчивались день ото дня. И ревком должен был заниматься и этим делом, иначе вся масса рыбаков и охотников могла повернуться против восстания… Партизанский ревком вынужден был вступить на путь все большей

централизации движения и создания гражданской власти». Или еще: «Военная организация борьбы сразу уперлась в разрешение коренных мужицких дел… Советская власть, существовавшая до чешского переворота, не успела разрешить основного для населения — земельного вопроса… Запахать старожильские земли — было одним из важнейших лозунгов восстания, и как бы ревком ни старался отсрочить это дело, все равно он не мог уклониться от него, иначе это пошло бы через его голову и даже против него».

Примечательна аккуратность Фадеева в обращении с фактами. «Ни в действительности, ни в романе — дальневосточное крестьянство не поддержало белых и чехов, когда они временно свергли советскую власть… Другое дело, что крестьянство в массе своей не поддержало советской власти против чехов и белых, — писал он в 1956 году. — Объяснялось это не какими-либо принципиальными ошибками со стороны советской власти на Дальнем Востоке, а главным образом тем, что в Дальневосточном крае никогда не было помещиков, и в этот первый период советской власти, связанный с послевоенной разрухой, крестьянство еще не получило каких-либо ощутимых результатов от советского строя и стихийно заняло нейтральную позицию. В романе все это в достаточной мере объяснено».

Так и не сумев поставить точку в романе, Фадеев поставил точку в собственной жизни.

«Последний из удэге» оборван на полуфразе — но это не тот случай, когда «смерть помешала…». Не факт, что Фадеев вообще дописал бы этот роман, раз не дописал его за 30 предыдущих лет, включая годы лучшей своей формы.

И все-таки он постоянно к нему возвращался.

В 1955 году, когда Либединский напомнил Фадееву об «Удэге», тот рассердился: «Да что ты думаешь, что я скоро умру, что ли?! Я обязательно кончу „Последний из удэге“, после того как напишу „Черную металлургию“!»

Весной 1956 года растерянно сказал Долматовскому: нельзя писать роман более четверти века, теперь непонятно, как быть… Добавил: «Надо снова ехать на Дальний Восток, да как-то не получается».

Заверши он роман в «разгромное» время — получилась бы отличная книга. Благо он успел, угадал — выдернул из общего котла «Удэге» хотя бы «Разгром» и дал ему жизнь. Тем самым — и себе.

Погибни Фадеев, например, в 1937-м — и мы бы говорили:

сколько еще прекрасных книг мог написать автор «Разгрома»… Но гармонию редко удается поверить алгеброй или логикой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГИБЕЛЬНЫЕ ВЫСИ

Соцреалист-романтик

Расхожее представление о Фадееве как вожде советских писателей — примерно такое: беспрекословно выполнял указания сверху, дни и ночи напролет подписывал «расстрельные» письма и утверждал «посадочные» списки. Переживал, пытался помочь арестованным товарищам — выборочно и робко. Пил. После XX съезда застрелился, испугавшись, что освобожденные писатели придут и плюнут ему в лицо.

Любой факт получает невыгодную для реноме Фадеева трактовку. Пришел поддержать больных Булгакова, Тынянова или Платонова — значит, ждал их смерти, наслаждался видом умирающих талантов. Не пришел на чьи-то похороны — бессердечен. Застрелился — совесть была нечиста (а у всех остальных, значит, чиста).

Воистину: что ни делай — все равно окажешься неправым!

Доживи Фадеев до семидесяти или восьмидесяти лет, напиши в меру откровенные мемуары о людях, годах и жизни глазами человека своего поколения, где можно было себя задним числом приукрасить, приобъяснить, приоправдать, — может, не было бы этого фадеевского (анти-фадеевского) мифа?

Но случилось так, как случилось.

Хорошо уже то, что напрочь забыть Фадеева не получится. Выстрелом в Переделкине он надолго продлил память о себе. Его помнят, даже если не читают. «Точка пули в конце» стала, возможно, самым громким его высказыванием.

Он еще в партизанах, юношей, проявил себя как способный организатор.

Так же было в литературе.

Восхождение Фадеева к вершинам писательской иерархии шло параллельно с самим оформлением писательского сообщества в СССР или, скажем иначе, с уточнением отношения государства к этому сообществу, с развитием системы контроля над литераторским корпусом.

Литературе в Советском Союзе придавалось беспрецедентно серьезное значение. Читал новинки и принимал решения о награждении главной литпремией страны лично Сталин. Напечатанное или просто сочиненное слово могло обернуться тюрьмой или даже расстрелом. Можно осуждать такое внимание государства к литературе, выступая за свободу творческого человека от чего бы то ни было (в том числе и от ответственности), но очевидно: к слову относились очень

серьезно и писатели, и читатели, и власть. Было принято «отвечать за базар». Слово ценилось неимоверно высоко. Может быть, именно поэтому и свободы слова в современном понимании в СССР не было. Формально атеистичный, Союз сакрализовал Слово; это потом оно девальвировалось донельзя.

Это было суровое, жесткое время. Взять хоть статистику писательской смертности: Ильф умирает от туберкулеза, соавтор «Республики ШКИД» Белых — в тюрьме от него же, Фурманов — от менингита, Островский — от своих недугов. Автор «Бригантины» Коган, поэт Кульчицкий, Гайдар — гибнут на фронте. Бабеля, Корнилова, Пильняка, Васильева — расстреливают. Маяковский стреляется сам. Это сейчас смерть литератора не в своей постели — скорее исключение.

Выходит «Разгром», и его автор с ходу попадает в верхний эшелон советской литературы. Фадеев перебирается из Ростова в Москву. Его избирают в руководство РАППа — самой громогласной литературной организации тех лет. Он входит в редколлегию «Октября» и рапповского журнала «На литературном посту». Борис Горбатов[287] напишет ему в 1951-м: «25 лет тому назад в кавказской рубашке… явился ты в Москву, и все мы единодушно, молча и не сговариваясь, признали тебя вожаком нашего поколения писателей. Мы отдали тебе не голоса, а сердца свои». Примерно так же несколькими годами ранее признали вожаком юного комиссара Булыгу.

Интересно, что он уже тогда, в 1920-х, был против «групповщины». Мог признать, что «пролетарии» пишут хуже «попутчиков»: «Все мы, пролетписатели, преувеличиваем свои силы, многие из нас не умеют и не хотят учиться… На самом деле мы не вышли еще из ученического возраста и ничего еще не умеем». В первую очередь критиковал самого себя: в 1932-м говорил, что все его произведения «очень далеки от совершенства», в 1934-м — что он пишет «чрезвычайно неумело и однообразно». В 1937-м Фадеев отказывается признавать неприкасаемость для критики «корифеев», называя в их числе и себя. В 1955-муже мэтр, классик! — повторит: «Нет, к сожалению, я не могу считать себя мастером». И здесь нет лицемерия или ложной скромности. Просто Фадеев — один из немногих в литературной среде — сумел не утратить трезвого взгляда на себя.

Еще в 1926-м он писал Землячке: нужно «осуществить наконец тесное сотрудничество с близкими нам попутчиками (Сейфуллина, Леонов, Всев. Иванов и пр.), в первую очередь с крестьянскими писателями…». Иванов вспоминал, как Леонида

Леонова удивила «широта взглядов» Фадеева, который говорил: и среди пролетарских писателей есть «очень несимпатичные люди». Фадеев видел: искусство живо не одним Пролеткультом, социальное происхождение автора и художественные достоинства текста прямо не связаны между собой. «Старовер от литературы», он не мог поддержать лозунг о сбрасывании классиков с парохода современности. Понимал масштаб А. Толстого, Леонова, Вс. Иванова, Пришвина, оставшихся вне РАППа. Эта широта взглядов позволит ему сохранить и даже укрепить свои позиции после ликвидации РАППа (сначала Фадеев и еще несколько писателей во главе с Авербахом выступили против упразднения организации, но быстро взяли свои слова назад).

Филолог Степан Шешуков в книге «Неистовые ревнители» писал об «особой позиции» Фадеева в рапповский период и его несогласии с наиболее «экстремистскими» заявлениями Леопольда Авербаха — критика, редактора журнала «На литературном посту», главы РАППа, расстрелянного в 1937 году. Юрий Либединский утверждал, что Фадеев никогда не подвергался влиянию «пролеткультовщины»: «Он был полон живого интереса к своим собратьям по литературному делу, к какому бы направлению они ни принадлежали и как бы они сами к нему ни относились». Еще в РАППе он сдружился со многими «перевальцами»[288], наладил отношения с большинством беспартийных писателей. Выступал против нападок на «стариков», читал всё, что писали мэтры — Вересаев, Сергеев-Ценский, Толстой…

С февраля 1931 года вместе с «попутчиками» Леоновым и Вс. Ивановым Фадеев редактирует «Красную новь». Добивается публикации в том числе непролетарских авторов. В «Красной нови» выходят произведения Платонова, Белого, Пастернака, Горького, Зощенко, Шишкова, Толстого, стихи Васильева, Смелякова, Луговского, Багрицкого.

Фадеев защищал Маяковского, назвав его первым соцреалистом в поэзии (перед гибелью Маяковский вступит в РАПП, призвав сделать то же «всех активных лефовцев»). Сетовал, что Хлебникова в СССР знает «очень узкий круг читателей», называл его явлением противоречивым, но важным, несмотря на «словесное трюкачество». Советовал обратиться к опыту классиков, призывал к «критическому освоению прошлого» (критическому, но все-таки — освоению). В его речах начала 1930-х звучат такие фамилии, как Фрейд и Селин.

В 1926–1932 годах Фадеев — один из лидеров РАППа. Это время поисков, вулканического кипения; происходят дискуссии,

даже конфликты — но они еще не влекут юридических и трагических последствий. Критика, даже с высокой трибуны, еще не приводила к расстрелам. Атмосфера была удивительно живой, свободной, жаркой.

В 1928 году из Италии в СССР впервые приезжает Горький, к которому Фадеев, в отличие от многих рапповцев, относился с огромным уважением — даже поругался из-за него с Авербахом и добился прекращения нападок на Горького в рапповском журнале. Тот, со своей стороны, высоко оценил «Разгром», советовал Фадееву больше писать, а не заниматься литературными разборками — уже тогда видел, что общественная работа убивает в нем писателя.

В это время Фадеев начинает выступать как критик и теоретик литературы. Позже его литературоведческие работы дали основание ученому совету Института мировой литературы АН СССР присвоить ему степень доктора филологических наук без защиты диссертации. Хотя в 1951 году на своем юбилее писатель скажет, что в области теории часто делает ошибки.

Статьи Фадеева, написанные на рубеже 1920–1930-х («Столбовая дорога пролетарской литературы», «Долой Шиллера!», «За художника материалиста-диалектика»), — по-юношески категоричны, и сам автор позже признавал их горячность и ошибочность. «Печать времени лежит на этих работах, — справедливо заметил в 1970-х Виталий Озеров. — Теоретическая уязвимость таких призывов очевидна, о ней говорил впоследствии и Фадеев».

Но зато теперь писатель ощущал себя на своем месте: он снова — политработник, комиссар.

Термин «социалистический реализм» предложил в 1932 году на страницах «Литературной газеты» председатель оргкомитета Союза писателей журналист Иван Гронский. Хотя еще до революции Луначарский говорил о «пролетарском реализме», а в 1920-х — о «новом социальном реализме».

Фадеев — один из идеологов соцреализма. В том же 1932-м он формулирует его принципы. Соцреалисту, по Фадееву, нужны талант, опыт, «большой, упорный, тщательный труд», знание предмета. Прежний реализм он называет вульгарным, «ползающим по поверхности явлений». Подлинный реализм — именно социалистический, способный показать «тенденцию развития действительности в ее борьбе с силами старого».

Еще одна формулировка Фадеева гласит: «Наш реализм потому и является социалистическим, что выражает и утверждает новую, социалистическую действительность». Здесь соцреализм

можно понимать просто как реализм эпохи социализма, на смену которому мог прийти, возможно, реализм коммунистический.

Широта взглядов Фадеева проявилась и здесь. В 1933-м он заявил: «Социалистический реализм… ни в коем случае не является догмой». Он «обладает свойствами более объективного познания действительности» и «рассматривает мир в историческом движении и развитии».

В 1934 году Фадеев пишет статью «Социалистический реализм — основной метод советской литературы», где повторяет: соцреализм — «не догма, не собрание узаконений, ограничивающих размах художественного творчества». Новое направление «предполагает невиданный размах творческих исканий, небывалое расширение тематического кругозора, развитие самых разнообразных форм, жанров, стилей, художественных приемов». Фадеев верил, что соцреализм не ограничивает, а освобождает, окрыляет художника.

Сейчас принято считать, что соцреализм — это плохо и лживо. Хотя среди книг, относимых к этому направлению, были вещи сильные и слабые, честные и фальшивые — как, собственно, и в любом другом «изме». Литература фадеевского времени интересна и разнообразна — за вычетом неизбежной в любой эпохе и при любой власти шелухи. Другое дело, что многие достойные произведения того периода мы не рассматриваем сегодня как образцы именно соцреализма, воспринимая их в качестве просто хороших книг.

В лучших своих образцах это была великая литература великой эпохи. Иной раз поражаешься тому, как крепко и добросовестно сделаны многие вещи советских писателей даже второго-третьего ряда. Пусть иерархия порой выстраивалась тенденциозно, но по гамбургскому счету та эпоха оставила шедевры. Русская литература советского периода достойно продолжила словесность дореволюционной поры.

Фадеев считал, что соцреализм не придуман теоретиками, а вызрел объективно, партийные идеологи же лишь зафиксировали это явление. «Это объективное определение того, чем стала, какой стала художественная литература страны в итоге двадцатилетней работы по переделке страны и людей», — говорил писатель, для которого переделка человека была главной темой.

В то же время сам Фадеев всегда был реалистом-романтиком. Об этом пишет Илья Эренбург: «Он… давал такое объяснение социалистическому реализму: показать людей не такими, какие они есть, а такими, какими они должны быть. Правда, это куда ближе к романтизму, чем к реалистам прошлого века…» Фадеев

считал романтику «существенной стороной социалистического реализма». В 1955 году он писал Вс. Иванову: «В многообразии форм социалистического реализма романтическая форма не только законна, она нужна как воздух. Я говорю здесь не только о революционной романтике… я говорю именно о романтической форме выражения правды жизни». Соцреализму, по Фадееву, присуща «способность мечтать и предвидеть», и потому он «несет в себе романтику нового типа, романтику оптимистическую, жизненную». Долой старого Шиллера — да здравствует Шиллер новый!

Реализм Фадеев толковал расширительно, называя реалистами Свифта, Сервантеса, Шекспира, Данте, Гёте… Образцом соцреализма считал даже «Золотой ключик» А. Толстого. Критиковал отказывающих соцреализму в праве на символику, условность, сказочность. «Правда жизни, обогащенная мечтой, то есть будущим» — вот фадеевская формула соцреализма. Соцреализм должен был примирить реализм с романтизмом.

Он сравнивал соцреализм с фруктом, прошедшим селекцию: «Яблоко, которое выращено в саду Мичурина или Бербанка, — это одновременно и яблоко, как оно есть, и каким оно должно быть. Несомненно, яблоко Мичурина и Бербанка более выражает сущность яблока, чем дикий, лесной плод». Литература должна не только фиксировать, но и программировать реальность; советский писатель в представлении Фадеева — этакий гуманитарный Мичурин, прививающий к стволу реальности передовую идею.

Писательский министр

Фейерверочно-разноцветные 1920-е закончились. Государство взялось за литературу вплотную. На смену группам приходит единый Союз писателей, в искусстве воцаряется однопартийность.

В апреле 1932 года постановлением ЦК «О перестройке литературно-художественных организаций» РАПП был ликвидирован. Развернулась подготовка к Первому съезду писателей СССР. В «Правде» вышла редакционная статья «На уровень новых задач»: «кружковую замкнутость» следует преодолеть, все «пролетарские» писатели и те, кто сочувствует социалистическому строительству, войдут в единый Союз советских писателей. Создается оргкомитет, туда входит Фадеев — и на первом же заседании сидит в президиуме. РАПП разгромлен, но он вышел из-под его обломков невредимым. Его и раньше в политике РАППа не устраивали сектантство, нетерпимость к «попутчикам». Теперь он может говорить об этом громко.

В октябре 1932 года проходит знаменитая встреча писателей со Сталиным в особняке Горького на Спиридоновке. Спустя несколько дней Фадеев выступает с речью на пленуме оргкомитета Союза писателей. Анна Караваева: «В спокойном его облике не было и намека, что человек застигнут неожиданной переменой. Напротив, думалось мне, никто не был так подготовлен к переменам, как Фадеев… Даже люди, критиковавшие его, говорили, что просто трудно себе представить без Фадеева работу оргкомитета».

Фадеев набирает силу уже в новой системе координат, хотя ему еще долго будут припоминать сборник статей «Столбовая дорога пролетарской литературы» 1929 года — «ошибочных, отразивших вредные рапповские теории». Он и сам признает: «Немало напутал… в смысле теоретическом».

Теперь, однако, Фадеев пишет уже другие статьи. Он призывает преодолеть «групповую инерцию», создать условия для «единой и дружной работы всех писателей-коммунистов» без разделения на рапповцев и попутчиков. Первой задачей он видит преодоление «групповой замкнутости», второй — выстраивание отношений между коммунистами и беспартийными (Фадеев считал, что у руля должны стоять коммунисты — но чтобы «не командовали, не администрировали, не кичились партбилетом»). Третью задачу Фадеев формулирует так: «Добить враждебные силы в литературе». Ругает формализм, критикует «Впрок» Платонова, поэму Заболоцкого «Торжество земледелия», хотя уже

в 1934-м скажет о «развертывании творческой дискуссии», о том, что советские литераторы пишут по-разному — и это хорошо.

В докладе «Литература и жизнь» (1933) Фадеев критикует РАПП за «этакий сорт „левого“ загиба: за ту или иную ошибку писателя, случалось, шельмовали как „классового врага“. Вот это нужно было исправить. Такого рода ошибки сейчас уже редки…» (Это он еще не знал, что будет твориться в 1937–1938 годах!)

В 1935-м Фадеев высказался диалектически: и создание Российской ассоциации пролетарских писателей, и ее ликвидация — объективные требования времени. «До определенного периода она играла положительную роль. Но к ней примазывались и чуждые элементы, она допускала немало ошибок сектантского характера и в конце концов противопоставила себя большинству писателей, вышедших из среды интеллигенции и вставших к тому времени на позицию советской власти».

Фадеев выдвигается на первые позиции, хотя он моложе многих ведущих литераторов, да и написал мало. «Мы знаем, Саша, чего ты хочешь! Ты хочешь в нашей литературе заменить Горького!» — приводит Либединский слова одного из коллег. Фадеев ответил: «Да, я хочу заменить Горького и не вижу в этом ничего такого, что порочило бы меня». Караваева отмечает: в выступлениях Фадеева не чувствовалось ни «назидательного менторства, ни этакого „руководящего“ нажима и самомнения».

Вместе с тем именно теперь Фадееву пришлось пережить непростой период. Одни не могли простить ему рапповского прошлого, другие — участия в «похоронах» РАППа. Либединский: «Некоторые из его вчерашних друзей превратились в его противников, настолько ожесточенных, что они не останавливались даже перед тем, чтобы поссорить его с А. М. Горьким». РАПП не сдавался без боя. Авербаха (племянника Свердлова) поддерживал женатый на его сестре Генрих Ягода — всесильный глава НКВД.

Опубликованные главы «Последнего из удэге» нещадно критикуют, а у Фадеева между тем рушится семья. В это-то время, в 1933 году, он и едет на Дальний Восток. Возвращается в Москву на Первый съезд писателей (август 1934 года), входит в правление и в президиум правления писательского союза… А потом снова уезжает в Приморье — почти на год.

В 1935-м возвращается в Москву. Дела его вроде бы налаживаются. Он едет в Чехословакию, в воюющую Испанию в составе бригады советских авторов: Толстой, Вишневский, Фадеев, Барто, Кольцов, Эренбург… Встречается с бойцами интербригад, в Барселоне попадает под бомбежку. Оттуда — в

Париж, к Ромену Роллану.

В 1938-м Фадеев активно позиционирует себя как один из лидеров писательского сообщества. Он критикует работу Союза писателей (не снимая ответственности и с себя) за то, что «людей понуждают беспрерывно заседать, отрывая их от основного дела». Ругает отсутствие борьбы за качество литературы, которое подменяют «идейностью», выступает за самокритику в руководстве. Называет союз «плохим, с чиновничьими методами работы департаментом», призывает превратить его в живую, творческую, демократическую организацию. «Нельзя выпускать в свет и хвалить произведения только за „хорошую идею“ или „революционную тему“… Нужно обязательно ставить требования высокого художественного мастерства, — говорит Фадеев. — Надо объявить борьбу догматикам, которые стараются наше социалистическое искусство нивелировать, уравнять, подогнать под одну мерку, хотя бы даже и хорошую». Вспоминает, что Маяковского ругали за непохожесть на Пушкина, а теперь многие стремятся быть похожими на Маяковского: «Но этого не требуется. Люди должны говорить своим индивидуальным голосом». Повторяет свой излюбленный тезис: «Нужно внушать молодым кадрам мысль о том, что без освоения огромного классического наследства… невозможно движение вперед».

Вся эта артподготовка заканчивается смещением с поста главы Союза писателей Владимира Ставского и заменой его Фадеевым. Процесс смены руководства занял некоторое время: Ставского освободили от обязанностей в апреле 1938 года, после чего во главе союза стала пятерка: Петр Павленко, Леонид Соболев, Валентин Катаев, Анна Караваева, Валерия Герасимова. Только в феврале 1939 года Фадеева избрали секретарем президиума Союза писателей. Это важно отметить: в 1937 и 1938 годах — на пике репрессий — он еще не руководил союзом.

Ставского сменил писатель заметный, но все-таки не самый маститый (вот так когда-то и на X съезд партии Булыгу избрали словно бы авансом). Были и функционеры более видные, и настоящие живые классики. Авторитетом пользовались Федин, Вс. Иванов, Вишневский, Гладков, Эренбург… Но первым стал все-таки Фадеев, к тому времени написавший всего одну законченную вещь — «Разгром». Сошлось всё: звезды, комиссарство, харизма, организационный дар и, видимо, благоволение Сталина. Тому вообще нравились красивые, подтянутые, сильные люди — Фадеев, Чкалов, Симонов.

Повлияло, видимо, и то самое литературное «староверчество» Фадеева. Пролетарские писатели рапповского толка были уже не на коне, произошел поворот «к корням».

Так Фадеев стал главой Союза писателей. В 1944-м он добьется «творческого отпуска» (та еще формулировка — выходит, в основное время писатели занимались нетворческими делами?) ради написания «Молодой гвардии», в 1946-м вернется на свой пост — уже как генеральный секретарь и председатель правления. В 1953-м станет «просто» председателем правления — должность генсека упразднят. В 1954-м — всего лишь одним из секретарей правления, к тому же фактически отстраненным от всех рычагов власти.

Владимир Ставский, с которым Фадеев был знаком еще по Ростову, стал главой писателей после смерти Горького и руководил союзом с 1936 по 1938 год. Кое-кто прямо называл его палачом и доносчиком, да и Фадеев критиковал за склонность политизировать литературу. Сегодня написанное Ставским забыто, его помнят исключительно как рьяного литфункционера. Он принял такое участие в судьбе Мандельштама (написал главе НКВД Ежову с просьбой «помочь решить этот вопрос»), после которого поэт отправился по этапу и умер в пересыльном лагере Владивостока. Видимо, этот донос и стал самым заметным произведением Ставского.

При этом он буквально рвался в горячие точки и вел себя там не только до безрассудности храбро, но и в высшей степени достойно. Об этом вспоминал Константин Симонов, видевший, как он ходил в рост под обстрелом на Халхин-Голе. На финской войне Ставский был ранен, на Великой Отечественной погиб — как писал Фадеев, по собственной неосторожности: захотел поближе рассмотреть подбитые немецкие танки и попал под огонь.

Вот как вспоминал Ставского Симонов: «Одни не любили его. Другие — среди них особенно много военных — преданно любили и уважали. Третьи, вспоминая его, говорили о нем то хорошо, то плохо, и в каждом случае вполне искренне. Мне думается, что правы были именно эти последние, и я сам принадлежу к их числу. Это был удивительно яркий пример человека, которого облагораживали война, опасность и товарищество среди опасности и который от этого до такой степени менялся, что был совсем другим человеком, чем в обычной, мирной, а для него всегда несколько начальственной, украшенной подчеркнуто важными знакомствами обстановке». Сначала он производил впечатление человека «грубого, несправедливого и одновременно претендующего на картинную душевность и безапелляционную „партейную“ непогрешимость». Но на Халхин-Голе «в нем были истинное дружелюбие, простое, непоказное товарищество и добрая забота». Потом Симонов

встретил его в Москве — перед ним снова был «человек грубый и самодовольный, с напыщенной прямотой и нетерпимостью говоривший о других людях». А дальше случилась великая война: «Я неоднократно встречал на фронте людей литературных, а чаще — нелитературных, командиров дивизий, полков, которые говорили, что вот тогда-то или тогда-то у них был Ставский, и говорили о нем хорошо, с теплотой, с уважением к его храбрости и простоте… Что же было? Непосредственная ли опасность украшала душу человека и он отбрасывал в себе все мелкое и злое, даже очень привычное и въевшееся? Или просто обстановка: окопы, поле, по которому надо было переползать, блиндаж, плащ-палатка, на которой стояла вскрытая ножом консервная банка и лежали два куска хлеба, твой и мой?»

Воистину: чужая душа — потемки…

Нельзя сказать, что Фадеев рвался именно и только руководить.

Да, он видел себя в общественной работе. Умел ценить чужой талант, помогал, продвигал, радовался успехам других иногда сильнее, чем своим.

Но и писать он хотел всегда. Только с каждым годом это становилось все труднее.

В 1938–1939 годах вместе с Ольгой Лазо (вдовой) он пишет сценарий «Сергей Лазо», оставшийся недописанным. В 1940-м вышел сценарий «Перекоп» о революционере и военачальнике Фрунзе, который Фадеев писал с Львом Никулиным. В мемуарах Никулина о том, как они собирали материал в Крыму, есть показательный момент. Писатели прибыли в Джанкой ночью, мест в гостинице не было, но Фадеев не хотел использовать свое имя, «был донельзя скромен и готов был просидеть до утра в вестибюле гостиницы, только бы не звонить ответственным товарищам». Да, он был такой — если дело касалось лично его. Если нужно было помочь другим — сразу же звонил и писал во все инстанции.

В это же время Фадеев планировал написать сценарий о мексиканском революционере Франсиско Вилье — не написал. Вообще с кино у него не складывалось еще со времен «Аэрограда». Да и с литературой — сложилось ли по-настоящему? У него больше недописанного, чем написанного, а еще больше — лишь задуманного.

В марте 1939 года на XVIII съезде ВКП(б) Фадеев избран членом ЦК. Отныне он не только шеф советских писателей, но и чиновник высшего ранга. Именно в это время, ближе к своим сорока, он «дозрел» и стал видным, представительным, красиво

седеющим мужчиной. «Мальчик с большими ушами», еще видимый порой на фото начала 1930-х, исчез окончательно. «Фадеев принадлежал к той породе мужчин, которые хорошеют с годами. К пожилым годам он стал гораздо красивее, чем был в юности», — заметил Гидаш. Вспоминается чья-то небессмысленная фраза: к пятидесяти годам человек имеет такое лицо, какого заслуживает.

Большие должности Фадеева не испортили.

Микоян еще в 1924 году отмечал «природную скромность» Булыги. Он так и остался скромным и при этом — требовательным к себе, иногда даже слишком. Перестал издавать «Разлив». Считал ненужным печатать незавершенные вещи: «Они потому и не закончены, что признаны мною несовершенными, а в иных случаях и неверными по замыслу».

Морщился, узнавая, что о нем пишут очередную монографию, советовал диссертантам писать о Леонове, Шолохове, Федине. В 1947-м писал критику Зелинскому: «Значение моих вещей переоценивается тобой…» В 1955-м — литературоведу Беляеву: «Я испытываю чувство глубокого смущения, когда обо мне пишутся толстые книги или диссертации. Ведь я, в силу сложившихся обстоятельств жизни, так мало написал!»

Либединский вспоминал, как на рубеже 1920–1930-х друзья решили инициировать награждение Фадеева орденом и подняли этот вопрос в ходе литсобрания на «Красном путиловце»[289]. Предложение встретили овациями, во время которых Фадеев исчез. Вечером Либединский нашел его лежащим на постели. Зарывшись в подушку, Саша плакал: «Зачем вы все это затеяли? Ведь могут подумать, что я принимал участие в организации этой шумихи…» Орден Фадееву дали только в 1939-м.

Литературовед Алексей Бушмин пишет: «Многократные предложения издать собрание сочинений Фадеева отклонялись им, и по этой причине он — единственный из крупных советских писателей, не имевший при жизни такого издания». В предисловии к первому собранию (1959–1961) К. Федин подтвердил, что дело было именно в позиции Фадеева: «Просьбы издателей о выпуске собрания сочинений были настойчивы и многократны, друзья Фадеева побуждали его к этому всеми мыслимыми доводами, литературоведы рады были содействовать наилучшей подготовке издания… Но Фадеев всем отвечал: рано».

На вечере в честь пятидесятилетия Фадеев назвал себя автором всего двух законченных произведений, добавив: «Я еще надеюсь спеть свою большую, настоящую песню» (верил ли сам в это?). Накануне юбилея писал Суркову: «Ко мне поступают

сведения, что некоторые лица и организации придают этой дате… чрезмерное значение… Это ставит меня в неловкое и смешное положение. Никто почему-то не задумывается над тем простым обстоятельством, что среди многих своих друзей-литераторов, ничуть не меньших, а зачастую и больших по своему творческому литературному значению, я „выделяюсь“, в сущности, только своим должностным положением в качестве Генерального секретаря Союза писателей, к тому же члена ЦК ВКП(б). Но это последнее обстоятельство только обязывает меня к большей скромности. И я очень и очень боюсь парадной шумихи… Вот почему я обращаюсь к тебе с личной просьбой — помочь мне провести эту злополучную дату как можно более тихо». Он просил Суркова сделать так, чтобы издательства не брались за выпуск монографий о Фадееве. Иначе он будет поставлен в «глупое и пошлое положение», «стыдно будет людям в глаза смотреть». «Я просто не могу позволить подобной нескромности и лично прошу тебя не допустить выхода в свет подобных книг», — писал он Суркову. С той же просьбой обратился в секретариат правления Союза писателей. Предложил отказаться от банкета: тратить казенные деньги на всех — нереально, созвать избранных — тоже нехорошо. Даже пригрозил уехать на это время из Москвы, используя право на отпуск. Обошлось без банкета, скромный вечер прошел в ЦДЛ.

Показательно знакомство с Фадеевым Сергея Михалкова. Молодой поэт посвятил Фадееву стихи «Левинсон», и тому это не понравилось. «Он заподозрил начинающего поэта в желании польстить ему, одному из руководителей Союза писателей. Увидев автора, он прямо так и сказал ему это, глядя в глаза», — вспоминал Михалков.

Александр и Иосиф

Сталин благоволил Фадееву. Прочитав «Разгром», сказал: «Почему вы скрывали от меня товарища Фадеева?»[290]

По возрасту Сталин годился Фадееву в отцы. Умрет он 5 марта 1953 года, мать Фадеева — 5 марта 1954-го. «Я двух людей боюсь — мою мать и Сталина — боюсь и люблю», — привел Эренбург слова Фадеева, добавив, что тот произнес их «полушутя».

Уже после смерти Фадеев породнится со Сталиным. Александр Фадеев-младший — сын Ангелины Степановой, усыновленный писателем, — женился на внучке Сталина Надежде Васильевне Бурдонской (1943–1999). В 1974-м у них родилась дочь Анастасия.

Долматовский: «Фадеев слепо верил Сталину, верил больше, чем себе».

Эренбург: «Не его вина, а его беда, что в течение четверти века верность идее он, как и миллионы его современников, связывал с каждым словом, справедливым или несправедливым, Сталина. Конечно, Фадеев знал, что Бабель не „шпион“, что Зощенко не „враг“, что неприязнь Сталина к Платонову или Гроссману необоснованна, но он знал и другое: для многих миллионов смелых и самоотверженных людей слово Сталина — закон».

Вера Кетлинская[291]: «Бесспорно, что в отношении к Сталину Фадеев был сыном своего времени, что он верил всему тому, что ему сообщали как члену ЦК и руководителю союза… Но Фадеев относился к самому себе крайне требовательно и чувствовал себя ответственным в полной мере за все ошибки и искривления периода культа личности Сталина, и судил он себя с такой строгостью, с какой не стал бы его судить никто другой».

Любопытная мысль Симонова: «В Сталине было некое сходство с Фадеевым — в оценках литературы. Прежде всего он действительно любил литературу, считал ее самым важным среди других искусств». А вот снова Эренбург: «Фадеев иногда говорил о какой-либо книге: „Конечно, талантливо… Но поймите меня правильно — дело не в абсолютных оценках. Есть государственная точка зрения, и в этом плане книга вредная…“». Возможно, и Сталин как читатель любил некоторые книги, однако как государственный деятель считал их вредными или менее актуальными, чем другие, которые по гамбургскому счету оценивал не столь высоко, но полагал куда более правильными и

нужными. При этом вкус, конечно, мог его и подводить.

Каким он все-таки был в реальности — человек, писатель, чиновник Фадеев? Было ли в нем что-то по-настоящему дурное?

Всматриваюсь — и не вижу. Краснеющий, седеющий, веселый, поющий, выпивающий, ошибающийся, помогающий…

Фадеев был коммунистом — но в это слово теперь натолкано слишком много разных смыслов. Коммунистами ведь были Троцкий и его убийца, Горбачев и Ельцин, даже Путин с Медведевым. Между коммунистом Аркадием Гайдаром и его внуком, редактором журнала «Коммунист» Егором Гайдаром — пропасть. Слишком многие партийцы позднего СССР на поверку оказались хамелеонами.

Он был, конечно, сталинистом — но и в понятие «сталинизм» вложено множество подчас противоположных смыслов. Всякая крайность в оценках непозволительно упрощает явление. Мы до сих пор не в силах взглянуть на Сталина отстраненно, как на Цезаря или Наполеона. Мы вдрызг ссоримся, расходясь в оценках СССР. Всё еще слишком живо, еще кровоточит.

Фадеев был частью системы. Более того — одним из ее архитекторов.

А вот кем он не был — так это конъюнктурщиком.

Про Сталина тогда писали почти все — это потом сделали вид, что забыли.

Даже Пастернак восторженно писал о Сталине.

Даже Клюев.

Мандельштам писал Сталину настоящие оды — после ссылки, перед посадкой.

Булгаков сочинял пьесу «Батум» о юности вождя.

Это им, разумеется, не в упрек и не в осуждение. Такое было время — и, кстати, далеко не всегда эти и другие блестящие авторы были неискренни.

Все это — к вопросу о том, как именно создавался пресловутый культ Сталина. Сугубо сверху — или и снизу тоже? Конъюнктурщиками-ортодоксами — или же «прогрессивными» деятелями культуры?

У кого Сталин не упомянут — так это у Гайдара, хотя трудно представить писателя более советского.

И еще — Фадеев. Фадеев не писал о Сталине, хотя глупо обвинять его в недостатке лояльности.

В 1940 году в Союзе писателей решали, кому писать биографию Сталина, и кто-то сказал: «Пусть напишет Фадеев». Фадеев попросил стенографистку прервать запись и сказал: мне как руководителю союза и члену ЦК это неприлично — неверно

поймут. Мол, воспользовался служебным положением и присвоил себе право писать о Сталине… Марк Колосов[292] приводит другое объяснение: «С досадой сослался на то, что художнику невозможно писать, думая — понравится ли это или не понравится Сталину».

Какими были подлинные мотивы — неизвестно, но факт остается фактом: Фадеев о Сталине не писал.

Тут возникает другой вопрос: присутствовала ли конъюнктурность в поступках, в том числе творческих, тех же Пастернака и Мандельштама? Элементарная корректность требует признать: да, присутствовала. Но об этом говорить как бы неприлично — и в силу огромных дарований, и главным образом в силу драматических и даже трагических судеб названных поэтов.

Но ведь и судьба Фадеева была не менее драматична.

…Еще история. К шестидесятилетию вождя (1939 год) Фадеев редактирует книгу-панегирик «Встречи с товарищем Сталиным». В авторах — элита Страны Советов: полярник Папанин, летчики Громов и Байдуков, шахтер Стаханов, академик Бардин, режиссер Чиаурели, доктор Бурденко, певец Бюльбюль, писатели Соколов-Микитов и Вургун… Заголовки соответствующие: «Сталин — это Ленин сегодня», «Исполин-мудрец», «Согретые любовью Сталина», «Он всегда с нами», «Я видел Сталина» (это Байдуков; в наши дни журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников напишет книгу «Я Путина видел» — но уже с иронией), «Источник вдохновения», «Я пела перед великим Сталиным»… Фадеева среди авторов нет, хотя он мог бы рассказать побольше других.

Из корректности вспомним и другую историю: Фадеев взялся было за биографию Ежова, даже написал очерк «Николай Иванович Ежов — сын нужды и борьбы», но… Ежова арестовали, очерк не опубликовали. И — слава богу.

Пишут, что Фадеев входил в число сталинских спичрайтеров. Эренбург отмечал его умение «придать в статье или в докладе короткой фразе Сталина глубину, блеск, спорность литературного эссе и бесспорность закона». Теперь из корпуса сталинских текстов, где действительно встречаются афоризмы римского блеска, фадеевское не вычленить — а жаль. Было бы любопытно.

«Ни на кого не клеветал»

Заканчивались 1930-е — героические, трагические, предвоенные. Время большого рывка и больших чисток, когда одной ночью исчезали виновные и невиновные, а следующей ночью — их палачи, чтобы потом уступить место в камерах, расстрельных рвах и на зонах уже своим губителям.

На этом фронте было не менее опасно, чем в Гражданскую. Пули ложились рядом: недолет, перелет…

Нередко говорят, что Фадеев лично приложил руку к репрессиям, отправляя друзей и врагов в лагеря.

Репрессии действительно коснулись многих писателей, и не в последнюю очередь — лидеров РАППа, с рядом которых Фадеев конфликтовал. Но нельзя смешивать борьбу Фадеева с авербаховцами и «рапповщиной» в начале 1930-х и репрессии 1937–1938 годов, о чем справедливо говорит Валерия Герасимова: «Умышленно путая два вопроса — литературно-общественная борьба Фадеева с авербаховцами и последующие репрессии, — его враги (конечно же после смерти его) стали усиленно распространять слух, что это, мол, Фадеев „посадил“, „расстрелял“ Авербаха, Киршона, Ясенского и т. д.».

Широко известны слова Анны Берзинь[293], вернувшейся в 1950-х в Москву, — «Нас всех посадил Сашка». Но в разгар репрессий Союз писателей возглавлял Ставский. Фадеев с ним как раз не ладил, и тот не оставался в долгу. А чего стоил родственник Ягоды, «литературный гангстер Авербах» (определение Асеева)! Поди тут разберись, кто был палачом, а кто жертвой, тем более что роли эти сменяли одна другую. Герасимова: «Несмотря на мое отвращение к авербаховской группочке, — ни я, ни Саша не думали и никогда не говорили, даже между собой, что они являются „врагами народа“».

Говорят о «расстрельных письмах». Действительно, публичные призывы покарать «врагов народа» стали появляться в прессе с 1936 года, и под ними нередко стоит — в числе прочих — подпись Фадеева. Но подписи ставили и те литераторы, которых принято относить к числу не «сталинских лизоблюдов», а «честных интеллигентов» или даже «жертв эпохи». И действительно, многие из подписантов вскоре сами отправились в лагеря или под расстрел.

В 1936–1938 годах эти самые письма подписывали (а иногда и выступали с зубодробительными колонками типа «Раздавить гадину!», «К стенке!» или «Ослепленные злобой») отнюдь не только «функционеры» и «душители». А и, например, — Артем

Веселый, Зазубрин, Ясенский, Пастернак, Леонов, Олеша, Толстой, Бабель, Фраерман, Платонов, Заболоцкий, Тынянов, Вс. Иванов, Маршак, Зощенко, Гроссман, Шварц…

Феномен этих подписей, как и вообще общественного сознания в 1930-е годы, требует отдельного изучения. Но, учитывая контекст, ставить в вину Фадееву эти подписи по меньшей мере не очень корректно. «Что касается статей и писем, то их подписывали все — от Тынянова до Бабеля. Поэтому я думаю, что одна фадеевская роспись в списке многочисленных подписей ничего не решала», — говорит сын писателя Михаил. Могут сказать, что он защищает отца. Но Михаил Александрович — не из тех, кто строит жизнь на проценты с отцовского капитала, а главное — его слова разумны и резонны. Иван Жуков, биограф писателя, пишет: «Фадеевская подпись не была в юридическом, карательном смысле решающей. Не она вела на эшафот, не она вела к страданиям, тем более к гибели… А вот что безусловно — Фадеев не писал доносов и не призывал к физическим расправам».

А взять знаменитую коллективную книгу 1934 года о Беломорканале и «перековке» под редакцией Горького, Авербаха и начальника строительства канала Семена Фирина. В ее написании участвовали Зощенко, Катаев, Вс. Иванов, Толстой, Шкловский, Ясенский… Фадеев — не участвовал (по какой причине — другой вопрос). Однако многих из ее авторов считают невинными жертвами эпохи, а Фадеева — кровавым палачом.

Да, 25 января 1937 года в «Литературной газете» выходит письмо «Если враг не сдается — его уничтожают», подписанное в том числе Фадеевым. Но уже 29 января, вызванный в комитет партконтроля при ЦК ВКП(б), он дает положительную характеристику Ивану Катаеву — писателю-«перевальцу», исключенному из партии за связь с троцкистами и уже обреченному. «Я всегда считал его человеком честным, прямодушным, и потому возможность его связи с врагами народа теперь тоже мне кажется маловероятной», — чеканит Фадеев (Катаева это, правда, не спасло). А вот Ставский 2 апреля того же года заявил: Катаев попал под «тлетворное влияние» Воронского, «докатился до измены партии».

25 июня 1937 года из партии исключают друга Фадеева — Либединского. Среди немногих проголосовавших против этого решения был Фадеев.

— Я, знающий Юрия Либединского на протяжении многих лет, отвечаю за него своим партийным билетом и своей головой, что он честный коммунист, — сказал Фадеев с трибуны.

Либединского исключили, но Фадеев все равно поддерживал

друга, посылал ему рукописи на отзывы. Позже тот вспоминал: «В самое тяжелое время Саша не боялся выступать на защиту людей, несправедливо обвиненных… Помогал многим из товарищей, безосновательно обвиненных в космополитизме. По натуре своей он вообще склонен был скорее оправдывать, чем осуждать… Саша сам никогда ни на кого не клеветал, никогда никого не оболгал. Но по положению своему он должен был принимать участие в „проработках“, впоследствии оказавшихся ненужными и бессмысленно жестокими, — этого достаточно было, чтобы мучить себя раскаянием».

В марте 1937 года секретарь ЦК Андрей Андреев спросил Фадеева о Ставском. Фадеев дал тому нелестную характеристику (а Ставский был все еще в силе, в декабре его изберут в Верховный Совет СССР): «малокультурен и неумен», «ограниченный»… В ноябре того же 1937-го Фадееву пришлось объясняться в парткоме Союза писателей по поводу поступивших на него доносов. Их было как минимум четыре[294], и все они, пишет литературовед Нина Дикушина, были инспирированы Ставским.

В объяснительной Фадеев отверг все обвинения.

Это был один из самых тяжелых моментов его жизни.

Объясняясь по поводу доноса Касаткина, указавшего, что «враг народа» Петр Нерезов, один из бывших «соколят», — близкий друг Фадеева, — последний фактически отрекся от старого товарища. Написал, что с 1924 года виделся с Нерезовым редко, а с 1934-го не виделся вообще. «При встречах со мной он всегда разыгрывал стопроцентного большевика и ничем не выявлял того процесса перерождения, который теперь вскрылся… Никаких враждебных связей его не знаю… Так называемая „дружба“ наша была внешней, по старой памяти… Дарил ему свои книги, о чем очень сожалею. Но фактических возможностей раскусить и разоблачить этого выродка у меня, по совести, не было», — написал Фадеев.

Да, спасал себя — но доносов ни на кого не писал. По чьему-то выражению — на нем есть грех Петра, но не Иуды. Впрочем, не думаю, что мы из нашего относительно уютного будущего вообще вправе судить Фадеева за эти его слова. Тогда гибли военачальники, с которыми Фадеев знался в Приморье и Забайкалье, товарищи по партии, друзья-писатели. Снаряды рвались совсем близко. Было пострашнее, чем на кронштадтском льду.

Показательно, что никто из больших писателей той поры Фадеева не осуждает. Признают неоднозначность ряда его

поступков — но пытаются понять, сочувствуют, даже оправдывают. Обрушились на него уже потом, причем фигуры куда более мелкого пошиба, вплоть до совсем уж ничтожной перестроечной накипи.

А Фадеев в 1955 году хлопотал перед генпрокурором Руденко о реабилитации друга: «Нерезов всегда активно боролся за линию партии, был принципиальным и твердым человеком. Никаких связей с людьми, враждебными партии и советскому народу, у Нерезова не было и не могло быть…»

В другом доносе — некоего Караханова — говорилось, что на Дальнем Востоке Фадеев «якшался с троцкистами». Тот объясняется: «К сожалению, крайком возглавлялся врагами народа — Лаврентьевым и Крутовым. Должен сказать, что я никогда и ни с какой стороны не был близок к этим господам».

Еще один донос (его автор Тарасов пишет о помощи Фадеева перевальцам-троцкистам) Фадеев парирует: «Я всю жизнь боролся с троцкистами и, в частности, всегда очень активно боролся с перевальцами». Это правда: еще студентом горной академии в 1923 году Фадеев подписал письмо, осуждавшее Троцкого за цикл статей «Новый курс». Тарасов же, напомнил Фадеев, сам был активным перевальцем и написал троцкистскую книгу «Ортодоксы», которая была им, Фадеевым, разоблачена в этом качестве еще в 1931 году.

Опроверг он и заявление Дунаевской, что она видела Фадеева на подпольном собрании авербаховцев.

Став главой Союза писателей, Фадеев уже 22 февраля 1939 года пишет прокурору Вышинскому, протестуя против высылки из Ленинграда актера Виктора Яблонского, сыгравшего Левинсона в фильме «Разгром». Яблонского исключили из партии в 1935 году и выслали из Ленинграда на волне репрессий после убийства Кирова. Фадеев добился восстановления артиста в гражданских правах[295].

Это далеко не единственный пример. Дисциплинированный Фадеев мог идти и против течения. Ни трусом, ни конформистом при всей своей лояльности он не был. Обращаться ему приходилось в том числе к наркому Берии, который Фадеева не любил. С таким недругом ходатайствовать за «врагов народа» — дорогого стоит. В. Герасимова пишет: «Нередко за такое заступничество тот, кто заступался, погибал сам… Саша знал об отношении к нему Лаврентия. Но без фразы, без позы шел на риск. Таких случаев в ту пору почти не наблюдалось». Называя Берию «личным врагом» Фадеева, Герасимова поясняет: когда Берия был секретарем компартии Грузии, на Кавказе побывали

Фадеев и Павленко. По возвращении они составили для Сталина отчет, в котором раскритиковали культ собственной личности, устроенный, по их мнению, Берией на Кавказе. Сталин показал отчет «другу Лаврентию», и тот, естественно, затаил злобу.

Сам Фадеев в 1950-м рассказывал Долматовскому, как в 1939-м обратил внимание Сталина на «бесчеловечность» Берии: «Пользы это не принесло, а Берия узнал о разговоре и вот уже более десяти лет выискивает возможность отомстить, подлавливает и провоцирует…» Герасимова вспоминала, что Берия, уже будучи главой НКВД, демонстративно сверлил Фадеева глазами на заседаниях ЦК: «Я глаза не опускал, — посмеивался Саша, — но думал про себя: посадит или нет?!» Кстати, в 1936-м он тесно общался с абхазским лидером Нестором Лакобой, вскоре, как считается, «съеденным» Берией.

Фадеев, как и многие тогда, ходил по лезвию ножа. Репрессий он избежал чудом — как и Шолохов, как и Гайдар, которого спасал сам Фадеев, на свой риск вписав его фамилию в список награжденных (Гайдар потом о своем ордене писал как о «талисмане»).

В июне 1939 года Фадеев пишет наркому внутренних дел («Товарищ Берия!») по поводу ареста Марианны Герасимовой — бывшего работника НКВД, первой жены Юрия Либединского и сестры первой жены Фадеева: «У меня нет никаких сомнений, что поводом к ее аресту могла послужить только чья-либо грязная клевета или наветы врагов народа… Могу совершенно спокойно и уверенно поручиться за Марианну Герасимову». Копию отправляет Сталину (тут обращение иное: «Дорогой Иосиф Виссарионович!»). Письмо действия не возымело. Через помощника Берия передал Фадееву, чтобы тот занимался своими писательскими делами. Приговор — пять лет — остался в силе[296].

Литератор Евгения Таратута[297], работавшая с Фадеевым в «Красной нови», вспоминала: в 1937 году их семью выслали под Тобольск. В 1939-м Евгения «потихоньку» уехала в Москву, знакомые писатели — Кассиль, Чуковский, Барто — обратились к Фадееву, и тот начал ей — нарушительнице паспортного режима, бежавшей из ссылки, — помогать. Обратился к прокурору Москвы Муругову, тот подал в суд на НКВД с требованием вернуть отобранную у семьи жилплощадь — и дело выиграл (!), а Фадеев устроил Евгению литредактором в «Мурзилку». После войны Таратуте дали 15 лет — и тут уже Фадеев помочь не смог, но зато после реабилитации в 1954 году оплатил ей путевку в санаторий.

В 1937-м взяли Белу Куна, потом его зятя Антала Гидаша. Последний вспоминает: «Фадеев еще осенью 1937 года пытался

что-то предпринять для меня. Но не удалось ему. Кое-кого он спас. И видно, этим исчерпал свои возможности. Ведь и он не мог не опасаться того же, чего опасались все, за исключением, быть может, одного человека». Фадеев, однако, его не оставил. В 1944-м Антал, досрочно выпущенный, приедет в Москву и первым делом явится к Фадееву. Сталин скажет Фадееву: «Вы укрываете венгерского писателя Гидаша. А ему запрещено жить в Москве». Фадеев убедил Сталина в политической лояльности Гидаша — и назавтра того пригласили в милицию и оформили прописку.

Фадеев помогал опальным Зощенко, Ахматовой, Пастернаку (хотя публично их, когда было нужно, осуждал), Ольге Берггольц, Платонову… Перед смертью поддерживал Булгакова, а в 1945 году, составляя список лучших произведений советской литературы, включил туда «Белую гвардию».

1 июля 1939 года литератор Ольга Форш пишет Фадееву: «Горячо благодарю Вас за оказанное Вами содействие в моих хлопотах о моей дочери. Я получила в начале июня копию о пересмотре ее дела, где решением Ос. сов. от 31 мая приговор отменен. Дочь моя как „неправильно осужденная“ освобождается с прекращением дела»[298].

Евгений Долматовский вспоминал, как в 1938-м над ним «сгущались тучи», «клевета бушевала как стихия». Пришел к Фадееву. Тот был «молчалив и ласков», «ни отчуждения, ни недоверия не было». В начале 1939-го Фадеева и Павленко вызвал Сталин — посоветоваться, кого из писателей представить к наградам. Павленко рассказывал, как Фадеев с «побагровевшим от волнения лицом» сказал Сталину о том, что одни литераторы поставлены под подозрение, у других репрессированы родные… Сталин «сурово молчал, но не отводил предложенные Фадеевым кандидатуры» (как тут не вспомнить историю со звонком Сталина Пастернаку по поводу Мандельштама — по-разному, ох, по-разному вели себя Пастернак и Фадеев!). В итоге, говорит Долматовский, «некоторые писатели, и я в их числе, оказались в указе и получили ордена, что было для нас не только полной неожиданностью, но и временным спасением от надвигающихся на нас бед… Все знали — список составляли Фадеев и Павленко».

О том же вспоминает В. Герасимова: Фадеев докладывал Сталину о представленных к награде писателях, тот спросил: «А что представляет собой эта Герасимова?» Фадеев выдержал взгляд вождя и сказал: «Это одаренный писатель». Герасимова считала: бывший муж ее спас.

Хотя ведь знал, что играет с огнем. По свидетельству секретаря Фадеева (и сестры его второй жены) Валерии Зарахани, еще в 1937 году он в разговоре со Сталиным пытался защитить

попавших под удар подпольщиков и партизан. Тот ответил резко: «С каких это пор советский писатель решил защищать врагов народа?» Фадеев сказал, что знает их по Гражданской как честных людей. Сталин ответил: «Люди меняются, товарищ Фадеев. Таков закон диалектики. А врагов не надо защищать. Это безумие».

Этим «безумием» Фадеев занимался до конца жизни.

«Про Фадеева можно сказать по-евангельски: „се человек“. Он поддерживал любые постановления партии и правительства, как иначе, но помогал пострадавшим, чувствуя свою вину… Открыто выступал перед Сталиным против Берии. Многие ли из сегодняшних администраторов, когда никому расстрелы не грозят, могли бы похвастаться такой широтой и смелостью?» — сформулировал уже в наше время писатель (и, кстати, внук первой жены Фадеева Валерии Герасимовой) Сергей Шаргунов.

Симонов писал, как во время поездки в Китай в 1949 году Фадеев вспомнил Михаила Кольцова — легендарного журналиста, автора «Испанского дневника». После ареста Кольцова Фадеев добился встречи со Сталиным. «Вы не верите в то, что Кольцов виноват? — спросил Сталин. — А я, думаете, верил, мне, думаете, хотелось верить? Не хотелось, но пришлось поверить». Вызвал Поскребышева, приказал дать Фадееву материалы по Кольцову. «Разговор свой со Сталиным Фадеев не комментировал, но рассказывал об этом с горечью, которую как хочешь, так и понимай», — заключает Симонов.

Эренбург вспоминал: в начале 1938 года Фадеев пытался опубликовать стихи Мандельштама — не вышло.

Преображенский указывает: в 1939 году Фадеев защищал Мейерхольда и его эстетику[299].

Он спасал из лагерей или от лагерей писателей Юрия Германа, Леонида Соловьева, Иоганнеса Семпера. Так или иначе поддерживал Вс. Иванова, Мухтара Ауэзова, Симона Чиковани, Ираклия Абашидзе, Максима Рыльского, Владимира Сосюру, Мирзу Ибрагимова…

Марк Колосов: «Мало среди писателей старшего поколения людей, которые не вспомнили бы, как в трудную минуту Фадеев деятельно и горячо помогал им».

Писатель Аркадий Первенцев: «Ему было трудно, давило бремя безапелляционных приговоров свыше. Ему приходилось подчиняться, но больше доказывать и спасать. И кто знает, какие бы бреши были в рядах литераторов, если бы не было Фадеева».

Тамара Иванова, жена Вс. Иванова: «Он помогал и материально, и морально всем, кому мог помочь».

Леонид Пантелеев, соавтор «Республики ШКИД»: «В свое время Фадеев мне крепко помог. Вместе с С. Я. Маршаком и

Л. Р. Шейниным он вызволил меня из очень большой беды, может быть, спас жизнь. Позже он вывез меня полуживого из блокадного Ленинграда…»

Корней Чуковский в 1946 году записал в дневнике: «Фадеев ведет себя по отношению ко мне изумительно… И, говорят, написал еще большое письмо о том, что пора прекратить травлю против меня».

Одних спасал, другим помогал деньгами, за третьих просил.

В 1942-м начинает помогать старому и больному поэту Василию Каменскому — футуристу, одному из первых русских летчиков. Это он подарил нам слово «самолет» в его нынешнем значении — до этого было «аэроплан».

В 1942-м помогал эвакуированному в Алма-Ату Михаилу Зощенко, в 1948-м выбивал опальному писателю ссуду в Литфонде. В 1953-м при поддержке Фадеева Зощенко восстановили в Союзе писателей.

В 1955-м просил Булганина прикрепить к кремлевской больнице Маршака, оставшегося без родных.

Людмила Красавина, товарищ Фадеева по владивостокскому подполью (та самая, с которой он отвозил оружие партизанам и передавал записку в чешский концлагерь), пробыла в лагерях семь лет. «Вернулась я бесправная, отверженная, и даже близкие люди отворачивались от меня… Саша Фадеев, узнав о том, что я вернулась, позвал меня к себе домой. Горячо, радостно принял, как родную. Долго и сердечно говорил со мной. Согрел окаменевшую от боли душу. Вдохнул надежду на жизнь. Помог материально. Сам поехал, при всей своей колоссальной занятости, в Малый Ярославец (в Москве я не имела права жить), чтобы договориться там об устройстве меня на работу. Меня буквально потрясла его человечность… Многим своим друзьям, с которыми случилась та же беда, что и со мной, Саша помогал во всем, в чем они нуждались: покупал путевки в санатории, хлопотал о снятии судимости, помогал в устройстве на работу, в получении жилья, снабжал деньгами».

Другая бывшая подпольщица — Татьяна Цивилева — в 1938-м получила восемь лет как жена «врага народа» Крастина, бывшего замначальника Главсевморпути: «В этой беде меня не оставили мои верные товарищи, не отвернулись от меня. Среди этих самых лучших моих товарищей был и Саша Фадеев». Он в 1954 году написал главе МВД СССР Круглову с просьбой «снять ограничения места жительства в паспорте Цивилевой… и выдать ей паспорт на общих основаниях». Добавив: «По отношению к таким честным, незапятнанным людям-работникам, как Т. К. Цивилева… можно было бы и раньше не применять

репрессий, нет никаких причин сохранять для нее ограничения по месту жительства сейчас». Просьбу удовлетворили.

Фадеев не отворачивался от «зачумленных» — качество важное и редкое, особенно с учетом времени и его высокого положения.

Из воспоминаний драматурга Александра Вампилова, которому в 1965 году выпало несколько дней подряд пить с Твардовским: «Любит и часто вспоминает Фадеева: „Мой старший друг, неправда, что он кого-то сажал, он выручал, Заболоцкого, например“».

Николая Заболоцкого осудили в 1938-м на пять лет. В 1939-м Фадеев ходатайствовал о пересмотре дела, но приговор оставили в силе. После войны Заболоцкий возвращается в Москву, Фадеев сразу предлагает помощь: пусть Заболоцкий готовит сборник стихов и переводов, а он выступит рецензентом. В 1948 году сборник вышел в издательстве «Советский писатель». Фадеев хлопотал перед Берией о снятии судимости, помог поэту получить квартиру в Москве. Реабилитируют Заболоцкого только в 1963 году, когда в живых не будет ни Фадеева, ни его самого.

Если в конце 1930-х (а потом в 1950-х) Фадеев активно «вписывался» за арестованных, то в конце 1940-х ситуация была иной. Зоя Секретарева вспоминает о встрече с Фадеевым в 1949-м, когда началось «ленинградское дело»: «Говорили мы вполголоса, чтобы стены не слышали. Самым страшным из всех наших бедствий было то, что мы совершенно потеряли способность понимать происходившее… По своему положению Саша должен был знать, что делается там, „в верхах“, но ясности у него у самого не было. На многие мои вопросы он не смог тогда ответить».

Вера Кетлинская, пострадавшая по тому самому «ленинградскому делу»: «Его обычно оживленное, на редкость обаятельное лицо сейчас казалось почти старым, тусклым. Не глядя на меня, он тихо сказал: „Понимаете, в чем беда: мне предложено в такие дела не вмешиваться. Категорически предложено“. Все-таки пытался что-то сделать, но не получилось… Я была для него всего лишь одним из многих писателей, и моя беда была одной из многих бед, причем далеко не самой большой! — но я знаю, что каждый такой случай прибавлял тяжести его сердцу».

После ареста Берии Фадеев на время воспрянул. 3 июля 1953 года он пишет — может, несколько наивно — соученице по горной академии Лиде Сидоренко о ежовщине: «Дорого стоила народу и партии эта страшная пора, когда враг действовал

такими иезуитскими способами и сам проникал в учреждения и органы, могущие решать человеческую судьбу! Пока выбили его, этого множественного врага, с его позиций и поняли его формы борьбы, многих честных людей удалось ему погубить. А теперь, с разоблачением Берия, становится понятным, что он-то и не был заинтересован в выправлении этих вражеских действий по отношению к честным людям».

В это время Фадеев пишет десятки, если не сотни ходатайств о реабилитации. Это тоже литература, причем высочайшей пробы: такая, от которой зависят судьбы. С учетом того, скольких он вытащил «оттуда», или предотвратил аресты, или помог сделать первые шаги в писательстве — его вклад в культуру представляется куда большим, чем оставшиеся после него «Разгром» и «Молодая гвардия».

В 1953 году он пишет председателю президиума ВС СССР Ворошилову: «Нет ли возможности помилования Л. Соловьева ввиду того, что он человек по-настоящему талантливый?». Автора «Повести о Ходже Насреддине», отбывавшего десять лет по обвинению в «терроризме», вскоре освободили.

В том же году ходатайствует о восстановлении честного имени Ивана Апряткина — инженера-металлурга, с которым учился в горной академии. Того реабилитировали — посмертно.

Ахматовой Фадеев начал помогать еще в 1939 году — ходатайствовал о материальной помощи, улучшении жилищных условий. В 1940-м она обратилась к нему в связи с арестом сына — Льва Гумилева. Из дневника Лидии Чуковской: «Ее поразило и, конечно, обрадовало, что Фадеев принял ее очень любезно и сразу сделал все от него зависящее… Поражена также тем, что Фадеев и Пастернак выдвинули ее книгу на Сталинскую премию».

2 марта 1956 года Фадеев пишет в Главную военную прокуратуру с просьбой ускорить рассмотрение дела Гумилева: «Я не знал и не знаю Л. Н. Гумилева, но считаю, что ускорить рассмотрение его дела необходимо, поскольку в справедливости его изоляции сомневаются известные круги научной и писательской интеллигенции. Сам он… является серьезным ученым, и притом в той области, которая сейчас, при наших связях со странами Азии, нам особенно нужна: он — историк-востоковед. Его мать — А. А. Ахматова — после известного постановления ЦК о журналах „Звезда“ и „Ленинград“ проявила себя как хороший советский патриот: дала решительный отпор всем попыткам западной печати использовать ее имя и выступила в наших журналах с советскими патриотическими стихами…» Среди тех стихов были откровенно просталинские и, возможно, не очень искренние: «Где Сталин, там свобода» и т. п.

Вскоре Лев Гумилев вышел на свободу, был восстановлен в правах. Работал в Эрмитаже, в 1960-м опубликовал свою первую книгу «Хунну». Так что к учению о пассионарности Фадеев имеет самое прямое отношение не только потому, что сам был пассионарием.

Ахматова писала Фадееву: «Вы были так добры, так отзывчивы, как никто в эти страшные годы».

Пастернак тоже благодарил Фадеева за помощь в издании переводов. А вот что он писал Фадееву в июне 1947 года о критике в свой адрес: «Очень разумно и справедливо всё, что ты и некоторые другие писали и говорили обо мне зимой».

Эренбург: «В беседах со мной он часто любовно отзывался о писателях, которых был вынужден публично осуждать. Помню нашу встречу после доклада Фадеева, в котором он обличил „отход от жизни“ некоторых писателей, среди них Пастернака… Александр Александрович уговорил меня пойти в кафе на углу, заказал коньяк и сразу сказал: „Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?..“ Он начал читать на память стихи Пастернака, не мог остановиться, прерывал чтение только для того, чтобы спросить: „Хорошо?“ Это было не лицемерием, а драмой человека, отдавшего всю свою жизнь делу, которое он считал правым».

Да, Фадеев поддержал известное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». В 1946 году он говорил, что сатирик — это Салтыков-Щедрин, а Зощенко — «сплетник», который не бичует пороки, а рисует советского человека «низким, мелким и пошлым». Поэзию Ахматовой назвал «последним наследством декадентства»…

Но ведь были и другие слова — и другие поступки.

На такой должности в то время трудно представить человека, который вел бы себя безупречно в этическом плане и при этом сколько-нибудь долго продержался. А Фадеев — продержался и сделал много хорошего. Гидаш: «Уверен, что, будь кто-нибудь другой на его месте, „суровое время“ унесло бы еще гораздо больше писателей. Толчки землетрясений — я выступаю тут как свидетель — Фадеев смягчал как мог». И еще: «Он и его совесть никогда не разлучались, только не всегда жили дружно».

Показательна история с Василием Гроссманом. Вначале Фадеев добивался публикации его романа «За правое дело»[300], но сразу после смерти Сталина выступил с резкой критикой. «Я попросту испугался… Я думал, что начинается самое страшное…» — признавался он Эренбургу. Испугался того, что Сталина — его последней надежды — уже нет, а Берия еще в силе? Говорил и Чуковскому: «Какой я подлец, что напал на чудесный,

великолепный роман Гроссмана. Из-за этого у меня бессонные ночи…»

Потом Фадеев помог Гроссману доработать и издать роман. В конце 1954 года он публично покается на Втором съезде писателей: «Я очень жалею, что проявил слабость, когда в своей статье о романе поддержал не только то, что было справедливым в критике в адрес этого романа, а и назвал роман идеологически вредным…»

На Андрее Платонове, которого он считал выдающимся писателем, Фадеев обжегся еще раньше, причем дважды. В 1929 году он опубликовал платоновского «Усомнившегося Макара» в «Октябре». Рассказ признали вредным, Фадееву пришлось каяться. В 1931-м с подачи Фадеева в «Красной нови» снова печатается Платонов — «Впрок. Бедняцкая хроника». Сталин обрушился на Платонова: написал на полях журнала «сволочь», а вместо «бедняцкая» — «кулацкая». Фадееву пришлось писать опровержение, объявить повесть Платонова «кулацкой хроникой», а ее публикацию — политической ошибкой. Но, так или иначе, открывал-то читателям Платонова именно он. И «Третий сын», и «Нужная родина» Платонова скоро будут опубликованы, и именно в «Нови». Фадеев выбьет ему квартиру. А в 1950-м предложит выделить больному туберкулезом писателю безвозвратную ссуду, чтобы тот смог переехать на юг.

В 1954 году Фадеев пишет бывшему сослуживцу по Забайкалью Булочникову: «Напишите, как получилось, что в 37–38 году Вы оказались вне партии. Может быть, я смогу помочь Вам словом и делом, — сейчас подходящее время для того, чтобы исправить то, что было несправедливым». При содействии Фадеева Булочников был реабилитирован, а уже после смерти писателя восстановлен в партии.

Еще один дальневосточник — писатель Виктор Кин (Суровикин), автор романа «По ту сторону». Расстрелян в 1937 (по другим данным — в 1938-м) году, жена Цецилия в том же году арестована, реабилитирована в 1955-м. Фадеев обращался по этому поводу к генпрокурору Руденко, и Цецилия Кин вскоре пишет ему: «Приношу Вам большую благодарность за то, что Вы откликнулись на мою просьбу, и счастлива сообщить Вам, что решением Военной коллегии Верховного суда СССР от 12/X 55 г. дело Кина прекращено ввиду отсутствия состава преступления, и сейчас Кин будет посмертно восстановлен в правах члена партии».

В 1955-м Фадеев ходатайствует о писателе Иване Макарьеве, с которым был знаком еще по Ростову (Макарьев пробыл в заключении с 1936 по 1943 год, после освобождения жил в

Норильске): «Не вижу оснований к тому, чтобы подозревать И. Макарьева в двойственности, и считаю его политически честным человеком». Того реабилитировали, восстановили в партии. В ноябре 1955-го он пишет Фадееву: «Дорогой Саша! На днях я вернулся оттуда, откуда не все возвращаются… Сам я… не тот уже Ванька Макарьев, которого ты знал, а больной и искалеченный старик. Ну да ладно, всё бывает в этом лучшем из миров!»

В апреле 1956 года хлопочет о реабилитации Лидии Багрицкой-Суок — вдовы поэта. В том же году в ответ на запрос прокуратуры о Певзнере на предмет посмертной реабилитации дает своему бывшему командиру отличную характеристику.

Этот список можно продолжать очень долго. Еще до XX съезда Фадеев написал десятки подобных писем. Можно представить, сколько ходатайств он написал бы в 1956–1957 годах, когда реабилитация приняла массовый характер.

Интересны девиации общественного сознания. Сегодня хорошо известна роль Хрущева в репрессиях — но он все равно считается «десталинизатором» и демократом. Тогда как Фадеев, два десятилетия вытаскивавший людей из лагерей и пытавшийся сделать общество гуманнее, остается сталинским сатрапом с окровавленными руками.

Едва ли заявления вроде «Фадеев не принял хрущевской оттепели» или «Фадеев испугался XX съезда» состоятельны — он-то как раз звал «оттепель», уже начинавшуюся и помимо Хрущева. Вряд ли XX съезд стал для него откровением. Всё было известно тем, кто хотел знать. А Фадеев не просто знал — в течение многих лет пытался смягчить репрессии и спасать их жертв. Если своей мученической гибелью несправедливо репрессированные литераторы искупили, причем с лихвой, все свои неоднозначные, скажем так, поступки, — то Фадеева надо простить тем более. Он-то вынес себе приговор сам — а мог бы и жить.

Не стань он главой Союза писателей, не выживи в суровые годы — возник бы совершенно иной миф о Фадееве. Погибни он в 1937-м — его числили бы по разряду жертв сталинизма: еще одного замучили большевики… Но он уцелел, и его отнесли к палачам, хотя и он — тоже жертва, да и вообще тогда палачи и жертвы легко и часто менялись местами.

Фадеев не был святым — святых вообще немного. Но не был и исчадием ада. Жуков, его внимательный биограф, писал в 1990-х, когда все стало можно говорить и многие архивы открылись: «Недруги Фадеева пишут как об очевидном, будто бы Александр Александрович… подписывал репрессивные документы на писателей, сфабрикованные в органах госбезопасности. Говорю

честно, я не видел и ничего не знаю о таких фактах, хотя в свое время серьезно пытался выяснить эту ситуацию в компетентных органах». В примечании к книге Жукова, изданной в 1994 году, сказано: при подготовке текста к печати «стало достоверно известно, что ни под одним из репрессивных документов того времени подписи Фадеева нет».

Зато под множеством спасительных документов подпись Фадеева стоит. Здесь он действовал смело, зачастую в одиночку. Это настоящий подвиг — покруче, чем спуск японского эшелона под откос. И вот тут-то его подпись нередко становилась и решающей, и единственной.

Фадеев был прокурором только самому себе. Другим он был адвокатом. Списка посаженных Фадеевым нет, но список спасенных им — огромен.

Конина по-удэгейски

Перед войной Фадеев добился отпуска. Засел за «Последнего из удэге» — но тут началась война.

22 июня он выступает на митинге московских литераторов: «Писатели Советской страны знают свое место в этой решительной схватке!»

Действительно — знали. Лучшие писатели стали военкорами: Эренбург, Толстой, Симонов, Шолохов, Леонов… И сам Фадеев, конечно.

Автор «Танкера „Дербент“» Юрий Крымов погиб в бою под Киевом. Военкор Евгений Петров погиб в авиакатастрофе. Поэта Мусу Джалиля, сотрудника армейской газеты «Отвага», казнили фашисты. Арсений Тарковский, не подлежавший призыву по здоровью, сумел добиться направления в действующую армию, был ранен разрывной пулей и потерял ногу.

На войну правдами и неправдами рвался комиссованный Гайдар — и добился своего: стал военкором «Комсомолки», попал в партизанский отряд и погиб в бою.

Стремился на передовую Эммануил Казакевич, знакомый Фадееву по Биробиджану, хотя был, в отличие от Гайдара, совсем, казалось бы, не вояка — очкарик, «белобилетник». Начав с писательской роты народного ополчения, Казакевич сумел попасть в разведку. Ходил в тыл врага, дослужился до начальника разведки дивизии, навоевал четыре боевых ордена. С «Окопов» военного инженера Некрасова и «Звезды» разведчика Казакевича началась проза, которую так и назвали — окопной.

Фадеев оставаться в тылу не считал возможным — даже несмотря на заботы, свалившиеся на начальника советской литературы. С фронтов он даст около двадцати газетных материалов. Не то чтобы в этом был какой-то исключительный героизм. Но все-таки глава Союза писателей мог и не ездить, нашлись бы другие заботы (и находились).

Нет, выходит, не мог.

Уже в августе 1941 года он выезжает с Шолоховым и Е. Петровым в действующую армию, под Духовщину. Здесь встречается со старым знакомым Коневым, который командует 19-й армией. Конев вспоминал: «Наша встреча в эти очень тяжелые дни была, как я считаю, интересной. Для писателей она явилась полезной тем, что они увидели войну, а для меня тем, что я почувствовал: страна правильно понимает, как нелегко нам приходится, и вот лучшие ее писатели приходят к нам, солдатам, идут на передовую, в боевые порядки».

Пишет в «Правду». Неожиданно встречает ростовского товарища — писателя Бусыгина. Рожь, холм, минометный обстрел, Бусыгин в каске… Скоро он погибнет.

Демобилизованный после ранения, Фадеев тем не менее проходил военные сборы. Теперь он носит в петлицах знаки различия бригадного комиссара (после реформы воинских званий станет полковником). Рожденный как писатель войной, Фадеев остался ее заложником — как Симонов, как Гайдар.

В октябре 1941 года принято решение об эвакуации москвичей. Фадеев организует отправку писателей в Чистополь, Ташкент, Казахстан, Свердловск. Помогает тем, кто бежит из оккупированных областей. Лично решает вопросы даже частного характера — например, достает через Наркомторг сахар для пожилого критика Дермана. Это, может, не с лучшей стороны характеризует Фадеева как руководителя (считается, что хороший начальник должен найти толковых исполнителей), но с самой лучшей — как человека. Помогает больным Тынянову, Исаковскому, Паустовскому… Характерный штрих: больную мать поэта Луговского, эвакуируемую из Москвы, Фадеев вносит в вагон на руках.

Писательница Мариэтта Шагинян: «Фадеев не только сумел вовлечь нас в огромную работу на оборону, он каждого из нас не выпускал из виду, воодушевлял, поддерживал, его близость чувствовали эвакуированные для работы в тылу писатели».

— Мы заставим их есть конину, ремни! — говорил Фадеев об оккупантах в октябре 1941-го на митинге. Немцы тогда стояли под самой Москвой. А конину на этой войне еще придется есть и самому Фадееву.

Анна Караваева так запомнила его в это время: «В шинели, в пилотке, из-под которой особенно резко белели седые виски, Фадеев напоминал пожилого солдата, сохраняющего свою былую молодую выправку, и казался намного старше своих сорока лет. На его еще более осунувшемся лице жестко выделялись обтянутые пожелтевшей кожей надбровные дуги… но голубые глаза смотрели молодо и зорко».

Выглядел старше — видимо, от нагрузки, от нервного напряжения. Мальчишеское сохранялось в нем и позже, даже ранняя седина не мешала. Чего стоит фото, где они с Шолоховым залезли на бронемашину — пацаны, да и только.

Семья Фадеева — в Чистополе. Сам он об эвакуации не думает. Вот как он описывал Москву ранней весны 1942 года в письме Луговскому (подписавшись «Пит Джонсон, эсквайр»): «Она очень демократична, бобровых воротников почти не видать, много военных, — нет коммерческих магазинов и ресторанов,

атмосфера подтянутости и дисциплинированности».

В начале 1942 года с помощью наркома пищепрома Зотова Фадеев организует отправку продуктов ленинградским писателям. В апреле сам едет в осажденный Ленинград, где остается до июля. Живет у поэта Тихонова, отдавшего Сталинскую премию за поэму «Киров с нами» на производство танка. Встречается с моряками-балтийцами. Едет прямо на трамвае на фронт — в район Стрельны. «Видом крови его трудно было смутить», — говорит о Фадееве Тихонов.

Помогает Кетлинской, руководившей ленинградской писательской организацией, решить вопрос об эвакуации коллег, не имеющих здесь «военно-литературного дела». Слушает у Веры Инбер ее блокадную поэму «Пулковский меридиан». Находит двоюродную сестру — Веронику Сибирцеву-Шушарину, «Ничку», младшую и последнюю из Сибирцевых. Вероника и ее дочь получают паек «иждивенцев». Выглядит сестра плохо: «Почти старуха, с подпухшими веками, высохшим, почерневшим лицом и опухшими ногами».

Слушает Шестую симфонию Чайковского в филармонии, куда с трудом достал билет. В городе работают книжные магазины и даже издательства — вышли «Война и мир», «Красное и черное»…

В декабре 1942 года снова едет на фронт — под Великие Луки. Посещает один из полков авиадивизии знаменитого Георгия Байдукова, пишет очерк «Летный день», встречается с батальонным комиссаром Борисом Полевым — будущим автором «Повести о настоящем человеке».

Военкорам в эти дни выдавали автоматы. Принципа несовместимости статусов комбатанта и журналиста, принятого сегодня, тогда никто бы просто не понял.

Борис Полевой: «Нам здорово тогда досталось под Ржевом. С целой армией зимой влипли в окружение и долго питались конницей генерала Белова, то есть замерзшими трупами лошадей этой конницы, побитых когда-то в конце осени. Вместе со всеми мы пилили эти трупы, отрезали тонкие ломтики конины и жарили на шомполах над кострами по старому удыгейскому[301] способу, рекомендованному Фадеевым. Этот способ так и получил тогда в частях шутливое название — „мясо по-фадеевски“. Ох уж это тронутое тленом мясо! Но есть было все-таки можно, особенно если удавалось натереть чесноком. А чеснок нам бросали с самолетов и выдавали по головочке на день. Вот тут-то мы, военные корреспонденты, и узнали, что за человечище Александр Фадеев. И полюбили его, высокого, красивого, уверенного, доброжелательного, неунывающего, умеющего в самые тяжкие минуты излучать какой-то нешумный, светлый,

чисто фадеевский оптимизм».

Писатели вместо умывания обтираются по утрам снегом. Бриться нечем, у Фадеева обозначились бородка и усы. Полевой и корреспондент Совинформбюро Евнович, выбившись из сил, объявляют забастовку.

— Поражаюсь вашему нелюбопытству, — говорит им Фадеев и уходит один куда-то вперед.

Пишет «Линушке» — жене Ангелине Степановой: «Мы с Борисом Полевым попали в район жарких боев за Великие Луки. В течение семи-восьми дней шла борьба за дома и улицы, сопровождавшаяся сильными боями в воздухе и артиллерийским огнем… Повидали столько величественного, трагического и прекрасного, что об этом вкратце не расскажешь».

В только что взятой части города военкоры видят танкиста, потерявшего руку и несущего оставшейся рукой двухлетнюю девочку, в тряпках которой — записка с именем «Галя». Евнович удочерил ее и отправил к жене в Москву. «Сюжет достоин Гюго!» — сказал Фадеев. Пообещал написать рассказ, но так и не написал, конечно.

Здесь же он присутствует при допросе пленных немцев — потом использует этот материал для описания Фенбонга в «Молодой гвардии».

Застольничает с маршалом Жуковым, причем Жуков играет на баяне «Позарастали стежки-дорожки…».

В январе 1943 года возвращается в Москву. Снова едет в Ленинград, где пробудет с января по март. В сентябре сдаст рукопись книги очерков «Ленинград в дни блокады» в «Советский писатель». Судьба книги непростая: ее не хотели печатать — мол, слишком мрачно, предлагали сгладить. Фадеев сопротивлялся, писал Жданову… Книга вышла в 1944 году и не переиздавалась.

Снова Москва, снова дела. Фадеев пишет Землячке — уже зампреду Совнаркома — о помощи еврейским писателям, эвакуированным из занятых немцами районов. Занимается и чисто литературными вопросами: просит Алексея Толстого председательствовать на вечере в честь 200-летия со дня рождения Державина…

15 сентября 1943 года «Правда» публикует указ о присвоении погибшим подпольщикам Краснодона званий героев. Рядом — очерк Фадеева «Бессмертие» (еще в августе ЦК комсомола предоставил ему краснодонскую фактуру). Через два дня Фадеев командируется в Ворошиловградскую (Луганскую) область для сбора материалов о деятельности подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» и написания книги о ней.

В январе 1944 года Фадеев освобожден от обязанностей главы

Союза советских писателей. Это не отставка — творческий отпуск, которого он сам добивался. Фадеев уединяется в Переделкине, пишет «Молодую гвардию». Писатель Лидин вспоминал: «В те годы он почти не пользовался автомашиной. Иногда в его руках была тяжелая кошелка с овощами: он отвозил выращенные им овощи матери в Москву».

Председателем правления союза в феврале стал Тихонов. Зощенко, повесть которого «Перед восходом солнца» Фадеев критиковал буквально только что, записывает: «Странная вещь: на Фадеева раньше нападали многие, а теперь в Москве все изменилось: Фадеева Москва все-таки любит, а Тихонова — нет…»

В мае 1944-го Фадеев на 3-м Украинском фронте. Одесса, Тирасполь, штурм Бендер: «Беспрерывно висящие в небе ракеты, видно, как днем. Слышны крики „ура“. Мощный огонь артиллерии и работа авиации. Ад!»

Война заканчивается. В декабре 1945 года Фадеев ставит точку в «Молодой гвардии». Пора возвращаться к руководству союзом.

На войне, вспоминали многие фронтовики, они почти не болели — и это в окопах, на морозе, в непогоду… Болеть стали позже. В так называемое мирное время.

Война если не обнуляла, то отодвигала на второй или третий план разногласия, конфликты, нестыковки. И в организме, и в стране.

Возможно, именно на войне Фадеев чувствовал себя лучше всего — легче. Было ясно, где враг и что делать.

Отдельная тема — Фадеев и женщины. Не хочется ее ворошить — но обойти нельзя.

Женат Фадеев был дважды.

Первая жена — Валерия Анатольевна Герасимова (1903–1970), прозаик. Поженились они в 1925-м, разошлись в 1932-м, хотя брак обрушился тремя годами раньше. Дружеские отношения, однако, сохранились на всю жизнь.

«Еще до лета 37-го года был одиноким. Это очень плохо — человеку быть одиноким в течение многих лет в самом расцвете его сил», — писал Фадеев позже Асе. Ему казалось, что он уже никого не сможет полюбить.

Он сблизился было с актрисой Тамарой Адельгейм. Намерения были серьезные. Писал ей: «Оборудуем нашу квартиру», «Заведем вполне оседлый образ жизни»…

Но вот летом 1937 года в Париже Фадеев познакомился с актрисой Ангелиной Иосифовной (Осиповной) Степановой (1905–2000), приехавшей туда на гастроли с МХАТом, и погиб: «Не могу и часа жить без вас. Возможно, я буду спать у вас в подворотне в Газетном переулке…» С мужем, режиссером Горчаковым, Степанова к тому времени рассталась, у нее были романы с драматургом Николаем Эрдманом, потом с Борисом Пильняком. Ходили слухи, что ее сын Саша, родившийся в июле 1936-го, был сыном Пильняка. Фадеев, давно мечтавший о детях, его усыновил. Александр Фадеев-младший стал актером[302].

Общий ребенок Фадеева и Степановой Михаил (искусствовед, совладелец и руководитель галереи «Модерн Арт Академия») появился на свет в 1944 году. Сына своего он назовет Александром[303], дочь — Марией[304].

Интересно, что Ангелина Степанова тоже была дальневосточницей — родилась в Николаевске-на-Амуре. 75 лет на сцене МХАТа, народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда…

Гармоничной их семейную жизнь назвать сложно. «Мы оба страшно заняты, судьба то и дело разлучает нас», — писал жене Фадеев. У него — тысяча своих дел, у нее — своих: театр, гастроли… В 1939-м он пишет «Линушке»: «Я вступил в полосу большого личного счастья, но мы не имеем возможности пользоваться им… У меня просто сердце сжимается от тоски, любви, боли, неудовлетворенности, желания счастья и близости».

В юности он, чистый и наивный мальчик, не хотел сходиться с девушками без любви. Потом жизнь взяла свое. Фадеев не был

донжуаном, но не был и праведником. Он любил женщин, женщины любили его. «Тщательно скрываемая от других подлинная страстность», — говорил он о своем характере. Лучшей своей чертой считал «исключительную жизнерадостную непосредственность», тогда как «рефлектирующий Фадеев — это уже не Фадеев». Хотя и это-то как раз — тоже Фадеев…

Известно о связи Фадеева с поэтессой Марией Петровых (стихи Мандельштама «Мастерица виноватых взоров, маленьких держательница плеч…» посвящены ей). С вдовой Булгакова Еленой Сергеевной, прославленной романом «Мастер и Маргарита». С другой Маргаритой, Алигер[305] — их роман начался в 1942 году, когда муж Алигер, композитор Константин Макаров-Ракитин, уже погиб на фронте, а жена Фадеева была с театром в эвакуации. В 1943-м Маргарита родила дочь Марию — красивую, голубоглазую, похожую на Фадеева[306]… Но разрыва с Ангелиной не случилось. Более того, как скажет в одном из интервью Михаил Фадеев, брак его отца и Степановой был зарегистрирован только после рождения самого Михаила.

В последние годы жизни Фадеев был близок с Клавдией Стрельченко — молодой вдовой поэта Вадима Стрельченко.

Фадеев был красивый, видный мужчина, особенно в зрелом возрасте, когда «мальчик с большими ушами» исчез. Высокий (судя по фото, только Маяковский да еще приморский тигролов Глушак были выше Фадеева), крепкий, широкоплечий. Скуластый и этим немного похожий на Шукшина. Есть снимок 1933 года — Фадеев в Приморье, сидит на земле, еще и в сапогах; похоже на известное фото Шукшина на Пикете.

В юности он мог казаться несуразным, нескладным — потом дозрел, возмужал. Фадеев был из тех мужчин, которых возраст делает лучше. Так из гадкого утенка вырастает белый лебедь.

Актер Павел Гарянов уже в 1928-м отметил: «Куда девались его угловатость, некоторая неуклюжесть? Он раздался в плечах, движения его стали уверенными и широкими».

Марк Колосов: «Портрет его был как бы только вчерне набросан природой и еще не отшлифован, это произошло позднее, с годами, когда его лицо и его стать вызывали восхищение».

Антал Гидаш: «Стройный, на диво сложенный… Статный, элегантный, спортивный».

Вера Инбер: «С годами Фадеев все больше хорошел лицом… На смену „ушастенькому“ мальчику пришел человек редкостной красоты. Широко развернутые плечи. Гордая посадка головы в ранней седине. Соколиной зоркости глаза… Лицо Фадеева вообще было необычайно выразительно. „Реактивно“, как сказали

бы психологи». В минуты гнева, пишет Инбер, он краснел не только лицом — краснела шея, а если ворот был распахнут, то было видно, что краснеет и грудь.

Гарянов вспоминал, что уже в Ростове в конце 1924 года «чуб его кое-где уже успел покрыться серебром, а на висках явно вырисовывалась седина»[307].

Либединский: «Седина как-то особенно красила его… Стройный, сухощавый, он казался молодым».

Поэт Сергей Васильев:

Полдень века стоит на дворе,
Сыновей своих окликая.
Голова твоя — в серебре,
А душа твоя — молодая.

Актер В. Иванов: «Он был выше других ростом, седой как снег, и мне почудилось, что над его белой, гордо посаженной головой сияет нимб».

А. Яшин: «Я, кажется, видел не седину, а сияние вокруг его головы».

Д. Гранин: «Седые волосы его не старили. В стройной его высокой фигуре была легкость, упругость здоровья».

В. Лидин: «Высокий, всегда строго подобранный, с красивой, отлично посаженной головой, с серебряными волосами, оттенявшими розовый молодой цвет кожи, проходил он среди нас, и им нельзя было не любоваться. Казалось, он не несет на своих плечах возраста: так легка его походка. В летние утренние часы, когда люди поеживаются от холодка и трава мокра от росы, проходил не раз он от пруда в дачной местности, где жил, с полотенцем на шее, столь дышащий свежестью, что становилось почти завидно. Он рано поседел, но седина эта словно не имела никакого отношения к его годам: она просто казалась подробностью его красивого облика».

Ю. Бондарев: «Помню его — высокого, красивого, живого, с блестящими глазами».

Писатель В. Важдаев: «Серебряный сеттер».

Долматовский несколько сбивает пафос, вспоминая, что седина Фадеева норовила приобрести желтый оттенок. Фадеев этого стеснялся и боролся с желтизной при помощи «синьки». Однажды, рассказывал Долматовскому Фадеев, он не успел домыть голову — вызвал Сталин. Вождь посматривал на него с ухмылкой. Только дома писатель понял, почему: он был «комически синеголов».

Вот так: от нимба и сияния до комической синеголовости.

Литераторы с видимым удовольствием описывали облик Фадеева. Чего стоит такой пассаж Марка Колосова: «Фадеев слушал меня, поблескивая глазами, чем-то похожими на глаза Циолковского. Сходство их состояло в том, что те и другие были холодновато-резкие, сделанные как бы из звездного вещества, блестели сильнее и слабее, мерцали или тускнели; свет, исходивший из них, шел как бы издалека. Когда мозг Фадеева фосфоресцировал особо интенсивно, Фадеев шумно вдыхал в себя воздух и выдыхал тонкой струей, как бы охлаждая внутреннее горение. И если правильно утверждение Бальзака, что рука есть продолжение мысли, то, может быть, поэтому в такие минуты Фадеев дул на кончики пальцев, словно их обжигало электрическим током».

В кадрах хроники удивляет неожиданно высокий голос Фадеева — в сочетании с безусловно мужественным обликом.

Гидаш: «Говорит с трибуны высоким глуховатым голосом, в рождении которого участвуют, очевидно, не только легкие, голосовые связки, но и все тело высокого напряжения».

Колосов: «Он начинал речь сразу с самой высокой ноты, вот-вот сорвется, а не срывался. Голос у него был высокий, юношеский, страстный, рвущийся из глубины души и потому берущий за душу».

Как каждый видевший Гагарина вспоминает его фирменную улыбку — так все знавшие Фадеева говорят о его смехе. Писатели описывали фадеевский смех наперебой, словно оттачивая мастерство.

П. Максимов: «Вдруг взвизгнет, как девочка, и засмеется своим тоненьким „девчачьим“ смехом. И всем, кто слышал этот смех, сразу становилось ясно, что таким детски чистым, доверчивым смехом не мог смеяться плохой человек».

К. Федин: «Он останется в нашем сознании прежним — веселым, красивым, пышущим красками жизни, со своими незабываемыми россыпями пронзительного звонкого смеха…»

Режиссер С. Герасимов: «Высота лба, седина легких волос… и неожиданный звонкий смех… Хохотал, весь сияя — и глазами, и зубами, и розовостью лица, и белоснежной сединой».

Е. Таратута: «Когда он смеялся — он смеялся весь, весь целиком, до слез».

Поэт Анатолий Калинин:

И звучит этот взрывчатый,
Не такой, как у всех,
Этот смех, как рассыпчатый
И сверкающий снег…

А. Караваева: «Смеялся он почти по-детски, слегка захлебываясь и чуть откидываясь назад… Закинув голову с забавно качающимися хохолками русых волос, он заливался теноровым негромким смехом, с легкой приятной хрипотцой, как бывает у детей в минуты увлечения».

С. Васильев: «Тогда-то я в первый раз услыхал громкий, неожиданно заливистый, знаменитый заразительный смех Фадеева и выбежал на улицу, ошеломленный и счастливый».

В. Важдаев: «А как он хохотал — громко, безудержно, рассыпчато, с нарастающим восторгом, обнажая рот, полный зубов, багровея от прилившей к лицу крови, сверкая глазами, весь открытый, весь от головы до пят принадлежа в это мгновение охватившему его чувству. Каким надо было быть жизнелюбом для того, чтобы так сочно и вкусно воспринимать жизнь!»

Н. Тихонов: «Его седые волосы сверкали голубыми искрами. Он много смеялся своим тонким и звонкодрожащим смехом».

В. Инбер: «Мы помним и его совершенно своеобразный, фальцетный, заразительный смех. Смеялось все существо Фадеева. Однажды (в шутку) я сказала ему, что он смеется так, как будто его щекочут русалки».

Перед «оттепелью»

После завершения «Молодой гвардии» Фадеев возвращается к руководству Союзом писателей. Его должность зовется «генеральный секретарь», как у Сталина. Заместителями Фадеева стали Симонов, Вишневский, Тихонов, Корнейчук.

Симонов: «На предыдущем заседании он очень решительно отнекивался, говорил, что, только-только закончив „Молодую гвардию“, после многих лет почувствовал вкус к действительной писательской работе и полушутя, полусерьезно просил его не губить… Как писатель он не хотел руководить Союзом, это была правда, но как литературно-политический деятель искренне не видел, кто бы мог это делать вместо него. Это тоже было правдою — и не только субъективно, но для того времени и объективно. Так что Фадеев как глава Союза не был ни для кого из нас неожиданностью, сама формулировка „генеральный секретарь“, несомненно, не могла прийти в голову никому, кроме Сталина».

В феврале 1946 года Фадеев становится депутатом Верховного Совета СССР от Чкаловской (Оренбургской) области. Он уже не генерал, а пожалуй что маршал — и не только литературный.

Но времена изменились, изменился и сам Фадеев. Того запала, с которым он начинал свою карьеру, уже нет. Может быть, он разуверился в себе, может — в окружающем мире.

В 1952-м он напишет Ольге Форш о Союзе писателей: «К сожалению, нельзя сказать словами Пушкина: „Друзья мои, прекрасен наш союз!“». И дальше: «Чувствуешь себя уже не человеком, а учреждением».

Это учреждение было часто похоже на собес. Фадеев продолжает свою «социальную» деятельность — помогает писателям, выбивает квартиры… Валерия Герасимова: «Какое количество макулатуры он принужден был читать! Какое количество никому не нужных, а чаще всего и вредных заседаний он провел!» Сам Фадеев в 1943 году писал: «Безумно много хлопот и мелких забот… Я столько докладываю и столько председательствую, что стал уже похож на Луначарского, только без его знаний и без его искрометного ораторского дарования». К. Чуковский, 1946 год: «Он переутомлен, у него бессонница, работа сверх головы, прочитывает груды чужих рукописей, одни приемы в Союзе отнимают у него десятки часов, но — грудь у него всегда вперед, движения очень четки, лаконичны, точны, и во всем, что он делает, чувствуется сила».

Материальное положение Фадеева даже в эти его, казалось

бы, благополучные годы часто оставляло желать лучшего — долги, безденежье. Он и раньше не особо шиковал[308], и теперь: всегда находилось о ком заботиться, а гонорары были нечастыми, писал Фадеев мало. «Мои финансовые дела несколько пошатнулись», — сообщает он в 1948-м старому подпольщику Цапурину. Только в этом же 1948-м ему — казалось бы, уже взлетевшему выше некуда, к тому же любимцу Сталина — выделили подобающую его статусу квартиру на улице Горького, 27. Причем об улучшении его жилищных условий Сталина просили писатели-супруги Александр Корнейчук и Ванда Василевская. Сам Фадеев улучшал эти самые условия другим — а себе стеснялся, скромничал.

Он не теряет интереса к литературе. Встает на защиту повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда», увидев в ней живое, настоящее. «Вещь в обиду не дадим», — пишет Фадеев редактору «Знамени» Вишневскому. Тот потом сообщал Некрасову: «Готовился довольно крупный камуфлет (в литературном и саперном смысле), была уже приготовлена статья. Но это дело нашими усилиями было ликвидировано».

Восторженно отзывается о «Звезде» Казакевича, в которой улавливаются сюжетные пересечения с «Разгромом». Приветствует первые вещи Гранина, Рыбакова, Нагибина.

В 1950 году Фадеев избран вице-президентом Всемирного совета мира, главой которого стал лауреат Нобелевской премии по химии Фредерик Жолио-Кюри. «В движении за мир он был неутомим, входил во все детали», — пишет Эренбург.

Фадеев в эти годы был, без всякой иронии, выдающимся общественным деятелем. Его депутатская переписка насчитывает 14 тысяч писем к избирателям и в различные учреждения по поводу их дел и просьб.

Ищет время, чтобы писать самому. Находит с трудом. Он не мог позволить себе писать плохо, а хорошо, как он считал, уже не получалось. К себе он по-прежнему сверхтребователен, даже беспощаден. Готовя к печати сборник литературно-критических статей «За тридцать лет», мог кое-что поправить, убрать «перегибы»… Не стал — оставил все без купюр и правок. Объяснил редактору сборника Преображенскому: «Так тогда думалось… Лакировкой пусть занимаются другие». Многие бы могли так сказать?

После войны в Фадееве чувствуется надлом, который потом будет только усугубляться. Дело и в ухудшившемся здоровье, и в неудовлетворенности тем, что он делает сам и что происходит вокруг.

В марте 1951 года Фадеев обращается к Сталину с просьбой

об очередном отпуске на год — для «Черной металлургии». В письме — отчаяние: «Со дня выборов меня Генеральным секретарем Союза писателей в 1946 году я почти лишен возможности работать как писатель». Рассказы и повести, кричит Фадеев, «заполняют меня и умирают во мне, не осуществленные. Я могу только рассказывать эти темы и сюжеты своим друзьям, превратившись из писателя в акына или ашуга… Несмотря на присущие мне иногда срывы, я работаю с подлинным чувством ответственности и добросовестно…» Фадеев просит снять с него часть нагрузок — прежде всего по линии СП, освободить от обязанностей председателя комиссий по изданию Л. Толстого и Горького. Готов оставить за собой другие дела — во Всемирном совете мира, комитете по Сталинским премиям, Верховных Советах СССР и РСФСР…

Отпуск Фадееву дали, но использовать его не удалось: шесть поездок за границу, бумаги, Сталинские премии, конференция сторонников мира и снова бесконечные бумаги… Другой бы жил и радовался такой жизни — но не Фадеев. Он-то помнил, что прежде всего он — писатель и должен писать.

В начале 1950-х Фадеев много болеет. Постепенно отходит от руководства Союзом писателей, хотя формально остается первым лицом. Фактически союзом начинают руководить Софронов[309] и Сурков[310]. «Из Софронова, оценив его недюжинную энергию, но не разобравшись нисколько в сути этого человека, Фадеев сделал поначалу послушного подручного, при первой же возможности превратившегося во вполне самостоятельного литературного палача», — пишет Симонов. Вскоре, по словам Симонова, Фадеев стал избегать иметь дело с Софроновым. Подобная история произошла с критиком Владимиром Ермиловым, которого многие считали подручным Фадеева. Ермилов, пишет Симонов, «стал проявлять излишнюю самостоятельность и публично и неблагодарно кусать столько лет во всех перипетиях поддерживавшую его руку».

Фадеев утратил чутье на людей?

Важно сказать о его отношениях с Твардовским. Фадеев его поддерживал, они мыслили во многом сходно. В 1954-м после публикации в «Новом мире» статьи Владимира Померанцева «Об искренности в литературе» Твардовского сняли с поста редактора журнала. Фадеев не протестовал, что Твардовского обидело. Но уже с 1953 года Фадеев был лишь номинальной фигурой в руководстве Союза писателей — ключевые решения принимали Сурков и Софронов. Непростое, двойственное положение: сделать ничего не можешь, а ответственность, прежде всего моральную, несешь.

Твардовский счел поведение Фадеева предательством. Дружба рушится — а как нежно они еще недавно называли друг друга в письмах: «Дорогой седой и мудрый Саша!» (Твардовский), «Дорогой мой Сашенька!» (Фадеев). В марте 1956-го Фадеев пишет Твардовскому, по словам последнего, «ужасное письмо», переходит на «вы» и объявляет о разрыве навсегда. 11 мая 1956 года Фадеев скажет Эсфири Шуб: «Даже Твардовский оказался плохим товарищем». Было, как пишет Чуковский, и другое «ужасное письмо» — Твардовского Фадееву: «Осудил его металлургический роман, высмеял его последние речи, и это очень огорчило Фадеева».

Твардовский, к его чести, смог быть выше обиды. 20 мая 1956 года написал: «Конечно, да, если б я мог предполагать этот его конец, я бы всем поступился, чтобы спасти его». Он много думал о Фадееве, переосмысливал произошедшее. Был куда более добросовестен в понимании драмы Фадеева, чем советские и постсоветские литературоведы, хотя имел личные счеты с ним и право на резкую оценку. В «За далью — даль» Твардовский мирится — уже в одностороннем порядке — с Фадеевым. Это о нем строки оттуда:

…Твоя седая, молодая,
Крутой посадки голова!

В 1960-е Александр Трифонович не стал печатать в «Новом мире», редактором которого снова стал, главу о Фадееве из мемуаров Эренбурга. Эренбург, счел Твардовский, изобразил Фадеева в «невыгодном и неправильном» свете.

После смерти Сталина наступает самый малоизвестный и самый, может быть, интересный период в биографии Фадеева. Очень важный. Тем более что — финишный.

Смерть Сталина в письме Асе он назовет «ужасным несчастьем, обрушившимся на нашу страну».

12 марта 1953 года в «Правде» выходит статья Фадеева «Гуманизм Сталина». 14 марта по поводу этой статьи ему напишет Пастернак: «Это тело в гробу с такими исполненными мысли и впервые отдыхающими руками вдруг покинуло рамки отдельного явления и заняло место какого-то как бы олицетворенного начала, широчайшей общности, рядом с могуществом смерти и музыки, могуществом подытожившего себя века и могуществом пришедшего ко гробу народа. Каждый плакал теми безотчетными и несознаваемыми слезами, которые текут и текут, а ты их не утираешь, отвлеченный в сторону обогнавшим

тебя потоком общего горя, которое задело за тебя, проволоклось по тебе и увлажило тебе лицо и пропитало собою твою душу…»

Оба, без сомнения, были искренни.

У обоих, что интересно, не сложились отношения с «травоядным» Хрущевым — а со Сталиным они как-то уживались. Травля Пастернака, его вынужденный отказ от Нобелевской премии — это уже хрущевское время…

Фадеев задолго до XX съезда и «оттепели» начинает выступать против сложившейся системы управления искусством в стране. Еще в феврале 1950 года на пленуме правления СП он произносит речь «За коллегиальное руководство литературой!». Называет гарантией от ошибок — коллективность: время «вожачков» прошло.

Либединский вспоминает: в феврале 1953 года Фадеев говорил, что неправильно, если оценку книгам дает один человек, пусть даже Сталин. Предлагал «наладить основательное изучение читательских оценок», «серьезные общественные обсуждения каждого художественного произведения по его выходе». Вот настоящий Фадеев. Демократ — в самом прямом и хорошем смысле этого слова.

В мае 1953 года пишет Суркову о необходимости перестройки СП: «Чтобы все ведущие писатели страны, те 30–50 человек, на которых и в центре и в республиках фактически лежит все „бремя руководства“ Союзом писателей, были по меньшей мере на четыре пятых высвобождены от этого бремени и чтобы их творческая работа, их собственная работа над собственными произведениями стала их главной деятельностью».

Это он, конечно, и о себе.

Дальше: «Советская литература по своему идейно-художественному качеству, а в особенности по мастерству за последние 3–4 года не только не растет, а катастрофически катится вниз… Проза художественная пала так низко, как никогда за время существования советской власти. Растут невыносимо нудные, скучные до того, что скулы набок сворачивает, романы, написанные без души, без мысли…»

В. Герасимова пишет, как после смерти Сталина Фадеев на закрытом партсобрании московских писателей предложил распустить СП, заменив его чем-то вроде творческого клуба: «Боже, какую ярость вызвало это предложение! Бездарные люди, которые уже пристроились к административному пирогу Союза, в первую очередь накинулись на него… Саша был буквально оплеван: сидел, краснея шеей и лицом, изредка нервически мигая острым своим и сердитым голубым глазом». Потом ушел — один. «Совсем один, как и был всё последнее время».

В октябре 1953 года должность писательского генсека упраздняют. Остается «председатель правления», которым снова избирают Фадеева, но все большее влияние набирают Софронов, Сурков, Грибачев[311]. Фадеева отодвигают. Если раньше он сам то и дело просил отпуск, то теперь воспринимал происходящее болезненно: он становился не нужен. Фадеев не мог быть художником-одиночкой — ему нужно было ощущение собственной востребованности всей страной, народом, властью.

С августа по октябрь 1953 года Фадеев пишет Маленкову и Хрущеву (тогдашним первым лицам СССР) несколько докладных записок — «О застарелых бюрократических извращениях в деле руководства советским искусством», «Об улучшении методов партийного, государственного и общественного руководства литературой», «Об одной вредной привычке „Правды“». Собственно, его предсмертная записка — продолжение и своеобразное резюме этих докладных, которым так и не дали хода.

Фадеев не был догматиком и «ретроградом»: в записках этих — смелые, даже резкие оценки. Он выступает за самостоятельность художника, против робости мысли и оглядки на приказы. Действует как революционер сверху, «системный» диссидент. Критикует не отдельные недостатки — всю систему управления культурой.

Наверное, свою роль сыграли и смерть Сталина, и арест Берии. Писатель решил, что сейчас можно и нужно сделать то, что еще недавно казалось нереальным.

Оказалось — и теперь нельзя. Фадеева уже не слушают.

В каком-то смысле именно эти докладные записки могли бы начать «оттепель». Фадеев был одним из первых — а первым всегда сложно и страшно. Но роль его в «оттепелизации» страны практически забыта — мы привыкли вспоминать в связи с этой темой другие имена. Отчасти так произошло потому, что сам Фадеев, соблюдая нормы партийной дисциплины, не выносил свои мысли на публику. Его письма в ЦК не были открытыми: кроме Суркова, Симонова и Ермилова (и самих адресатов), их никто не читал. А потом они легли под сукно.

Если из-под обломков РАППа Фадеев выбрался окрепшим, то после ухода Сталина вышло ровно наоборот: он терял силу. Он был готов к переменам и пытался ускорить их наступление — но словно потерял волну или ветер.

Вот что он писал Маленкову и Хрущеву в записке «О застарелых бюрократических извращениях…»: при царе постоянно появлялись великие писатели, а теперь, при самой прогрессивной власти, их нет. «Правильно ли мы используем те

гигантские… силы, которые заложены в тысячах талантливых людей?.. Доверяем ли мы им в такой степени, как они того заслуживают? В полной ли мере развязали мы их общественную и творческую инициативу? Не слишком ли мы их „заопекали“? Не отучаем ли мы их от самостоятельного мышления?..» Фадеев говорит о захирении советского кино, потому что оно отдано во власть чиновников, в силу чего режиссеры «утратили самостоятельность и смелость, необходимую всякому художнику, приобрели робость мысли и постоянную оглядку на то, что им прикажут». Театр — то же: «Нет более зависимых и бесправных в идейно-творческом отношении деятелей искусств в стране, чем работники театра», которые «живут с оглядкой на государственных чиновников, стоящих над ними». Музыка — то же. Наконец, литература: «Мы так „заорганизовали“ нашу литературу…» Фадеев предлагает передать функции идейно-творческого руководства искусством партийным органам, называя Минкульт «лишней идеологической инстанцией». Считает нужным от методов принуждения переходить к методам убеждения и воспитания, демократизировать творческую жизнь, ослабить госконтроль, ввести «коллективное руководство от самого низа до самого верха»…

Ни Хрущев, ни Маленков, ни Суслов, несмотря на уже начинавшуюся, пусть и осторожно, либерализацию, даже не приняли Фадеева. За несколько дней до смерти он написал Ермилову: пробился лишь к секретарю ЦК Поспелову, но и с тем разговора не вышло. В ответ на предложения Фадеева Поспелов пенял ему на алкогольные срывы. «Позиция моя была слабой, так как в этом вопросе я действительно был очень виноват», — признавал Фадеев. Он считал, что Сурков приложил руку к тому, чтобы в ЦК создалось мнение: письма — плод фадеевской алкогольной депрессии, а значит, принимать их всерьез не стоит.

В декабре 1954 года на Втором всесоюзном съезде писателей Фадеев произнес речь, похожую на исповедь. Даниил Гранин — один из самых молодых делегатов — отметил «необычную для того времени самокритичность его, как он говорил об ошибках в работе секретариата и более всего о своих собственных ошибках… Подобное слышать с трибуны мне никогда не приходилось».

По итогам съезда Фадеев покинул пост руководителя СП СССР. Первым секретарем правления становится Сурков, Фадеев — в числе одиннадцати секретарей. У него противоречивые чувства: наконец-то станет меньше забот и можно будет завершить роман — но, с другой стороны, неужели он больше не нужен как организатор? Чуковский: «Он был не создан для

неудачничества, он так привык к роли вождя, решителя писательских судеб — что положение отставного литературного маршала для него было лютым мучением».

«Я чувствую себя сейчас гораздо более свободным», — пишет он Асе в январе 1955 года. А уже в апреле: «Я, конечно, остался по-прежнему очень несвободным, переобремененным заботами и очень зависимым от обстоятельств человеком, „человеком-учреждением“».

В феврале 1956 года состоялся XX съезд КПСС, на котором прозвучал знаменитый закрытый доклад Хрущева «О культе личности и его последствиях».

По поводу присутствия на съезде Фадеева есть разные мнения. Жуков пишет, что Фадеев попал в число делегатов, но участвовать не смог, поскольку почти всю зиму провел в больнице. Д. Бузин утверждает, что Фадеева не включили в число делегатов XX съезда, что было знаком опалы (в списке делегатов Фадеев действительно не значится), но он как член ЦК был вправе принять участие в работе съезда. По словам Бузина, Фадеев сбежал от врачей и пришел на съезд.

На съезде его избирают уже не членом, а только кандидатом в члены ЦК. Здесь же его критикует Шолохов: «Фадеев оказался достаточно властолюбивым генсеком и не захотел считаться в работе с принципом коллегиальности» — другими словами, за все брался сам. Дальше докладчик сгладил: «А вы думаете, если бы во главе руководства стоял, допустим, Шолохов или Симонов, то положение было бы иным? Было бы то же самое…» Последующие слова Шолохова проникнуты уже сочувствием к Фадееву: «Общими и дружными усилиями мы похитили у Фадеева пятнадцать лучших творческих лет его жизни, а в результате не имеем ни генсека, ни писателя… Неужто для административно-хозяйственной работы не нашлось у нас в партии человека масштабом поменьше?»

Фадеева выступление Шолохова серьезно задело. Он и в предсмертном письме напишет о призыве «ату», прозвучавшем с трибуны XX съезда.

Не убежден, что следует соглашаться с оценкой Шолохова о властолюбивости Фадеева. От начальственных постов он не раз отказывался, начиная еще с Ростова, да и постоянные просьбы о творческом отпуске говорят сами за себя. Хотя, например, Симонов писал, что иногда Фадеевым овладевало «литературное политиканство» — вопреки «всему тому главному, здоровому и честному по отношению к литературе, что составляло его истинную сущность».

Фадеев был прежде всего человеком долга. Отсюда — и то самое «властолюбие». Он хотел писать — но не мог оставить другие дела, не считал себя вправе.

Одни теперь видят СССР кошмарным Мордором, другие — утраченным раем. В обоих случаях Советское государство понимается как нечто внешнее по отношению к человеку: вот оно его давит или, напротив, поднимает к свету. А вернее — всё одновременно, по лозунгу 1930-х: «Железной рукой загоним человечество к счастью».

Но дело еще и в том, что молодой СССР был в большой степени, как ни странно это сейчас произносить, демократическим государством.

Если рядовой человек был все-таки в основном объектом исторических процессов, а субъектом лишь в малой мере — один голос, одна винтовка, один плуг, — то Фадеев был не только продуктом своего времени, но и его творцом.

Он очень серьезно относился к обществу, в котором жил и которое строил. Чувствовал свою ответственность за все, что в этом обществе происходит.

Вот два показательных эпизода.

Писатель Александр Яшин в Переделкине обрубал сучья на елке — понадобились дрова. Мимо шел Фадеев.

— Куда вы? — спрашивает Яшин.

— Думал — в лес, на прогулку, а сейчас придется завернуть в лесничество, сообщить о нарушителе, — отвечает Фадеев, хотя и смеясь.

Вторая история: другой сосед по Переделкину, писатель Павел Нилин, попросил Фадеева помочь спилить дерево. Пилят. Вдруг, вспоминает Александр Нилин (сын), лицо Фадеева меняется:

— Павлик, а у тебя есть разрешение лесхоза пилить?

Лесхоз — рядом, но Нилин не удосужился туда сходить.

«Фадеев огорчен — пилят тем не менее дальше», — резюмирует Нилин-младший. Он объясняет реакцию Фадеева не какой-то его особенной любовью к природе, а почти религиозной законопослушностью: «Фадеев ощущает себя государственным человеком — и всякое нарушение общих для всех правил ему неприятно».

Иначе какие же мы коммунисты, какие «новые люди»? Фадеев был идеалистом, что создавало ему массу проблем. А в итоге — вкупе с другими причинами — привело к гибели.

…Эренбурга в Китае звали «Эйленбо», что означало «крепость любви». Фадеева китайцы величали «Фадефу». Он с гордостью

сказал Эренбургу: по-китайски это значит «строгий закон».

Разгром «Молодой гвардии»

Устойчивый миф о «Молодой гвардии» гласит: Фадеев написал неплохую книгу, но усатый тиран заставил усилить в ней роль партии. Фадеев взял под козырек и книгу переписал, чем безнадежно ее испортил.

С действительностью у этого мифа, как и у всякого другого, отношения сложные.

…Оконченных больших произведений у Фадеева всего два: великолепный «Разгром» и искренняя, жаркая «Молодая гвардия».

Между ними есть внутренняя связь.

В 1918–1919 годах Фадеев сам был «молодогвардейцем» — работал в большевистском подполье наводненного интервентами Владивостока, потом ушел в партизаны. Психологию подпольщика он знал на личном опыте.

Шахтерская среда тоже была ему хорошо знакома (сучанское «угольное племя»). «Я охотно взялся за роман, чему способствовали некоторые автобиографические обстоятельства. Собственную юность я начал также в подполье… Судьба так сложилась, что первые годы юности проходили в шахтерской среде. Потом пришлось учиться в горной академии. И наконец, в 1925–26 годах много пришлось работать в соседнем с Краснодоном шахтерском округе», — вспоминал писатель. Он вообще был неравнодушен к шахтерам — в сценарии «Сергей Лазо» появляется «угольное племя», на этот раз — из сибирского Черемхова.

Есть и более глубокие исторические параллели. Николай Пегов, в 1938-м возглавивший Приморский край, вспоминал, что перед ним встала задача срочного увеличения добычи угля: «Возникла мысль расшевелить старую шахтерскую гвардию[312] Сучана, кадровых горняков, ушедших уже на пенсию. Большинство из них приехали из Донбасса с первыми партиями „законтрактованных“ рабочих и начинали здесь разработку угольных месторождений. В годы революции и гражданской войны они с оружием в руках завоевывали и отстаивали Советскую власть в Приморье».

История закольцевалась: Донбасс — Сучан — Донбасс.

Тему книги предложил ЦК комсомола. Но сказать, что Фадееву поручили — и он послушно козырнул, было бы упрощением (мы помним, как он отказался от написания биографии Сталина). Сначала речь шла о том, что он как писательский глава посоветует кому-нибудь из литераторов

взяться за тему Краснодона. Фадеев хотел поговорить с Тихоновым, Горбатовым… Но вдруг увидел, что это — *его*. Из ЦК комсомола через пару недель позвонили, чтобы узнать, кто возьмется за книгу, — а Фадеева на месте не оказалось: сорвался в Краснодон.

На Донбассе — уже на новом витке истории — повторилась его собственная юность.

Фадеев отмечал: молодогвардейцы были интеллигентными молодыми людьми, тогда как в приморском подполье времен Гражданской «интеллигентных молодых людей… было чрезвычайно мало» — та молодежь была «полуграмотной», а революционность ее была «в основном стихийной». Но вот поколение сменилось. Выросли новые люди, родившиеся уже в 1920-х. У членов «Молодой гвардии», писал Фадеев, революционное сознание — ясное, а не стихийное.

В Приморье шла Гражданская — но воевать приходилось и с японцами, и с другими интервентами, в силу чего война приобретала черты национально-освободительной. На Донбассе шла Отечественная — но противостоять приходилось и «своим» предателям-полицаям. Зеркальная ситуация.

Фадеев писал не только о краснодонцах, но и о себе, о своих товарищах: «Когда я начал работать над „Молодой гвардией“, мне казалось, что я пишу не о подпольной организации Краснодона периода второй мировой войны, а о владивостокском большевистском подполье…»

Вряд ли случайно и такое совпадение: именно в период работы над «Молодой гвардией» Фадеев стал разыскивать любовь своей юности Асю Колесникову, которую не видел четверть века. Их переписка завязалась во время работы над второй редакцией романа. Взявшись за краснодонский материал, Фадеев вернулся к своему прошлому, наделяя молодогвардейцев чертами старых приморских друзей. «Заповедные образы своей юности он переодел в одежды комсомольцев сороковых годов. Впрочем, лжи тут не было…» — заметила В. Герасимова.

Справедливо пишет Яков Голомбик — последний из «коммунаров» — о надгробии Фадеева на Новодевичьем кладбище: «Когда я вижу группу молодогвардейцев под его скульптурным портретом, они принимают для меня образы молодых партизан — Бородкина, Фадеева, Судакова (Билименко), Нерезова, Дольникова»[313].

Уже не удивляешься тому, что молодогвардейцы в фашистском застенке поют про «штурмовые ночи Спасска», а лирическое отступление «Друг мой! Друг мой!.. Я приступаю к самым скорбным страницам повести и невольно вспоминаю о

тебе…» обращено автором к расстрелянному «соколенку» Грише Билименко.

Финальные сцены романа, в свою очередь, отсылают к описанию гибели Игната Пташки в «Последнем из удэге».

В книгах есть и прямые сюжетные пересечения. В каком-то смысле «Молодая гвардия» — это «Разгром-2»: снова отряд гибнет, и остаются немногие, чтобы жить и исполнять обязанности.

А вот — из поздней (1950) критики «Разгрома» от Корнелия Зелинского: «Будучи глубоко партийным по методу и всему духу своему, этот роман обошел жизнь самого партийного коллектива… Партизаны даже не упоминают имени Ленина. Вряд ли так было в действительности. В действительности Уссурийская тайга в те годы жила политикой» (Зелинскому из Москвы, конечно, виднее, чем жила Уссурийская тайга). Не критика ли первой редакции «Молодой гвардии» — именно за недостаточно отраженную роль партии — сподвигла Зелинского на этот выпад?

Можно сопоставить Мечика из «Разгрома» и Стаховича из «Гвардии»: та же тема «недоброкачественного человека», который, не обладая подлинной «идейностью», в критической ситуации ломается и подводит товарищей.

Но самое главное — в другом. Фадеев сразу увидел в истории молодогвардейцев свою главную тему, начатую еще до «Разгрома», — сотворение нового человека[314].

«Молодая гвардия» вышла в издательстве «Молодая гвардия» — словосочетание давно было крылатым, не Фадеев его придумал[315]. Молодую гвардию выкликали, выковывали — и вот она пришла, воплотилась.

Появление героев-краснодонцев стало в глазах Фадеева лучшим оправданием революции и всего, что последовало за ней: вот он, новый человек. Не Мечик — но Морозка и Метелица. Причем краснодонцы не были какими-то исключительными людьми, и тем сильнее Фадеев ими восхищался: «Именно потому, что это самая обыкновенная наша советская молодежь… — именно поэтому вся деятельность „Молодой гвардии“ заслуживает того, чтобы ее изобразить в художественном произведении как нечто типичное для всей советской молодежи. Ведь такие организации были и в других местах…» Фадеев отвергал упреки в идеализации молодежи. Он считал, что лишь освободил ее от «лишнего, частного, мелочного, что иногда имеет место в нашей жизни… Только подчеркнул и выделил то, что явилось главным для их человеческой натуры». «Поскольку такая молодежь не выдумана мною, а действительно существует, ее смело можно назвать надеждой человечества», — говорил Фадеев.

Чистота эксперимента была соблюдена: молодогвардейцами стали те, кто родился и учился уже после революции. Наследники дореволюционных и революционных подпольщиков, краснодонцы в то же время были людьми нового поколения, сформированными уже советской реальностью. Вот он, новый человек, прошедший высшую проверку. Уже в очерке «Бессмертие», этом газетном конспекте будущего романа, Фадеев подчеркивал: «…Эта молодежь, не ведавшая старого строя и, естественно, не проходившая опыта подполья…» Ребята 1923, 1925, 1926 годов рождения — на поколение младше самого Фадеева. Они могли бы быть детьми Булыги, или Певзнера, или Мечика. Новый мир оказался жизнестойким, дети революционеров усвоили ценности и ориентиры отцов.

Безупречное поведение молодогвардейцев позволяло сказать: эксперимент удался. «Всё» было не зря (и репрессии 1930-х? И расстрел Гриши, Пети? — неизбежно спрашивал себя Фадеев). «Молодая гвардия» оправдывала жертвы «Разгрома» — от слез старика корейца, у которого партизаны реквизировали свинью, до гибели Фролова, по-сократовски мужественно выпившего свой яд. Давала однозначные ответы на все поставленные в «Разгроме» вопросы. Успокаивала растревоженную душу. Фадеев просто не мог не взяться за этот роман, в котором отражалась вся предыдущая жизнь самого Булыги, его товарищей и героев; роман, с появлением которого «Разлив», «Разгром», «Последний из удэге» приобретали объемное звучание, превращались в эхо друг друга. «Молодая гвардия» как бы завершала тему «Разгрома». Когда-то Фадеев внутренне похожим образом завершил «Против течения», превратив его в «Рождение Амгуньского полка». Если в «Против течения» красных партизан, решивших дезертировать с фронта, расстреливали красные же пулеметы, то в «Рождении Амгуньского полка» — уже начиная с названия — «мертвую воду» сменяла живая, деструкция диалектически перетекала в созидание. Новый человек, лишь контурно намеченный в полном сомнений «Разгроме» (неоднозначный Морозка, порченый Мечик), в краснодонской истории стал во весь рост.

Фадеев загорелся, как не загорался даже «Последним из удэге». Он бросает все дела. Пишет первому секретарю ЦК ВЛКСМ Н. Михайлову: «Теперь я существую только для этой книги». Уже осенью 1943-го едет в разрушенный Ростов, ходит по пепелищам, где когда-то жил (видит «задымленные, закопченные стены» здания «Советского юга»), потом — в Краснодон. На месте событий пробыл около месяца. Жил у родных Кошевого, опросил порядка ста человек. Записывал рассказы выживших

молодогвардейцев и родственников погибших, листал протоколы допросов полицаев. Поначалу он не рассчитывал пробыть в Донбассе так долго. Командировочные иссякли, «подкармливали» местные журналисты. Владимир Иванов, позже сыгравший Кошевого, вспоминал со ссылкой на Елену Николаевну Кошевую — маму Олега: в Краснодоне Фадеев вставал в пять или шесть утра, делал зарядку или колол дрова, обливался холодной водой, шел гулять, потом завтракал и садился за работу. При себе имел пистолет — времена были тревожные.

Вернулся в Москву, засел за книгу. Давно уже не только авторитет и звезда, литературный мастер, наставник и теоретик, писательский лидер, но один из высокопоставленных советских чиновников, «супертяж», имевший доступ к самому Сталину, — оставаясь один на один с листом бумаги, Фадеев снова был сомневающимся новичком. «Гвардию» он писал так же, как «Разгром»: зачеркивал, переписывал, менял… Первая страница романа переписана им 12 раз (правда, во второй части многие главы писались чуть ли не набело — там Фадеев точнее следовал за фактами, а в конце и вовсе перешел к почти буквальной документальности, обильно цитируя бумаги и рассказы очевидцев). Редактор книги Юрий Лукин вспоминал, что Фадеев помнил свой текст наизусть: «Я задумался тогда, что же это такое, — необычно развитая память или такая длительная тщательная чеканка каждой мельчайшей детали…»

Мать писателя в те времена жила в Переделкине и порой слышала через дверь кабинета рыдания сына — прямо как Шукшин, когда писал Разина.

Фадеев не был первооткрывателем темы. Корреспондент армейской газеты «Сын Отечества» Смирнов написал о героях Краснодона еще весной 1943 года. В том же году вышли две небольшие книжки — «Герои Краснодона» и «Герои „Молодой гвардии“». Военкоры Лясковский и Котов, писавшие о молодогвардейцах в «Комсомолку», в 1944-м выпустили книгу «Сердца смелых»…

Фадеев понимал: нужно, во-первых, не повторяться, во-вторых — написать нечто большее, чем достоверный рассказ о событиях. Сплавить факты и идею, реализм и романтизм — именно так он понимал соцреализм, который считал передовым методом.

«Молодая гвардия» написана в рекордные для Фадеева сроки — за два года, хотя, как справедливо указывал Долматовский, буксующий «Последний из удэге» закрепил за писателем репутацию «самого медленно пишущего романиста». Рекорд стал возможен за счет того, что Фадеева по его просьбе временно освободили от поста главы Союза писателей. Первую редакцию

книги он завершил в декабре 1945 года, публикация глав началась в «Комсомолке» и «Знамени» еще в начале того же года.

Немцы вошли в Краснодон в июле 1942 года, советские войска освободили город в феврале 1943-го — оккупация продлилась семь месяцев. Небольшой шахтерский городок, прежний поселок Сорокине[316], входил в состав Украины, но население там (как и во всем Донбассе) было — и осталось — почти полностью русскоязычным.

Заняв город, фашисты вскоре раскрыли городское подполье. 32 шахтера-активиста были зарыты живыми в местном парке. Тогда против немцев выступили комсомольцы — как казалось многим, самостоятельно, потому что коммунистическое подполье считалось уничтоженным (нельзя не заметить, что это повторяет владивостокский сюжет 1918 года, прожитый Фадеевым: мятеж белочехов, аресты большевиков — и вот подпольную работу ведут «соколята»). «Вся тяжесть организации борьбы с врагом выпала на плечи молодежи», — пишет Фадеев в очерке «Бессмертие». Тогда он полагал так. Да и потом, в период написания романа, он не располагал всеми данными, в том числе о партийном подполье Донбасса. Их опубликовали только после войны[317], что впоследствии сыграло роковую роль.

Уже в 1946-м книга выходит отдельным изданием и получает Сталинскую премию 1-й степени. Роман имеет неслыханный успех, его читают по радио и в школах. Это было подлинно «всенародное признание». Фадеев, который до «Гвардии» был автором всего одного законченного полноразмерного произведения, отработал все авансы.

А 3 декабря 1947 года в «Правде» выходит редакционная статья под названием «„Молодая гвардия“ в романе и на сцене». Считается, что ее инициатором выступил Сталин — главный читатель страны. Пишут и о личном разговоре Сталина с Фадеевым. Самая известная байка об этой беседе (понятно, навеянная Хармсом) приведена журналистом Федором Раззаковым: «Вы не писатель, вы г…».

Публикация в «Правде» была не то что разгромной — в конце концов, книга получила Сталинскую премию, по ней уже снималось кино. Но в статье говорилось: «Из романа выпало самое главное, что характеризует жизнь, рост, работу комсомола, — это руководящая, воспитательная роль партии… В романе Фадеева есть отдельные большевики-подпольщики — нет большевистского подпольного „хозяйства“, нет организации».

Времена изменились. Это на Гражданскую пацаны могли идти по собственному желанию, что отражала и героизировала

литература, — взять хоть гайдаровскую «Школу». А позже того же Гайдара упрекали в том, что его тимуровцы слишком самостоятельны — действуют без оглядки на взрослых… В «Молодой гвардии» был усмотрен идеологический просчет.

Но позиция критиков романа была обоснованной и с точки зрения фактов. Долматовский: «Роман… писался тогда, когда было известно главное, но далеко не все».

Иные перестроечные публицисты писали, что Фадеев попросту выдумал партийного вожака Лютикова, да еще снабдил его чертами Сталина, чтобы угодить вождю. Это, разумеется, не так. Деятельность партийного подполья Краснодона давно изучена. Биография Филиппа Петровича Лютикова (1891–1943) хорошо известна, равно как и биографии других подпольщиков-коммунистов — Николая Петровича Баракова (1905–1943), Андрея Андреевича Валь-ко (1886–1942), Герасима Тихоновича Винокурова (1898–1943), Даниила Сергеевича Выставкина (1902–1943), Марии Георгиевны Дымченко (1902–1943), Степана Григорьевича Яковлева (1898–1943)… Секретарем подпольного обкома Ворошиловградской (Луганской) области, оставленным для работы в тылу врага, был Степан Стеценко. Руководителем подпольной парторганизации Краснодона — Филипп Лютиков, бывший начальник цеха в мастерских «Краснодон-угля», партизан Гражданской. Его ближайшим помощником стал Николай Бараков — главный механик шахты имени Энгельса, в финскую войну — командир пулеметной роты.

Правду сказать, и первая редакция романа[318] не дает повода упрекнуть Фадеева в том, что он забыл о партии. Даже в первом варианте книги партруководство подпольем отображено, пусть и штрихпунктирно. Так, упоминается «старик Лютиков» (правда, вскользь и с фактическими неточностями), оставленный для подпольной работы. Баракова еще нет, но есть работник обкома Иван Проценко, оставленный для руководства партизанами. Есть и старый подпольщик Матвей Шульта… Задача коммунистов — сорвать попытки немцев наладить в Краснодоне добычу угля, что схоже с задачами Лазо на Сучане в 1919 году.

Кроме того, как показывает В. Боборыкин, сложилась «Молодая гвардия» именно самостоятельно — и лишь потом наладила связь с партийным подпольем, которое уже было и действовало (опять же похоже на сучанскую историю). Не говоря об известной автономности молодежи, без согласования с партийцами казнившей, например, двух полицаев в городском парке Краснодона.

Однако Фадеев все-таки в большей, чем следовало, степени доверился первичным материалам краснодонской комиссии, что

впоследствии осложнило его работу.

Были и другие сложности. Писать по заказу вообще труднее, чем от души, — это знаем и мы, ординарные «райтеры» нового времени. Пусть сам Фадеев не считал, что писать на заказ плохо (если это не «буржуазный» заказ, а — народный, партийный, правильный), но все равно его свобода как художника была изначально ограниченна.

Лучшее свое он писал без оглядки на руководство (искренне им уважаемое) — это и «Разгром», и письма Асе. Дело не в том, что он боялся цензуры, — дело в самой этой оглядке (потому он и за жизнеописание Сталина не взялся). Надо писать не «как надо», а «как хочешь» — тогда и выходит как надо[319]. Может, Фадееву не хватило какой-то хемингуэевской бесшабашности?

В случае с «Молодой гвардией» он оказался заложником выбранной им формы — художественно-документального романа (война родила немало книг такого рода; пожалуй, самая известная — «Повесть о настоящем человеке» Полевого, где летчик Маресьев превращен в Мересьева). Пиши Фадеев чисто художественную вещь — с него не было бы столь строгого спроса. Но он создал художественный текст на основе реальных событий. Одни персонажи выведены под подлинными, взятыми из жизни фамилиями, другие — под слегка измененными, третьи — под выдуманными. Федин писал Фадееву: «Сделал ты очень трудную вещь, потому что для тебя обязательны живые люди и факты, а это для создания образа — тяжкие оковы».

Сам Фадеев терпеливо объяснял читателям и критикам: «Я писал не действительную историю „Молодой гвардии“, а художественное произведение, в котором много вымышленного и даже есть вымышленные лица. Роман имеет на это право». Или: «Как во всяком романе на историческую тему, в нем вымысел и история настолько переплетены, что трудно отделить одно от другого». Или: «Это и действительная история, и в то же время художественный вымысел. Это — роман».

Он мог маневрировать только в узких пределах, заданных самой действительностью, словно нащупывая в туманных фьордах единственный ускользающий фарватер. Здесь трудно было типизировать, создавать обобщенные образы, выбрасывать реальные фигуры… Это был роман — но документальный. Будь он традиционным — критика лишилась бы многих аргументов. Но Фадеев был вынужден точно отображать факты и был вправе выдумывать лишь частности. «Богатство фактического материала было его главным богатством в работе над повестью. Но с того момента, когда повесть стала перерастать в роман и замысел писателя становился все шире и глубже, это богатство порою

оказывалось для него обременительным. Интересы художника пришли в противоречие с интересами документалиста-историка», — сформулировал Боборыкин.

В романе есть персонаж по имени Евгений Стахович.

Фадеев говорил: основные эпизоды деятельности краснодонского подполья воспроизведены более или менее точно, но некоторые фигуры придуманы. Наполовину вымышлен Матвей Шульга (такой работник был, но не в Краснодоне, а в Ворошиловграде), выдуманы некоторые герои не первого плана (Каюткин, генерал Колобок), немцы — по недостатку информации. Хотя, отмечал Фадеев, «главный палач Фенбонг — фигура не вымышленная». Он видел на допросе после взятия Великих Лук немца с патронташем, набитым деньгами и золотыми зубами, — тот говорил, что после войны хотел открыть лавку; этого типа Фадеев и перенес в Краснодон[320].

Что касается основных героев, то под ненастоящей фамилией выведен только предатель Стахович. Под ним зашифрован молодогвардеец Виктор Третьякевич, которого долго считали виновным в провале «Молодой гвардии». Фадеев писал, что прототип Стаховича — «выходец из хорошей советской семьи», и писателю «не хотелось оставлять неизгладимый след в сердцах его родителей, которые и так много перестрадали от того, что сын их по слабости сердца оказался предателем». Пожалел родных — но трудно отделаться от ощущения, что сработала интуиция: не до конца поверив в предательство Третьякевича, Фадеев решил его пощадить. И угадал: Третьякевич не был предателем. Его доброе имя потом восстановят, хотя сам Фадеев об этом уже не узнает. Брат Третьякевича, правда, еще в 1946 году доказывал писателю, что Евгений невиновен. Но окончательно точки над і расставили гораздо позже — в 1959 году, когда Фадеева уже не было на этом свете.

Оказалось, что Третьякевича оклеветал на допросе полицай (краснодонский следователь при немцах) Михаил Кулешов. На деле Виктор Третьякевич мужественно перенес пытки и был еще живым сброшен в шахту. Эти детали удалось выяснить после процесса над В. Подтынным, служившим в краснодонской полиции в 1942–1943 годах.

«Сдал» же организацию другой ее член, Геннадий Почепцов, по наущению своего отчима. Последний — бывший белый офицер Василий Нуждин (Громов) — стал во время оккупации начальником шахты № 5 и агентом полиции. Молодогвардейцы, по одной версии, и приняли к себе Гену Почепцова специально для того, чтобы через него выведывать у отчима намерения

немцев. Почепцова и Громова осудили и уже 19 сентября 1943 года вместе с Кулешовым публично расстреляли в центре Краснодона[321]. Очевидцы вспоминали: после расстрела народ, до того сдерживаемый солдатами, набросился на трупы предателей. Несколько часов спустя изуродованные тела были увезены за город и утоплены в болоте.

На следствии Почепцова, Громова и Кулешова некоторое время держали в одном помещении — по неопытности начальника милиции, которым из-за нехватки кадров назначили местного шахтера. Видимо, там они и договорились оклеветать Третьякевича, чтобы отвести обвинения от себя. В 1960 году Виктора Третьякевича реабилитировали и посмертно наградили орденом Отечественной войны 1-й степени. Кстати, коммунистов, руководивших краснодонским подпольем или курировавших его — Лютикова, Баракова, Валько, Винокурова, Выставкина, Дымченко и других, — наградили только в 1965-м.

Но вернемся в 1940-е. Местные жители под фамилией «Стахович» сразу угадали Третьякевича. Фадеев твердил, что это собирательный образ; ему не очень верили. Примерно так же было когда-то с Мечиком[322].

Виновниками разгрома «Молодой гвардии» в романе названы, помимо Стаховича, Выриковa и Лядская — персонажи, которым оставлены реальные фамилии их прототипов. Сведения об их виновности также содержались в материалах краснодонской комиссии. Потом оказалось, что никаких доказательств вины Выриковой и Лядской нет, — но обе девушки надолго попали в лагеря и были реабилитированы много позже.

Перековка в Переделкине

Итак, с точки зрения фактов критика была во многом справедливой, хотя после двух лет восторженных откликов она стала для Фадеева настоящим шоком.

Если раньше книги могли подвергаться атакам по выходе в свет или еще до выхода, то теперь мишенью впервые стал роман, получивший Сталинскую премию.

К тому времени Сергей Герасимов уже снимал по книге кино. Собственно, именно фильм и вызвал недовольство Сталина, которому не понравилось, что комсомольцы действуют в подполье сами по себе, без руководящей роли партии.

Эренбург считал, что Сталин не читал книгу: «Фильм его возмутил… Сталину объяснили, что режиссер следовал тексту романа… Сталин читал много, но, конечно, далеко не всё». А может, пролистал по диагонали — фабула-то ему была уже знакома по газетам? О том же пишет Александр Нилин: «Пожалуй, это был единственный в идеологической практике товарища Сталина случай, когда книгу, вызвавшую вокруг себя шум, он, едва ли не единственный, прочесть не удосужился… С одной стороны… можно увидеть исключительность доверия к Фадееву (этот не подведет), но с другой — оскорбительный для любого автора не-интерес к его тексту».

По словам Виктора Важдаева, ссылающегося на самого Фадеева, Сталин высказал претензии и к языку романа: толстовская манера тяжеловата для масс, лучше ориентироваться на Чехова, Тургенева… Фадеев ответил: «У каждого писателя свой шаг». Вопросы стиля — вне даже сталинской компетенции.

Как бы то ни было, в целом он критику принял — не мог не принять. «Может быть, во мне засело увлечение партизанщиной, — сказал он Эренбургу. — Время трудное, а Сталин знает больше нас с вами…»

Фадеев согласился доработать роман.

Вероятно, он сделал бы это и без критики со стороны «Правды» и лично Сталина. Еще 19 декабря 1946 года — за год до статьи в «Правде» — он публично заявил, отвечая на замечания читателей: «Я лично не считаю роман „Молодая гвардия“ законченным… Мне придется вернуться к нему не раз и не два и более объективным взглядом оценить некоторые детали». Анна Караваева приводит подобное заявление Фадеева, сделанное после присуждения Сталинской премии и до критической статьи в «Правде»: «Мне… придется еще неоднократно возвращаться к „Молодой гвардии“ и в той или иной степени ее подправлять.

Дело в том, что для вас это произведение, уже вышедшее в свет, а стало быть, его можно обсуждать. А для меня это еще совсем не остывший кусок металла, до которого еще нельзя дотронуться рукой, многого еще не вижу. Мне нужно еще некоторое время, чтобы я мог объективным глазом посмотреть на все, и тогда придется с годами некоторые вещи постепенно поправлять, дополнять, вычеркивать».

Тогда же, в 1946-м, Фадееву о партийном подполье пишут краснодонская учительница Анна Колотович, дочь Лютикова Раиса, родственники погибших молодогвардейцев. Дополняют, уточняют, иногда спорят.

То есть сначала-то была критика снизу, а не сверху. И Фадеев воспринял ее адекватно, что делает честь «живому классику», «литературному генералу», «министру от литературы» — барства в нем не было. Вторая редакция романа должна была появиться в любом случае. Другое дело, что вмешательство Сталина, безусловно, повлияло на расстановку акцентов.

В. Озеров: «Факты говорят о том, что автор взялся за доработку романа по внутреннему убеждению. Конечно, Фадееву нелегко было пережить критику своего труда. Она была излишне острой, в какой-то части несправедливой. Неправилен был упрек в том, что Фадеев напрасно изображал трудности эвакуации, панику… Рациональное же зерно высказанных критических замечаний Фадеев не мог не принять во внимание».

Н. Грибачев: «Он, радостно возбужденный, показал нам эти документы, даже фотографии одного из краснодонских партийных вожаков… Правда о краснодонцах оказалась для него во сто крат дороже, чем претензии писательского самолюбия, уязвленного критикой».

С. Герасимов: «Он решил сделать это потому, что видел в этом, казалось, непосильном труде требование исторической правды… Тогда он принял критику как солдат революции, превыше всего хранящий закон революционной дисциплины. Было ли это проявлением слабости или силы? Ответ напрашивается сам собой».

Бескомпромиссный В. Шаламов: «Фадеев доказал, что он не писатель, исправив по указанию критики напечатанный роман, то, что объявлено доблестью, на самом деле трусость писателя, неверие в самого себя, в верность собственного глаза».

К. Зелинский: «Нельзя считать каким-то творческим насилием над собой, что Фадеев во втором варианте „Молодой гвардии“ заинтересовался и этими, ранее упущенными им материалами. Как художник Фадеев при этом пережил поистине трагические трудности, меняя замысел романа. Но пошел

навстречу этим трудностям Фадеев совершенно искренне, как коммунист».

Тот же Зелинский указывает: переработка произведений — дело нередкое. Вспоминает Гоголя, Л. Толстого, Горького, А. Толстого… Почему же именно на Фадеева впоследствии обрушилась столь зубодробительная критика — мол, «прогнулся»? Возможно, по нему хлестнули рикошетом осколки XX съезда — ведь книгу он переделал по указанию Сталина!

Фадеев вновь просит отпуск и в 1948 году опять садится за роман (сейчас звучит странно: отпуск — для работы, а не для Таиланда).

Он не фантазирует — снова работает с документами и очевидцами. Проводит работу не только писателя, но журналиста и историка. Убеждается в том, что критика была справедливой — это для него принципиально. Вспомним историю с «Ленинградом в дни блокады»: Фадеев не согласился с партийным начальством, предложившим эти очерки «довольно сильно покорежить: сгладить места, говорящие о ленинградских трудностях…» (из письма Фадеева Жданову). Неверно было бы говорить, что Фадеев всегда беспрекословно подчинялся. Ему нужно было верить в то, что он делает, — иначе, как он напишет в предсмертном письме, жизнь теряет всякий смысл.

Параллельно публикуются всё новые свидетельства о краснодонских делах, в том числе о партийном подполье. В сентябре 1948 года «Комсомолка» публикует статью Р. Новоплянской «Новое о героях Краснодона. Как коммунисты руководили деятельностью „Молодой гвардии“». Появились документы подпольного обкома, рассказ А. Л. Колтуновой — хозяйки квартиры, где жил Лютиков. Фадеев все это тщательно изучает, делает выписки о Лютикове, Баракове, их беспартийной соратнице Налине Соколовой. Г. Марголину — автору диссертации «Ворошиловградская областная партийная организация во главе народных масс области в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в 1942–1943 гг.» — пишет в августе 1949-го благодарное письмо: «Мне кажется, вам удалось правильно определить руководящее ядро подпольной партийной группы в Краснодоне, ее связи с „Молодой гвардией“, и многое, казавшееся раньше неясным, теперь вполне прояснилось».

В это же время начинается переписка Фадеева с Асей. Ему необходим был диалог с собственной юностью. Он снова ищет силы, опору — в Приморье.

Фадеев работает, как говорил он сам, «с упорством изюбря» (снова дальневосточные словечки!). Вводит главы о

большевистском подполье — главным образом о Лютикове и Баракове. Это не умаляет героизма молодогвардейцев — но в большей степени соответствует фактам.

Вместе с тем Фадеев приглаживает некоторые места — например, сцену эвакуации Краснодона, напоминавшей паническое бегство. Сцена искренняя, тоскливая, смелая для того времени; смягченная, она все же сохранена.

Были и другие важные поправки. Так, в первой редакции появлялся положительный Кистринов — реальное лицо, приятель дяди Кошевого Николая Коростылева. Потом выяснилось, что он был пособником немцев — и Фадеев просто-напросто меняет его фамилию на Быстринова.

Ряд правок был подсказан внимательными читателями. В 1949 году Фадееву написала Ольга Маркова из Свердловска. Погиб ее друг — фронтовик майор Смирнов, и в его бумагах нашли любопытные документы: стихи комиссара молодогвардейцев Олега Кошевого, дневник Степы Сафонова, дневник Шуры Дубровиной… Стихи Кошевого «Пой, подруга, песню боевую» вошли в роман. В том же 1949 году в военную газету «Ленинское знамя» поступили материалы военнослужащего А. Петрова, встречавшегося с Туркеничем[323] в январе 1943 года. Эти материалы помогли Фадееву написать страницы о судьбе командира молодогвардейцев Ивана Туркенича после его ухода из Краснодона и вообще уделить больше внимания этой фигуре. Пригодились воспоминания краснодонского шахтера П. Куприянова, материалы Д. Андросовой…

Так что переработка романа вовсе не ограничивалась усилением роли партии.

Были, конечно, и потери. О них с грустной иронией говорил сам Фадеев в одном из писем: мол, переделываю молодую гвардию в старую…

В 1951-м вторая редакция «Молодой гвардии» выходит в свет. Книгу снова хвалят, порой даже слишком. Сам Фадеев пишет: «В целом роман неизмеримо вырос и может служить примером того, как должен относиться современный автор к общественной критике своего произведения». Вениамин Каверин ставит работу Фадеева над второй редакцией в пример Шолохову и Толстому: мол, в «Тихом Доне» и «Хождении по мукам» они не сумели добиться такой же гармоничности. Долматовский заверяет: «Писатель не испортил свой замечательный роман».

Симонов говорит разное: то дает обновленному роману высокую оценку, то (в 1956 году) заявляет, что вторая редакция — напрасная трата сил и времени, то (в 1970-х) опять убеждает

нас в преимуществах второго варианта… Он, наверное, в каждый из моментов был по-своему прав. И едва ли тут вообще возможен однозначный ответ.

В любом случае: переиздавая роман, мы должны учитывать волю автора и его последние правки.

Кино и немцы

С кино Фадееву не везло, несмотря на его интерес к «важнейшему из искусств» и добрые отношения с видными режиссерами.

Было несколько неудачных сценарных опытов Фадеева, были попытки экранизировать «Удэге» и «Разгром».

Первый, немой «Разгром» снимался в 1930 году под Красноярском — в той самой Овсянке, что стала известной благодаря Виктору Астафьеву. В 1958 году вышла новая экранизация «Разгрома» под названием «Юность наших отцов». Поставили ее дипломники ВГИКа Михаил Калик и Борис Рыцарев. Левинсона играет Кутепов, Морозку — Юматов, Мечика — Четвериков, композитор — Микаэл Таривердиев. Красные поют про «молодого коногона», белые — романсы на стихи Блока. Мечик сильно «ухудшен», чтобы не было сомнений в его отрицательности. Неплох Левинсон: несерьезный вроде бы облик «лесного гнома» — но от него исходят сила и уверенность.

В 1981 году на Свердловской киностудии Барас Халзанов снял фильм «Против течения» по мотивам одноименного рассказа. Тайга, конечно, — не приморская, песня Френкеля на стихи Заболоцкого 1946 года тоже не совсем к месту. Зато молодой комиссар Челноков, печатающий стихи в газете «Шум тайги» и пытающийся застрелиться (весь фильм он бегает с одним патроном в револьвере, не зная, на кого его потратить), — явный двойник самого Фадеева, даже внешне похож. Но рассказ емче и жестче фильма. У Фадеева взбунтовавшийся отряд крошат из пулеметов — в кино этого удается в последний момент избежать, и вот Челноков лично агитирует взбунтовавшийся полк, а тот дисциплинированно строится в шеренгу. Это типичное для советского времени упрощение Фадеева — то же видим в осмыслении «Разгрома» официальным литературоведением.

Даже странно, почему «Разгромом» не заинтересовались ведущие фигуры советского, а теперь российского кино. Новая экранизация «Разгрома» — хорошая, умная, серьезная — могла бы стать шагом по возвращению Фадеева.

Да и сам Фадеев — или Булыга — достоин и романа, и фильма.

Вот только — лица: где теперь взять те, настоящие, непридуманные лица? С шосткинской пленкой «Свема» из нашего кино ушло какое-то колдовство…

У герасимовского фильма 1948 года, ставшего в СССР

лидером проката, судьба не менее сложная, чем у романа.

Двухсерийный фильм снимался, естественно, по первой редакции «Молодой гвардии». Юные Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов, Георгий Юматов, Евгений Моргунов — будущий гайдаевский «Бывалый», играющий предателя Стаховича и совершенно здесь неузнаваемый: молодой, стройный.

Съемки шли непосредственно на месте событий. Кино сливалось с недавней действительностью почти до неразличимости. Владимир Иванов, сыгравший Кошевого, вспоминал: артисты, вживаясь в роль гитлеровских офицеров, ходили по городу в немецких мундирах, и местные шахтеры однажды их побили. В другой раз будто бы избили Моргунова, спутав артиста и его персонажа…

Еще до премьеры кино и книга попали под сталинскую критику. Фильм пришлось доснимать, доделывать. Вот что вспоминала жена Герасимова, актриса Тамара Макарова: «В новом варианте… роль партии была значительно усилена. Была также доснята сцена, когда коммунисты-подпольщики слушают по рации голос Сталина в день празднования 25-й годовщины Октябрьской революции. Когда новый вариант был готов, опять состоялся просмотр в Кремле… Все ждали, какую оценку даст Сталин… Демонстрация двухсерийного фильма проходила без перерыва. Сталин высидел до конца. Когда фильм закончился и зажегся свет, начались аплодисменты. Аплодировал и Сталин».

Обратим внимание: Герасимову пришлось сделать ровно то же, что и Фадееву.

Как бы то ни было, фильм вышел на экраны. Зрителя щадят: такого подробного изображения пыток и казней, как в книге, здесь нет. В камере молодогвардейцы поют не «По долинам и по взгорьям…», как у Фадеева, а «Дывлюсь я на небо». Оно, наверное, логичнее — Украина все-таки. Хотя и марш приморских партизан звучал тогда повсюду, а о молодогвардейце Сергее Тюленине известно, что его любимой книжкой был «Дерсу Узала».

Но одной переделкой дело не обошлось.

Актер Иванов вспоминает: в 1956–1962 годах фильм не показывали. Однажды ему позвонил Герасимов и объяснил: кино не понравилось Хрущеву, надо снова переделывать. «У Хрущева с Фадеевым произошел крупный конфликт, кроме того, он, да и некоторые другие товарищи, требуют, чтобы из фильма была вырезана сцена, когда молодогвардейцы слушают по радио речь Сталина, — передает Иванов слова Герасимова. — Но это еще полбеды… Они требуют переозвучить сцены с предателем Стаховичем, поскольку человека с такой фамилией в Краснодоне не было, и назвать в фильме предателя Почепцова, с которого

действительно начался провал организации».

Фильм снова переделали.

В первой серии не осталось ни Стаховича, ни Почепцова, ни Моргунова. В титрах второй серии появляется Моргунов — теперь уже в крохотной роли Почепцова, а не Стаховича.

В сцене совещания, вначале, со стены исчез портрет Сталина. Портрет Гитлера в сцене в клубе остался.

Добавился титр, из которого мы узнаём: работой «Молодой гвардии» руководили коммунисты-подпольщики Лютиков и Бараков.

Крупно показанный в первой версии фильма донос Стаховича заменили невнятными «показаниями Почепцова».

В финальной сцене фильма 1948 года Проценко на месте казни героев называет имена Кошевого, Земнухова, Громовой, Тюленина и Шевцовой. В версии 1964 года названы Кошевой, Земнухов, Громова, Тюленин, Шевцова, Третьякевич, Осьмухин, Попов. Посыл понятен: восстановить доброе имя Третьякевича. А чтобы это было не слишком в лоб — добавлены еще Осьмухин и Попов.

Это уже не сталинская, а послесталинская и во многом антисталинская переделка. Вот же судьба выпала и книге, и фильму; хорошо, книгу в третий раз переписывать не пришлось, как михалковский гимн, — а будь Фадеев живым, может, и заставили бы…

Принято ругать авторитаризм Сталина и покладистость Фадеева — а почему тогда не поругать авторитаризм Хрущева и покладистость Герасимова? И уж конечно Герасимов, откажись он от предложений Хрущева, рисковал меньше — времена были уже иные.

Но… никто ни в чем не виноват. Один Фадеев виноват — в том, что переделал книгу по приказу Сталина.

А что ему было делать — тут даже не в Сталине дело, а в том, что в силу документальности своего романа Фадеев не мог в сколько-нибудь принципиальных моментах отходить от фактов. Если действовало партийное подполье — как без него обойтись? А оно действовало.

Если «усиливать роль партии» плохо — то чем хорошо вырезать из готового фильма кадры с портретами Сталина? Та же конъюнктура — только наизнанку, поскольку государственный корабль сделал поворот оверштаг, сменив политический галс.

Аналогичным образом вырезали портреты Сталина из «Трактористов», переозвучили песню «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин…». Как ни относиться к самому Сталину, подобная «десталинизация» старых фильмов — шаг против

исторической правды, какой бы она ни была (не говоря о пренебрежении волей художника). Тогда как Фадеев, переписывая роман, напротив, восстанавливал историческую правду — опять же, какой бы она ни была.

Можно ругать Сталина, Хрущева и всю советскую государственную машину, зарегулировавшую культуру, но это было бы слишком просто.

Сейчас творческой свободы куда больше. Но уже во втором десятилетии XXI века из балабановского «Брата» при его трансляции по ТВ выбросили неполиткорректные фразы — как относиться к этому?

Еще пример — 2015 года. По телеканалу «Россия-1» показывали сериал Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» — и выбросили из него сцену гибели Берлиоза под трамваем, расценив ее как «насилие». Причем с режиссером это даже не согласовали. Не было такого, чтобы Путин звонил Бортко и, дымя трубкой, говорил: товарищ Бортко, у меня к вашему фильму вопросы…

Что хуже? Или — поставим вопрос иначе: так ли уж сильно изменились времена?

Похоже, что нет. Это, кстати, лишний раз доказывается сохраняющимся интересом кинематографистов к «Молодой гвардии». В 2006 году появился новый фильм о молодогвардейцах, даже сериал — «Последняя исповедь». Его авторы утверждали: никакой это не ремейк, а оригинальное произведение, не имеющее ничего общего ни с фильмом Герасимова, ни с книгой Фадеева. Мы впервые расскажем вам правдиво о краснодонской истории!

Оставим художественные достоинства этого фильма — просто потому, что говорить об их наличии сложно. А вот по части правдивости к авторам картины, — творившим вне всякой цензуры, при доступности любой информации, в условиях совершенно, казалось бы, свободных, — куда больше вопросов, чем к Фадееву, Сталину и Герасимову. Так, коммунисты из числа действующих лиц исчезли вообще. К реальным Кошевому, Шевцовой, Громовой, Тюленину в сценарии Аветикова и Котова добавился некий Алеша-молчун, зато куда-то исчезли Туркенич и Третьякевич. «Режиссер картины Сергей Лялин говорит, что она снимается не по мотивам одноименного романа Александра Фадеева, — сообщали СМИ о фильме. — Создатели картины разыскали документы, уточнили факты, постарались максимально восстановить историческую правду о погибших героях». Сам Лялин заявил: «Из сюжета полностью исключена

руководящая роль партии, которой в жизни не было, но Фадеев не мог не написать об этом. Наш фильм — об энтузиазме шестнадцатилетних мальчишек и девчонок, которые гибнут за идею».

Вот так: не было, и всё.

Разумеется, автор художественного произведения волен придумывать что угодно. Непонятно одно: к чему множить ложь? Зачем утверждать, что фильм достоверен с исторической точки зрения? Куда деть подлинные биографии тех же Лютикова и Баракова? Не любите Фадеева — уважайте хотя бы факты так, как их уважал Фадеев. А то выходит, что не какие-нибудь иностранные агенты, а российские кинематографисты занимаются самой настоящей фальсификацией отечественной истории, причем, как следует из титров, при финансовой поддержке Роспечати.

Сериал назван «Последней исповедью» — видимо, чтобы дистанцироваться от «Молодой гвардии». Но его авторы, что бы ни говорили они сами по этому поводу, все равно оглядывались на Фадеева и Герасимова. Ведь подобные истории случались не только в Краснодоне, да и масштабы деятельности юных подпольщиков кое-где были серьезнее. Краснодон в центр внимания поместили именно они — Фадеев и потом Герасимов. И если они по разным причинам не на 100 процентов следовали за фактами, то теперь мы видим гигантские прыжки в сторону от исторической реальности, причем непонятно чем обусловленные — цензуры нет, снимай что хочешь…

Вот и снимают.

Выходит, свобода творчества — штука важная, но внятного результата не гарантирующая. Нужно что-то еще: ответственность? Серьезность? Последовательность?

В 2015 году, к юбилею Победы, вышел еще один фильм — 12-серийная «Молодая гвардия» Леонида Пляскина (снята при финансовой поддержке Минкультуры РФ и при содействии Российского военно-исторического общества). Даже удивительно, что полузабытый, по большому счету, роман стал таким востребованным у современного кинематографа. Общий ренессанс интереса к Великой Отечественной, связанный с усилением государственного патриотизма? Или свою роль сыграло и то, что Донбасс в 2014-м вновь стал зоной военных действий?

Пляскин тоже заявил: «Наш фильм — не ремейк легендарной картины Сергея Герасимова и не экранизация романа Фадеева. Путь молодогвардейцев — это легенда, которая обросла мифами и домыслами. Мы представляем свой взгляд на их подвиг,

основываясь на историческом материале». Не иначе — годами сидели в архивах… А что вышло в итоге? В центральную фигуру сценаристом Анной Антонец превращен Третьякевич. Туркенича нет вообще. В организации — то ли детдомовские, то ли тюремные порядки. Что здесь действительно интересно — так это странное поведение Третьякевича, которого товарищи заподозрили в предательстве. Эту линию сценарист отработал добросовестно, используя реальную интригу с Третьякевичем-Стаховичем и Почепцовым. В итоге мы видим, что предатель — Почепцов; развязывается узел, завязанный книгой и ее первой экранизацией. В остальном о достоверности нового фильма говорить сложно и, скорее всего, бессмысленно.

…Целые реки критики или прямой ругани вылились в свое время на Фадеева и других советских художников. Но после прочтения и просмотра иных современных творений понимаешь, что Фадеев и Герасимов — куда лучше. Честнее и, главное, — профессиональнее, состоятельнее даже с точки зрения владения ремеслом. Да, были натяжки, недоговоренности, идеология — но теперь хлынули ложь и просто глупость.

И все же эти новые фильмы — еще одно доказательство того, что «Молодая гвардия» по-прежнему жива. Мы поспешили списать эту книгу в пыльный архив.

Гвардия не сдается

Говорят, что «Молодая гвардия» слабее «Разгрома», что Фадеев исписался… На самом деле главная претензия, пусть это не всегда четко проговаривается, — вовсе не к художественным достоинствам романа, а к тому, что автор послушал Сталина и перекроил книгу. Никто не разбирается всерьез, стала ли книга хуже от этой перекройки, а на самом деле даже не перекройки, а доработки, новой редакции — дело в литературе обычное. Претензии к Фадееву зачастую связаны не столько с его текстами, сколько именно с тем, что он был главой Союза писателей и верным сталинцем.

К Фадееву постсоветское демократическое литературоведение подходит примерно так же (и столь же несправедливо), как подходило к его герою Мечику ортодоксальное советское литературоведение.

В 1980-х и 1990-х яростным публицистическим атакам подверглись, пожалуй, все советские герои и святые — от Зои Космодемьянской до Гагарина. Не мог избежать нападок и Фадеев с его «Молодой гвардией». Одни говорили, что никакого партийного подполья на Донбассе не было. Другие писали, что Олег Кошевой — обыкновенный подросток-хулиган. Разведчик-перебежчик Виктор Суворов (Резун) вообще заявил, что Фадеев все выдумал: «„Молодая гвардия“ родилась и существовала только в его мозгу, который сверх меры был пропитан алкоголем». Он же в другом месте привел рассказанную ему кем-то в США историю, оговорившись, впрочем, что не уверен в ее истинности: «Фадеев… приехал в Америку с какой-то лекцией про мир. И на одной из лекций ему сказали: товарищ Фадеев, мы сейчас вам сделаем сюрприз. И тут заходит человек и говорит: здравствуйте, я Олег Кошевой. Говорят, что самоубийство Фадеева связано с появлением Олега Кошевого. Я не знаю, как он ушел, то ли с немцами, то ли в лес…»

Характерны утверждения Евгена Стахива (родился в 1918 году, в 16 лет вступил в ОУН, после войны эмигрировал, умер в Нью-Йорке в 2014-м; младший брат Владимира Стахива, также видного бандеровца). Стахив уверяет: подполье на Донбассе было, но состояло из украинских националистов, боровшихся с советской властью. Более того: Фадеев написал свой роман специально для того, чтобы дискредитировать ОУН. Да еще и назвал предателя — с подачи ГБ — Стаховичем, явно намекая на самого Е. Стахива, который будто бы и организовывал на Донбассе сеть подпольных ячеек украинских националистов.

Можно бы не обращать внимания на эти бредовые измышления — мало ли кто что сказал. Но интервью Стахива в постсоветские годы не раз появлялись в украинских СМИ. Президент Украины Кучма в 1997-м наградил его орденом «За заслуги» 3-й степени, а преемник Кучмы Ющенко в 2006-м — орденом Ярослава Мудрого. Нельзя не заметить, что в ходе «евромайдана» 2013–2014 годов подобные взгляды на отечественную историю были восприняты немалой и весьма влиятельной частью украинского общества. Ясно, что усилий одного Стахива было бы недостаточно для столь серьезной ревизии — но он не одинок, что делает понятнее и корни «майдана», и причины гражданской войны, вспыхнувшей на Украине в 2014 году. В этой войне Краснодон вместе со всем Донбассом встал на сторону молодогвардейцев — против идейных потомков их палачей и предателей.

Происходящее свидетельствует: роман «Молодая гвардия» не умер, не остыл, раз он по-прежнему привлекает к себе внимание и даже подвергается атакам. Он пульсирует, дышит, как заснувший на время вулкан. Мы бы, может, и забыли «Молодую гвардию» — но сама история и жизнь не дают забыть. Сменилось, кажется, всё, Советский Союз слинял в два дня — а мы по-прежнему живем в системе координат, зафиксированной этой книгой.

История продолжается. Ни для комиссара Булыги, ни для молодогвардейцев «дембеля» не предвидится.

Произведение искусства не может жить само по себе — оно должно взаимодействовать с людьми, с контекстом эпохи.

Книга Фадеева и фильм Герасимова работали, причем по-стахановски. Они стали важным фактом культуры советского общества. «Задавали ориентиры», «воспитывали подрастающее поколение» — именно так. Александр Нилин: «„Молодая гвардия“ по немедленности успеха и массовости прочтения ни с чем и сегодня не сопоставима. Официоз не препятствовал популярности, а популярность — официозу». Как сформулировал Юрий Бондарев в 2001-м, «Молодая гвардия» стала народной книгой, хотя и не была столь блестящей в литературном плане, как «Разгром»: «По тому, как ее читали в свое время, ее можно было бы назвать Библией. И эта книга сыграла свою особую роль, если говорить о ней как о поступке». Она стояла рядом с «Оводом» Войнич, с «Как закалялась сталь» Островского…

Работали (и работают) книги Фадеева не только у нас.

Мао Цзэдун говорил в 1942 году, что «Разгром» повлиял на весь мир: «По крайней мере, на Китай, как всем известно, оно (произведение. — *В. А.)* оказало очень большое влияние».

Северокорейский партизан Со Кван Мин так отзывался о

«Молодой гвардии» в начале 1950-х, когда в Корее шла война: «Если бы наша молодежь не прочла эту замечательную книгу, мы, может быть, не сумели бы так крепко сорганизоваться, когда наступил тяжелый для родины час… Но все мы читали эту книгу, все мы восхищались Олегом Кошевым и его друзьями и старались подражать им во всем». В очерках «Борющаяся Корея» советский журналист Алексей Кожин описывал театральные постановки «Молодой гвардии» прямо на улице, среди дымящихся руин Пхеньяна. И дело тут не только в воспитательном, так сказать, значении романа. В журнале «Знамя» в 1951 году вышла статья с примечательным названием «Молодогвардейцы Пхеньяна повторили даже методы борьбы краснодонских героев». Оказывается, были целые партизанские группы, называвшие себя «Молодой гвардией», — и в Пхеньяне, и в шахтерском (снова «угольное племя»!) городе Анчжу. Корейские молодогвардейцы вызволяли пленников из американского концлагеря, взрывали мосты и склады, распространяли листовки. Однажды обклеили листовками вражеский штаб — прямо как юный Булыга во Владивостоке.

В Чугуевке в музее Фадеева стоит бюст Фиделя Кастро с «Разгромом» в руках. Известно, что Кастро читал «Разгром» во время кубинской революции (как и Лазо во владивостокском подполье не расставался с книгами). Они ровесники — «Разгром» и Фидель. А поход Кастро на Кубу для свержения режима Батисты начался в год, когда Фадеев ушел из жизни: 13 мая он выстрелил в себя, а 2 декабря с яхты «Гранма» сошли на кубинскую землю Фидель и Че.

«Мировому социалистическому движению» (сейчас можно сказать — «антиглобалистскому») Фадеев оказался нужнее, чем «постсоветскому пространству», в которое превратился Союз нерушимый. Из очерка писателя Глеба Горышина, опубликованного в 1993 году журналом «Вокруг света»: «На встрече с учеными-русистами в Академии общественных наук в Пекине у нас спросили, по-китайски вежливо улыбаясь: „Объясните нам, что у вас происходит? Мы не можем понять. Почему вы сами себя разоблачаете? Какой в этом смысл?“ Пожилой профессор в синей диагоналевой „сталинке“ (их донашивают старики в Китае) обратился к нам с, по-видимому, мучающим его недоумением: „Я прочел в ‘Огоньке’, что Олег Кошевой чуть ли не предатель… Но ведь мы воспитывались на ‘Молодой гвардии’ Фадеева, и наши дети воспитываются… Как же так?“».

За «Молодой гвардией» стояли жизнь и правда. Плакали и над книгой, и на фильме. Фадеев не разделял жизнь и

литературу, и «широкие круги» были с ним в этом солидарны. Они, эти широкие советские круги, были замечательно искренни, наивны, идеалистичны.

Не уверен, что наше новое продвинутое поколение с его, казалось бы, чистыми, не заидеологизированными мозгами — лучше или умнее.

Не вина Фадеева, что мы перемагнитились, подобно компасу пятнадцатилетнего капитана, и воспринимаем «Молодую гвардию» просто как литературное произведение, а не как кровоточащий кусок нашей жизни.

Книга не стала хуже — это мы стали другими.

Самое время перечитать «Молодую гвардию».

Последняя попытка

Название неоконченной «Черной металлургии» Фадеева отсылает к «Как закалялась сталь» Островского.

Тема — вечная фадеевская: выковывание нового человека. «Роман о великой переплавке, переделке, перевоспитании самого человека… Превращение его в человека коммунистического общества, — писал Фадеев. — Главная… мысль романа — это мысль о коммунистическом перевоспитании людей, подобно тому как черная металлургия берет в природе уголь, руду, известняк и пр. и пр. и переплавляет в совершенный металл…»

Метафора не то чтобы сильно оригинальная.

> Гвозди бы делать из этих людей:
> Крепче бы не было в мире гвоздей,

— написал за три десятка лет до «Металлургии» Николай Тихонов.

А еще раньше будущий советский вождь Джугашвили придумал себе псевдоним «Сталин».

У нас было большое производство — и были производственные романы. Литература, хорошая или плохая, стремилась охватить все сферы жизни.

Теперь, во времена гегемонии «офисного планктона», о производственном романе принято отзываться иронически. Но что плохого в самом этом определении, слившем воедино тему и жанр? Мы привыкли к «военной прозе», «деревенской прозе». Почему не быть производственной прозе? Взять популярные у нас книги Артура Хейли — что это, как не производственные романы? [324]

Или же сейчас, когда пролетариат давно никто не считает гегемоном, производственный роман следует числить по ведомству фантастики?

В советское время он был в авангарде и почете. Уже в 1925-м вышел «Цемент» Гладкова, за ним — «Лесозавод» Караваевой, «Гидроцентраль» Шагинян, «Большой конвейер» Ильина, «Соть» Леонова, «День второй» Эренбурга, «Время, вперед!» Катаева, «Танкер „Дербент“» Крымова и т. д. Да и позже традиция так или иначе сохранялась: в 1970-е вышли «Территория» Куваева, «Шахта» Плетнева[325]… Вплоть до повестей милиционера Андрея Кивинова, ставших в 1990-х основой для сериала «Улицы

разбитых фонарей».

Тему «Черной металлургии», как и «Молодой гвардии», Фадееву подсказали сверху. В основе — внедрение так называемой бескоксовой (бездоменной) технологии, позволяющей получать металл непосредственно из руды. Действие должно было происходить «сейчас» — в 1950-х[326].

«В пятьдесят первом меня вызвал Маленков. „Изобретение в металлургии, которое перевернет все. Грандиозное открытие! Вы окажете большую помощь партии, если опишете это…“», — передает слова Фадеева Эренбург.

Есть и другие версии. Долматовский говорит, что на тему романа писателя навел один из руководителей тяжелой промышленности СССР и однокашник по горной академии Иван Тевосян. А другой однокашник — Владимир Уколов — пишет, что еще в 1932 году, когда он работал инженером-доменщиком на Магнитогорском металлургическом комбинате, к нему без предупреждения «заявился» Фадеев и «начал терзать» расспросами о тонкостях производства. Уколов решил, что замысел металлургического романа появился у писателя уже тогда.

Но начал новую книгу Фадеев только в 1951-м — сразу после завершения работы над второй редакцией «Молодой гвардии». Первым делом поехал на Урал — изучать производство. Вот так же для сценария о Фрунзе он ездил на Перекоп, для «Молодой гвардии» — в Краснодон… Он и теперь не превратился в кабинетного писателя. Челябинские металлурги вспоминали: жил Фадеев в маленькой комнатушке, грел себе кипяток, бродил по городу, приезжал на Челябинский металлургический комбинат — беседовал, наблюдал, записывал… В 1952–1953 годах Фадеев побывает на девяти металлургических заводах — на Урале, в Москве, в Днепропетровске…

Штудирует учебники по металлургии, брошюры новаторов производства, биографии металлургов Аносова, Чернова, Павлова, Байкова, Бардина (последний сам снабдил его литературой, в том числе американской). Изучает жизнь Дзержинского, Куйбышева, Орджоникидзе, которые должны были так или иначе появиться в романе.

В рабочих записях Фадеев подробно излагает нюансы технологических процессов. Приводит массу терминов, не всегда объясняя их. Он считал, что современный советский человек обязан их знать: «Читатель, не знающий техники, через 10–20 лет будет выглядеть троглодитом. Литература не может равняться на троглодитов!»

В 1952 году ему отлично пишется: «Роман мой уже поплыл

как корабль». Весной 1953-го Фадеев пишет Суркову, что планирует закончить роман к концу 1954 года, если его освободят от части дел. Называет книгу «самым лучшим произведением своей жизни». В романе, говорит он, — «сейчас вся моя душа, все мое сердце».

Вскоре, однако, всё посыпалось.

По «официальной» версии, роман забуксовал из-за того, что сама жизнь вступила в противоречие с придуманной автором концепцией. На поверку «новаторство» оказалось «проявлением субъективизма», если не хуже. Фадеев так объяснял случившееся Важдаеву: «В борьбе за некоторые технические открытия, называвшиеся тогда „революцией в металлургии“, оказались правыми не „новаторы“ (ибо это были раздутые лженоваторы[327]), а „рутинеры“ (ибо они оказались просто честными и знающими людьми)». То же сообщал Асе: «„Великое“ открытие оказалось чистой „липой“».

Важную роль в романе играла борьба с «врагами народа», но реальное дело «врагов» тоже оказалось липой — как писал Фадеев, «к счастью для этих людей и к неудаче романиста», который на основе двух этих рассыпавшихся сюжетных линий построил свой замысел.

Фадеев решил, что это крах. Сказал Эренбургу: «Роман пропал». Тот советует не горячиться: переписал же Фадеев свою «Молодую гвардию», уже вышедшую в свет, — а поправить еще не дописанное гораздо проще. Фадеев вспылил: «Вы судите по себе! Вы описываете влюбленного инженера, и вам все равно, что он делает на заводе. А мой роман построен на фактах». Успокоившись, тихо сказал: «Мне остается одно — выбросить рукопись. Да и себя — новой книги я уже не начну…»

Потом он все-таки пытался спасти «Металлургию». Да и не один Эренбург советовал ему сделать это — еще Каверин, Твардовский, Федин… Фадеев согласился, что опускать руки рано, несмотря на «лженоваторов»: «Это не сняло основной темы борьбы за технический прогресс, — наоборот, она стала еще более животрепещущей, — но надо менять объект. Те, кого объявляли тогда врагами… оказались просто оклеветанными… Приходится перерабатывать всю первую книгу. Был период, когда я испытал некий нравственный шок. Теперь более или менее стало видно, что и как надо сделать». В октябре 1955 года пишет Варваре Бусыгиной: «Роман мой подвергается сейчас исключительно крупным переделкам — настолько, что большая часть прежней работы фактически идет насмарку… Автору это, конечно, нелегко, а по существу дела многое сейчас стало более ясным с точки зрения правильной и большой перспективы».

Фадеев ставит себе новые дедлайны: надеется переписать и закончить роман к концу 1956-го или к началу 1957 года. Составил новый план, приступил к переработке. В письмах этого времени обещает вот-вот сдать первую книгу — мол, роман уже «на половине пути»… На деле он еще и близко не подошел к половине. Но Фадеев словно сам себя успокаивал, заговаривал.

Уже слишком многое мешало выполнить задуманное: ухудшившееся здоровье, эмоциональная вымотанность, ощущение беспросветности…

В итоге он потерял надежду. Вера Кетлинская спросила у Фадеева о романе в феврале или марте 1956-го и тут же пожалела об этом. «Большая часть написанного — к черту!» — крикнул он, вскочив. Тамара Головнина видела писателя 21 апреля 1956 года: «Саша взволнованно, даже как будто рассердившись, сказал, что положение с романом очень сложное». Долматовский говорил с Фадеевым той же весной, и писатель сказал ему: «Роман надо кончать». Долматовский с надеждой переспросил: «Заканчивать?» Фадеев ответил, что ему не до игры словами: «Роман рухнул, его надо положить, как говорят киношники, на полку».

Новой редакции романа так и не появилось. В архиве Фадеева сохранилась масса подготовительных материалов к роману, но готового текста, как и черновых набросков, немного. Все, о чем можно говорить серьезно, — восемь глав, переписанных набело еще летом 1953 года и опубликованных в 1954-м. Но в этих главах речь еще не шла о нюансах металлургии, а значит, едва ли они нуждались в кардинальной переработке. Описывалась семейная жизнь героев, было изображение металлургического комбината — но первое, пристрелочное… Если что-то и надо было переделывать, то даже не написанное, а задуманное.

Вероятно, причина краха крылась не столько во внешних, сколько во внутренних обстоятельствах. Слишком серьезно ухудшилось состояние самого Фадеева — физическое и психическое. Он много болел, почти не выходил из больниц. Может быть, историей с «лженоваторами» он пытался оправдать в чужих да и своих глазах то простое обстоятельство, что ему уже не писалось.

Формально создание романа оборвано самоубийством — но, возможно, он не завершил бы его никогда. Как не закончил «Удэге» — первый, любимый, сквозной на всю жизнь замысел.

Добиваясь ради «Черной металлургии» очередного отпуска, Фадеев писал Суркову. Говорил, что не дать ему закончить этот роман — все равно что насильственно задержать роды. «Но я тогда просто погибну как человек и как писатель, как погибла бы

при подобных условиях роженица», — написал Фадеев.

Настоящий писатель знает цену своим словам.

Третья пуля

Мог бы Фадеев в 1930-х остаться в Приморье, удалившись от литературных склок и большой политики? Возможно.

Но есть какая-то высшая логика в том, как разворачивался его жизненный сюжет.

После майского выстрела в Переделкине и тексты, и образ Фадеева приобрели чеканную законченность.

Рапорт председателя КГБ СССР Ивана Серова в ЦК КПСС от 14 мая 1956 года:

> «13 мая 1956 года, примерно в 15.00, у себя на даче, в Переделкино, Кунцевского района, выстрелом из револьвера покончил жизнь самоубийством кандидат в члены ЦК КПСС писатель Фадеев Александр Александрович.
>
> Предварительным расследованием установлено, что накануне, т. е. 12 мая с. г., Фадеев находился у себя на московской квартире, где имел встречу и продолжительную беседу с писателями С. Я. Маршаком и Н. Погодиным.
>
> Вечером того же дня Фадеев вместе с 11-летним сыном Мишей приехал на дачу в Переделкино, где и находился до самоубийства.
>
> Как показала его секретарь Книпович, в 12 часов дня 13 мая с. г. Фадеев сказал ей, что после разговора с Маршаком он не мог уснуть и на него не действовали снотворные средства.
>
> По заявлению домработницы Ландышевой, Фадеев утром 13 мая приходил к ней на кухню и, отказавшись от завтрака, снова ушел к себе в кабинет. При этом, по мнению Ландышевой, Фадеев был чем-то взволнован.
>
> Около 15 часов в кабинет Фадеева зашел его сын Миша и обнаружил Фадеева мертвым.
>
> При осмотре рабочего кабинета сотрудниками КГБ Фадеев лежал в постели раздетым с огнестрельной раной в области сердца. Здесь же на постели находился револьвер системы „Наган“ с одной стреляной гильзой. На тумбочке, возле кровати, находилось письмо с адресом „В ЦК КПСС“, которое при этом прилагаю.
>
> Труп Фадеева отправлен в институт Склифосовского для исследования.

Рабочий кабинет Фадеева А. А. опечатан. Следствие продолжается».

Самоубийство — всегда загадка. Оно привлекает внимание, какого не привлекает даже убийство.

Смерть Фадеева походя объясняют в таком ключе: всю жизнь подличал и лгал, после XX съезда то ли прозрел, то ли испугался мести репрессированных — и взялся за наган. В щадящем Фадеева варианте — от раскаяния, в беспощадном — от страха.

Формулируется это, например, так: «Уничтоживший собственный талант, осознавший пустоту, к которой пришел, Фадеев превратился в алкоголика».

Или так (Людмила Улицкая[328], рассказ «Писательская дочь»): «Он был палаческой породы, которой развелось от советской власти множество, коммунист и алкоголик, похоже, что с остатком совести, и покончил с собой через некоторый критический срок после смерти Сталина. Интересная небольшая задачка, которую уже никто не разрешит: потому был пьяница, что были в нем остатки совести, или, наоборот, пьянство и связанные с ним страдания не давали окончательно разрушиться эфемерному предмету, называемому совестью. Говорили, что попался на улице кто-то из тех, кого он посадил, уличил негромко, при случайной встрече, и какая-то вернувшаяся из ссылки вдова чуть ли не плюнула в лицо… И он пришел домой, выпил последнюю в своей жизни бутылку водки и застрелился в кабинете государственной дачи, которую выдали ему за верную службу».

Г. Чхартишвили (Акунин): «Политическая ангажированность завела в жизненный и творческий тупик».

Е. Евтушенко: «Тени лагерных призраков замучили Фадеева. Он не выдержал взгляда тех из них, кто вернулся».

Говорят, некий бывший зэк приехал на дачу к Фадееву и плюнул ему в лицо, а потом повесился. Иногда называют и его имя: писатель Иван Макарьев.

На поверку всё оказывается иначе.

«Все эти байки сочинены уже после смерти папы, — рассказывал в 2003 году Михаил Фадеев. — Тот писатель, в смерти которого обвиняют Фадеева, на самом деле не повесился, а вскрыл себе вены. И не в 1956-м, а в 1958 году, через два года после самоубийства папы».

К Фадееву и правда приходили освободившиеся — часто с его же помощью — из лагерей, но за другим: за помощью. Его двери для них были всегда открыты, что само по себе — акт гражданского мужества, тем более выдающийся, что был не

единовременным, а длившимся в течение многих лет. В прошлом видный рапповец Иван Макарьев именно по ходатайству Фадеева смог вернуться в Москву — уже больным, спивающимся человеком. Его даже избрали секретарем парткома Союза писателей, но он потерял взносы и из-за этого в 1958 году покончил с собой.

Валерия Герасимова пишет, что в последние годы Фадееву приходили анонимные письма от якобы пострадавших из-за него людей. «Возможно, кое-кто из этих анонимов был из тех лиц, что терзали нас и в былые годы. Все же не было у Саши врагов более безжалостных, чем былые авербаховцы», — пишет Герасимова. Но тут можно только гадать: ни один аноним не открыл своего лица, не говоря о том, чтобы прийти к Фадееву.

Александр Павлович Нилин пишет: «Не верили в моей семье и в ту версию, что Фадеева замучила совесть, когда стали приходить к нему писатели, возвращавшиеся из заключения. Они, мол, инкриминировали Фадееву, что его подпись стояла под согласием на их репрессии. Неужели писатели, отбывшие срок, совсем ничего про советскую власть не поняли — и могли считать, что без согласия генерального клерка Фадеева на их арест они остались бы на свободе?»

Широкое хождение получили слова Фадеева, будто бы сказанные им накануне смерти Либединскому: «Трудно жить, Юра, с окровавленными руками…» Особенность подобных сильных фраз в том, что они сразу подхватываются, распространяясь в информационном пространстве со стремительностью вируса, и следы их теряются. В данном случае след ведет к подзабытому советскому писателю Александру Авдеенко, который привел эти слова в книге «Наказание без преступления», вышедшей в 1991 году (когда наряду с шокирующей правдой публиковалось чудовищное количество шокирующей неправды) и поданной как «автобиографическая повесть-исповедь». За точность цитаты поручиться трудно: Авдеенко пишет, что Фадеев говорил эти слова Либединскому, а уже тот передал их ему — двойной фильтр. К тому же Авдеенко писал мемуары в конце 1980-х, в преклонном возрасте — что-то мог напутать или додумать.

Но если Фадеев действительно сказал именно так — это должно говорить не о его смертных грехах, а скорее о мужестве, честности перед самим собой, совестливости. Если у него руки в крови — то что с руками у других? И ведь живут как-то. Не говоря о том, что «окровавленные руки» могут быть метафорой, и строить на этих словах обвинения не умнее, чем делать далекоидущие выводы из «убитых в детстве людей», будто бы

снившихся Гайдару.

Самоубийство Фадеева можно трактовать как угодно. То ли он не захотел иметь дело с новыми правителями и по-самурайски ушел вслед за своим патроном. То ли, напротив, разочаровался в Сталине — и во всей своей жизни.

Герасимова связывает смерть Сталина с гибелью Фадеева, но не прямо: «При Сталине враги Фадеева опасались идти в прямой поход против него, зная, кем он утвержден на должность генсека». Сталин был для Фадеева «крышей», последней инстанцией. При этом и Герасимова, и сестра Татьяна пишут, что после смерти Сталина Фадеев сказал: «Дышать стало легче».

Хрущев в своих воспоминаниях — кажется, не без удовольствия — свел счеты с Фадеевым: «Во время репрессий, возглавляя Союз писателей СССР, Фадеев поддерживал линию на репрессии. И летели головы ни в чем не повинных литераторов… Трагедия Фадеева как человека объясняет и его самоубийство. Оставаясь человеком умным и тонкой души, он после того, как разоблачили Сталина и показали, что тысячные жертвы были вовсе не преступниками, не смог простить себе своего отступничества от правды. Ведь гибла, наряду с другими, и творческая интеллигенция. Фадеев лжесвидетельствовал, что такой-то и такой-то из ее рядов выступал против Родины. Готов думать, что он поступал искренне, веруя в необходимость того, что делалось. Но все же представал перед творческой интеллигенцией в роли сталинского прокурора. А когда увидел, что круг замкнулся, оборвал свою жизнь. Конечно, надо принять во внимание и то, что Фадеев к той поре спился и потому утратил многие черты своей прежней личности».

Сам-то Хрущев, как известно, от правды не отступал и «линию на репрессии» не поддерживал…

Объясняя гибель Фадеева, Никита Сергеевич сделал вид, что не читал его предсмертного письма. Намеренно передернул, зная, что мертвый писатель не может ответить. Предложил две ложные версии сразу, не заметив, что они противоречат друг другу. Определился бы, о чем он: о трагедии «человека умного и тонкой души» или о пьяном суициде разложившегося алкоголика?

Куда мудрее написал Корней Чуковский уже 13 мая: «Мне очень жаль милого А. А., в нем — под всеми наслоениями — чувствовался русский самородок, большой человек, но боже, что это были за наслоения! Вся брехня сталинской эпохи, все ее идиотские зверства, весь ее страшный бюрократизм, вся ее растленность и казенность находили в нем свое послушное орудие… Он — по существу добрый, человечный, любящий литературу „до слез умиления“, должен был вести весь

литературный корабль самым гибельным и позорным путем — и пытался *совместить* человечность с гепеушничеством. Отсюда зигзаги его поведения, отсюда его замученная СОВЕСТЬ в последние годы».

Много ли было в ту эпоху людей сопоставимого с Фадеевым ранга, о которых можно сказать, что они ни разу не пошли на сделку с совестью? Или она, совесть, после XX съезда проснулась у одного Фадеева? Или у других она тоже была, но не было револьвера?

Ни официальная версия об алкоголизме, ни неофициальная — о «руках в крови» и «замучившей совести» — не могут устроить непредвзятого исследователя. Обе — ущербны, однобоки, недостаточны. «Обе хуже».

Относительно всякого титулованного советского самоубийцы должна еще быть обязательная версия о «чекистском следе»: и Есенина — чекисты, и Маяковского… Даже странно, что Фадеева — не они.

Мне представляется, что был целый комплекс причин, заставивших Фадеева взять револьвер. Клубок, гордиев узел, который он уже не мог распутать — только разорвать револьверной пулей.

В последние годы жизни Фадеев находился в глубоком и длительном кризисе с несколькими составляющими — личная, творческая, общественная… Но как бы гипербола нашего поиска ни стремилась к оси истины, окончательного ответа мы не найдем. Он остался в одной голове — седой, лежащей на последнем фото на подушке с приоткрытым беспомощно ртом.

По свидетельству Лидии Чуковской, Ахматова, узнав о случившемся в Переделкине, сказала: «Я Фадеева не имею права судить». Чуковская ответила: «Лет через пятьдесят будет, наверное, написана трагедия „Александр Фадеев“».

Если бы они знали, что писать ее будет некому…

Андрей Битов как-то сказал: «исписавшийся писатель» — не оскорбление. Всякий писатель стремится к исписанности, но не всякий ее достигает. Драма Фадеева — в том, что он не успел, вернее — не смог исписаться. Это драма недореализованности. Название «Разгрома» звучит пророчеством Фадеева о самом себе: он разгромил в себе писателя, закончив контрольным выстрелом в сердце.

Александр Яшин: «Он был рожден для непрерывного творческого труда, а вместо этого, волею обстоятельств, всю свою жизнь писал, думал и заботился больше о том, как пишут другие. В этом была какая-то жертвенность… Гражданский темперамент

не позволял ему оставить свой партийный пост… Трагедия Фадеева — это трагедия сильного, чистого и честного человека».

Яшин не одинок: множество мемуаров о Фадееве, написанных вскоре после его гибели, звучат в одной тональности. Друзья и коллеги словно реабилитируют писателя, смывают с него пятна, появившиеся после хамского некролога, о котором мы скажем отдельно.

«Сашу сгубило… то уродливое, очень нужное для бездарностей и карьеристов, но не нужное для него организационно-администраторское „руководство“, которое было взвалено ему на плечи», — считала В. Герасимова.

Фадеев и сам знал, что общественная деятельность отнимает время и силы у него как писателя. Еще в 1929 году он писал Землячке о «неврастении в очень острой форме», возникшей из-за противоречия между «органической потребностью писать» и «литературно-общественной нагрузкой». В те же годы прозорливый Горький говорил ему: дело может кончиться гибелью дарования.

«Когда я все это успею сделать?!» — восклицал Фадеев, имея в виду «Провинцию» и «Удэге».

Никогда.

В феврале 1940 года он говорил уже бесповоротно больному М. Булгакову: «Я все время мешал себе как писателю… Писал урывками, на бегу. Вот и „Удэге“ до сих пор лежит неоконченное. А я ведь не ленив. Тогда как же это назвать? Самопредательство? Фу, черт возьми, писателю все можно простить — двоеженство, кражу, даже убийство — только не это, не самопредательство».

«На меня многие писатели в обиде. Я их могу понять. Но объяснить трудно…» — сказал как-то Фадеев Эренбургу. Тот ответил: «Скажите им, что больше всех вы обижали писателя Фадеева…»

Александр Нилин: «Я все же думаю, что увела Фадеева из жизни вина перед собой».

В 1944 году Фадеев написал Маргарите Алигер отчаянное в своей откровенности и горечи письмо. В нем уже слышатся интонации будущего предсмертного послания в ЦК: «В моей жизни я всегда и главным образом был виноват перед ней, перед работой. Всю жизнь, в силу некоторых особенностей характера, решительно всегда, когда надо было выбирать между работой и эфемерным общественным долгом, вроде многолетнего бесплодного „руководства“ Союзом писателей, между работой и той или иной семейной или дружеской обязанностью, между работой и душевным увлечением, между работой и суетой жизни, — всегда, всю жизнь получалось так, что работа отступала

у меня на второй план. Я прожил более чем сорок лет в предельной, непростительной, преступной небрежности к своему таланту… От сознания своих слабостей, недостатков, дурных поступков я часто чувствовал и чувствую себя виноватым перед богом и людьми, но я никогда не чувствовал самой главной и самой большой не только в личном, но и в общественном, даже государственном смысле своей вины — вины перед своим талантом, который не мне принадлежит».

На самом деле, конечно, чувствовал — раз думал и говорил об этом.

В 1948-м пишет Ольге Форш: «Ко мне в должности Генерального секретаря нужно относиться, как к невменяемому. Мне редко удается сделать вовремя что-нибудь путное, поскольку я постоянно увлекаем стихией так называемых „неотложных“, т. е. суетных дел. Сейчас я уже вполне доспел до Канатчиковой дачи, но все еще не дают отпуска». Здесь Фадеев сдержан, ироничен — но слышна и неподдельная тревога.

Он то и дело просился в «творческий отпуск» — то для «Удэге», то для «Молодой гвардии», то для «Черной металлургии» — но с каждым разом использовать отпуск по прямому назначению, для творчества, было все сложнее. А снова уехать на год в Приморье он уже не мог. Или думал, что не может.

Придумывал десятки сюжетов — не воплощал ни один. В 1951-м сообщает Федину, что он «уже давно не писатель, а акын» — ходит, рассказывает, но не пишет. О том же писал Сталину: «Ежедневно совершаю над собой недопустимое, противоестественное насилие, заставляя себя делать не то, что является самой лучшей и самой сильной стороной моей натуры».

Фадеев много лет подряд душил в себе писателя, совершая творческое самоубийство. Он не был слабохарактерным, но искренне верил в то, что его общественная работа значима и необходима — да так оно и было. Точная формулировка Эренбурга: «Фадеев был смелым, но дисциплинированным солдатом, он никогда не забывал о прерогативах главнокомандующего». Конформистом старый подпольщик и партизан Булыга не был. Но власти, которую сам утверждал, — верил, как верил во всё, что писал, говорил и делал.

Вот ключ к пониманию сюжета фадеевской жизни, о которой мы не можем теперь говорить, не держа в уме ее самоубийственного финала и не задаваясь вопросом о том, почему он подошел к пропасти и шагнул вперед.

Конечно, свою роль мог сыграть и мировоззренческий кризис. «Вера его, в отличие от других писателей, в светлое коммунистическое будущее была сильнее», — справедливо пишет

дальневосточный исследователь творчества Фадеева Ирина Григорай. Действительно: другие после 1956 года отряхнулись, оправились и зашагали себе вперед с новыми лозунгами… Подобные метаморфозы мы увидим и позже — в перестройку. Не то — Фадеев (как в 1991 году покончивший с собой маршал Ахромеев). Слишком он был искренен и прям, не имел запаса спасительной гибкости.

Еще — смерть Сталина.

А годом позже — смерть матери.

Фадеев чувствовал себя непоправимо одиноким. «Как внутренне одинок был Саша! Одиночество это усугублялось еще той броней, которую он всегда носил…» — писала В. Герасимова.

Эренбург: «Мне кажется, что с друзьями он не всегда и не обо всем заговаривал. Вот одно из его признаний: „Уж я-то знаю, что такое одиночество!“».

Кетлинская, начало 1956 года: «Как-то неожиданно Фадеев признался:

— А я, знаете, сейчас очень одинок».

Еще — ослабление позиций в Союзе писателей. Герасимова писала, что Фадеева «травил» Алексей Сурков, что он сыграл в гибели Фадеева «существенную роль». «Многолетним, потаенным, искусным врагом» еще с рапповских времен называет его Герасимова. Даже если она перегибает палку, роль Суркова в удалении Фадеева от ведущих позиций в союзе очевидна. Сам Фадеев в последние годы высказывался о Суркове скептически, а то и неприязненно. Чуковский в записи 1954 года излагал слова Фадеева о современных советских писателях: «Они ничего не читают. Да и писать не умеют, возьмите хотя бы Суркова… Ну ничего, ничего не умеет. Двух слов связать не умеет. И вообще он — подлец. Спрашивает меня ехидно-сочувственным голосом: „Как, Саша, твое здоровье?“ и т. д.».

Философ Александр Зиновьев доказывал, что десталинизация советского общества была процессом объективным — начавшимся до Хрущева и помимо Хрущева, всего лишь вовремя сообразившего возглавить его[329]. XX съезд только оформил, закрепил этот уже шедший процесс, обусловленный целым рядом предпосылок.

Случай Фадеева это подтверждает. Он ведь задолго до XX съезда забрасывал инстанции ходатайствами о пересмотре дел репрессированных писателей (и не только писателей). «Оттепель» начиналась в том числе с Фадеева, хотя в общественном сознании он навсегда связан с предыдущей — свинцово-сталинской эпохой.

Оттепель его и убила. Выжившего на самых жестоких зимних ветрах.

После смерти Сталина и ареста Берии Фадеев раз за разом обращался к Маленкову и Хрущеву с предложениями по реформированию системы управления культурой. Предлагал дать художнику больше свободы, выступал как самый настоящий «прогрессивный демократ».

Однако новые вожди Фадеева не слушали. Он остался не у дел. Всю жизнь наступал на горло собственной писательской песне — а теперь оказался не нужен.

Казалось бы — тут-то и закончить «Удэге», написать «Черную металлургию»… Но писать Фадееву становится все труднее. Хотя это еще далеко не исписанность — скорее мучительная невозможность исписаться.

В феврале 1956 года Антал Гидаш навещал Фадеева в больнице. Речь пошла о какой-то журнальной публикации. «„Не читал, — нервно сказал Фадеев. — До сих пор мне ведь посылали все журналы. А теперь решили, видно, что я не у дел и посылать не стоит… Вот я и остался без журналов!“ — и зазвучал стереотипный горловой смех. Но в нем слышалась тревога».

Он остро переживал свою невостребованность. В последнем письме не вспомнил ни жену, ни детей: оно — о стране, себе, литературе, Сталине… Для объяснения причин ухода Фадеева в первую очередь следует рассматривать именно его предсмертное письмо, до 1990 года остававшееся тайной.

«Смерть таинственна, даже тогда, когда называется естественной. Я много убитых видел на полях войны, Фадеев показался мне одним из них или таким же, как они», — написал Долматовский. Маршал Жуков на похоронах Фадеева сказал Всеволоду Иванову (по воспоминаниям его сына — лингвиста Вячеслава Иванова): «Да, бывают потери».

После Фадеева выражение «умереть в своей постели» изменило привычное значение. Можно, оказывается, и погибнуть в своей постели. Он ведь именно погиб, как погибали его друзья — на Гражданской и после.

«С превеликой радостью… ухожу из этой жизни»

Те, кто первыми примчались на дачу Фадеева — Федин, Вс. Иванов, Долматовский (доверенное лицо депутата Фадеева), Сурков, — видели: на столике лежало письмо[330], которое унес с собой один из людей в штатском.

Этими людьми были начальник следственного управления КГБ СССР генерал Михаил Маляров, его заместитель полковник Козырев и молодой оперативник Бобков[331], который в своих мемуарах приводит такую странную деталь: «Маляров потянулся к письму, собираясь прочесть его, но Козырев остановил генерала:

— А надо ли, Михаил Петрович?

— Письмо ведь адресовано в ЦК, — поддержал его я. Свидетельствую: никто не читал письма, пока оно не дошло до адресата».

Для публикации письма оттепельных градусов не хватило. Пришлось ждать перестройки, причем перестройки поздней, когда было можно решительно всё — от «чернухи» до «порнухи». В 1989-м в СССР вышла «Щепка» Зазубрина, начал публиковаться «Архипелаг ГУЛАГ», издали «Колымские рассказы»… Можно было даже больше, чем всё — свобода приобретала беспредельные в обоих смыслах слова черты.

Но предсмертное письмо Фадеева опубликовали только в сентябре 1990-го. Не потому, что оно было крамольнее «Архипелага». О нем, видимо, просто забыли, Солженицын в то время был куда актуальнее.

Это письмо — последнее произведение Фадеева, завершенное беспощадно убедительной точкой пули. Текст, оплаченный жизнью, удостоверенный внетекстовой реальностью. Фадеев жил всерьез, отвечал за то, что говорил, — и теперь доказал это всем. Или в первую очередь — себе?

Он мог бы погибнуть десяток раз: в Спасске от японской пули, в Кронштадте от «мятежнической», в 1937-м от энкавэдэшной, на фронте — от немецкой… В своем поколении и окружении он отличался редким везением: и выжил, и поднялся на самый верх. Казался заговоренным. Но — сам отказался от предоставленной ему отсрочки. Решился на то, на что не решились его Мечик и Челноков.

До 1990 года можно было гадать, почему Фадеев застрелился, но, слава богу, письмо уцелело и опубликовано. Нет поводов считать его неискренним. Хотя, конечно, права В. Герасимова,

которая написала (не прочитав письма): «Не думаю также, что оно (содержание письма. — *В. А.)* исчерпывало все то, что привело его к тяжкому решению».

Пусть не исчерпывало — но прежде всего надо принять во внимание это письмо. Оно заслуживает вчитывания и перечитывания.

Вот оно. Орфография и пунктуация — авторские.

> «Не вижу возможности дальше жить, т. к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли, благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало мальски способное создавать истинные ценности, уме<р>ло не достигнув 40–50 лет.
>
> Литература — это святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, и с самых „высоких“ трибун — таких, как Московская конференция или XX-й партс'езд раздался новый лозунг „Ату ее!“. Тот путь, которым собираются „исправить“ положение, вызывает возмущение: собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей, находящихся в состоянии такой же затравленности и потому не могущих сказать правду, — и выводы, глубоко антиленинские, ибо исходят из бюрократических привычек, сопровождаются угрозой все той же „дубинкой“.
>
> С каким чувством свободы и открытости мира входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необ'ятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать!
>
> Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожали, идеологически пугали и называли это — „партийностью“. И теперь, когда все можно было бы исправить, сказалась примитивность, невежественность — при возмутительной дозе самоуверенности — тех, кто должен был бы все это исправить. Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в положении париев и — по возрасту своему — скоро

умрут. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить…

Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, с рабочими и крестьянами, наделенный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеями коммунизма.

Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью, бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических порок, которые обрушились на меня, — кем наш чудесный народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренне глубоко коммунистического таланта моего. Литература — этот высший плод нового строя — унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего чем от сатрапа-Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды.

Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни.

Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже 3-х лет несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять

Прошу похоронить меня рядом с матерью моей.

13/V 56. Ал. Фадеев».

Пять страничек, каждая пронумерована автором сверху. Почерк, вначале аккуратный и довольно четкий, к четвертой странице становится мельче и неразборчивее, торопливее, словно автор куда-то опаздывает. На пятой, последней странице он как будто чуть сбавил темп, буквы и между строчные интервалы стали больше. Словно понял: главное высказано, бумаги хватило, дальше можно не мельчить. Видно, что писал во взволнованном, даже взвинченном состоянии, порой сбивчиво; и все же был в ясном рассудке, мысль работала четко.

Обращает на себя внимание откровенность, которой Фадеев себе до сих пор не позволял — по крайней мере публично. Последнее отчаяние стало для него моментом истины, когда рвешь рубаху или чеку, когда готов не то что зарезать — зарезаться.

Последний текст писателя не дошел до читателя, потому что те, кому он был прямо адресован, спрятали его, а когда письмо стало доступно «широким кругам», им и всей стране было уже не до Фадеева.

«Не вижу возможности дальше жить…» отсылает к той же концовке «Разгрома»: «Нужно было жить и исполнять свои обязанности». Последняя строчка лучшей книги Фадеева зарифмовалась с первой строкой его предсмертной записки, и не случайно: для него литература и жизнь были неразделимы. Исполнять свои обязанности — так, как он их понимал, — Фадеев уже не мог ни в качестве писателя, ни в качестве общественного деятеля, которому был заказан вход в высшие кабинеты. Значит, невозможно стало и жить.

Еще одна параллель. В декабре 1934-го Фадеев выписал из «Путешествия на край ночи» Селина: «Замолкла в нас музыка, под которую плясала жизнь, вот и все. Вся молодость умерла где-то там, в конце света, в тишине истины… Истина этого мира — смерть. Нужно выбирать: умереть или врать…» Тут же пометил: «Предельное вырождение. Цинизм до конца. Будто нарочно придумано, — для иллюстрации духовного и морального кризиса на Западе». Возникает ощущение, что пометка эта сделана на всякий случай, для постороннего глаза. Сами же слова Селина соотносятся с последним письмом Фадеева.

«Сатрапом» изначально назывался наместник правителя в Персии, знатный вельможа. В русском «сатрап» стал синонимом деспота, тирана. Конечно, Фадеев имел в виду это последнее значение. Но письмо — далеко не антисталинское, хотя и не просталинское. Антихрущевское — да. Поэтому его и спрятали. Но тем не менее ответили уже мертвому Фадееву — некрологом и медицинским заключением о болезни и смерти. До 1990 года этот ответ существовал без вопроса.

Поначалу некролог собирались написать ближайшие товарищи и соратники — Долматовский и Сурков. Ехали из Переделкина в Москву, подбирали слова… Но опоздали. «Некролог — жесткий и краткий — кем-то уже был написан и передан в печать», — говорит Долматовский.

В медицинском заключении, пристыкованном к некрологу, говорилось: «А. А. Фадеев в течение многих лет страдал тяжелым прогрессирующим недугом — алкоголизмом. За последние три

года приступы болезни участились и осложнились дистрофией сердечной мышцы и печени… 13 мая в состоянии депрессии, вызванной очередным приступом недуга, А. А. Фадеев покончил жизнь самоубийством».

Этот документ можно понимать как предтечу «карательной психиатрии». Оппонента уничтожали заявлением о том, что он болен, а значит, рассматривать его предложения «по существу» не имеет смысла. Так несколько раньше поступили с письмами Фадеева на имя Маленкова и Хрущева.

И потом, разве могут быть в советском обществе у человека, тем более такого ранга, объективные причины добровольно расстаться с жизнью?

Твардовский записал тогда, в мае: «Газеты хамски уточняют причины самоубийства».

Писатель Владимир Тендряков: «Был ли еще такой случай в истории, чтобы официальное сообщение провозглашало: причина смерти достойного человека — пьянство?»

Писатель, литературовед Павел Басинский уже в наши дни написал: «Это был, наверное, самый позорный некролог, какой можно было сочинить для крупного советского писателя».

Однако он мог стать и еще более жестким.

14 мая вопрос о некрологе обсуждался на президиуме ЦК КПСС. Составить его поручили Суслову и Шепилову. Не обошлось без Хрущева, который был задет письмом Фадеева и, вероятно, дал какие-то указания. Эренбург утверждает, что сначала шла речь о том, чтобы написать: Фадеев застрелился в состоянии запоя. «Между тем писатели знали, что последний месяц он не выпил ни одной рюмки; некоторые запротестовали, М. С. Шагинян куда-то звонила, угрожала, что последует примеру Фадеева», — пишет Эренбург. Запой вычеркнули, алкоголизм в медицинском заключении оставили. Документ этот — оскорбительный и лживый — сыграл большую роль в последующем распространении мифа о чудовищном пьянстве Фадеева.

Казалось бы: спрятали письмо — и хватит. Сам Фадеев свои разногласия с высшим руководством на публику не выносил. Был ли необходим такой некролог? Может, боялись, что письмо каким-то образом уйдет в народ, и работали на опережение? Мол, разве можно принимать всерьез предсмертную записку алкоголика, допившегося до белой горячки… Или не было никакого расчета — а просто Хрущев обиделся и в сердцах ударил по умершему? Пишут, что на похоронах писателя он бросил: «Стрелял не в себя — в партию». Обвинение более чем серьезное.

Никита Сергеевич деятелей культуры не расстреливал, но часто вел себя с ними по-хамски — вспомнить хоть историю с Пастернаком, хоть ругань в адрес Вознесенского и художников-абстракционистов… Впрочем, похоронили Фадеева по высшему разряду: некролог в «Правде», Новодевичье кладбище (а могли ведь, исполнив волю покойного, положить рядом с мамой).

«Я болен не столько печенью…»

Важная составляющая фадеевской драмы — здоровье.

Даже не алкоголизм как таковой — иные пили не меньше, а то и больше. Да и перед смертью Фадеев длительное время не пил совершенно.

Он не сделал бы и трети того, что сделал, будь он беспробудным пьяницей. Да, пил, да, срывался, да, лечился — но это беда многих.

Другое дело, что нервы его в последние годы никуда не годились: Фадеев страдал бессонницей, пил нембутал, даже находился под наблюдением психиатра… А ведь еще недавно это был здоровый, крепкий мужчина.

Эренбург: «Александр Александрович был человеком крепчайшим; много ел, много пил; мог пробежать десяток километров; просиживал ночи на заседаниях, и все проходило бесследно. Только в последние годы нервы его начали сдавать».

Яшин: «Мы купались вместе в Переделкинском пруду. Не помню случая, чтобы Фадеев забредал в воду постепенно, оглядываясь и подрагивая, как делают другие, — нет, он кидался в воду сразу, сколь ни была она холодна. Опытный пловец, атлетически сложенный…»

Колосов: «В годы молодости Фадеев приглашал меня зимой в Сокольники ходить на лыжах. Лыжник он был, мало сказать, отличный. Трудно передать легкость и гибкость его движений и вместе с тем какую-то чарующую прямизну его будто вылепленной из одного куска статной фигуры, с чуть поднятой головой и обращенным вдаль взглядом».

Николай Тихонов: «Высокий, подтянутый, ловкий в движениях, он был по-хорошему весел, в нем не было того темного напряжения, которое временами делало его мрачным и раздражительным. Ему шел сорок шестой год, но он выглядел гораздо моложе своих лет. Он походил на джигита…»

Виктор Важдаев: «Фадеев обожал бороться… Я сам наблюдал однажды… как он долго боролся с Нилиным. Вот это была борьба! Они оба, высокие и большие, схватывались и падали, дышали, как звери, громко, с присвистом, а я, забывая, что все это шутка, бегал вокруг них, не в силах их расцепить».

Антал Гидаш, сам атлет и борец, в Севастополе на Приморском бульваре выжимавший до конца силомер и одолевавший местных моряков, не мог справиться с Фадеевым: «У меня уже пот струится с лица. А у него лицо сухое, только совсем красное. И вот я на полу. Фадеев надо мной. Я чувствую его

жаркое дыхание. И раздается знакомое: „Ха-ха-ха!“ Победил».

Либединский: «Он был очень вспыльчив, и при его большой физической силе это, казалось бы, должно было повлечь за собой драки и скандалы; по силам, отпущенным ему природой, он мог бы легко изувечить противника. Но я не помню ни одного случая, чтобы даже в состоянии крайнего аффекта он употребил свою силу во зло».

В последние годы здоровье Фадеева стало ухудшаться. Под конец он уже почти не выходил из больниц.

В 1945 году пишет жене: «Я очень плохо сплю и превратился в сомнамбулу».

В апреле 1948-го — Исаковскому: «Я сейчас лежу больной сердцем…»

В мае того же года — Симонову: «От нервничания и переутомления сплю по 4–5 часов в сутки и никак не могу уснуть днем».

1950: «И только с первого апреля я, кажется, пойду в отпуск, чтобы немного подлечить сердце…»

1950: «В начале февраля у меня началась острая сердечная аритмия…»

1951: «Я свалился: сдало сердце. Ничего опасного, но — страшное переутомление. При наличии невроза — этого спутника времени нашего — я стал неработоспособен».

1951: «У меня развился за эти годы очень сильный склероз сосудов сердца и особенно аорты. Как выражаются врачи: „Если Вам сейчас 50 лет, то сосудам Вашего сердца по крайней мере 65“. У меня, к счастью, нет порока сердца, т. е. клапаны работают нормально. В силу непонятного каприза природы у меня — при таком склерозе — не было разрывов сосудов (современная модная болезнь — „инфаркт“). Если бы случилось последнее, дни мои были бы сочтены… Но так как я живу жизнью очень напряженной, нервной, то я постоянно нахожусь перед этой угрозой».

1952: «Заболел канительной, очень расслабляющей и крайне медленно вылечивающейся печеночной болезнью — желтухой».

1952: «У меня была спазма одной из сердечных мышц. Оправившись, я опять уехал в заграничную командировку и по возвращении снова заболел — на этот раз болезнью печени — и снова пролежал почти месяц».

1952: «Я буду лечиться всесторонне и длительное время. К сожалению, я довольно долго пробуду в самой больнице — не только из-за печени, а из-за нервов и сосудистой системы…»

1952: «Выйду из больницы уж не таким, каким был даже еще два года назад, — выйду полуинвалидом (говорю не в шуточном,

не в переносном, а в буквальном смысле слова)».

1953: «В сентябре у меня обострилась болезнь печени, и я попал в больницу… Физическая слабость, бессонница, в сочетании с повышенной нервной возбудимостью, полной мозговой расторможенностью, делали меня человеком почти невменяемым. А потом я впал в состояние апатии, которая длилась до самого последнего времени».

1953: «Я болен не столько печенью, которая для врачей считается главной моей болезнью, сколько болен психически. Я совершенно, пока что, неработоспособен».

1953: «Этот год… был для меня как-то особенно неудачен: за это время я уже четвертый раз в больнице и все подолгу: сердце, печень и… прочая скучная материя».

1954: «Изолировали меня от общения с людьми из-за страшной бессонницы и сердечной аритмии на этой почве».

1954: «После возвращения из санатория… я попал в больницу с очередным обострением болезни печени и нахожусь в больнице до сих пор».

Умерла мать Фадеева, но он даже не смог быть на похоронах — лежал в больнице.

1955: «Из-за сердечной аритмии, уложившей меня в больницу в начале февраля, мне временно запрещено заниматься литературными делами…» Фадеев пишет Эсфири Шуб с мужественным юмором: «У меня началась сердечная аритмия, бравурный сердечный разнобой, похожий на современную музыку».

1955: «Меня стали преследовать приступы сердечной аритмии, вызванные не столько органическими изменениями в сердечной области, — они в общем более или менее „нормальны“ по моему возрасту, — а переутомлением нервного порядка. В известном смысле, сердце мое оказалось даже лучше, чем это раньше предполагали. Но нервная система истощена, и это отражается на сердце». Печень у Фадеева, говорит он, — «ванька-встанька», а вот с нервами хуже.

1955: «Врач констатировал у меня новую и очень затяжную болезнь: „полиневрит“, болезнь нервных оконечностей». Фадеев временами не может писать: «Полиневрит этот ударил и в кисти рук; я не мог держать в руке не то что ручку или карандаш, а даже ложку».

В начале 1956 года правительственный чиновник Дмитрий Бузин видел Фадеева в больнице: «Внешне он очень сдал. Всегда детски розовый цвет его лица сменился на бледно-серый, в ранее динамичных движениях чувствовалась усталость, ясно-голубые глаза поблекли». Литературовед Преображенский заметил, что в

последний год жизни писатель сильно изменился: «На лице, на всей фигуре его лежала печать болезненного переутомления». Каверину Фадеев рассказал, как он, измученный бессонницей, «скатывал в один огромный ком множество снотворных», глотал, забывался коротким беспокойным сном, но через два часа просыпался — «с туманом в голове и с опустошенным сердцем».

В феврале 1956 года Фадеев пишет Ильюхову: «Жизнь моя проходит в беспрерывном чередовании больницы с многообразными делами, которых накапливается тем больше, чем чаще я выбываю из строя».

В марте 1956-го — Асе (последнее письмо к ней): «Заболевания мои всё те же — печень (хронический гепатит), сердце (недостаточность на почве склероза, изменений мышцы)».

Но — мужественный человек — жалобы на здоровье (и то это скорее не жалобы, а объяснения своей несостоятельности, извинения за то, что не успел написать или встретиться) он позволял себе только в личных письмах: друзьям, Асе, старым партизанам… В письмах деловых его состояние никак не проявляется — тон бодрый, энергичный. Он не сдавался, держался до последнего, как раненый боец в пехотной цепи.

В последние пять — семь лет Фадеев был глубоко нездоровым человеком. Сколько бы он еще прожил, если бы слушал врачей и забросил подальше револьвер, — вопрос.

Сестра Фадеева Татьяна, родившаяся в 1900-м, дожила до 1982 года.

Один из его литературных предшественников — Джек Лондон — тоже считался олицетворением юности и силы, увлеченно занимался спортом, но на самом деле был уже с ранних лет серьезно нездоров, и речь тут опять же не о пристрастии к «Джону Ячменное Зерно». К скоропостижной смерти сорокалетнего Джека привели давно убитые почки (есть версия о суициде, но общей клинической картины она не меняет).

Фадеев похож и на литературного альтер эго Лондона Мартина Идена, которому врач говорил: «Вы в прекрасной форме. Признаюсь, я завидую вашему организму. Здоровье превосходное. Какова грудная клетка! В ней и в вашем желудке секрет вашего замечательного здоровья. Такой крепыш — один на тысячу… на десять тысяч. Если не вмешается какой-нибудь несчастный случай, вы проживете до ста лет». Мучающийся от смертной тоски Мартин понял: болезнь его — не в теле, а в душе, в голове.

Пристрастия к водке Фадеев не скрывал — да и как это скроешь? Другое дело, что и само его пьянство, и влияние этого пьянства на трагическую развязку, вероятно, сильно

преувеличены.

Ходит из книжки в книжку такая, например, фадеевская цитата, иногда чуть видоизменяясь: «Я приложился к самогону еще в 16 лет, когда был в партизанском отряде на Дальнем Востоке. Сначала я не хотел отставать от взрослых мужиков в отряде. Я мог тогда много выпить. Потом я к этому привык. Приходилось. Когда люди поднимаются очень высоко, там холодно и нужно выпить. Хотя бы после. Спросите об этом стратосферников, летчиков или испытателей вроде Чкалова. Мне мама сама давала иногда опохмелиться. Я ее любил так, как никого в жизни. Я уважал ее. И она меня понимала. Это был очень сильный человек…»

Высказывание очень странное.

Во-первых, в партизанский отряд Фадеев попал весной 1919-го, когда ему шел все-таки уже восемнадцатый год.

Во-вторых, не такие уж высокие в Приморье сопки — это не Кавказ.

В-третьих, если следовать логике «когда поднимаешься высоко — надо выпить», то все партизаны да и летчики должны были только и делать, что пьянствовать. Тогда как те же Титов и Ильюхов пишут, что пьянство было запрещено партизанским дисциплинарным уставом и захваченные жидкие трофеи выливали на землю. Они же описывают борьбу партизан с самогоноварением, главным образом среди корейцев. Оборудование сулеваров («суля» — корейский самогон) ломали, саму сулю выливали. Партизанские командиры, возможно, приукрашивают картину — понятно, что были отступления от устава, о чем говорится и в «Разгроме», и в «Удэге». Да и сами эти авторы пишут: в отряде малоуправляемого Шевченко выпивка «пользовалась всеми правами гражданства»[332]. Но едва ли среди партизан процветало беспробудное пьянство с опохмелками. К тому же Фадеев воевал в других, более дисциплинированных отрядах, в том числе в образцовом «Первом Коммунистическом» Певзнера, уже тогда похожем по своей организованности на регулярную армию.

В-четвертых: когда мать давала ему опохмелиться? Когда он еще подростком приезжал к ней в Чугуевку на каникулы? Вряд ли. А вернувшись в конце лета 1918 года во Владивосток, он надолго расстался с матерью: подполье, Сучан, Амур, Забайкалье, Москва, Кронштадт, Ростов… Она просто не имела возможности опохмелять сына, пока он в 1926 году не перевез ее в Москву.

Однако хлесткая цитата гуляет по литературе, соперничая в популярности с приведенной ранее фразой про «окровавленные руки». Откуда она взялась?

Попробовав найти первоисточник, я наткнулся на отсылку к книге критика Зелинского, в которой на поверку ничего подобного не оказалось. Потом след привел к упомянутым воспоминаниям Авдеенко, но и в них алкогольных фадеевских откровений не обнаружилось. Кочующая по публикациям цитата[333] выглядит крайне сомнительно, но нынешнее представление о Фадееве в значительной степени строится именно на подобных красивых — слишком красивых — фразах из невнятных источников.

Это объяснимо. С одной стороны, советского читателя перекормили Фадеевым, его бронзовеющий образ не мог не раздражать, а навязчивость и неискренность позднесоветских пропагандистов, позже перекрестившихся в «рыночников» (идеальный, химически чистый пример — Гайдар-внук), были очевидны.

С другой стороны, в перестроечный период возник спрос на разоблачение решительно всего советского — от Стаханова до Калашникова. В этом нигилистическом пафосе чувствовался накал религиозного толка: сбросить богов уходящей эпохи, чтобы освободить место для новых. Индульгенцией от разоблачений могли служить или диссидентство, как в случае с академиком Сахаровым (а то бы досталось и ему как одному из отцов советской водородной бомбы), или статус пострадавшего от репрессий, сразу же сообщавший человеку как моральную непогрешимость, так и высочайшую профессиональную состоятельность. Если бы посадили Лысенко, а не Вавилова, роль замученного гения досталась бы именно Лысенко, а Вавилова бы заклеймили — нашлось бы за что. Или взять вал ругани, вылившийся на Буденного и Ворошилова, тогда как их товарищи Блюхер и Тухачевский остались в памяти несправедливо погубленными полководцами, которые непременно спасли бы страну от катастрофы 1941 года. Если бы казнили Буденного с Ворошиловым, а Блюхера с Тухачевским не тронули, — все было бы ровно наоборот.

В этой ситуации Фадееву было не избежать удара, и фразы про стратосферные опохмелки и окровавленные руки пришлись кстати. Сегодня они должны оцениваться нами, говоря языком судейских работников, критически. В общественном процессе над Фадеевым и при Хрущеве, и в перестройку, и в постсоветские времена прокуроров было куда больше, нежели адвокатов, причем судьи чаще всего занимали сторону обвинения, показания рассматривали предвзято, не принимая во внимание доводы защиты. Пусть адвокаты тоже заговорят в голос.

Конечно, Фадеев пил.

«Раздумывая над тем, почему Саша так страшно пил, отчего он убегал в пьянство, стоит вспомнить и о его почти беспрестанном насилии над собой», — писала Герасимова, хотя, надо сказать, даже она о пьянках Фадеева в основном говорит с чужих слов.

О насилии над собой сказано совершенно справедливо, а вот о природе пьянства можно поспорить. Наивными кажутся попытки объяснить чье-нибудь пристрастие к спиртному «болью за Россию» либо чем-нибудь не менее высоким (неубедительно звучит строчка Высоцкого «Безвременье вливало водку в нас»). Или же, напротив, — нечистой совестью.

Пьют во все времена. Ортодоксы и бунтари, негодяи и хорошие люди.

Фадеев относился к пьющим. Все прочее — домыслы.

Эренбург: «Говорили также, что Фадеев мало пишет, потому что много пьет. Однако Фолкнер пил еще больше и написал несколько десятков романов». Помимо Фолкнера, можно назвать немало других имен.

Либединский вспоминал, что впервые Фадеев сильно запил в конце 1920-х. А перед войной, писал он, «болезнь была уже сильнее Фадеева».

Гидаш назвал его «таежным Вакхом».

В 1932 году Фадеев с поэтом Владимиром Луговским гостили в Уфе, где «Мотя» Погребинский[334] установил для литераторов сухой закон — видно, на то были причины. Друзья находят выход: пьют ведрами кумыс и считают, что он заменяет пиво. Видимо, неплохо попили, если в письме к матери Фадеев пишет: «Ты спрашивала, не вреден ли мне уже кумыс? У врача я не справлялся, но я пью его теперь в ограниченных дозах…»

1934 год, поезд идет в Приморье. Гидаш: «Когда же Павленко с Фраерманом пошли спать в купе, Фадеев попросил водки. Час спустя глаза его уже горели голубовато-белым накалом».

Из записки Фадеева в комиссию партийного контроля при ЦК от 10 сентября 1941 года (вернувшись с фронта, где он был с Шолоховым и Петровым, писатель на неделю выпал из жизни — пил на квартире вдовы Булгакова Елены): «Вся беда в том, что такие нездоровые прорывы в моей работе бывали и раньше и сопровождают мою жизнь. Они не так часты, но в них много нездорового в силу их затяжного характера — это признаки алкоголизма или склонности к нему. Значительная часть моей жизни прошла и проходит в литературной среде и среде искусств, в быту которой много способствующего этим явлениям. Известная привычка к снисходительному отношению к подобным вещам, как ни стыдно сознаться, сыграла, вероятно, роль и сейчас… Не было

никакой причины и никакого повода для такого моего запоя, — причина — склонность к алкоголизму, помноженному на неосознанную привычку к писательскому разгильдяйству. У писателей, к сожалению, развито чувство их безнаказанности именно в таких делах, но это недопустимо не только для члена ЦК, а просто для честного работника, — да это недопустимо и для писателя. Как человек честный и могущий работать, я всегда мучаюсь от таких прорывов, от их возможности и последствий…»

С какого-то момента Фадеев стал себя ограничивать. В 1942 году пишет Маргарите Алигер о посещении некоего банкета: «Верный договору с самим собой… только пригубил рюмку белого винца».

Александр Яшин: «В 1949 году я участвовал в работе Всесибирского писательского совещания… Сидеть в ресторане и ничего не пить считается чуть ли не зазорным… Но Фадеев тогда пил только боржом».

М. А. Фадеев: «Я никогда не видел отца пьяным, от меня это скрывалось. Мама не терпела пьянства вообще. При ней он старался не пить, уходил из дома, где-то затаивался».

Поэт Сергей Васильев гостил у Фадеева в июле 1955 года. «Не переживай, сейчас я тебе выдам единственную в доме бутылку залежавшегося сухого вина с приличной закуской, и гуляй себе на здоровье один на один. Я ведь теперь не потребляю!» — сказал ему Фадеев.

О том же вспоминает Яшин: «Сидели мы на втором этаже его переделкинской дачи, в кабинете, среди книг, лежавших грудами на столе, на полу, на полках. Я захотел вина, он принес бутылку сухого, но сам не прикоснулся к нему. В последнее время, и до самой смерти, он совершенно не позволял себе этого» (хотя в ноябре 1955 года Фадеев писал Варе Бусыгиной, что в силу многолетней привычки не всегда может удержаться от того, чтобы не «перебрать»).

Вера Кетлинская (февраль или март 1956-го): «Перешли в столовую. Стол был уставлен закусками, но вина не было. Фадеев предложил: „Что хотите? От водки до шампанского — весь набор есть. Не бойтесь, что это соблазнит меня, с этим кончено, я не пью и совершенно равнодушно смотрю, как пьют другие“».

Гидаш и его супруга в феврале 1956 года навестили Фадеева в больнице. Жена Гидаша спросила прямо, будет ли Фадеев еще пить. И тот, по словам Гидаша, ответил: «Буду». Добавив, что никакого цирроза печени, вопреки опасениям, у него нет.

Цирроза действительно не было — был гепатит. Герасимова даже писала, что врачи специально говорили Фадееву о циррозе, чтобы отвратить его от пьянства.

Да, он пил. Но — не только пил. Разного рода обязанностей и нагрузок у него было столько, что, если бы он действительно не просыхал, он не смог бы их выполнять. А он все-таки — выполнял.

«Нельзя было оставлять его одного»

Решение об уходе нельзя считать совсем спонтанным, о чем говорит развернутое письмо в ЦК.

Однако фадеевские письма последних месяцев вовсе не оставляют ощущения беспросветности.

В марте он переписывается с Сергеем Преображенским — редактором своей литературно-критической книги «За тридцать лет», готовит примечания. Пишет Асе, что после «Черной металлургии» — года через три-четыре — поедет в Приморье завершать «Удэге». Зовет ее снова — в июле — августе — в Москву. «Характер у меня не меняется, и жизнь я по-прежнему люблю и умею радоваться ей».

В апреле 1956-го обещает выпустить первую книгу «Черной металлургии» в следующем году.

29 апреля пишет поэту Сельвинскому: вот разберусь со здоровьем и работой — и встретимся. В начале мая сообщает Ермилову о намерении в июне выступить на пленуме ЦК. В мае в гости к Фадееву собиралась ехать очередная группа подшефных школьников из Чугуевки.

8 мая Фадеев пишет перевязавшему когда-то его рану в Спасске Ветрову-Марченко. Через пять дней того рядом не окажется — да и новую рану перевязывать было бы уже бессмысленно.

12 мая телеграфирует в Новосибирск, где готовится сборник воспоминаний о Сейфуллиной. Обещает дней через десять выслать свою часть.

Значит, собирался жить? Когда же передумал?

А близкие — чувствовали они что-то?

Либединский: «Нет, я не думал, что он скоро умрет! Передо мной стоял высокий, красивый и мужественный человек, седина как-то особенно красила его, на лице было обычное выражение живого и деятельного ума и внимательной доброты. Ничто не говорило о близости смерти, и особенно такой смерти».

Вера Кетлинская: «Фадеев — и самоубийство?.. Чудовищно. Невероятно».

Сын Михаил: «Почему-то никто из близких не заметил перемен в отце. 13 мая 1956 года было совершенно обыкновенным днем для нас, и отец казался таким, как всегда…»

Подруга Пастернака Ольга Ивинская вспоминала, что 11 мая Фадеев по пути в город увидел ее, остановил машину и весело крикнул: «Садитесь, довезу до Москвы!»

В этот день он гостил у Эсфири Шуб, отметившей его усталый

вид. Зевал. Сказал, что накануне принял четыре таблетки нембутала, но они не подействовали. Пояснил: иногда «после наркотики»[335] ему удается заснуть днем, а ночью — все сложнее. Фадеев сообщил Шуб, что находится под наблюдением психиатра и что сам хочет «полной изоляции в больнице». С психиатром он говорит «о душевной усталости, о невыносимой тоске, охватывающей его после запоя, и о неудержимом, навязчивом желании броситься под поезд». Самые интересные и близкие ему люди — Павленко, Петров, Малышкин, Вишневский, Эйзенштейн — умерли, и теперь он старается ни с кем не встречаться. Даже с домашними может неделями не разговаривать. Решил впредь не пить совсем — настолько тяжело после запоя. Рассказал о планах — «За тридцать лет», «Удэге»… Шуб: «Я и не могла ничего предвидеть. Я убеждена, что это было роковое мгновение, что это могло и не произойти. Фадеев любил жизнь, борьбу, любил побеждать».

Конечно, это было не просто «мгновение». Или так: слишком много стало в последние годы таких мгновений, набралась критическая масса.

Шуб говорила, что «угнетенное состояние» могла вызвать передозировка снотворного[336]. «Нельзя было оставлять его одного. Товарищи должны были бывать у него, стараться чем возможно радовать его, — писала она. — А его все оставили. Нельзя человеку больному быть без надлежащего присмотра близких. Нельзя человека психически незащищенного мучить „критикой“ тогда, когда он в больнице, как это сделал Шолохов, или когда он в отпуску по бюллетеню, как это бывало в Союзе писателей. Нельзя жить годами в состоянии личной неустроенности… Все это вместе и привело к катастрофе. Мы, его друзья, виноваты».

В тот же день Фадеев встретился с бывшим партизаном Ильюховым. Был в приподнятом настроении, глаза блестели «задором пылкой юности и юмора», говорил о творческих планах. Пить отказался.

Порой откуда-то[337] появляется — скажем осторожно — версия о будто бы произошедшей 11 мая 1956 года встрече пятерых молодогвардейцев и Фадеева с Хрущевым, на которой писатель якобы бросил в лицо лидеру страны обвинение в троцкизме, после чего Хрущев «страшно покраснел», а Фадеев «жутко побелел». Это могло бы быть одним из объяснений случившейся два дня спустя трагедии, но целый ряд обстоятельств заставляет всерьез усомниться в том, что такая встреча имела место.

Либединский видел Фадеева 12 мая и отметил: еще прошлым

летом тот выглядел совершенно здоровым человеком, а теперь, кажется, пошатывается от слабости. «Я тревожился и чувствовал, что ему очень плохо… Но если бы я знал, что он стоит уже на самом краю пропасти, конечно, я сделал бы все, чтобы оттащить его от этой пропасти… У меня даже и мысли не было о том, что Саша может решиться на такое дело».

В тот же день в Москве Фадеев встречается с Маршаком, Погодиным, с кем-то еще. Никто не замечает ничего особенного — или не хочет замечать. Из докладной записки генерала Серова в ЦК от 22 мая 1956 года: «Маршак утверждает, что по ходу беседы нельзя было сделать какого-либо вывода о пессимистических настроениях со стороны Фадеева А. А.».

Только детская писательница Тамара Габбе, говорят, шепнула в тот день: «Смотрите, какие у него глаза!» Но глаза в докладную не попали.

А он ведь еще в 1944-м писал Алигер — редкий случай, когда, что называется, прорвало: «Никто, решительно никто никогда не понимал, не понимает и не может понять меня — не в том, что я талантлив, а в особенностях, в характере моей индивидуальности, которая на деле слишком ранима при истинных размерах моего таланта и поэтому нуждается в особенном отношении». Он уже тогда был уверен: «Люди, даже самые хорошие и любящие, не могут помочь мне». Теперь не могли помочь тем более.

13 мая было воскресенье. Солнечный, уже почти летний день. Жена — в Югославии с МХАТом (возможно, Фадеев специально дождался ее отъезда). В Переделкине — сам Фадеев, одиннадцатилетний сын Миша, литературовед Евгения Книпович, домработница…

Примерно за два часа до конца Фадеев обсудил со сторожем Чернобаем вопросы устройства приусадебного участка, пообещал достать в Литфонде машину для доставки удобрений. Затем, пишет генерал Серов, они пошли в столовую, где Чернобай выпил 100 граммов водки, а Фадеев — простоквашу.

Звонил сестре, говорил об одиночестве и бессоннице, от которой спасается большими дозами снотворного.

…Едва ли произошедшее было предопределено с неизбежностью.

Ясно, что в душе Фадеева в то время был полный разлив и разгром.

Но, может быть, вплоть до 13 мая он еще не принял окончательного решения?

Герасимова считает: это решение он вынашивал годами. В докладной записке Серова говорится: «Допрошенная в качестве

свидетеля Зарахани Валерия Осиповна, которая является родственницей Фадеева и его личным секретарем, показала, что примерно год тому назад она днем зашла в спальню Фадеева и увидела его лежащим в кровати, а рядом на столике были бутылка водки, пистолет и записка. Она забрала оружие, выругала его, после чего он успокоился. Содержание записки якобы было нехорошее, но она его не помнит». В ряде источников сообщается, что будто бы в мае 1945 года сестра Фадеева застала брата с наганом и запиской: «Надоело жить Дон Кихотом». Хотя сомнительно, чтобы он стал стреляться в победном мае, к тому же увлеченный «Молодой гвардией».

И револьверы, и самоубийцы появляются уже в первых текстах Фадеева, хотя вряд ли стоит искать в этом манию. Просто так сложилось, что они в тот период окружали Булыгу. Но всякая идея стремится к воплощению — и сюжет из литературного в конце концов стал жизненным.

Наверное, все могло быть иначе, если бы не роковое стечение обстоятельств — литературных, политических, личных, медицинских. Его самоубийство — и обдуманное, и спонтанное одновременно.

Есть рассказ турецкого поэта Назыма Хикмета, датированный началом 1956 года и записанный его женой Верой Туляковой. На прогулке в правительственном санатории «Барвиха» беседовали Фадеев, митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) и сам Хикмет. Священник дал «Молодой гвардии» высокую оценку с точки зрения нравственности: герои романа не отказались от своей ноши, от избранного пути. И добавил: отчаяние — страшный грех. Фадеев — он-то уже давно находился в состоянии отчаяния почти непрерывно! — стал возражать. Доспорились до самоубийц: их потому и хоронили за кладбищенской оградой, что они отчаялись, отошли от Бога. Фадеев доказывал, что человек свободен, имеет право сбросить свой крест, если жить стало невыносимо тяжело, если исчерпаны все ресурсы души… Митрополит не соглашался: нужно, как молодогвардейцы, идти до конца.

А может, чувствовал что-то — и отговаривал, удерживал?

Этот мемуар интересен не только тем, что лишний раз подтверждает: Фадеев всерьез думал о самоубийстве. Он наводит на размышления о религиозности писателя — даже если сам он, как говорит тот же Хикмет, называл себя «неисправимым безбожником».

«Бог дал мне душу…»

Сашу Фадеева крестили в Кимрах, в Покровском соборе — величественном, пятиглавом, считавшемся «братом» Успенского собора Московского Кремля.

Покровский собор построили на высоком берегу Волги, у впадения Кимрки, на месте старинной каменной церкви, сильно пострадавшей от пожара в начале XIX века. Новый храм освятили в 1825 году. В 1901-м на службу заступил священник А. П. Молчанов, совершивший, как следует из метрической книги собора, таинство крещения Александра. Покровский собор закрыли в 1930-м, взорвали в 1936-м. На его месте построили клуб промкооперации Кимрского кожпромсоюза, позже — городской театр.

Михаил Фадеев говорит, что отец был убежденным атеистом. И добавляет: «Я некрещеный, так как и мама моя была неверующей». Да и сам Фадеев не раз называл себя атеистом. Но был ли он до конца искренен, в том числе перед собой?

Уже в «Разливе» у него появляется отец Тимофей: «Пахло от попа землей, самогонкой и библией, и был он так же жизнелюбив, пьян и мудр». Пьян — но и мудр.

О библейской символике «Разгрома» сказано в своем месте.

В 1931-м Фадеев говорил публично: «Наша социалистическая практика разоблачает, громит, окончательно снимает эту идею бога и этим самым кладет предел колоссальной лжи, опутывавшей человечество».

Но мало ли кто что говорил в 1931 году!

Мы не знаем, что Фадеев думал обо всем этом в детстве — и, главное, что думал в зрелом возрасте. Ярым богоборцем он не был — и это, как ни странно, может говорить в пользу версии об атеизме Фадеева: к чему бороться с тем, чего нет? Пыл наиболее активных богоборцев носит именно что религиозный характер. Есть ощущение, что для Фадеева вопрос о Боге вообще не стоял — до какого-то времени.

«По своей внутренней сути он был человеком религиозного, верующего мировоззрения. Без веры, без чтения сердцем не принималось ни одно решение», — напишет в 1990-е его биограф Иван Жуков. Это касается и отношения Фадеева к социализму, Ленину, Сталину…

В исповедальном письме к Алигер Фадеев занимается самокопанием: «внешняя физическая крепость, взрывы энергии и жизнерадостности», «необыкновенная любовь к жизни, ко всем ее проявлениям»… — сочетаются у него с «необычайной

болезненной душевной ранимостью и слабостью характера, в смысле изъянов воли, каких-то стихийных провалов в области воли». В этой особенности, считал Фадеев, заключен и «биологический источник» его таланта, и одновременно то, что губит этот талант. Дальше: «Бог дал мне душу, способную видеть, понимать, чувствовать добро, счастье, жизнь. Но, постоянно увлекаемый волнами жизни, не умеющий ограничивать себя, подчиняться велению разума, я, вместо того чтобы передать людям это жизненное и доброе, в собственной жизни — стихийной, суетной — довожу это жизненное и доброе до его противоположности и, легко ранимый, с совестью мытаря, слабый особенно тогда, когда чувствую себя виноватым, в итоге только мучаюсь, и каюсь, и лишаюсь последнего душевного равновесия, необходимого для творчества».

Лучше не сказал никто из пытавшихся понять Фадеева.

Здесь он говорит не только о «совести мытаря», но и о Боге. Фигура речи? Сомнительная для писателя-коммуниста. Знаменательно, что он и в последнем своем письме упоминает Ленина, Сталина, мать и — бога, пусть с маленькой буквы. Вот личный пантеон Фадеева.

Он происходил из семьи революционеров, но интересно, что сыновей его матери и отчима назвали Борисом и Глебом — не в честь ли святых?

В 1942-м он писал Луговскому о прогулке по Сокольникам: «Церковь стояла такая же прекрасная, старинная, уходящая ввысь… Мы услышали, что там идет служба, — день был воскресный… Это была служба без пения, только голос священника явственно доносился из пустой и холодной церкви. На паперти внутри стояли нищие с клюками, и так все это было необыкновенно в современной Москве! Просто диву даешься, сколько вмещает в себя наша Россия!» Дальше: «Некоторое время мы еще видели эти кресты и деревья из окон троллейбуса, потом их не стало видно, но они навсегда остались в моем сердце».

А вот — неожиданно — из «Молодой гвардии»: «Степь без конца и края тянулась на все концы света, тучные дымы пожаров вставали на горизонте, и только далеко-далеко на востоке необыкновенно чистые, ясные, витые облака кучились в голубом небе, и не было бы ничего удивительного, если бы вылетели из этих облаков белые ангелы с серебряными трубами».

И еще: «Все следили в косое отверстие окна в крыше за турманом. А он, завившись столбом, исчез в небе, как божий дух».

«— Дочь моя! Да благословит тебя бог! — сказала Мария Андреевна, всю жизнь, и в школе и вне школы, занимавшаяся антирелигиозным просвещением. — Да благословит тебя бог! —

сказала она и заплакала».

Не похоже ли на самого Фадеева?

В «Молодой гвардии» то и дело находим «святую правду», «огненную купель»… У настоящего писателя не бывает случайных слов. Да и первый очерк о краснодонцах Фадеев озаглавил «Бессмертие» — уже тут очевидны отсылки к христианству.

В 1950-м, уговаривая Асю разрешить ему достать ей путевку на курорт, Фадеев пишет: «Здесь мной руководит сама правда божья…» В другом письме называет себя юного — «мальчишкой с божьей искрой в душе». Гранин вспоминал, как в конце 1954 года их разговор с Фадеевым шел «от Толстого к библии».

В текстах Фадеева и в его отношении к жизни — не всегда заметно даже для него самого — обнаруживались особенности, характерные для души религиозного склада.

Человеку вообще свойственно развиваться. Не убежден, что Фадеев в последние годы был атеистом. Даже если искренне считал себя таковым.

Иногда кажется, что и на руководство Союзом писателей он соглашался для того (знал ведь прекрасно, что́ это за должность и что за время вокруг), чтобы принять грехи на себя и избавить от них других. Как сформулировал поэт Семен Липкин, «и предсмертная речь, и самоубийство Фадеева суть выражение доброго начала в этом человеке, осужденном стать жестоким. Его самоубийство — не грех перед Богом, а желание искупить смертью свои грехи».

Фадеева не повели на казнь — и он пошел на свою Голгофу сам. Покончил с собой за всех. После него советским писателям уже не нужно было этого делать.

Мне думается, что *там* его за всё простили. Как не простят многих из нас.

Жертва запоздалой весны

«Бедный Фадеев!» — одинаково отреагировали Зощенко, Пастернак, Антокольский.

Антал Гидаш: «Врываемся в сад. Через кухню мчимся в столовую. Там сидят рядышком Федин и Всеволод Иванов. Два-три слова. Несемся вверх по лестнице. В дверях боковой комнатки стоит Книпович и молча указывает на кабинет. Входим. Голый по пояс, высоко, на двух подушках, лежит Фадеев. Рот открыт. Правая рука откинута… Рядом наган. Больше секунды не выдерживаю. Шатаясь, выхожу из комнаты».

Корней Чуковский, 13 мая: «Все писатели, каких я встречал на дороге, — Штейн, Семушкин, Никулин, Перцов, Жаров, Каверин, Рыбаков, Сергей Васильев ходят с убитыми лицами похоронной походкой и сообщают друг другу невеселые подробности этого дела: ночью Фадеев не мог уснуть, принял чуть не десять нембуталов, сказал, что не будет завтракать, пусть его позовут к обеду, а покуда он будет дремать. Наступило время обеда: „Миша, позови папу!“ Миша пошел наверх, вернулся с известием: „Папа застрелился“. Перед тем как застрелиться, Фадеев снял с себя рубашку, выстрелил прямо в левый сосок».

Михаил Фадеев: «Я поднялся… на второй этаж… Кровать… спинка, она была монолитная… скрывала лицо отца… Я сделал буквально два шага вперед и увидел его лицо… понял, что он мертвый… Я… по этой лестнице кубарем свалился с криком, что папа застрелился».

На смерть Фадеева писали стихи.

Владимир Луговской:

Фадеев, старый друг, сверкни опять
Глазами голубыми с легкой злинкой, —
С невероятной преданностью жизни.
Опять живи, как песня, среди нас,
Но только б одиночество не жало
Большую грудь так холодно и дико.
Веселый комиссар, гуляка мудрый,
Иди Москвою! Я не верю в смерть!

Александр Тимофеевский, автор «Я играю на гармошке»:

И нету ни горя, ни боли,
Лишь всюду твердят об одном,

Что был ренегат-алкоголик
России духовным вождем…

Александр Прокофьев:

Над серебряной рекой,
Над зеленым лугом
Всё я слышу день-деньской
Звонкий голос друга…

Наум Коржавин:

Проснулась совесть, и раздался выстрел —
Естественный конец соцреалиста.[338]

Борис Пастернак:

Культ личности забрызган грязью,
Но на сороковом году
Культ зла и культ однообразья
Еще по-прежнему в ходу.
<…>
И культ злоречья и мещанства
Еще по-прежнему в чести.
Так что стреляются от пьянства,
Не в силах этого снести.

Константин Левин:

Я не любил писателя Фадеева,
Статей его, идей его, людей его,
И твердо знал, за что их не любил.
Но вот он взял наган, но вот он выстрелил —
Тем к святости тропу себе не выстелил,
Лишь стал отныне не таким, как был.
Он всяким был: сверхтрезвым, полупьяненьким,
Был выученным на кнуте и прянике,
Знакомым с мужеством, не чуждым панике,
Зубами скрежетавшим по ночам.
А по утрам крамолушку выискивал,
Кого-то миловал, с кого-то взыскивал.
Но много-много выстрелом тем высказал,

О чем в своих обзорах умолчал.
Он думал: «Снова дело начинается».
Ошибся он, но, как в галлюцинации,
Вставал пред ним весь путь его наверх.
А выход есть. Увы, к нему касательство
Давно имеет русское писательство:
Решишься — и отмаешься навек.
О, если бы рвануть ту сталь гремящую
Из рук его, чтоб с белою гримасою
Не встал он тяжело из-за стола.
Ведь был он лучше многих остающихся,
Невыдающихся и выдающихся,
Равно далеких от высокой участи
Взглянуть в канал короткого ствола.

Фадеев не безгрешен — но не стоит думать, что в его жизни были одни грехи, или что их не было у других, или что у него этих грехов было больше.

Часто относимый к злодеям эпохи, Фадеев должен быть признан жертвой той же эпохи. Приговор себе он вынес сам и сам же исполнил — и это в те дни, когда полным ходом шла реабилитация репрессированных[339]. Внутренний Сталин оказался страшнее внешнего.

Весна была для Фадеева роковой. Весной он получил оба своих ранения, весной и ушел — да еще и в «оттепель». Выживший в самые суровые времена, старый седой волк остался один в чаще. Исполнять обязанности стало невозможно — невозможно стало и жить. И он устроил себе персональный разгром.

Фадеев погиб подобно ветерану, которого «догнала война». Жизнь его ограничена 1956 годом — символическим рубежом эпохи, из которой он так и не смог вырваться.

Отвечая на вопрос, каким писателем был Фадеев, следует сказать, что он был серьезен и искренен, — и это уже немало. Литература для него была не развлечением, а тем самым приравненным к штыку пером. Жизнь становилась текстом, текст — жизнью.

Эхо переделкинского выстрела звучит теперь на каждой фадеевской странице. Он потянул спусковой крючок той же рукой, которой писал. Поставил последний пунктуационный знак кровью собственного сердца, буквализировав избитую метафору.

Жизнь Фадеева, драматичная в начале, стала трагичной в конце. Она была прожита по законам самой высокой — непридуманной драматургии.

Третий раз по закону жанра — решающий.

Первую пулю вогнали в Фадеева японцы в Спасске.

Вторую — защитники восставшего Кронштадта (или это был все-таки осколок?). Именно второе ранение определило его дальнейшую судьбу: остался в столицах, уволился из армии…

«В годы гражданки я был дважды ранен, врачи говорили, что ранения тяжелые. Но была молодость… Да и можно ли сравнить кусочек металла с тем, что пришлось пережить потом?» — записал Эренбург слова Фадеева, сказанные во время их последней встречи.

Третью пулю он пустил в себя сам. Погиб на своей личной Гражданской. Произвел контрольный выстрел, завершив не доделанное врагами внешними и внутренними.

«Человек сам себе страшен», — говорил Сердюк из фадеевского «Землетрясения».

Главным и самым страшным врагом Фадеева оказался он сам.

Он всю жизнь писал о рождении нового человека и сам был таким человеком, в итоге пришедшим к разгрому.

И все-таки его жизнь была успешна — не в пошлом, а в самом высоком смысле этого слова. Мальчик с дальневосточной окраины стал одним из первых людей великой страны. Уцелел в лихие времена, хотя никогда не прятался от мясорубок эпохи. Строил новый мир, воевал, сочинял, любил.

Отличная жизнь.

…Гидаш вспоминал, как в 1934 году их с Фадеевым в рыбацком поселке под Хабаровском угощали свежей икрой.

— Приплывают из Тихого океана, икру мечут и умирают, — рассказывал бородатый рыбак о лососях. — Потомство подрастает в Амуре, уплывает в океан, живет себе там, а как пройдет четыре-пять лет, возвращается сюда, сыграет свадьбу и помирает.

— Отличная смерть, — сказал Фадеев.

На фотографии девятнадцатилетнего партизана Булыги — юноша с вызовом в глазах.

На юношу он похож и на фото 1930 года. Рядом с Маяковским — тот старше на восемь лет — смотрится подростком.

В 1940-е облик Фадеева — иной: представительный мужчина, уверенный, умудренный, убеленный. При этом — по-прежнему молодой. «При всех моих болезнях я чувствую себя, как всегда,

человеком молодой души», — писал он Асе в 1953 году.

Последнее фото: по пояс раздетый мужчина полулежит на кровати. Седая голова с приоткрытым ртом откинута на подушку, на крепком торсе слева — рана, на постели — револьвер.

«Фадеев лежал на широкой кровати, откинув руку, из которой только что — так казалось — выпал наган, вороненый и старый, наверное, сохранившийся от Гражданской войны. Белизна обнаженных плеч, бледность лица и седина — всё как бы превращалось в мрамор», — записал Долматовский.

Револьвер и революция — слова однокоренные, от *revolve* — «вращение», «переворот». Если пистолетный магазин в рукоятке как бы говорит о конечности патронов и жизни, то револьвер, снабженный барабаном, — о другом: круговорот весны и осени, жизни и смерти.

Трехлинейный револьвер, старый добрый наган. Он замечательно, лаконично красив. В нем нет ни ублюдочной укороченности «бульдога», ни избыточной длинноствольности «кольта». Он эстетически безупречен. Своей законченностью похож на кристалл или стихотворение.

Когда-то офицеры играли наганом в русскую рулетку, превращая линии его калибра — 7,62, русская классика от Мосина до Калашникова — в линии своей судьбы. В дореволюционном Владивостоке высшее общество от безделья играло «в тигра». Суть игры состояла в том, что офицеры — в кромешной тьме, на шорох — стреляли из револьверов по проигравшему в карты товарищу, назначенному тигром и кравшемуся к выходу из зала.

Да и после Великой Отечественной револьверы и трофейные пистолеты еще долго ходили по рукам. Это потом оружие осталось только у охотников, и самоубийцам нового времени приходилось, как правило, вешаться.

Офицер, в которого пули — японская и русская, одинаково злые и содержавшие каждая по целой смерти, — попадали дважды, не играл в рулетку. Он стрелял в сердце. Чтобы — наверняка. И — чтобы лицо его не было разбито, чтобы облик остался прижизненным.

Последней ночью он почти не спал. Утром попросил не тревожить: пусть позовут позже, к обеду. Посоветовал сыну погулять, а сам поднялся на второй этаж, в свою спальню-кабинет, и прикрыл дверь.

Дописал письмо, поставил дату. Представил, как она будет выглядеть на могильном камне. Расписался. Сложил странички,

поместил письмо на тумбочку.

Разделся, аккуратно положил одежду на стул, полуприлег-полуприсел на кровати, укрылся одеялом — пусть кровь впитается в постель. Стрелять решил через подушку — она приглушит выстрел.

Взял револьвер, проверил барабан.

Наган был черный, вороненый. Личный черный ворон. Персональный «воронок», наконец приехавший за ним.

«Вороненый наган Тульского завода» появляется уже в «Разливе», но Неретин использует его не по прямому назначению — «охолаживает» дерущихся рукояткой.

В «Разгроме» Мечик, пытаясь покончить с собой, «долго с недоверием и ужасом» глядел на револьвер, но почувствовал, что никогда не сможет выстрелить в себя. А потом и вовсе забросил оружие в кусты.

Комиссар Челноков из «Рождения Амгуньского полка», вытащив наган из кобуры, «долго с интересом наблюдал, как ленточкой отливает смазанная вороненая сталь, и так же серьезно и вдумчиво взвел холодный курок». Не выстрелил — поскольку «привык отрезать только один раз, но зато после семикратной примерки».

Фадеев давно выбрал лимит примерок.

Осечки не ждал — и ее не случилось.

Внизу услышали хлопок. Решили — стул упал, что ли. Ему так и хотелось — чтобы не прибежали на звук. Вдруг он умрет не сразу — зачем близким видеть его агонию.

Револьверной пуле нужно было пролететь какие-то сантиметры. Она легко пробила подушку, грудную мышцу и изношенное, но до последнего стучавшее сердце.

Церковь, начиненная снарядами, взорвалась.

Саша Булыга вернулся в Улахинскую долину.

ЖИВОЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Книги его раньше были везде, в каждой советской семье.

(Может быть, даже слишком везде? Может, проще будет следующим — тем, кто «Разгром» уже не «проходил», а просто прочел? Может, только новое поколение и способно выстроить равно свободную и от советских, и от антисоветских догм литературную иерархию? А мы, родившиеся в СССР, — настолько отравлены советскими славословиями в адрес Фадеева и послесоветским его отрицанием, что уже не в состоянии воспринять тот же «Разгром» непредвзято?)

Теперь люди избавляются от книг. Сначала они покупались для чтения, потом — для мебели, теперь многим не обязательны даже и как часть интерьера.

Я нахожу Фадеева в заколоченных (на какой фронт все ушли?) домах культуры приморской глубинки. Натыкаюсь на эти книги у подъездов, у мусорных контейнеров.

Так я обзавелся роскошным дальиздатовским «Разгромом» 1983 года. Глянец — куда там нынешнему «гламуру», иллюстрации отличного владивостокского художника Сергея Черкасова… У меня собралась уже целая коллекция советских изданий Фадеева. Излишки раздаю желающим.

Желающих, правда, немного.

Подобрать Фадеева и принести его домой — просто, вернуть его «широкому читателю» — куда сложнее. Но, убежден, это совершенно необходимо. И прежде всего — самому этому широкому читателю.

Еще несколько лет назад мне казалось, что Фадеев — давно неживой, закоченевший. Открыв его, увидел, что подо льдом бежит живая вода, в глубине спящего вулкана свистит пламя и кипит лава. Книги ушедшего, но не умершего времени спят, как деревья зимой. Под неброскими переплетами искрят от высокого напряжения строчки, подпрыгивают и осыпаются буквы, обугливаются от внутреннего жара страницы.

Из школьных программ Фадеева убрали или почти убрали. Под «Молодой гвардией» теперь понимается прокремлевское молодежное движение.

Профсоюзной библиотеки имени Фадеева, в которую я ходил студентом, во Владивостоке больше нет (у меня каким-то чудом сохранился читательский билет «Фадеев-ки»). Вместо нее в здание по Океанскому проспекту, 18, вселился Сбербанк, хотя поначалу всех уверяли: библиотека закрывается на ремонт.

Фонды попросту сожгли на Горностаевской свалке[340] за городом, потому что из всех искусств важнейшим для нас стало финансово-кредитное.

В 2010 году закрыли движение пассажирских поездов до станции Новочугуевка, введенной в строй в начале 1970-х, и теперь в Чугуевку из Владивостока можно добраться только автотранспортом (порядка 300 километров).

В Чугуевке с 1960 года действует музей Фадеева, но его перспективы не очень ясны. Вот что рассказал в 2015 году директор Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева (чугуевский музей с 1986 года входит в структуру ПГОМ) Виктор Шалай: «Наш филиал в Чугуевке, конечно, было бы преступлением выталкивать в самостоятельную жизнь. В Чугуевке живет всего 12 тысяч человек. Вытолкни музей в „автономку“ — он сразу закроется. Посещаемость в этом музее просто катастрофически низкая. Сейчас он сводит концы с концами, потому что мы его постоянно страхуем. Мы размышляем о том, что нам делать с Чугуевским музеем — подарком, доставшимся из прошлого. Это красивый, интересный, нужный региону подарок, но как с ним быть? Скажем правду: тех, кого можно заинтересовать фигурой Фадеева, в Чугуевке очень немного, и они не будут ходить в музей каждый день. По-хорошему, Фадеева надо вывозить во Владивосток, искать здесь под него здание и разворачивать тему литературы Дальнего Востока. Здесь население измеряется сотнями тысяч человек, есть целевая аудитория, разные социальные и профессиональные группы. Здесь есть те, кто мог бы делать, и те, для кого они могли бы это делать. Фадеев бы здесь расцвел, а там он лежит забытый. Есть хорошая экспозиция, коллекция, но это рассказ из другого времени, из другой страны. А Фадеев — очень мощная личность. Его разверни, дай ему новую интерпретацию… Можно обойтись вообще без коммунистического флера, потому что это, прежде всего, сильный писатель. Фадеев и Арсеньев — два героя места, гения места, не каждому региону так повезло. Если к ним правильно подойти, они будут „тянуть“ музеи за собой. Убежден, что Фадеева надо перемещать во Владивосток, а чугуевский музей перепрофилировать под краеведческую тематику. Там роскошная история старообрядчества, переселенчества, прекрасная археология — коллекций достаточно и без Фадеева. Здание отличное, построено специально для музея, коллектив есть, сюжетов — полно… Но если мы завтра об этом заговорим — включатся общественные механизмы давления. Никто не будет слушать, что на самом деле происходит. Будут произнесены страшные слова: „Нынешняя команда музея имени Арсеньева

закрывает музей в Чугуевке“. И хоть ты головой об стену бейся — ничего не добьешься. Лишь при наличии общественного обсуждения разных точек зрения эту ситуацию можно вывести из пике. А выводить ее нужно. Стыдно для региона, что такой сюжет, такая коллекция прозябают в маленьком таежном селе, до которого и житель Владивостока не доедет. Нужна большая общественная дискуссия, чтобы была услышана наша система аргументов. Только после этого может начаться решение инфраструктурных вопросов»[341].

Летний домик Фадеевых, в котором Саша жил, приезжая на каникулы, стоит пустой и заколоченный. Некоторое время назад я побывал возле него — подошел к ограде, проваливаясь по колено в снег, подергал примерзшую к земле калитку… Во дворе стоял белый бюст Фадеева. Судя по старым фотографиям, раньше он был в большей степени похож на оригинал. Потом его, должно быть, подновляли, и портретное сходство стало размываться. А недавно мне прислали из Чугуевки фото — бюст осыпался от времени, Фадеев потерял лицо…

Не пощадило время и дачу в Переделкине, где писатель покончил с собой. Вот что пишет сайт peredeikino-land.ru: «В конце лихих 90-х земли вокруг проезда Вишневского прибрало к рукам некое ООО „Строй-Декар“ и построило на них „эксклюзивный“ коттеджный мини-поселок. На задворках этого новодела, за двойными стенами, под неусыпным оком охраны прячется пустующий литфондовский дом, в котором застрелился Александр Фадеев… Эта последняя дача, хоть и является собственностью Международного литфонда, оказалась за шлагбаумом… В настоящее время она полуразрушена, пустует, участок запущен». Газета «Совершенно секретно», 2003 год: «Теперь в доме Фадеева — ночлежка для восточных „гастарбайтеров“, возводящих на незаконно приобретенной, с точки зрения Литфонда, земле замки новым хозяевам жизни».

Словом, какой-то тотальный разгром.

И все-таки сегодня Фадеев, хотим мы того или нет, приобретает новую и даже несколько пугающую актуальность.

Шагнув в XXI век, мы еще не пережили, как оказалось, свой век XX. Прошлое не отпускает — или не хочет, чтобы мы его отпускали. Или это вообще не прошлое?

С распадом СССР Россия утратила южные и западные земли, но в литературе эта территория (назовем ее здесь «Большой Россией») по-прежнему едина. Украина, Кавказ, Средняя Азия — по-прежнему территория русской литературы. Слово оказалось долговечнее, крепче государства, и ничего с этим не поделаешь:

не объявлять же Бабеля украинским писателем, а Искандера — абхазским! В литературном измерении не распались ни Российская империя, ни СССР. Они живы постольку, поскольку жива рожденная ими литература, а та — пока мы ее читаем, воспринимая именно как свою, а не как памятник ушедших культур.

Советская страна перешла в иное агрегатное состояние — эфирное, почти невесомое, но зато куда более устойчивое, потому что рукописи, по крайней мере опубликованные и прочитанные, действительно не горят или горят очень неохотно. Коллективные представления, сознательные или бессознательные, которые порой называют проявлениями «имперской ностальгии», — не фантомные боли в утраченных конечностях. Это естественные ощущения человека, живущего не только здесь и сейчас, но во всем территориальном и хронологическом пространстве самовоспроизводящейся русской культуры. Можно сказать, что территория «Большой России» — не в юридическом или административном, а в культурном, ментальном смысле — по-прежнему принадлежит нам, но лучше сказать иначе: это мы по-прежнему принадлежим этой территории, кто бы ее в данный момент ни контролировал, кому бы в ее пределах ни ставились или рушились памятники и в честь кого бы ни назывались улицы ее городов. Улицы переименовать легко. Переродить культуру куда сложнее — корни ее матрицы глубже и жизнеспособнее, чем кажется.

События сегодняшних дней на так называемом постсоветском пространстве показывают: живо многое из считавшегося давно умершим. Минуло столетие, утрамбованных которым судеб и событий хватило бы на несколько веков, но в нас самих изменилось немногое. Система координат осталась прежней. Есть тревожное ощущение так и не пережитой нами Гражданской. Живы красные, живы белые, живы зеленые. Живы приморские партизаны и молодогвардейцы Донбасса. Наш XX век продолжается. По отношению к его ключевым узлам и фигурам мы безошибочно выявляем «своих» и «чужих».

Книги Фадеева можно любить или не любить — важнее другое: они живы.

В фадеевских текстах обнаруживаются поразительные, необъяснимые пересечения с сегодняшней реальностью, открываются новые смыслы, о которых не мог знать сам автор. Книги Фадеева взаимодействуют с современной действительностью и подпитываются от нее энергией. Они по-прежнему — о нас. Их, почти похороненных нами, воскрешает сама жизнь.

Фадеев не знал, что окажется пророком. Его книги дописывает сама реальность — лучший из возможных соавторов. У них появляется *надтекст*, они перерастают самих себя и авторский замысел. Говоря словами самого Фадеева, это до сих пор еще не остывшие куски металла. Сначала Фадеев «шел за жизнью», теперь — когда сам он уже более полувека как неживой и четверть века как полузабытый — жизнь пошла за его текстами, доказывая единородность того и другого.

«Разгром» и «Молодая гвардия» четко рифмуются с современностью. Если «Разгром» дописывался в 2010 году «приморскими партизанами», то «Молодая гвардия» — Луганской народной республикой в 2014-м и позже.

Казалось, партизаны и молодогвардейцы — «тогда» и «там», оказалось — сейчас и здесь. От прошлого к будущему ходит гулкое эхо, доказывая: все на самом деле происходит сейчас, минувшее едино с еще не случившимся. Все они рядом: Левинсон и Сухорада, молодогвардейцы и ополченцы Новороссии. Жизнь подражает литературе, не только фиксирующей, но и программирующей реальность.

Всё продолжается. Рождаются такие же люди, как Фадеев и его герои, и сходным образом действуют в сходных обстоятельствах. Ни ГУЛАГ, ни войны, ни застой, ни перестройка, ни «лихие 90-е», ни «потребительское общество» — ничто не изменило нас коренным, бесповоротным образом. Сохраняется какая-то прочная, неразмываемая основа. Может, это сам наш континент? С черноземом культуры поверху, пока еще не разметенным вихрями истории? Кому-то это покажется нашим проклятием, кому-то — спасением.

Левинсон мог действовать в какой угодно точке Приморья, а подполье на оккупированной фашистами территории Союза не ограничивалось краснодонской «Молодой гвардией». Но почему-то в 2010-м «приморские партизаны» появились именно в Кировском районе, откуда выступал отряд Левинсона, а ополчение в 2014-м возникло именно на Донбассе, где происходит действие «Молодой гвардии». Это Фадеев так закодировал эти места? Или, сам того не осознавая, он подключился к информационным полям истории, начав принимать сигналы из того пространства, которое принято называть будущим?

К нам стучатся новые «Разгром», «Молодая гвардия», «Последний из удэге». Их еще напишут.

Юный Фадеев похож на персонажей книг соответствующей поры — не только его собственных.

Скажем, Гориков из гайдаровской «Школы».

Или Павка Корчагин: пошел воевать, попал на партийную работу, занялся литературой. Фадеев, правда, в итоге стал антиподом Павки: тот, прикованный к постели, находит силы жить и бороться, хотя подумывал о суициде, этот же «с превеликой радостью» стреляется.

Фадеев был человеком незаурядным — исключительной чеканки, крупнейшего калибра. Жизнь его — великолепный сюжет с войной в юности, взлетом в зрелости и самоубийством в конце. За свои неполные пятьдесят пять он прожил несколько эпох — настолько спрессованным было время. Фадеев — герой в двух смыслах сразу: боец, партизан, комиссар — и готовый литературный персонаж героико-романтического, антиобывательского типа. Прошедший огонь, воду (политый собственной кровью кронштадтский лед) и медные трубы.

Он и появляется как герой в ряде художественных произведений. Естественно, за него крепко взялись дальневосточные литераторы советской поры: Павел Сычев, Юрий Лясота, Василий Кучерявенко, Николай Колбин… У них Фадеев предстает пылким юношей, тянущимся к литературе и общественной жизни.

Фигурирует Фадеев и в текстах, далеких от дальневосточной тематики.

С него, например, списан Пыжов — герой романа Александра Бека[342] «Новое назначение». Книга эта была написана в 1964 году, в 1971-м она вышла в ФРГ и только в 1986-м — в СССР (не только диссидентам приходилось писать в стол и печататься «там», но и вполне, казалось бы, ортодоксальному Беку). Пыжов — лауреат и депутат — пишет роман о металлургах: «Тем, кто более или менее часто общался с писателем, знаком этот его сохранившийся с юности заливистый смех. Но синие — в прошлом удивительно чистые, яркие, а с годами поблекшие — глаза Пыжова сейчас не смеются. Да, за ним эдакое водится — он хохочет и тогда, когда ему вовсе не весело. Порою таким смехом, что почти неотличим от настоящего, он прикрывает жизнь души, затаенную нескладицу». Пыжову, писал Бек, «приходилось порой идти на сделки с совестью, ибо грозный Хозяин не отличался, как известно, тонким художественным вкусом и, признавая порой истинно сильные творения, тем не менее поощрял и мещанскую помпезность, и грубо-льстивую услужливость. А совесть-то у писателя была жива… Думается, мы тут притронулись к его трагедии».

Герой повести Павла Нилина «Жестокость» Венька Малышев — честный комсомолец, сотрудник угрозыска, защитивший

малознакомого парня от унизительной коллективной проработки, «подставленный» начальством и разочаровавшийся в окружающих его людях — стреляется. Сын автора Александр Нилин пишет: «Работавший над превращением старого рассказа в новую повесть отец прикидывал-примеривал случившееся с Фадеевым на себя, пытался точнее представить себе состояние Фадеева перед тем, как спустить курок… Он пытался сделать более психологически обоснованным мотив, ведущий к самоубийству… Когда это случилось на соседней даче, к тому же с хорошо знакомым человеком, это не могло не сказаться на тех уточнениях, которые он вносил в текст». Тем не менее, пишет Нилин-младший, отец отрицал прямые параллели. Когда жена поэта Антокольского Зоя Бажанова сказала: «Это про Сашу», автор «Жестокости» ответил, что он «совершенно не имел в виду Фадеева».

В качестве прототипа Фадеев востребован до сих пор. Как уже было сказано, он появляется в рассказе «Писательская дочь» Людмилы Улицкой: «Младшая запомнила, как однажды высокий седой человек принес большой мяч, играл с ней, а потом мяч закатился под кровать, и он полез его доставать, и две длинные ноги пришедшего протянулись через всю комнату — от стены до стены, как ей показалось». Несколько карикатурный, Фадеев узнается и в Константине Тарханове из повести Юрия Буйды «Яд и мед».

Но то — прямые отражения, а сколько еще косвенных. Фадеев кажется родственником шукшинского Егора Прокудина из «Калины красной», вампиловского Зилова из «Утиной охоты», даже джеклондоновского Мартина Идена, растворившегося в Тихом океане.

В 2007 году вышел роман Михаила Елизарова «Библиотекарь». В нем фигурируют книги забытого советского писателя Громова, которые вдруг оказываются волшебными, сообщающими людям чудесные качества.

Мне кажется, этот роман — и про Фадеева.

Фадееву требуется возвращение. Новое, непредвзятое прочтение. Переосмысление. Реабилитация.

В первый раз его убили еще в СССР, превратив живого человека и писателя в кусок бронзы.

Во второй раз убили вместе с СССР, объявив сатрапом и палачом.

Потом убили в третий раз, сделав вид, что такого писателя вообще нет. «Фадеева не заглушили шумом, поднятым после его смерти. Но до сих пор его заглушают молчанием и тишиной, как бы это ни было парадоксально», — сказал Юрий Бондарев в 2001-

м.

Но вот еще один парадокс: самоубийство писателя способствовало продлению его жизни. Добровольный уход с громким хлопком дверью — письмом в ЦК — придал текстам и биографии Фадеева особое звучание, навсегда сопроводив их эхом револьверного выстрела в собственное сердце.

Когда-то на маяках в туманную погоду стреляли из пушки, чтобы корабли не налетели на камни. У Фадеева пушки не было — только револьвер.

В «Дикой собаке Динго» Рувима Фраермана в неназываемый, но узнаваемый Николаевск-на-Амуре прибывает писатель из Москвы. Автор, ездивший в 1934 году с Фадеевым на Дальний Восток, расставляет вешки-подсказки: «седые волосы на висках», хотя писатель еще не стар, высокий голос, тонкий звенящий смех…

Седой писатель читает школьникам отрывок, в котором «каждый шел исполнять свои обязанности» — чуть замаскированная цитата из «Разгрома».

Попрощавшись, писатель уходит из школы — символическая, как мы теперь видим, сцена.

Но одна девочка идет за ним, забегает вперед и кричит, глядя ему в лицо:

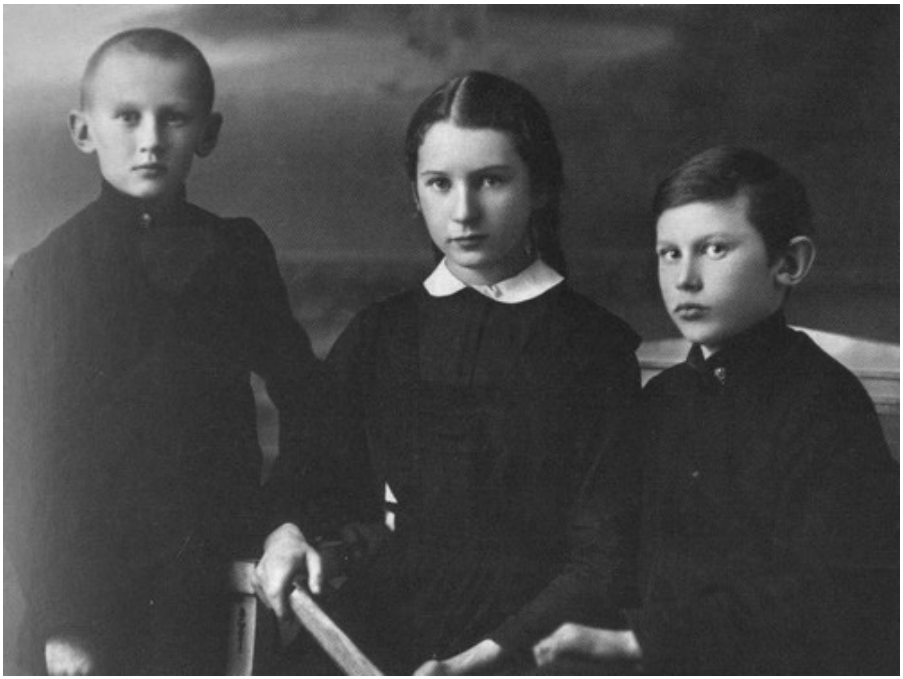
— Дядя, вы живой писатель, настоящий или нет?!

— Живой, живой, — отвечает он ей.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Родители Фадеева — Александр Иванович и Антонина Владимировна

Дом на улице Прапорщика Комарова во Владивостоке, где Фадеев жил в детстве

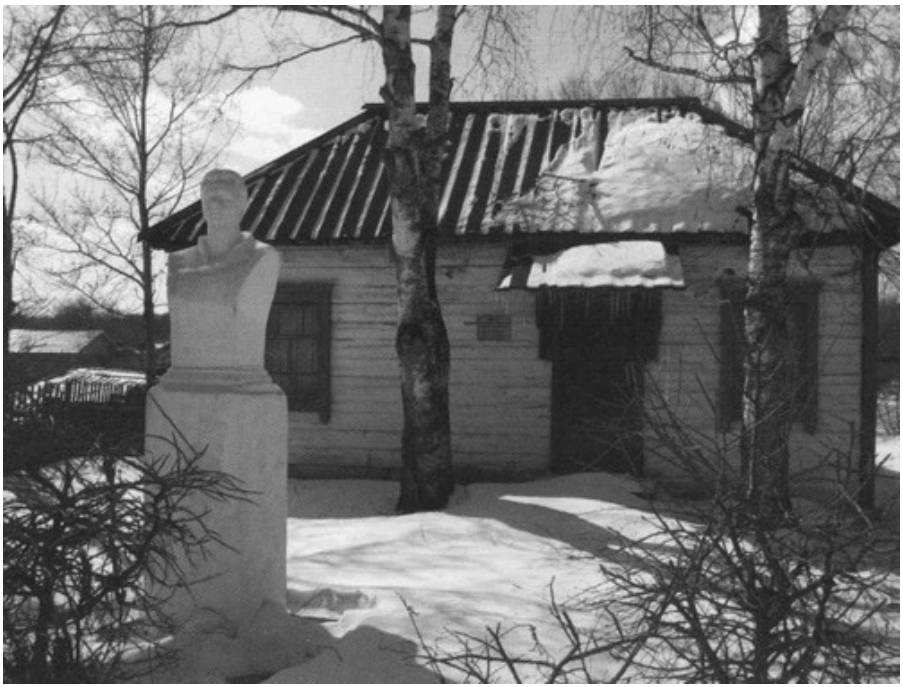


Александр Фадеев (справа) с сестрой Татьяной и братом

Владимиром. 1914 г.

Отчим Глеб Свитыч

Владивосток в начале XX века



Летний домик Фадеевых в Чугуевке, ныне — музей писателя

Владивостокское коммерческое училище, где в 1912–1918 годах учился Фадеев

Фадеев (третий справа во втором ряду) среди учеников ВКУ. 1914 г.

Командующие войсками интервентов во Владивостоке. Сидят: слева — Радола Гайда, в центре — Уильям Гревс. 1918 г.

Японские солдаты во Владивостоке

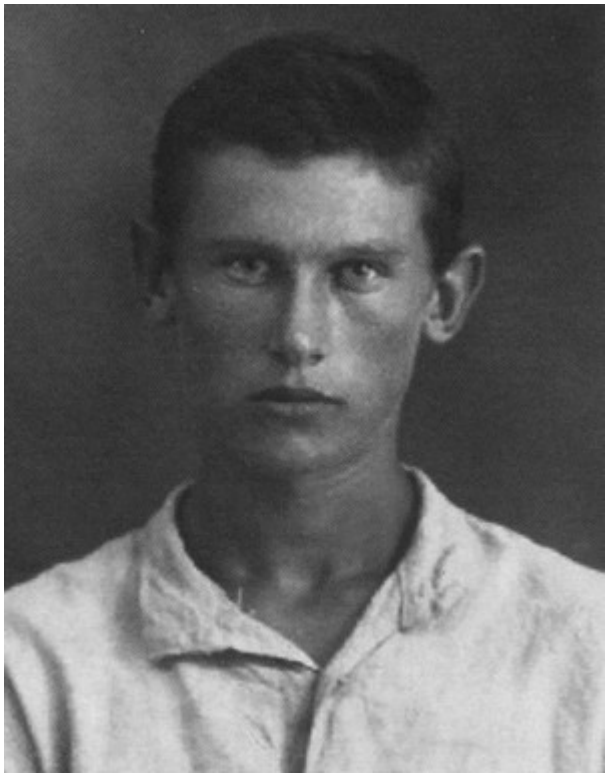
Соколята. Стоят: Павел Цой и Александр Фадеев, сидят: Яков Голомбик, Петр Нерезов, Григорий Билименко, Александр Бородкин. 1918 г.

Сидит — Зоя Станкова, справа стоит Зоя Секретарева, слева — Игорь Сибирцев. 1918 г.

Командующий армией ДВР Василий Блюхер

Красный командир Сергей Лазо

Приморские партизаны. Фото из краеведческого музея города Спасск-Дальний



Партизан Булыга. 1920 г.

Могила партизан Морозова и Ещенко. Боголюбовка, Приморский край

Паровоз, в топке которого сожгли Лазо и его товарищей. Уссурийск

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Российская Коммунистическая Партия (Большевиков). Центральный Комитет.

№ 30091 Москва, 9/9 192[illegible] г.

г.Москва Глазовский пер.д.№ 7 кв.5

Т.М. ГОЛОВНИНОЙ / для т.БУЛЫГИ-ФАДЕЕВОЙ

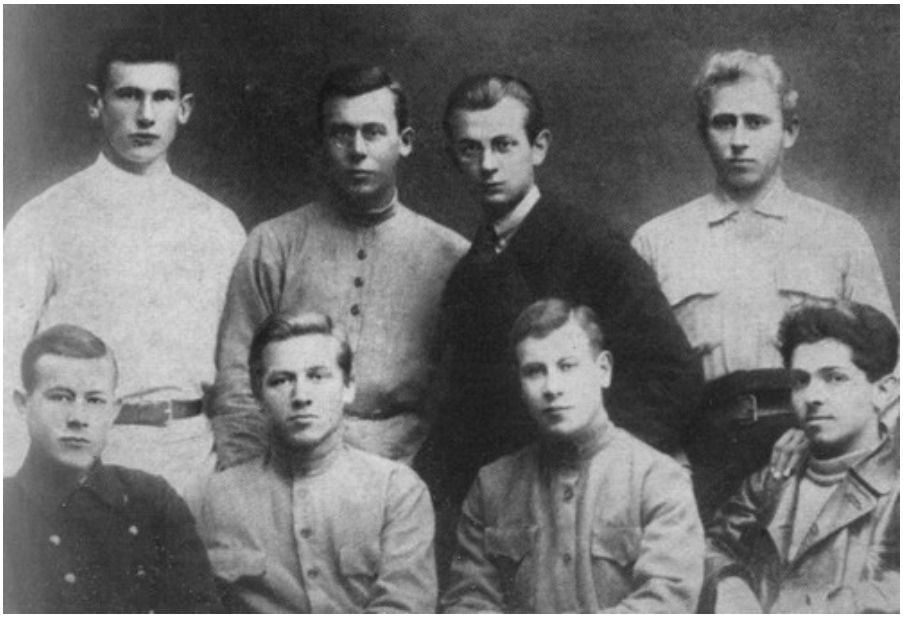
На Ваше письмо полученное нами из Политотдела 27-й Стр.Див. сообщаем, что по наведенным нами справкам Вы числитесь в списке делегатов X-го с"езда мобилизованных и командированных в оперирующую Южную группу.

Просим сообщать на наш

ЗАВ.ОРГОТДЕЛОМ Ц.К.Р.К.П.:

ЗАМ.ЗАВ.КОНФЛИКТНОЙ П/ОТДЕЛОМ:

Направление делегата X съезда РКП(б) Фадеева в Кронштадт для участия в подавлении восстания. Март 1921 г.



Студенты Московской горной академии. Слева стоит Фадеев, справа сидит будущий министр черной металлургии Иван Тевосян

Фадеев в редакции газеты «Советский юг». Ростов-на-Дону, 1925 г.

XVIII. Девятнадцать.

В ранних сумерках от того места, где происходила перестрелка через дорогу, был прекращен мост — там пролегла государственная граница, на Трудо-Вакуй. Еще со вчерашнего вечера, опасаясь, что Левинсон не останется почивать в селе, казаки устроили засаду на самом мосту, в сенях в доме у моста. Они провели тем всю ночь, дремали, и слышали однообразные дождливые звуки. На рассвете прискакал вестовой с приказом — арестовать на мосту, т.к. нейтралитет, нарушенный через дорогу, идет по каждому к ним. А через каких-нибудь десять минут после того, как проскакал вестовой, отряд Левинсона, ничего не зная о случившемся, миновал только-что пропускавший вестового, тарантас на Трудо-Вакуйский пункт.

Солнце уже поднялось над лесом. Дождь давно перестал. Небо расчистилось в высоких перисто-кудрявых и голубых. Деревья в мокром ~~неподвижном~~ сияющем, удобно склонились над дорогой. Дети заняли постели, не [illegible] хорей на осенний?

Левинсон рассеянным взглядом окинул всю эту сверкающую и чистую, сияющую красоту ~~и не покорился ей~~. Увидел свет дней, прекрасный и радостный вдруг, увидел раскинувшуюся вдоль до-

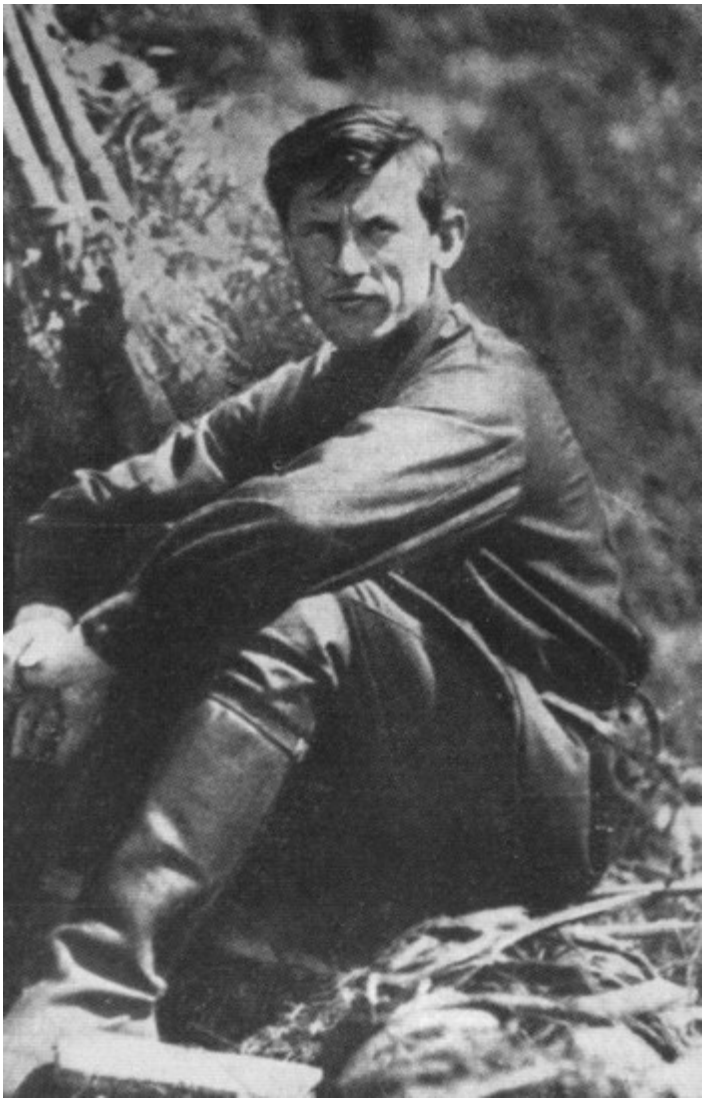
[illegible]

Рукопись романа «Разгром»

Фадеев (четвертый справа в первом ряду) со съемочной группой фильма «Разгром». 1930 г.

Левинсон и Бакланов. Кадр из немого фильма «Разгром» («Ленфильм», 1931 г.)

Фадеев (второй справа) с бывшими партизанами. Приморье, 1933 г.



В Приморье. 1933 г.

Фадеев в Сучанской долине. Осень 1933 г.

Журнальная публикация романа «Последний из удэге»

Александр Фадеев. Литография Г. Верейского. 1930 г.

Фадеев — секретарь Союза писателей СССР. 1943 г.

Фадеев на выставке В. Маяковского «20 лет работы». 1930 г.

С другом Юрием Либединским на похоронах Маяковского

Делегаты XVIII съезда ВКП(б) — литераторы и летчики. Слева направо: М. Шолохов, А. Фадеев, Г. Байдуков, А. Прокофьев, М. Водопьянов

С Алексеем Толстым в сражающейся Испании. 1937 г.

ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ ФАДЕЕВА

Валерия Герасимова

Ангелина Степанова

Маргарита Алигер

Елена Булгакова

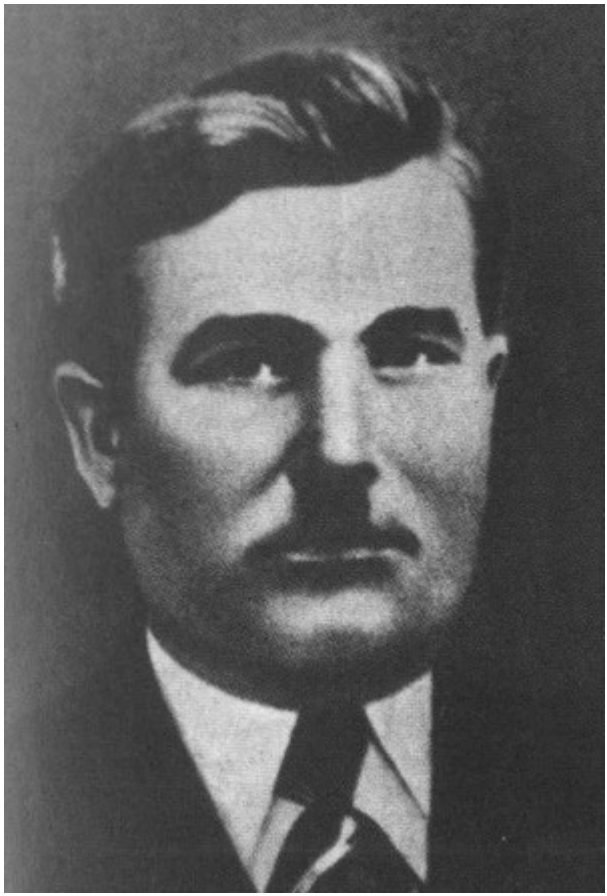
Фадеев с бойцами Красной армии. Зима 1942 г.

С Михаилом Шолоховым на Западном фронте. 1942 г.

Генерал И. Конев на фронте с группой писателей (Фадеев — в центре)

Фадеев выступает перед бойцами Ленинградского фронта. 1942 г.

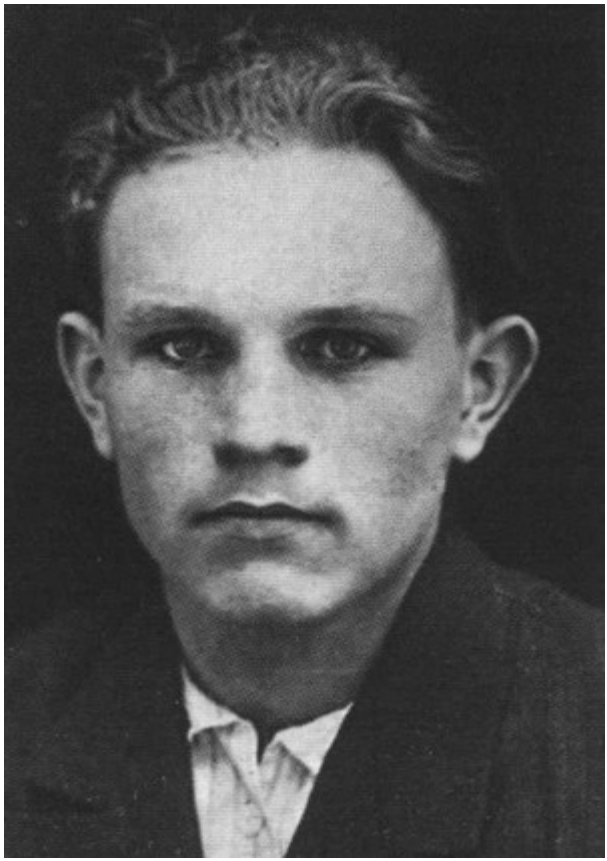
ГЕРОИ КРАСНОДОНА



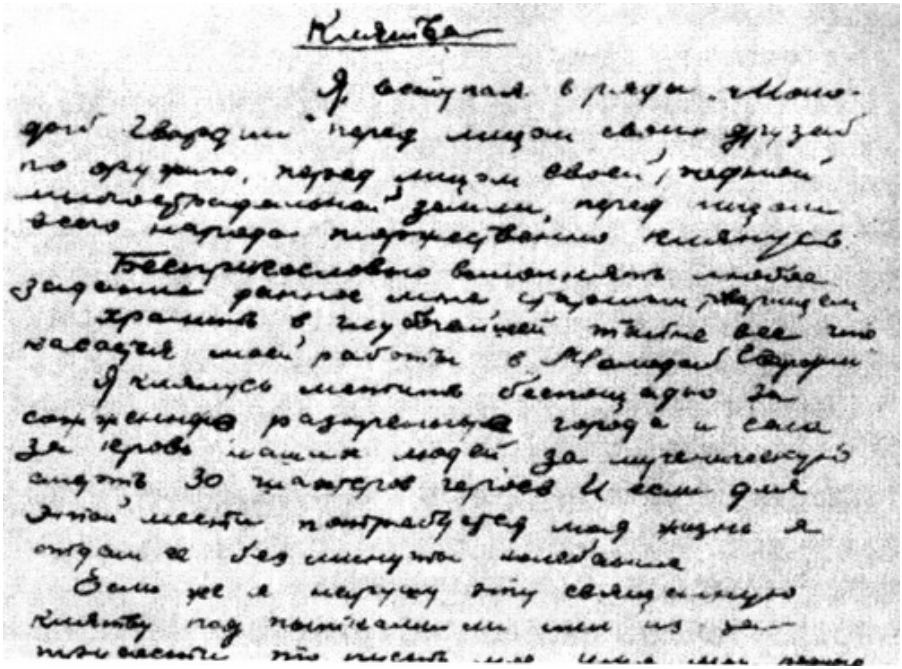
Партиец-подпольщик Филипп Лютиков

Комиссар молодогвардейцев Олег Кошевой

Любовь Шевцова



Виктор Третьякевич



Клятва

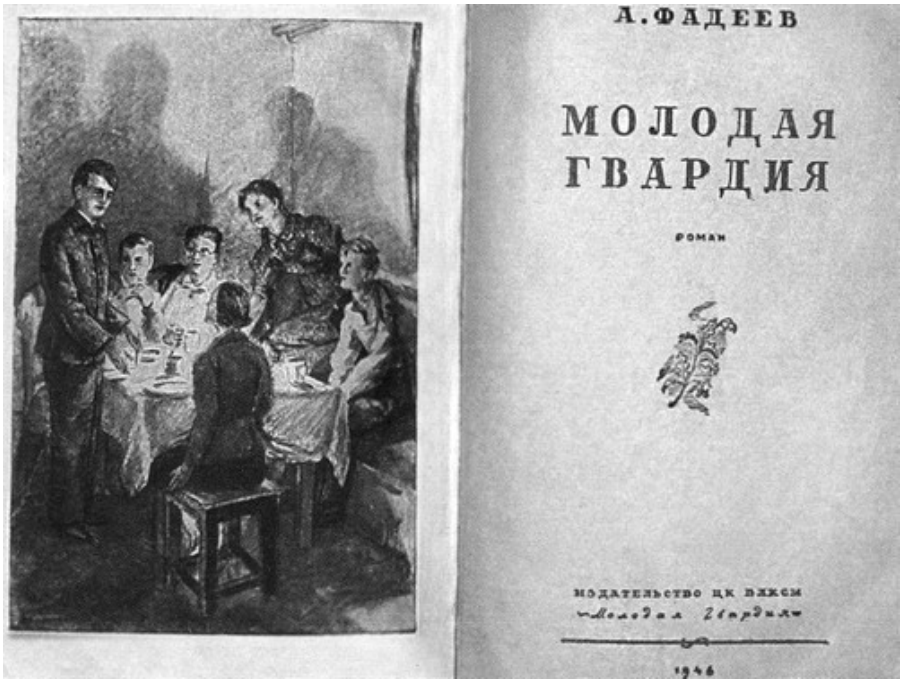
Я вступая в ряды молодой Гвардии перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь.

Беспрекословно выполнять любые задания данные мне, сурово хранить в глубочайшей тайне все что касается моей работы в Молодой Гвардии.

Я клянусь мстить беспощадно за сожженные разрушенные города и сам за кровь нашей матери за мученическую смерть 30 миллионов героев и если для этого мести потребуется моя жизнь я отдам ее без сожаления колебания.

Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или сам из-за трусости то пусть мне [illegible]

Клятва молодогвардейцев, написанная Иваном Земнуховым



Первое издание романа «Молодая гвардия», вышедшее в

одноименном издательстве в 1946 году

Фадеев с матерью и пионерами из Чугуевки. Переделкино, 1950 г.

В послевоенные годы

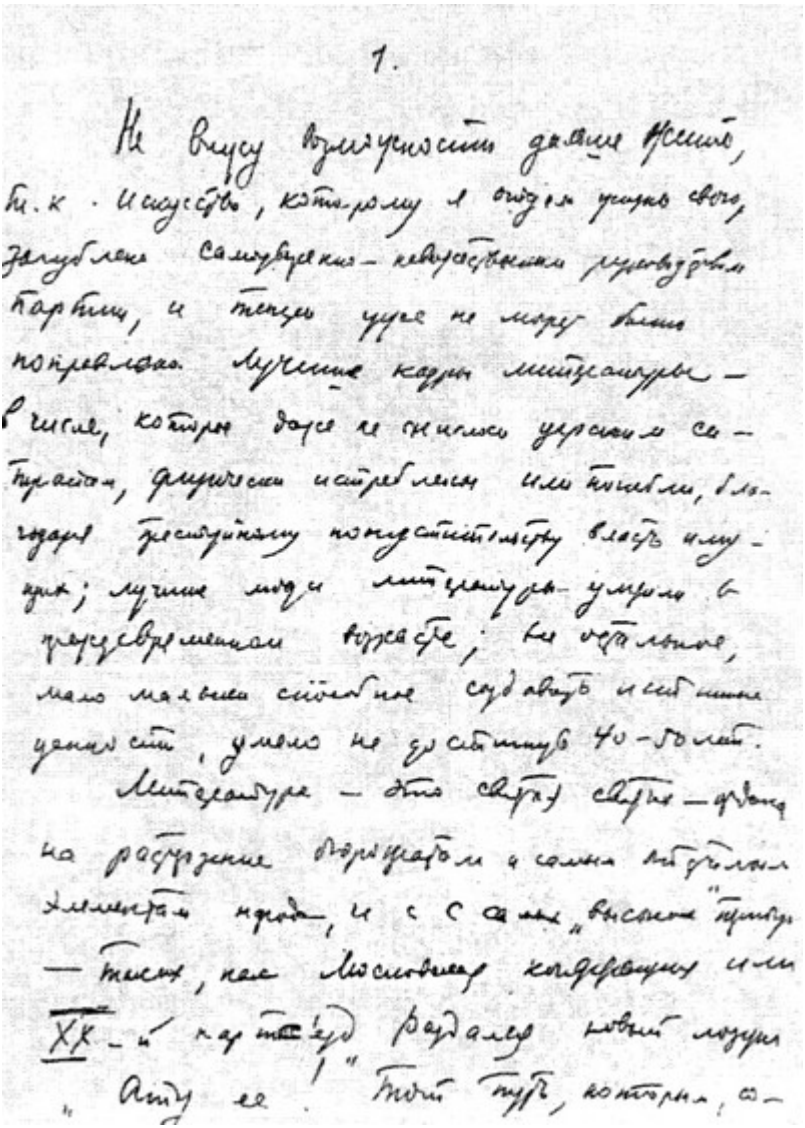
Фадеев и его жена Ангелина Степанова с сыновьями Михаилом и Александром. 1949 г.

В рабочем кабинете

На встрече старых партизан. Слева направо — Фадеев, Моисей Губельман, Зоя Станкова. 1952 г.

С чилийским поэтом Пабло Нерудой

Одно из многих выступлений. 1947 г.



1.

Не вижу возможности дальше жить, т.к. искусство, которому я отдал лучшие свои, глубокие самоуважения – неуважаемым руководством партии, и теперь уже не могу быть полезным. Лучшие кадры литературы – учителя, которым даже не снились цензурные сатиры, физически истреблены или гибнут, благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало мальски способное создавать и сохранять ценности, умело не существовать 40–50 лет.

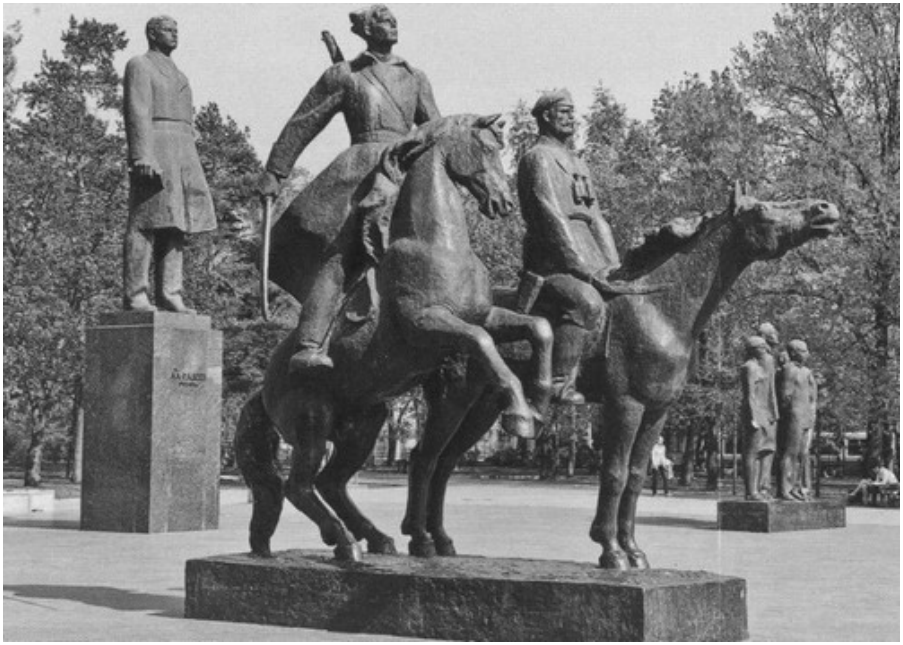
Литература – это свято – дважды на разрушение подорвали и самый талантливый элемент народа, и с самых "высоких" трибун – такое, как Маленков, каждодневно и ежечасно XX – и партсъезд выдавали новый лозунг "Долой ее!" Тот тупой, который, со-

Предсмертное письмо Фадеева

Дача в Переделкине, где произошла трагедия

Посмертное фото. 13 мая 1956 г.

Открытие бюста писателя у его музея в Чугуевке



Памятник Фадееву и его героям на Миусской площади в Москве

Новое здание музея в Чугуевке, открытое в 1981 году

Сын писателя Михаил Фадеев выступает на торжествах по случаю 80-летия отца. 1981 г.

Могила Александра Фадеева на Новодевичьем кладбище

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. А. ФАДЕЕВА

1901, 11 (24) декабря — Александр Александрович Фадеев родился в селе Кимры под Тверью в семье учителя.

1908 — мать Антонина Фадеева и отчим Глеб Свитыч с детьми переезжают в Приморье.

1910— поступает во Владивостокское коммерческое училище.

1918, сентябрь — вступает в РКП(б).

1919, апрель — уходит в партизаны. В 1919–1921 годах участвует в боях с белогвардейцами и интервентами в Приморье, Приамурье, Забайкалье.

1920, апрель — получает ранение в Спасске-Дальнем.

1921, февраль — избирается делегатом X съезда РКП(б) от Народно-революционной армии Дальневосточной республики.

Март — в ходе подавления Кронштадтского восстания получает второе ранение.

Май — поступает в Московскую горную академию.

Осень — начало работы над повестью «Разлив».

1923 — выходит рассказ «Против течения».

1924 — мобилизован на партийную работу, уезжает в Краснодар, потом в Ростов-на-Дону. Выходит повесть «Разлив».

1925 — женится на Валерии Герасимовой.

1926 — возвращается в Москву. Становится одним из руководителей РАППа (Российская ассоциация пролетарских писателей).

1927 — выходит роман «Разгром».

1929 — начинается публикация глав романа «Последний из удэге».

1932 — входит в оргкомитет по созданию Союза писателей СССР.

1933, сентябрь — со съемочной группой Довженко едет на Дальний Восток, где пробудет до января 1934 года.

1934, сентябрь — после участия в Первом съезде советских писателей вновь уезжает на Дальний Восток до августа 1935 года.

1937 — женится на актрисе Ангелине Степановой, усыновляет ее сына Александра.

1939 — награжден орденом Ленина, избран членом ЦК ВКП(б). Становится секретарем Союза писателей СССР (до 1944).

1941–1944 — как военкор выезжает на фронты, в осажденный Ленинград. Издает книгу очерков «Ленинград в дни блокады».

1942 — назначен главным редактором «Литературной газеты»

(до 1944).

1943 — рождение дочери Марии (от поэтессы Маргариты Алигер).

1944 — рождение сына Михаила (от Ангелины Степановой).

1946 — избран депутатом Верховного Совета СССР.

Выходит роман «Молодая гвардия», подвергнутый резкой критике в партийной печати.

1946–1954 — после творческого отпуска вновь руководит Союзом писателей.

1950 — избран вице-президентом Всемирного совета мира.

1951 — выходит вторая редакция «Молодой гвардии». К пятидесятилетию Фадеев награжден вторым орденом Ленина.

1953 — направляет в ЦК предложения по реформированию системы управления культурой в СССР.

1954 — избран в президиум и секретариат правления Союза писателей. Начинается публикация глав романа «Черная металлургия».

1956, февраль — на XX съезде партии избран кандидатом в члены ЦК КПСС.

13 мая — покончил с собой в Переделкине. Похоронен 16 мая в Москве на Новодевичьем кладбище.

ФАДЕЕВ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ (ПОПЫТКА БИБЛИОГРАФИИ)

1. Тексты самого Фадеева

Первое собрание сочинений Фадеева выпустил Гослитиздат в 1959–1961 годах в пяти томах. Оно же было положено в основу более полного семитомного собрания (М., 1969–1971). Сюда, помимо прозы, вошли очерки, киносценарии, статьи, рабочие записи, письма.

Следует назвать и такие издания, как:

1) «За тридцать лет. Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве» (М., 1957), где редактором, составителем и автором примечаний выступил литературовед С. Преображенский, состоявший с Фадеевым в переписке;

2) «Александр Фадеев. Письма. 1916–1956» (М., 1967), где не менее самих писем интересны комментарии того же Преображенского.

Сборники «Бессмертие» и «…Повесть нашей юности» также интересны и текстами самого Фадеева, и сопровождающими их материалами.

Из сравнительно свежих книг отметим «Александр Фадеев. Письма и документы», (М., 2001) — пожалуй, лучшее послесоветское издание о писателе, основанное на материалах РГАЛИ, ранее не опубликованных письмах Фадеева, его ходатайствах о реабилитации репрессированных и т. д. (составитель — кандидат филологических наук Нина Дикушина). Это по-хорошему ревизионистская книга, содержащая много нового материала.

2. Воспоминания о писателе

В советское время их выходило немало, хотя понятно, что все они были в той или иной степени приглажены.

«Фадеев. Воспоминания современников» (М., 1965) — полновесный том с массой любопытных свидетельств родных писателя, партизан, литераторов и т. д.

«Александр Фадеев в воспоминаниях современников» (М., 2002) — очень ценная книга. Ряд мемуаров, вошедших в нее, по цензурным соображениям не могли быть опубликованы в

советское время.

Иван Конев «Сорок пятый» (М., 1966) — воспоминания знаменитого военачальника, знакомого с Фадеевым еще по Забайкалью.

Дмитрий Бузин «Александр Фадеев. Тайны жизни и смерти» (М., 2008) — записки чиновника Госплана и Минфина СССР, взаимодействовавшего с Фадеевым по вопросу расчета гонораров творческих работников. Никаких особенных тайн книга, вопреки громкому названию, не открывает, но дает несколько любопытных штрихов. Одно из немногих современных изданий, посвященных Фадееву.

В № 6 журнала «Вопросы литературы» за 1989 год вышли достаточно откровенные воспоминания о Фадееве Валерии Герасимовой и Корнелия Зелинского. Впрочем, в вышеупомянутой книге «Александр Фадеев в воспоминаниях современников» говорится, что мемуары Зелинского содержат ряд неточностей, многое в них записано со слов писателя М. Бубеннова, к которому Фадеев относился негативно.

Весьма ценны воспоминания Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь», Константина Симонова «Глазами человека моего поколения», Юрия Либединского «Современники». Важные штрихи дают «Дневник» Корнея Чуковского, записки С. Бытового «От снега до снега», «Воспоминания „доверенного лица“» Е. Долматовского. В этом же ряду назовем написанную и опубликованную уже в наше время книгу А. П. Нилина «Станция Переделкино: поверх заборов».

3. Биографические и литературоведческие издания

Корнелий Зелинский «А. А. Фадеев. Критико-биографический очерк» (М., 1956) — больше «критико-», чем «биографический». Книга, которая должна была стать прижизненной, но стала все-таки посмертной.

Интересно исследование Евгении Книпович «Романы А. Фадеева „Разгром“ и „Молодая гвардия“» (М., 1973).

Виталий Озеров «Александр Фадеев. Творческий путь» (М., 1976) — автор состоял с Фадеевым в переписке, считался ведущим советским фадеевоведом. Подобных изданий, в той или иной степени повторяющих друг друга, немало: Борис Беляев «А. А. Фадеев. Биография писателя» (Л., 1975), Леонид Большаков «Александр Фадеев. Повесть-хроника боевой юности» (серия «Когда им было двадцать». М., 1988).

«Александр Фадеев в портретах, иллюстрациях, документах.

Пособие для учителя» — фотоальбом с массой иллюстраций и справочных данных (Л., 1976).

В книге «Александр Фадеев. Материалы и исследования» (М., 1977) буквально по дням воссоздана жизнь Фадеева в 1924–1926, 1932–1934 и 1941–1945 годах.

Алексей Бушмин «Александр Фадеев. Черты творческой индивидуальности» (Л., 1983). Автор, известный критик, состоял с Фадеевым в переписке.

Владимир Боборыкин «Об истории создания романа А. А. Фадеева „Молодая гвардия“» (М., 1988) — очень добросовестный труд.

Уникален в своем роде сайт molodguard.ru, на котором собирается все о «Молодой гвардии» Краснодона и «Молодой гвардии» Фадеева.

Иван Жуков «Фадеев» — биография писателя в серии «ЖЗЛ» (М., 1989).

Тот же Жуков в 1994 году издал книгу «Рука судьбы. Правда и ложь о Михаиле Шолохове и Александре Фадееве». Она частично повторяет жэзээловскую, но автор добавил многое из того, что ранее ему не было известно или не могло быть опубликовано. Книга Жукова — первая попытка оспорить антифадеевский миф, распространившийся в перестроечные годы.

Осенью 2015 года в газете «Литературная Россия» Вячеслав Огрызко опубликовал цикл «Плата за власть. Неизвестные документы об Александре Фадееве».

4. Гражданская война на Дальнем Востоке

Здесь следует назвать ряд изданий, важных если не для изучения биографии Фадеева, то для понимания контекста — обстановки на Дальнем Востоке в период Гражданской войны и в 1930-х, когда писатель пробовал вернуться в Приморье.

«Толстый» литературный журнал «Дальний Восток» (бывший «На рубеже») выходит в Хабаровске до сих пор.

С 1992 года во Владивостоке издается «Тихоокеанский альманах „Рубеж“».

Есть большое количество советских изданий о революционном и довоенном Дальнем Востоке, которые сегодня можно отыскать у букинистов. Например:

«Лед и пламень» (документально-художественный сборник о дальневосточных чекистах. Владивосток, 1976);

«Борьба за власть Советов в Приморье (1917–1922)» (сборник документов. Владивосток, 1955);

«За советский Дальний Восток» (сборники 1–5. Владивосток, 1981–1989);

«Героические годы борьбы и побед (Дальний Восток в огне Гражданской войны)» (М., 1968);

«Сергей Лазо. Дневники и письма» (Владивосток, 1959).

Редкое издание — «Партизанское движение в Приморье» Н. Ильюхова и М. Титова (Л., 1928). Книжка написана партизанскими командирами — на тот момент еще достаточно молодыми людьми — по горячим, что называется, следам. Никто из большевиков, воевавших в Приморье, еще не репрессирован, обо всех можно писать. А главное — Гражданская война тогда еще не стала далеким прошлым, не покрылась патиной времени. Книга Ильюхова и Титова — не воспевание подвигов, а откровенный рассказ об особенностях боевой работы в конкретном месте и в конкретный период. Авторы довольно жестко критикуют некоторых своих соратников по партизанскому движению (это потом о таежных героях будут писать только в восторженных тонах). С книгой Ильюхова и Титова неожиданным образом перекликаются дневники Че Гевары.

Другая редкая книга — сборник «Борьба за Хабаровск» (Чита, 1922), где в самом начале сказано: книга составлена «не профессионалами-журналистами, а людьми штыка и окопов». Тем и ценна.

Равно как и, например, книга воспоминаний «Таежные походы. Сборник эпизодов из истории гражданской войны на Дальнем Востоке» (М., 1935, под редакцией М. Горького).

Петр Никифоров «Записки премьера ДВР» (М., 1963) — воспоминания бывшего председателя Совета министров Дальневосточной республики.

Павел Постышев «Гражданская война на Востоке Сибири» (М., 1957) — записки одного из военачальников ДВР.

Замечательные произведения оставили прозаики Рувим Фраерман и Виктор Кин, участвовавшие в Гражданской войне на Дальнем Востоке. Любопытны воспоминания поэтов — красного Николая Асеева «Октябрь на Дальнем» и белого Арсения Несмелова «О себе и о Владивостоке».

Библиографическими редкостями стали изданные в СССР в 1923 и 1932 годах воспоминания командиров интервентов — «Союзная интервенция в Сибири. 1918–1919» (записки начальника английского экспедиционного отряда полковника Джона Уорда) и «Американская авантюра в Сибири (1918–1920)» — мемуары командующего корпусом войск США в Сибири генерала Уильяма Гревса.

Издано немало мемуаров белых офицеров. Например, «Конец

белого Приморья» поручика Бориса Филимонова (Нью-Йорк, 1971). Или записки подполковника Карла Хартлинга «На страже Родины. События во Владивостоке. Конец 1919 — начало 1920 г.» — рассказ честного и принципиального человека, изданный в 1935 году в эмиграции. В 2004 году в Москве вышли сборники воспоминаний белых офицеров «Великий сибирский ледяной поход» и «Восточный фронт адмирала Колчака».

Из современных книг о Гражданской войне в Сибири и на Дальнем Востоке следует выделить великолепные документальные романы-исследования Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни» о бароне Унгерне и «Зимняя дорога» о генерале А. Пепеляеве.

Ценные работы издают историки и филологи Владивостока: Е. Кириллова «Дальневосточная гавань русского футуризма» (2011), И. Рыжов «Последний поход» (2013) — о заключительном этапе Гражданской войны в Приморье, Д. Анча, В. Калинин, Т. Позняк «Владивосток в фотографиях Меррилла Хаскелла» (2009), «История Дальнего Востока России» — многотомное издание Института истории ДВО РАН.

Отходя от темы Гражданской войны, назовем «Краткий исторический очерк г. Владивостока» Николая Матвеева (Амурского), впервые изданный в 1910 году к пятидесятилетию города, и произведения В. К. Арсеньева — «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», а также его менее известные работы этнографического, исторического, военно-географического характера.

В издательстве «Рубеж» (Владивосток) выходят книги поэтов, прозаиков, мемуаристов восточной ветви русской эмиграции — харбинцев, шанхайцев и т. д. Масса материалов по истории региона — на kraeved.info и других интернет-ресурсах.

Для понимания историко-культурно-регионального контекста ценны полузабытые писатели, разрабатывавшие дальневосточную тематику в 1930–1940-х, — Петр Павленко, Вера Кетлинская, Василий Ажаев и др.

notes

Примечания

1

Метрическую запись о бракосочетании Ивана Кузьмича Фадеева, деда писателя, с Аполлинарией Тимофеевной Абакумовой сделал 28 мая 1861 года дьякон Покровской церкви Матвей Мамин — дед писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка *(здесь и далее — примечания автора)*.

2

Литературовед, автор биографии Фадеева в серии «ЖЗЛ» (М., 1989).

3

В 1940 году умер от нелепой случайности: бреясь, поранил подбородок и получил заражение крови.

4

Интересно, что в первом варианте «Разгром» Фадеева тоже назывался «Враги».

5

Сейчас Саровка относится к Красноармейскому району Приморского края.

6

Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930) — путешественник, разведчик, географ, этнограф, исследователь Дальнего Востока, автор книг «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала» и др.

7

Датируется VIII–XIII веками. Представляет собой прямоугольник площадью 24 гектара, обнесенный пяти — семиметровыми валами и окруженный рвами. По версии археологов, «Чугуевская застава» была чем-то вроде таможенного или пограничного поста на «Соколином тракте» — важном торговом пути, шедшем из континентального Китая к океану. Нижние слои городища относятся к государству Бохай (698–926), верхние — к Золотой империи чжурчжэней (1115–1234). Возможно, здесь же находился буддийский монастырь.

8

Улицы Суханова, Лазо, Луцкого, Вс. Сибирцева находятся рядом. Улица Фадеева (бывшая Беговая, переименована в 1971 году) — в другом районе Владивостока.

9

Училище открылось в 1908-м, поначалу располагалось в «городском» здании на углу Светланской и Китайской (нынешний Океанский проспект), в 1914-м переехало в новое здание на Нагорной — ныне Суханова. На мемориальной доске Фадееву указано, что он учился в этом здании с 1910 по 1919 год, хотя рядом висит другая доска, указывающая, что здание построено в 1913-м. На деле, выходит, Фадеев учился в здании на Суханова с 1914-го по 1919-й.

10

Революционерка, подпольщица, партизанка (1899–1990). С нее скульптор Алексей Тенета лепил одну из фигур мемориала Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, открытого в центре Владивостока в 1961 году.

11

Хотя в анкете 1920 года на вопрос о японском языке написал: «Не владею, но знаю английский и немецкий». Зато в «Последнем из удэге» обнаружил неплохое знакомство с японской живописью.

12

В 1921-м Пашковский и Фадеев — тот был после ранения, на костыле, — случайно встретятся в Петрограде. «О партизанских походах я когда-нибудь расскажу подробно, а может быть, и напишу, — скажет Фадеев. — А писать хочется, вы ведь приучили меня записывать и описывать. А знаете, Степан Гаврилович, я не раз пробовал писать стихи — не нравились они мне…» В 1928-м Фадеев организует на московской квартире Пашковского встречу с теми учениками, которых сможет найти, — Нерезов, Билименко, Голомбик, Хомяков, Вейс, Дольников…

13

Уже с 4-го класса, с 1914 года, Фадеев подрабатывал репетиторством.

14

Ныне река Партизанская на юге Приморья, впадает в залив Находка.

15

Она же «Зоя Большая» (1894–1977), подпольщица, большевичка, в 1921 году — секретарь Совмина Дальневосточной республики, управделами Дальбюро РКП(б).

16

Брат «главного советского безбожника» Емельяна Ярославского (Минея Губельмана), революционера, партийного деятеля.

17

В 1953 году Фадеев напишет народному артисту СССР, лауреату четырех Сталинских премий Константину Зубову, что помнит его еще по владивостокскому театру «Золотой Рог», где Зубов в пьесе Сухово-Кобылина играл Кречинского, а юный Фадеев восторженно орал с галерки: «Браво, Зубов!»

18

На этом месте теперь — гостиница «Азимут-Владивосток».

19

Именно об Амурском заливе, а не об Амуре, протекающем вдали от Владивостока, написан знаменитый вальс Макса Кюсса «Амурские волны» (первоначально — «Залива Амурского волны»), впоследствии «присвоенный» хабаровчанами.

20

В штурме Зимнего дворца принимал участие балтийский матрос Федор Стриганов — десятиюродный брат А. А. Фадеева, впоследствии известный в Свердловской области партийный деятель, о котором написал Павел Бажов в книге «Бойцы первого призыва: К истории полка Красных Орлов».

21

Имя М. В. Сибирцевой присвоено владивостокской школе № 9 с углубленным изучением китайского языка. Школа расположена на улице Пушкинской, 39, в старинном здании женской гимназии. Здесь в разное время учились писатели Анатолий Вахов (1918–1965) и Александр Житинский (1941–2012), а также музыкант Илья Лагутенко (р. 1968), основатель группы «Мумий Тролль».

22

Позже в Народном доме откроется клуб имени Ильича. После перестройки здание будут занимать то возродившиеся уссурийские казаки, то регистрационный филиал ГАИ, то клуб свободных нравов «Кому за 30». В настоящее время здание стоит пустое и ветшает.

23

Он побывал во Владивостоке в качестве инженера путей сообщения, занимался вопросами строительства Транссиба.

24

В этом здании в 1914 году Василий Ощепков, сын сахалинской каторжанки, воспитанник русского миссионера Николая Японского (Касаткина) и основателя дзюдо Дзигоро Кано, открыл первую в России секцию дзюдо. Позже Ощепков, его ученик Анатолий Харлампиев и Виктор Спиридонов стали отцами системы рукопашного боя «самбо». Ощепков работал в советской разведке, в 1937 году был арестован как японский шпион и умер в тюрьме, реабилитирован в 1957-м. Ныне в здании по Корабельной набережной, 21, располагается Спортивный центр морской и физической подготовки ЦСКА.

25

В «Последнем из удэге» упомянут «гимназист Пашка Ким», сын корейского купца.

26

По словам Голомбика, окончательное оформление коммуны произошло в марте 1917 года, когда после Февральской революции общество поляризовалось.

27

В «Таежной болезни» упомянуты подпольщицы «Соня Большая» и «Соня Маленькая».

28

Там же в апреле 1938-го расстреляют Иосифа Певзнера — основного прототипа Левинсона из «Разгрома».

29

В 2013 году на корпусе ДВФУ по Суханова, 8 (бывшее здание ВКУ), рядом с мемориальной доской Фадееву появилась доска Судакову-Билименко. В 2014 году внук Билименко Андрей Минеев передал университету научную библиотеку своих родителей — выдающихся геохимиков и минералогов, докторов геолого-минералогических наук Инессы Минеевой (1936–2013) и Дмитрия Минеева (1935–1992). Передать книги во Владивосток завещала Инесса Минеева — дочь Билименко.

30

Революционер, большевик, в 1920–1922 годах председатель Далькрайкома, член Дальбюро ЦК РКП(б), председатель Совета министров Дальневосточной республики, впоследствии — на государственной и партийной работе. Автор нескольких книг, в том числе «Записок премьера ДВР» (М., 1963).

31

По мнению Б. Беляева, статью «Интеллигенция и пролетариат», вышедшую в газете 12 апреля 1918 года за подписью «Булыга Курцевич», написал Фадеев. Газета «Красное знамя», упомянутая в повести «Разлив», была главной газетой Приморья и официальным органом крайкома КПСС вплоть до конца СССР.

Центральный исполком Советов Сибири.

33

Летчик, прозаик, фотограф. Ушел из Владивостока в эмиграцию в 1922 году. В 1956-м во Франции выбросился из окна. В России книга его прозы «Одиссеи без Итаки» вышла уже в XXI веке во владивостокском издательстве «Рубеж».

34

Французский писатель с русскими корнями (1898–1979), участник Первой и Второй мировых войн. В 1975 году издал воспоминания о своем пребывании во Владивостоке в 1919 году под названием «Дикие времена» (в русском издании — «Смутные времена»).

35

Американка, прожившая во Владивостоке с 1894 по 1930 год и ежедневно славшая по нескольку писем родным. В 2008 году «Письма из Владивостока» были изданы по-русски издательством «Рубеж» и стали бестселлером. В 2014 году во Владивостоке появился памятник Элеоноре Прей.

36

Арсений Несмелов (Митропольский) — орденоносец Первой мировой, поручик в армии Колчака, поэт, прозаик. Во Владивостоке в 1920 году написал стихотворение «Соперники» («Интервенты»), в 1999 году ставшее известной эстрадной песней в исполнении Валерия Леонтьева: «Каждый хочет любить, и солдат, и моряк…» В 1924 году уехал из Владивостока в Китай. Жил в Харбине, публиковался, состоял во Всероссийской фашистской партии К. Родзаевского. В 1945-м арестован советской контрразведкой за сотрудничество с японской военной миссией и отправлен в СССР. Умер от инсульта в тюрьме пограничной станции Гродеково в Приморье.

37

Историк, востоковед, журналист. Расстрелян в 1938-м в числе других профессоров ДВГУ, обвиненных в шпионаже в пользу Японии.

38

Во Владивостоке ходили как царские, так и советские («мухинки», «краснощековки») деньги, «керенки», «сибирки». Свои деньги печатали не только сменявшие друг друга правительства, но и рестораны, бани, парикмахерские.

39

Тогда еще не Штирлиц, а Всеволод Владимиров, действовавший под псевдонимом «Максим Исаев» (согласно роману Юлиана Семенова «Пароль не нужен»).

40

В «Последнем из удэге» появляется партизанский поэт-графоман Хрисанф Бледный.

41

Сразу видно, что автор не был приморцем. Иначе бы написал: «По распадкам и по сопкам…»

42

Бурлюк во Владивостоке написал картину, известную под названием «Вид побережья Крыма. Коктебель». Только в 2015 году приморские краеведы установили: на картине изображен не Коктебель, а полудикий пляж Владивостока в районе бухт Соболь и Тихая, известный в народе как «Диван».

43

Сегодня Нейбута во Владивостоке мало кто помнит, но его фамилия стала поводом для упражнений в остроумии. Так, улица Нейбута получила неофициальное наименование «улица обиженных женщин», становящееся понятным при переносе ударения в фамилии большевика на второй слог.

44

У Сергея Довлатова в «Наших» есть описание революционных событий во Владивостоке. Оно, видимо, просто выдумано, никак не пересекаясь с исторической реальностью: «Народные массы с окраин устремились в центр города. Дед решил, что начинается еврейский погром. Он достал винтовку и залез на крышу. Когда массы приблизились, дед начал стрелять. Он был единственным жителем Владивостока, противостоявшим революции. Однако революция все же победила. Народные массы устремились в центр переулками».

45

Американский публицист, автор книги «Путешествие в революцию. Россия в огне Гражданской войны», очерков о Ленине.

…Ты, седовласый капитан,
куда завел своих матросов?
Не замечал ли ты вопросов
в очах холодных, как туман?
Пусть твой хозяин злобно туп,
но ты, свободный англичанин,
ужель не понял ты молчаний,
струящихся со стольких губ?

— писал об интервентах Николай Асеев.

47

В фильме братьев Васильевых «Волочаевские дни» (1937) убийство японского часовщика совершает по заданию интервентов белый поручик.

В конце апреля их, правда, временно вернут на корабли.

Среди них — будущий писатель Франтишек Кубка, впоследствии восхищавшийся фадеевским «Разгромом».

50

В 1935 году в Чехословакии Фадеев встретится с бывшими «белочехами». «Распоряжение убить Суханова дал начальник гауптвахты, карьерист и подлец, гайдовец… Он выбрал в караульной команде самую сволочь, и они все сделали, — расскажут ему они. — Потом по всему гарнизону пошла молва, что Суханов никуда не бежал, и было такое возмущение, что этого офицера, гайдовца, и всю эту сволочь перевели в другое место».

51

Константин Сахаров (1881–1941) — генерал-лейтенант (1919), участник Первой мировой войны, видный деятель Белого движения. В конце 1918 года — начальник гарнизона острова Русский, начальник Учебной инструкторской школы. С 1920 года — в эмиграции. Не путать с генерал-майором Николаем Сахаровым — другим заметным представителем Белого движения в Сибири, заместителем генерала Молчанова в Хабаровском походе белоповстанческой армии (1921).

52

«Последний из удэге»: «Залитый огнями бронепоезд атамана, как бешеный, носился по уссурийской ветке, искореняя последние остатки крамолы».

53

Из сводки колчаковского Главного штаба от 30 апреля 1919 года: «Внешняя политика Японии по отношению к России имеет… агрессивный характер… Согласившись принять участие в борьбе с большевиками и введя свои войска в Сибирь, Япония, однако, дальше Байкала, т. е. района наибольших своих интересов, их не двинула. Одновременно с вводом своих войск в Сибирь Япония устремилась к экономическому захвату Сибири».

54

Своеобразное чувство юмора у тех, кто в 2016 году разместил на Морском вокзале Владивостока мемориальную доску Колчаку с такой вырванной из контекста цитатой из адмирала: «Интересы государственного спокойствия требуют присутствия во Владивостоке русских войск». Доску на здании, возведенном через полвека после гибели Колчака и никакого отношения к нему не имеющем, установила фирма «Diamond Fortune Holdings», строящая под Владивостоком казино. Так что «Балаганчик» продолжается — уже без Асеева и Бурлюка.

55

Переговоры партизан с американцами описаны Фадеевым в «Последнем из удэге».

56

Советский государственный и партийный деятель, в 1918–1922 годах — член Центросибири, уполномоченный ЦК РКП(б) по Хабаровскому краю, один из военачальников Дальневосточной республики. Позже занимал видные посты в органах власти. В 1935 году инициировал реабилитацию рождественской («новогодней») елки. Расстрелян в 1939-м.

57

Жили канадцы весело: открыли кафе «Кленовый лист» и газету «Сибирский сапер», гуляли, дебоширили (даже был приказ, запретивший им буянить в трамваях и входить в вагоны через окно), ходили по борделям.

Японский историк Вакио Фудзимото, оспаривая версию об интервенции как попытке защитить японских подданных в России и чехословаков, приводит документы, говорящие о том, что планы оккупации Сибири возникли в Японии и других странах сразу же после Октября. Англия и Франция 23 декабря 1917 года заключили соглашение о разделе России на «зоны действий», чтобы каждая из двух стран поддерживала антибольшевистские силы в пределах своей зоны, а США и Япония занялись бы Дальним Востоком. Были и сторонники активизации Британии на востоке: так, английский генерал Веджвуд 12 декабря 1917 года писал заместителю министра иностранных дел Р. Сесилю о том, что Сибирь должна стать самостоятельным государством, а ее независимость гарантировала бы Англия. Более того, есть все основания считать, что фактически интервенция (еще не вооруженная) Антанты и США в Россию началась еще до октября 1917 года.

Интересно, что первыми партизанскими командирами стали учителя, руководившие отрядами не хуже профессиональных военных; революционная эпоха дала «вертикальные» социальные лифты, в которых человек поднимался в соответствии со своим талантом и поступками. Не то будет потом, когда революционная лава застынет и на позициях окопаются бессмертные бюрократы.

В «Последнем из удэге» она появится как Скобеевка.

61

Долины нынешних рек Партизанской, Шкотовки и Артемовки.

62

К началу 1917 года в состав Приамурского генерал-губернаторства входили Амурская, Приморская, Камчатская и Сахалинская области. В составе Приморской области числились Хабаровский, Уссурийский, Иманский, Ольгинский и Удский уезды, а также территория Уссурийского казачьего войска, Приморский и Уссурийский горные округа.

63

В «Последнем из удэге» сучанец Сурков говорит: «Алеша Маленький привез дурацкую директиву областкома…»

Партизанский командир Мелехин пишет, что осенью 1919 года партизаны тоже издали приказ о мобилизации, хотя движение было добровольным: «Мобилизация была вызвана тем обстоятельством, что на крестьянском съезде в селе Ракитное не раз высказывалось пожелание о ее проведении. Крестьяне надеялись, что в случае занятия белыми того или иного села будет меньше расправ, так как сыновья ушли якобы не по доброй воле, а мобилизованными».

65

Партизанские командиры Николай Ильюхов и Михаил Титов в 1928 году издали книгу «Партизанское движение в Приморье».

Английский полковник Уорд писал, что ему тоже приходилось вершить суд: «Ставил посреди улицы стол и с помощью приходского священника и старосты местного общества выслушивал и разбирал общественные и частные препирательства, начиная с угроз и оскорблений личности до прав на владение и занятие хутора… Было крайне лестно слышать, что этот народ предпочитал обращаться для улаживания своих споров к „английскому полковнику Ворду“, чем в русский суд. Это была самая интересная работа, которую мне пришлось выполнять в этой стране».

67

Так в тексте. В фадеевском «Разливе» вместо «кореянка» тоже используется «корейка».

68

Дальневосточные корейцы встали на сторону красных прежде всего из-за неприятия японской интервенции — Корея с 1910 года была оккупирована Японией. Борьба с японцами была для корейцев борьбой за независимость. Корейцы оказались, возможно, единственным народом в России, не разделившимся на красных и белых. В Приморье действовали целые корейские партизанские отряды. В «Последнем из удэге» фигурирует революционерка Мария Цой.

69

См. сцену проработки Морозки за кражу дынь в фадеевском «Разгроме».

Интересно, что на следующей гражданской войне, которой с некоторой натяжкой можно назвать криминальные бои в России постперестроечной поры, преемникам Пьянкова приходилось еще хуже. Так, в 2004 году в центре Уссурийска был застрелен Юрий Емец, руководитель предприятия «Уссурийский бальзам».

Имеются в виду ручные гранаты.

Интересно, что примерно тем же самым займется в занятом немцами Краснодоне коммунист Лютиков, под своей фамилией вошедший в роман «Молодая гвардия».

73

4 декабря 1919 года сформирован первый Дальневосточный партизанский полк — еще один шаг к регулярной армии. Командиром стал Ильюхов, начштаба — Титов.

74

Под Владивостоком, в районе бухты Емар, есть странная мемориальная конструкция, называющаяся «Землянка Лазо» и представляющая собой бетонную имитацию фасада бревенчатой избы. Говорят, здесь одно время скрывался Лазо. Но табличке, укрепленной на «землянке» местными энтузиастами, верить нельзя — на ней несколько ошибок.

Интересно, что в годы Великой Отечественной войны, когда в СССР опасались открытия Японией «второго фронта» на Дальнем Востоке, власти готовились к партизанской борьбе. «Заканчивается оборудование партизанских баз в тайге. Ничего нового мы здесь не стали изобретать, а обосновались на местах, где в свое время были базы С. Лазо», — докладывал в октябре 1941 года Сталину первый секретарь Приморского крайкома ВКП(б) Николай Пегов.

В 1965 году здание снесено, в этой части Привокзальной площади построен почтамт.

77

В эту ночь поэт Асеев с женой вышли прогуляться по Алеутской, но, услышав выстрелы, сочли за лучшее переждать в «Балаганчике».

Большевистская подпольная конференция в декабре 1919 года объявила причиной неудачи мятежа нарушение союзным командованием обещания о нейтралитете: японцы и американцы все-таки вмешались. Возможно, это произошло как раз потому, что подготовленный сибирскими эсерами и возглавлявшийся Гайдой мятеж начал приобретать слишком явственный «большевистский» оттенок.

В 1924 году Гайда стал в Чехословакии первым замначальника Главного штаба, в 1926 году обвинен в шпионаже в пользу СССР и отправлен в отставку, в 1927-м возглавил Фашистское национальное сообщество. В мае 1945 года арестован органами чехословацкой безопасности по обвинению в пособничестве германским оккупантам, в 1947-м освобожден, в 1948-м скончался.

Губельман в биографии Лазо в серии «ЖЗЛ» (1956) также утверждает, что партия отправила Лазо на Русский, и даже описывает разговор последнего с офицерами так, как будто сам при нем присутствовал. Но никаких деталей самого похода не дает, хотя это-то и интересно: как добрался, как проник, как уцелел, как вернулся? Сюжет с походом на Русский вошел и в фильм Александра Гордона «Сергей Лазо» («Молдова-фильм», 1967), где заглавную роль сыграл Регимантас Адомайтис. В фильме — явно не зима, Лазо едет на Русский на катере. А вот как писал о появлении Лазо в «школе Нокса» дальневосточный поэт Георгий Корешов:

Ах, свечи! Черт, как мало света!
Но все же каждый увидал!
Так вот какой — без эполетов
Сам партизанский генерал.

81

Сам Лазо записал 1 января 1920 года: «В эти напряженные дни подготовки восстания, когда приходилось работать круглые сутки, вырывая случайные свободные часы для сна, в эти дни не чувствовалось усталости, работа захватывала… Товарищи по квартире… удивлялись такой работоспособности… Они простые обыватели, привыкшие в определенные часы ложиться и вставать, привыкшие к определенным часам работы, не испытавшие, наверное, того подъема тех сил, которые дает работа, подходили и ко мне и к другим с этой обывательской точки зрения. Эти люди твердили мне скучную мораль о восьмичасовом сне и необходимости отдохнуть…»

Был даже местный термин «недоворот».

83

Накануне глава объединенного штаба военно-революционных организаций Лазо обратился к консулам союзных держав с требованием о невмешательстве.

Даже Колчак на иркутском допросе 30 января 1920 года признал: «Владивосток произвел на меня впечатление чрезвычайно тяжелое… Теперь… там распоряжались кто угодно. Все лучшие дома, лучшие казармы, лучшие дамбы были заняты чехами, японцами, союзными войсками, которые туда прибывали, а наше положение было глубоко унизительно… Я чувствовал, что Владивосток не является уже русским городом… Я считал, что эта интервенция… закончится оккупацией и захватом нашего Дальнего Востока в чужие руки. В Японии я убедился в этом».

85

Фадеев задумал рассказ «Суровые времена», в котором хотел рассказать о «чудовищной тряпицынской эпопее». Согласно И. Жукову, одно время в отряде Тряпицына воевали «соколята» Билименко и Нерезов, что впоследствии могло сыграть против них. Интересно и то, что в отряде Тряпицына состоял будущий детский писатель Рувим Фраерман (1891–1972) — автор «Дикой собаки Динго».

В «Истории Дальнего Востока России» (издание ИИАЭ ДВО РАН под редакцией Б. Мухачева, 2003) этот сюжет назван «недостаточно изученным». «Показательно, что даже среди японских историков есть ученые, считающие, что „николаевский инцидент“ был продуманной акцией японских правящих кругов с целью продлить интервенцию на Дальнем Востоке, а главное — захватить Северный Сахалин», — говорится в этом труде. Личность самого Я. И. Тряпицына, говорится здесь же, по-прежнему вызывает много споров. В последнее время появились исследования (например, Г. Левкин «Волочаевка без легенд». Хабаровск, 1999), из которых следует: фигура Тряпицына незаслуженно демонизирована, а его расстрел вместе с Ниной Лебедевой и еще несколькими соратниками 9 июля 1920 года в поселке Керби стал результатом заговора. Причем «судом Линча» над Тряпицыным руководил Иван Андреев — белый офицер, перешедший к красным только после взятия крепости Чныррах и вскоре после описываемых событий перебежавший к японцам.

У Велимира Хлебникова тоже есть стихи «Переворот во Владивостоке», хотя его присутствие в городе не подтверждено:

Над городом взошел заморский меч.
И он, как месяц молодой,
Косой, кривой…
Сноп толп, косой пальбы косимый,
Он тяжко падал за улицы на свалку.
Переворот… дыхание Цусимы.
Тела увозят на двуколке
И алое в бегах,
Торопится, течет, спешит рекою до зареза,
Железо и железо!

88

Алексей Николаевич Луцкий (1883–1920) — гренадер, участник Мукденского сражения, настоящий военный интеллигент — разведчик, востоковед, журналист, историк. Левый эсер, затем — большевик. Подробнее — см. книгу «Алексей Луцкий. Историко-биографический очерк» (Владивосток, 2012), написанную дальневосточным историком Б. Мухачевым совместно с сыном Луцкого — также историком, доктором исторических наук Евгением Луцким.

89

Валериан Бочкарев (Озеров) был одним из калмыковских есаулов.

С некоторыми уточнениями: вместо станции Уссури (ныне Ружино) стати говорить о станции Муравьев-Амурский (ныне Лазо).

91

На доске, укрепленной на этом паровозе, сказано, что в его топке «были сожжены пламенные революционеры». Вот пример бездумного использования штампа, что привело к несколько издевательской буквализации метафоры.

Сейчас недоразумение устранено: на черных боках паровоза отчетливо читается номер «Ел-629».

93

Участник Гражданской войны, впоследствии доктор медицинских наук Федор Мошанский зимой 1920/21 года в Харбине познакомился с машинистом, который рассказал, что на станции Муравьев-Амурский стал свидетелем расправы белых с тремя пленниками, одного из которых — Лазо — он знал в лицо.

Технология ремонта топки описана в романе участника Гражданской войны Леонида Леонова «Дорога на Океан». Один из героев, бывший белый офицер, а теперь начальник депо, хочет избавиться от своего врага, загнав его в недра паровоза для разбора топочной арки.

Есть явные пересечения — сюжетные, интонационные, эмоциональные — между «Эпизодами революционной борьбы на Кубе» Че Гевары и фадеевским «Разгромом».

Бессарабское село Пятра, где он родился, в советское время переименовали в Лазо, а после обретения Молдавией независимости переименовали обратно.

97

В Хабаровске японцам удалось создать марионеточное «русское правительство» во главе с бывшим городским головой Лихойдовым.

Эти шаги тревожили Америку, имевшую свои интересы на Дальнем Востоке. 16 июля Госдеп, приветствуя вывод японских войск из Забайкалья, высказался против оккупации Сахалина. 4 августа на заседании японского кабинета было отмечено, что «антипатия» со стороны США не позволяет в полном объеме осуществить японские планы в отношении Сибири (Сибирью тогда называли всю территорию России к востоку от Урала).

99

Эсеро-меньшевистское правительство, действовавшее в Иркутске после свержения Колчака с ноября 1919-го по январь 1920 года.

В это же время делаются попытки создать «черный буфер» — антисоветский. Эту идею продвигал атаман Семенов при поддержке интервентов. Он даже поручил кадету Таскину сформировать новый состав «буферного правительства», куда должны были войти Гондатти, Болдырев, Лохвицкий, Семенов и др.

Вероятно, были и другие соображения. Федор Петров — революционер, впоследствии зампред Совмина ДВР — вспоминал: «В Забайкалье и на Дальнем Востоке основная масса крестьян и до Октябрьской революции имела неплохие земельные наделы. Поэтому политика военного коммунизма вряд ли встретила бы поддержку со стороны широких масс местного крестьянства».

102

Внутренняя борьба сторонников буфера и советизации Дальнего Востока продолжалась и позже. В начале 1921 года Ленин постановил «признать советизацию ДВР безусловно недопустимой в настоящее время, равно как недопустимыми какие бы то ни было шаги, способные нарушить договор с Японией».

Отец Юла Борис Бринер даже побыл некоторое время министром промышленности и торговли ДВР. История ближе, чем кажется: с Роком Бриннером, сыном Юла и частым гостем Владивостока, мы — «френды» в Facebook. А мой дед Михаил Васильевич Заяшников родился в сентябре 1922 года под Читой — выходит, и сам я внук не просто гражданина, но уроженца ДВР.

Их называли «буферками» и меняли на колчаковские «сибирки», изымая последние из обращения. Вместе с тем допускалось хождение купюр Временной земской власти Прибайкалья, кредиток РСФСР, романовских денег, «керенок», «американских полтинников».

105

29 марта 1920 года на заседании Далькомитета РКП(б) представитель Сибревкома Виленский объявил, что Владивосток станет центром буфера на Дальнем Востоке, и предложил объединить регион вокруг Приморской земской управы, которая станет Временным правительством Дальнего Востока. Одновременно, с 28 марта по 8 апреля, прошел съезд трудящихся Прибайкалья, на котором центром ДВР был определен Верхнеудинск как наиболее удаленный от иностранного влияния город. Во Владивостоке 12 декабря 1920 года Приморское народное собрание утвердило образование Приморского областного управления ДВР во главе с коммунистом Антоновым, а областная земская управа сложила государственные полномочия.

И в «Рождении Амгуньского полка» один из героев говорит: «Приморье погибло уж для Советской России».

107

Уроженец Чернобыля, социал-демократ с 1896 года. С 1902 года — в эмиграции, окончил Чикагский университет, летом 1917 года вернулся в Россию. В 1923 году попал в тюрьму по обвинению в злоупотреблениях в Промбанке, председателем правления которого состоял, в 1925-м освобожден по амнистии. В 1926 году возглавил Институт нового лубяного сырья, был одним из возлюбленных Лили Брик. В 1937 году расстрелян, в 1956-м реабилитирован.

108

В октябре 1921 года замминистра просвещения ДВР стал поэт Сергей Третьяков.

109

После меркуловского переворота 1921 года у ГДУ настали неблагополучные времена. Знаменитый востоковед Н. Кюнер писал в ректорат: из-за невыплаты жалованья домохозяин выселяет его с квартиры. Следующий приморский правитель М. Дитерихс в 1922 году закрыл университет, но с приходом советской власти учебный процесс возобновился.

Вот повод оценить такие качества Ленина, как быстрота реакции, гибкость, открытость неочевидным решениям. Возможно, как раз новые, послесоветские поколения способны по-настоящему оценить ленинские способности — без слепого отрицания и столь же слепого поклонения, без советских и антисоветских штампов. То же, кстати, относится и к главному герою нашей книги.

111

Участник Первой мировой войны, Маршал Советского Союза, первый кавалер орденов Красного Знамени и Красной Звезды. В качестве командующего Особой Дальневосточной армией и Дальневосточным фронтом руководил действиями РККА в ходе конфликта на КВЖД (1929) и хасанских событий (1938). В октябре 1938 года арестован, в ноябре того же года умер в Лефортове. Реабилитирован в 1956 году.

112

К тому времени уже покойного. Генерал Владимир Каппель умер в январе 1920 года под Тулуном от воспаления легких, полученного в ходе «сибирского ледяного похода».

113

Незадолго до переворота с Николаем Меркуловым встретился поэт Несмелов. Меркулов сказал ему: «Я думаю так: Приморье должно стать японским генерал-губернаторством!»

114

В фильме Бориса Григорьева «Пароль не нужен» (1967) Исаева сыграл Родион Нахапетов, Блюхера — Николай Губенко, корейца Чена — Василий Лановой, японца Мацумото — Михаил Глузский.

115

Григорий Семенов в 1945 году был арестован советскими спецслужбами в освобожденной от японцев Маньчжурии. В 1946-м приговорен к смертной казни как «враг советского народа и активный пособник японских агрессоров» и повешен.

116

Всеволод Никанорович Иванов (1888–1971) — литератор, философ-евразиец, из Владивостока уехал в Харбин, в 1945 году вернулся в СССР, репрессирован не был; многие считали его резидентом советской разведки.

117

В «Истории Дальнего Востока» (Владивосток, 2003) говорится: «Главным источником дохода для меркуловского режима стала распродажа грузов, скопившихся во Владивостокском порту с 1914 года, имущества Уссурийской железной дороги, а также экспортные пошлины… Большинство товаров было продано по сниженным ценам японским фирмам, что объяснялось зависимостью меркуловского правительства от японского командования… Стремление любым способом получить поддержку держав превратило экспортно-тарифную политику Приморья в расхищение товарных запасов и грабеж природных богатств области».

118

Петр Никифоров указывал: «Владивостокский порт был единственным, не подверженным блокаде немецких подводных лодок, и через него из-за границы поступала в Россию главная масса товаров. За время войны в нем скопилось более 11 млн пудов гражданских и военных грузов». Согласно «Истории Дальнего Востока России», грузооборот Владивостокского порта вырос с 1,3 млн тонн в 1914 году до 2,6 млн в 1916-м. Несмотря на строительство новых причалов, он не справлялся с грузопотоком, из-за чего к началу 1917 года в порту скопилось несколько десятков миллионов пудов неотправленных грузов.

119

Начальник контрразведки полковник Гиацинтов, описанный в романе Ю. Семенова «Пароль не нужен», — реальное лицо.

120

Викторин Молчанов, участник Первой мировой, умер в Сан-Франциско в 1975 году в возрасте 88 лет.

Подобная риторика активно использовалась с обеих сторон. И красные, и белые были наследниками и продолжателями прежней России, что бы они сами об этом ни думали. «Они сражались за родину» с обеих сторон — только понимали эту борьбу по-разному, и война эта приняла поистине религиозный характер с соответствующим — то есть запредельным — уровнем жестокости. Попавший в тот или иной лагерь нередко менял его — ситуативно или сознательно. Царского офицерства в рядах красных было не меньше, чем в рядах белых, что, кстати, и стало одной из причин (не единственной, конечно) итоговой победы красных.

122

В описываемый период — военачальники ДВР. Степан Серышев впоследствии был военным атташе в Японии, скончался в 1928 году. Яков Покус в 1938 году был репрессирован, в феврале 1940 года освобожден, преподавал в Академии Генштаба, однако в октябре того же года вновь арестован. Умер в 1945 году в заключении, реабилитирован в 1956-м.

123

Участник Первой мировой войны, советский военачальник, хозяйственный деятель. С марта 1920-го по апрель 1921 года — главнокомандующий НРА ДВР. В 1938 году репрессирован, реабилитирован в 1954 году. Вернулся в Москву, активно работал как военный историк.

124

В 1928 году у села Волочаевка-1 под Хабаровском (ныне — Смидовичский район Еврейской АО) на сопке Июнь-Корань, рядом с братской могилой 118 красных бойцов, открыли музей. На его крыше разместили фигуру народоармейца работы скульптора Алексея Бодоньи (Бадоньи) — венгра, бывшего военнопленного, участника Волочаевского боя, впоследствии преподавателя труда в Хабаровском педагогическом техникуме. В постсоветское время мемориальный комплекс оказался заброшен, окна и двери замуровали, чтобы уберечь от разграбления. В 2016 году местные власти пообещали восстановить мемориальный комплекс.

125

В это время у Блюхера начались разногласия с руководством ДВР, он возражал против партийного вмешательства в свои действия. В июле Блюхера отозвали в Москву, главкомом НРА стал Авксентьевский, а в августе — Иероним Уборевич.

126

24 апреля 1922 года Блюхер приказал усилить партизанскую войну в тылу врага. Командирам партотрядов предлагалось создать на территории, контролируемой меркуловцами и японцами, «невыносимые для противника условия жизни». Формально партизаны не входили в НРА, однако позже новый главком Уборевич даже направил к Анучино для помощи партизанам батальон 4-го Волочаевского стрелкового полка под командованием Гюльцгофа. По оценке И. Рыжова, в 1921–1922 годах главной силой партизанского движения были уже регулярные части НРА ДВР, «переведенные на партизанские методы войны».

127

Участник Русско-японской и Первой мировой войн. В марте 1918 года стал начальником штаба Чехословацкого корпуса. В 1919 году был начальником штаба Колчака. После поражения белых и интервентов жил в Шанхае. Автор книги «Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале».

128

Из приказа Дитерихса от 22 августа 1922 года: «Японцы уходят, и мы можем теперь с чистой совестью и горячей верой идти выполнять национальный долг перед нашей великой и Святой Родиной…»

129

Не все командиры решились огласить этот приказ своим подчиненным.

130

Несмотря на вывод интервентов, в порту Владивостока в октябре 1922 года находились не только японские, но и американские, французские, китайские военные корабли.

131

28 октября в Читу прибыл представитель ЦК Сапронов и привез директиву Москвы о ликвидации буфера. Сделать это нужно было так, чтобы данный шаг был «изъявлением революционной воли трудящихся масс». На сессии Народного собрания, принявшей решение о ликвидации ДВР, член Дальбюро ЦК Я. Янсон выразился предельно откровенно: «Пора кончать игру в демократию».

ДВР была не единственным восточным призраком альтернативной России. Взять КВЖД и самый русский город Китая Харбин, к названию которого так и хочется добавить окончание «-ск». Переводчик Максим Немцов, в 1980-х выпускавший во Владивостоке самиздатовский журнал «ДВР», считает: «Колония Российской империи в Маньчжурии была анклавом с самым свободным российским населением. С таким удалением от центра сложно было искать финансы на все в Петербурге. Бóльшая часть забот была возложена на местные власти, хотя по ключевым решениям слали депеши в Петербург. Фактически здесь гарантировали свободу вероисповедания, в политике была большая толерантность». Можно посмотреть шире — на весь вызывавший споры, но мощный по замаху проект «Желтороссия», начатый в конце XIX века арендой Порт-Артура и строительством КВЖД и свернутый только в 1955-м, когда Россия вновь оставила Ляодунский полуостров. Был, наконец, и сталинский Дальстрой — колымский хозтрест, который де-факто даже больше походил на самостоятельное государство, чем ДВР.

133

Советский литературовед К. Зелинский обтекаемо называет «Булыгу» — «вымышленной фамилией» («кличка», видимо, — грубовато, «псевдоним» — неточно…). Интересно, что у ополченцев Донбасса нашего времени в ходу другой термин: «позывной».

134

Советский писатель, драматург (1891–1967). Как и Фадеев, участник подавления Кронштадтского восстания. Лауреат Сталинской премии 3-й степени за роман «России верные сыны» (1950).

135

У Пикуля: «Цок-цок — по булыгам», у Слуцкого: «Булыгой громыхнет по голове».

136

Вооруженный конфликт между КНР и СССР в марте 1969 года за остров Даманский, расположенный на реке Уссури (север Приморского края). Остров ныне принадлежит Китаю и называется Чжэньбаодао.

137

Название происходит от китайского Сань-да-гоу — «третья большая долина». Китайская фанза Сандагоу была отмечена на карте еще М. Венюковым в 1850-х.

С другой стороны, Эренбург писал: «Фадеев мне говорил, что в годы гражданской войны он и не думал, что увлечется литературой; „Разгром“ был для него самого негаданным результатом пережитого». Но с Эренбургом можно поспорить: «Разгром» был не первым, а как минимум третьим произведением Фадеева, и все три — на тему революции и Гражданской войны в Приморье.

139

В письме Асе Колесниковой он уточнял, что «срезался по бухгалтерии», а на другие экзамены не пошел.

Через какие-то месяцы Фадеев примет участие в разорении этого самого хутора. Сам Женя, по словам Фадеева, «опускался духовно» и окончил свою жизнь «печально и бесславно», что бы это ни значило.

141

Эта газета упоминается в «Последнем из удэге».

142

Сюжет с ценами на хлеб будет использован в «Последнем из удэге».

143

Ныне река Большая Уссурка.

144

Отряд шел из-под Спасска, где захватил эшелон с оружием и обмундированием.

145

С анархиствующими партизанскими командирами у Фадеева были и личные счеты. Однажды Булыгу и Василия Прокопенко (Темнова), который в 1930-е годы станет заместителем начальника Приморского ГПУ, арестовал анархист Гурко, в 1921 году погибший при неустановленных обстоятельствах.

146

Если партизанам мосты приходилось взрывать, то в феврале 2016 года мост на трассе Владивосток — Находка у Новолитовска — как раз там, где получал боевое крещение Булыга, — без видимых причин обвалился сам. За ним рухнули другие — у Кроуновки, у Яковлевки…

147

Фадеев вспоминал: «Техника у партизан в то время была еще очень слабая. Фугасы взрывались не электрическим индуктором, а тем, что дергали за длинный шнур, один конец которого был в руке у подрывника, а другой подвязан внутри фугаса за спусковой крючок короткого обреза, заряженного пулей. В нужный момент подрывник дергал за шнур, обрез стрелял внутри деревянной коробки, начиненной динамитом, — фугас взрывался». Такой подрыв описан и в «Разгроме»: «Берданный затвор от фугаса, зацепившись шнурком, повис на телеграфном проводе, заставив впоследствии многих ломать голову над тем, кто и зачем его повесил».

148

Город Спасск-Приморский (с 1929 года — Спасск-Дальний) образован в июне 1917 года постановлением Временного правительства. Он вырос из поселка Спасская слобода, станции Евгеньевка, цементного завода и гарнизона.

149

Настоящая фамилия Зубцов (1895–1937). «Два мира» — первый советский роман (вышел в 1921 году). Повесть Зазубрина «Щепка» о ЧК и красном терроре написана в 1923 году, опубликована только в 1989-м (по ней Александр Рогожкин в 1991 году снял фильм «Чекист»). В 1937 году Зазубрина расстреляли, а его дачу в Переделкине передали Фадееву. Там писатель покончил с собой. После этого в дом (проезд Вишневского, 3) вселился освободившийся из лагерей поэт Ярослав Смеляков (1913–1972). Дарья Донцова — автор многочисленных детективных романов и дочь писателя Аркадия Васильева — рассказывала «МК», вспоминая свое переделкинское детство, о призраке Фадеева, будто бы появлявшемся на своей бывшей даче: «На эту дачу поселили Пименова, первого ректора Литинститута. Пименов был сильно выпивающий человек. Он прибежал к моему отцу через неделю и сказал, что жить там не может, что по ночам в кабинете там стоит Фадеев с бутылкой в руке. Потом там жили несколько писателей, последним был Генрих Гофман, очень храбрый летчик, Герой Советского Союза. Гофман сказал моему отцу: делай что хочешь, но там живет Фадеев. Отец сказал: так, сегодня я иду туда сам и проверяю. Ушел и вернулся наутро, тихий. Заперся с мамой в кабинете, о чем-то разговаривал. После этого дача 15 лет простояла пустая».

150

Сборник под редакцией М. Горького, П. Постышева и И. Минца (М., 1936).

151

В «Разгроме» появляется фельдшер Харченко.

152

В 1929 году в Приморье прибыл для прохождения службы молодой летчик Николай Каманин. Его самолет Р-1 стоял в эллинге на окраине Спасска — возможно, том самом. Потом часть вооружили новыми самолетами Р-5, на которых Каманин и другие летчики отправились на Чукотку спасать челюскинцев.

153

В «Рождении Амгуньского полка» выведен как Шептало.

Прежде пароходик назывался «Казак Уссурийский» и входил в состав Уссурийской казачьей флотилии, а баржа звалась «Казачкой».

155

Сюжет рассказа «Против течения».

156

Комиссар Федор Булочников репрессирован в 1938-м, освобожден досрочно, при содействии Фадеева реабилитирован.

И рядом же — урановый Краснокаменск, где в XXI веке будет отбывать наказание олигарх Ходорковский.

158

Еще одно косвенное пересечение Фадеева с Унгерном — через приамурского партизана и писателя Рувима Фраермана. Фраерман в 1921 году писал в газету «Советская Сибирь» отчеты с новониколаевского процесса над Унгерном, причем редактором газеты и главным обвинителем на процессе был Емельян Ярославский (Миней Губельман) — брат «дяди Володи», Моисея Губельмана.

159

Венгерский писатель-коммунист (1899–1980), долгое время жил в СССР. Зять Белы Куна, в марте 1919 года провозгласившего Венгерскую советскую республику, а в 1920-м в качестве председателя Крымского ревкома ставшего одним из организаторов красного террора в Крыму. В 1938 году Бела Кун был расстрелян, Гидаш — репрессирован. В 1944-м он вышел на свободу, в 1959-м вернулся в Венгрию.

160

Так в России называли снаряды с особой начинкой, применявшиеся японцами в войне 1904–1905 годов.

Здесь же чуть не погиб, провалившись под лед, Александр Степанов — будущий автор эпопеи «Порт-Артур».

162

Актер и фронтовик Владимир Иванов, после войны игравший Олега Кошевого с осколком в колене, вспоминал встречи с Фадеевым: «Он свободно пользовался военными терминами, называл системы и марки пушек, самолетов, танков, стрелкового оружия, и мне подумалось: разговариваю не с писателем, а с военачальником. „То, что у тебя открылась рана, не беда, — вернулся он к первоначальному разговору. — Это обыкновенный свищ, я был ранен на Дальнем Востоке и при взятии Кронштадта несколько раз. Ранен тяжело. До сих пор хожу, как на шарнирах. Раны не дают спать по ночам“».

163

В 1939-м и 1951-м Фадеев был награжден двумя орденами Ленина.

164

Исаковский посвятил Фадееву «Песню о Родине», взяв эпиграфом строчки из песни «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…» об Англо-бурской войне, которую часто пели участники Гражданской войны в России, причем по обе стороны баррикад. У Фадеева эта песня не раз цитируется в «Последнем из удэге».

165

На некоторое время в Москве возродилась и «владивостокская» коммуна, вспоминал Яков Голомбик. Здесь снова встретились Голомбик, Фадеев, Нерезов, Адольф (Эдуард) Крастин с женой Таней Цивилевой, Судаков-Билименко. «Жили все вместе в Козихинском переулке. Возобновилась коммуна. Все было общее, — пишет Голомбик. — Саша Фадеев был частым гостем у нас на Козихе, где коммуна существовала до тех пор, пока мы не переженились… Общей кассы уже не было, но в случае надобности каждый из нас мог рассчитывать на заработок другого. Все традиции морально-общественного порядка у нас сохранились». В 1938 году Голомбика приговорят к расстрелу, но Фадеев поедет к прокурору, напишет отличную характеристику и спасет друга.

166

Юрий Либединский (1898–1959) — советский писатель. Участник Гражданской войны, политработник. Повести «Неделя» (1922), «Комиссары» (1925) и др. Один из лидеров РАППа. Был женат на Марианне Герасимовой — сестре первой жены Фадеева.

167

Всеволод Иванов (1895–1963) — прозаик, драматург, один из «Серапионовых братьев». Из первых произведений — повести «Партизаны» (1921), «Бронепоезд 14–69» (1922) о Гражданской войне.

168

Валерия Анатольевна Герасимова (1903–1970) — прозаик, редактор. Входила в группу «Перевал», печаталась с 1923 года. Повести «Панцирь и забрало», «Жалость», «Хитрые глаза» и др. Двоюродная сестра режиссера Сергея Герасимова, первая жена А. А. Фадеева. Второй муж Герасимовой — писатель Борис Левин (в 1940 году погиб на финской войне вместе с другим военкором, писателем Сергеем Диковским). Внук Герасимовой и Левина — писатель Сергей Шаргунов.

169

Ныне — Московский государственный машиностроительный университет.

170

Кубано-Черноморская область с центром в Краснодаре существовала в составе РСФСР в 1920–1924 годах.

171

Северо-Кавказский край существовал в составе РСФСР в 1924–1937 годах, его административным центром в первые годы был Ростов-на-Дону.

172

Венгерский писатель-коммунист. В 1916 году, воюя в составе австро-венгерской армии, попал в плен к русским, вскоре примкнул к революционному движению, воевал в Красной армии. Погиб в 1937 году в Испании, командуя 12-й интербригадой под именем генерала Лукача. Упоминается в романе Хемингуэя «По ком звонит колокол».

173

«Разгромом» *(La Débâcle)* называется роман Эмиля Золя о поражении Франции во Франко-прусской войне 1870–1871 годов. Кроме того, так озаглавил статью о Цусиме Ленин.

174

Создана в 1920 году как ВАПП — Всероссийская ассоциация пролетарских писателей, в 1921-м утверждена Наркомпросом как головная литературная организация страны. В 1925 году преобразована в РАПП, ставшую ведущей силой ВОАПП — Всероссийского объединения ассоциаций пролетарских писателей. РАПП издавала журнал «На литературном посту», боролась с группой «Перевал», «формалистами», «попутчиками». Лидеры — Авербах, Либединский, Ермилов, Киршон, Фадеев и др. Ликвидирована в 1932 году.

175

Анна Караваева (1893–1979) — писательница, лауреат Сталинской премии за трилогию «Родина».

176

Лидия Сейфуллина (1889–1954) — прозаик. Повести «Правонарушители», «Перегной», «Виринея».

177

Фадеев не раз выражал за это благодарность Либединскому и Сейфуллиной. А в 1952-м написал, что первым заметил и поддержал его рукопись Константин Федин (1892–1977) — советский классик, автор романов «Города и годы», «Похищение Европы» и др., в 1959–1977 годах — руководитель Союза писателей СССР.

«Разлив» созвучен и с «Разгромом»; слышатся здесь тревожные «разгон», «раздрай», «распыл», «распад», «раскол», «разлом»…

Ср. у Есенина о Ленине:

Его уж нет! А те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

180

Есть фото 1933 или 1934 года, где Фадеев, одетый в ватник, снят в Чугуевке рядом с Антоном Горовым.

181

Владелец мельницы Архип Копай был старостой села. В «Разливе» фигурирует лавочник Копай, а также мельник Вавила, которого смещает с поста председателя волостной управы Иван Неретин.

Реки в этих краях и сегодня регулярно выходят из берегов. В 2016 году прошел госэкспертизу проект строительства новой дамбы для защиты от наводнений Новомихайловки (соседнее с Чугуевкой село). «Чудный край, — говорит в „Разливе“ Неретин. — В Туркестане… нужны оросительные каналы, а в Голландии плотины, а нам и то и другое нужно!» Эти слова остаются актуальными и для современного Приморья.

183

В Приморье «кишмиш» — не виноград, а растущие на лианах крупные зеленые ягоды, в разрезе не отличимые от киви и называемые по-научному «актинидия коломикта».

184

Основная руда Тетюхе (ныне Дальнегорск) — свинцовая, цинковая, серебряная, но Фадеев, по всей видимости, подразумевает имеющийся здесь же халькопирит — медную руду золотистого цвета, потому что «червонный» означает не только «красный», но и «связанный с золотом».

185

«Высокий, худощавый, в своем длинном и каком-то негнущемся пальто, он и по наружности и по сдержанности манер казался похожим на парня из старообрядческой крестьянской семьи», — вспоминал первую встречу с Фадеевым Либединский. Староверов Фадеев знал еще по Улахинской долине, а потом часто называл себя «старовером языка» — что-то, выходит, перенял у этих строгих людей. В 1933 году во время поездки в Приморье Фадеев назвал староверов Кокшаровки «людьми с интеллигентными лицами, похожими на декабристов в ссылке». Интересно, что в «Разливе» те же самые («кошкаровские») староверы из-за женьшеня застрелили в тайге нескольких китайцев, и председатель управы Неретин направляет материалы в следственную комиссию, ругнувшись вслух: «Солдат не давали, потому что религия не позволяет, а китайцев стрелять позволяет!» В «Последнем из удэге» упомянут старовер Поносов, «сбежавший с белыми». В явном скепсисе по отношению к староверам Фадеев близок к Арсеньеву, считавшему, что в случае новой войны с японцами старообрядцы в лучшем случае займут нейтральную позицию.

186

В 1953 году Фадеев писал: «Люблю монументальную форму старого реалистического романа…»

187

В 1928 году Чугуевка получила первый трактор «фордзон».

Известные в дореволюционном Приморье предприниматели.

189

Спиртоносы промышляли доставкой на таежные прииски алкоголя, который был там запрещен. Даубихе — нынешняя река Арсеньевка.

190

Немцы из Гамбурга Густав Кунст и Густав Альберс в конце XIX века занялись на Дальнем Востоке разнообразным бизнесом. Здание Торгового дома Кунста и Альберса — ныне Владивостокский ГУМ.

191

Речь о браке с Ангелиной Степановой и ее сыне Александре, усыновленном Фадеевым.

Интересно, что первая жена Фадеева Валерия Герасимова писала, что фамилию «некоей» Колесниковой она впервые узнала только после публикации в «Юности». И вообще письмами Асе Герасимова была не очень довольна: Фадеев себя в них «подрумянил», «подретушировал». Писал, например, о «лишней рюмочке» — а надо было о «страшном алкоголизме».

193

В 1985 году на этом месте установили так называемую баржу «125 лет Владивостоку» — вынесенную в море конструкцию для дискотек и т. п.

194

Один из старых цирков Владивостока, действовавший в 1930-х на углу нынешних Океанского проспекта и улицы Прапорщика Комарова. Впоследствии сгорел.

195

6 ноября 1926 года в газете «Красный молодняк» вышло стихотворение «Октябрь», за ним — «Владивосток», «Из окна вагона». Здесь же, во Владивостоке, поэты Рюрик Ивнев и Лев Повицкий устроили первое публичное выступление Васильева.

196

На этой пересылке, находившейся в районе Моргородка, а не Второй Речки, как часто приходится читать даже у серьезных авторов, умер в декабре 1938-го Осип Мандельштам.

197

Иван Васильевич Рыбачук (1921–2008) — народный художник России, почетный академик Российской академии художеств, ветеран Великой Отечественной войны.

198

Ныне — река Маревка на севере Приморья.

199

Трофим Борисов (1882–1941) — прозаик, писал в основном о природе. Участник Русско-японской войны, в 1920-х — глава треста «Дальрыба». Повесть «Тайна маленькой речки» (1927) высоко оценил М. Горький.

200

В 1966 году писатель и натуралист Всеволод Сысоев (1911–2011) — директор Хабаровского краеведческого (Гродековского) музея — проведет здесь экскурсию для М. Шолохова, возвращавшегося из Японии, и вручит ему настойку на женьшене.

201

До сих пор не вышло. В 1947–1949 годах в Примиздате вышло шеститомное собрание, которое не может претендовать на полноту. В XXI веке издание ПСС Арсеньева начало владивостокское издательство «Рубеж». По состоянию на 2016 год вышло три тома из шести.

202

Василий Кучерявенко (1910–1982) — моряк, журналист, прозаик. Документальные повести «„Перекоп“ ушел на юг», «Люди идут по льду», «Пламя над океаном», сборники корейских сказок и др.

Как тематическую и жанровую предтечу Арсеньева можно рассматривать Чехова, чей «Остров Сахалин» — матрица и энциклопедия дальневосточной жизни: природа, «инородцы», история, статистика, личные эмоции когда очарованного, а когда и шокированного странника-европейца. Тот сплав документализма и лиричности, который станет основой арсеньевского текста. Чехов и Арсеньев сыграли в литературе российского Дальнего Востока роль «мостика» от путешественников-естествоиспытателей к профессиональным литераторам.

Коренные малочисленные народы (КМН) и сегодня пользуются рядом преференций. В Приморском крае в 2015 году принят закон о КМН, в том же году решением правительства РФ на севере Приморья создан национальный парк «Бикин», предусматривающий участие коренных народов в управлении данной территорией. Однако вопрос о выделении приморским аборигенам квот на вылов лосося не решается годами, что нарушает их права на ведение традиционного образа жизни. В 1962 году для них в Приморье была установлена норма в 50 кг лососевых в год на человека, в 2013 году квоту сократили до 3,5 кг. По состоянию на 2016 год проблема не решена: квоты для представителей КМН выделяются по «остаточному» принципу. Так, в 2015 году в Ольгинском районе одному коренному приморцу разрешалось выловить 1,8 кг симы. Общине коренных народов «Родник» (52 человека) выделили 86 кг — то есть 1,6 кг (по полрыбины?) на человека в год. То же самое — с охотой. Коренные приморцы, говорится в докладе приморского омбудсмена В. Розова по итогам 2015 года, «поневоле оказались вне закона, то есть браконьерами, поскольку объемы разрешенной охоты в целях ведения традиционного образа жизни для личного потребления не определены». Так что беспокойство Тун-ло и теперь, спустя почти век, видится вполне обоснованным.

205

В фильме «Аэроград», над которым режиссер Довженко начинал работать вместе с Фадеевым, главный герой Степан Глушак — старый охотник и партизан — носит прозвище «Тигриная смерть».

206

Гиляки — нивхи, обитатели Сахалина и низовий Амура.

207

Юрий Рытхэу (1930–2008) — автор многих книг о Чукотке и чукчах, в том числе автобиографической трилогии «Время таяния снегов». Ему порой приписывают авторство крылатой фразы «Чукча не читатель, чукча — писатель».

208

Григорий Ходжер (1929–2006) — уроженец Хабаровского края, автор повестей «Чайки над морем», «Эморон-озеро», «Какого цвета снег?» и др.

209

Владимир Санги (р. 1935) — автор нивхского букваря, основатель нивхской литературы, автор книг «Семиперая птица», «Ложный гон», «Женитьба Кевонгов» и др. Живет на Сахалине.

210

Джанси Кимонко (1905–1949) — участник Гражданской войны и войны с Японией 1945 года, организатор первого удэгейского колхоза, автор повести «Там, где бежит Сукпай». Учился в Ленинграде в Институте народов Севера. В 1939 году был арестован по обвинению в шпионаже, но вскоре освобожден. Погиб на охоте.

211

Николай Пржевальский (1839–1888) — знаменитый исследователь Центральной Азии. В 1867–1869 годах изучал Уссурийский край (нынешнее Приморье), о чем издал сочинения «Об инородческом населении в южной части Приамурской области» и «Путешествие в Уссурийском крае».

Китайцы из Сидатуна — нынешнего Мельничного — фигурируют и у Арсеньева.

213

Коровашко А. В. По следам Дерсу Узала. Тропами Уссурийского края. М., 2016.

214

Добровольный флот — морское судоходное общество, основанное на пожертвования граждан в 1878 году. Занималось в том числе перевозкой каторжан на Сахалин, доставкой во Владивосток переселенцев и грузов.

215

Ныне река Серебрянка в Тернейском районе Приморья.

216

Недавно я оказался на севере Приморья и в местной школе, взглянув на списки учеников и учителей, встретил эту фамилию.

217

В повести Джанси Кимонко «Там, где бежит Сукпай» фигурирует род Кялундзюга — возможно, это альтернативное написание одной и той же фамилии.

218

Поздравляя Пришвина в 1948 году с 75-летием, Фадеев написал, что «имеет счастье» помнить его произведения с детства, а «В краю непуганых птиц» — одна из книг, сформировавших его как человека.

219

«Левый фронт искусств», творческое объединение, существовавшее в 1922–1928 годах. Основные фигуры ЛЕФа — из футуризма: Маяковский, Асеев, Брик, Третьяков и др. «Революционный» ЛЕФ конкурировал с «пролетарским» РАППом.

Интересно, что главред «Нового ЛЕФа» Маяковский позже отмежевался от позиции Брика, заявив: книга Фадеева «для нас важнее записок фактовички Дункан» (имелись в виду воспоминания Айседоры «Моя жизнь»), Маяковский эволюционировал: «Я амнистирую Рембрандта», «Нужна песня, поэма, а не только газета…».

221

Поп-исполнитель и пасынок барда Александра Суханова Александр Фадеев, выступающий под псевдонимом Данко, тут совсем ни при чем.

Дальний Восток. 1994. № 11.

223

И одна из сквозных тем всей советской литературы — от булгаковского «Собачьего сердца» 1920-х до «Повести о настоящем человеке» Полевого 1940-х и велтистовского «Электроника» 1960-х.

224

Майхе — село и река на юге Приморья, ныне соответственно Штыково и Артемовка. По обочинам дорог и сегодня продаются «майхинские» черви, ценимые местными рыбаками.

225

Из воспоминаний командира И. Мелехина: «Против него мы выслали двадцать партизан под командой Шалдыбина — рослого, решительного в боях матроса…»

Губельман узнается и во владивостокском большевике Крайзельмане, с которым держит связь Левинсон.

227

В воспоминаниях Мелехина «На Иман!» находим параллели с походом Левинсона: Мелехин идет долиной Ваки на северо-запад (Ариадное, Малиново, Ракитное), где встречается с карательной экспедицией белых.

228

Только датой гибели на обелиске указан не ноябрь, а сентябрь 1919-го.

Возможно, из тех же соображений и Морозов с Ещенко были похоронены не в Орехове, а в Боголюбовке.

230

Ефим Кононов был связным между отрядом Певзнера и большевиками Владивостока. Привозил письма и посылки от родных, однажды даже доставил в Кронштадтку мать Фадеева.

231

При подготовке «Разгрома» к печати было снято много «грубого натурализма», в частности, вымараны множественные выражения «твою мать» и т. п.

Были и попытки «амнистировать» Мечика, доказать, что он — не враг революции и вообще не такой уж негодяй. Литературовед В. Боборыкин назвал его «незадачливым мечтателем», наивным и чистым, которого сами партизаны оттолкнули от себя. О том же писал Б. Беляев, которого Озеров обвинял в «примиренческом» отношении к образу Мечика. Но их голоса, как говорится, тонули в общем хоре. Интересно, что в экранизации 1958 года Мечик показан вполне терпимо. Не то в опере «Разгром» А. Николаева, где Мечик убивает (!) Морозку.

233

В 1955 году Фадеев не поддержал идею МХАТа инсценировать «Разгром»: это, мол, вещь камерная, лучше ставьте «Тихий Дон» и «Хождение по мукам» — произведения монументальные, социально-психологические. Писал завлиту театра Суркову: «Вас просто заставят „приглаживать“ и Морозку, и Варю, а приглаженные они никому не нужны». Указывал и на политический момент: в «Разгроме» враги — японцы, а теперь СССР налаживает связи с Японией, где «большой подъем рабочего движения и движения за мир». Нецелесообразно, считал Фадеев, «переносить огонь» и на белое казачество, «поскольку его давно уже не существует и поскольку среди белой эмиграции в разных странах так сильны сейчас патриотические настроения в пользу СССР».

234

Светланская (центральная улица Владивостока) была Американской, Светланской, Ленинской, сейчас — снова Светланская.

235

В 1929 году главная газета Приморья «Красное знамя» напечатала стихотворение Доната Мечика «Майские песни»:

Льются солнцем лучи, словно струны,
Рано утром поют петухи,
Ах, как хочется радость и юность
Переплавить в стальные стихи…

236

Писатель Юрий Лясота в книге «Братья Сибирцевы» изображает встречу Т. Мечика и Булыги в Сергеевке, но ее не могло быть.

237

В материалах о партизанском движении в Приморье упоминается секретарь комсомольцев села Казанки Мария Анисимовна Мечик — видимо, сестра Тимофея.

238

В «Разгроме» упомянут «голубоглазый немец из взвода Метелицы».

Опять же к вопросу о тесноте истории. Внучатый племянник партизанского командира Николая Ильюхова — Анатолий Ильюхов, мой коллега, много лет проработавший руководителем бюро РИА «Новости» во Владивостоке. «Я увидел Николая Кирилловича уже взрослым, когда он приезжал на 50-летие освобождения Приморья. Много говорили, потом он улетел в Москву. В гостях у него я был дважды», — говорит А. М. Ильюхов.

Интересно то, что это проклятие, это столкновение жизненной и художественной реальностей, требовавшее не всегда возможных переделок, висело над Фадеевым всю его литературную жизнь: «Разгром», «Молодая гвардия», «Черная металлургия»… Слава богу, что «Разгром» все же был закончен и потом перфекционистом Фадеевым не переписывался.

Выполнить обещание он не успел, но «Литературная газета» 30 ноября 1957 года сообщила об этой воле Фадеева в статье «Досадное недоразумение».

242

Как уже говорилось, Фадеев писал, что Дольников в партизанах вел себя неприглядно, отчего «соколята» перестали с ним общаться.

243

В 2016 году вышла повесть Олега Кашина «Приморские партизаны», аттестованная как «конспирологическая фантазия» на соответствующую тему. Действие ее, впрочем, происходит вдали от Приморья.

В 2015 году Верховный суд РФ смягчил приговор. Два пожизненных срока А. Ковтуна и Илютикова заменены на 25 лет и 24 года, сроки Кириллова и Савченко снижены с 22 до 19 и с 25 до 24 лет. В отношении Никитина и В. Ковтуна приговоры отменены полностью, дела направлены на повторное рассмотрение, так как Верховный суд счел недоказанным участие «партизан» в убийстве четверых наркодилеров. В июле 2016 года присяжные признали «партизан» невиновными в данном преступлении, Никитина и В. Ковтуна освободили в зале суда.

245

Постановка Ефима Табачникова. Нынешний худрук «Горьковки» Ефим Звеняцкий играл в спектакле Мечика.

В описываемый период Фадеев вообще увлекся кино, хотя роман этот не был взаимным. Он знакомится с режиссерами Калатозовым, Бартеневым, Шуб, Эйзенштейном, в июле 1933 года выступает на совещании работников кино и литературы о необходимости более тесного контакта между этими двумя сферами. Советует Шолохову активнее участвовать в работе над экранизацией «Поднятой целины», поскольку «совместная работа писателя с режиссером входит в моду» (Либединский тогда сотрудничал с Калатозовым, Лапин — с Шуб, сам Фадеев — с Довженко).

247

По данным Приморскстата, в 1939–1959 годах население Приморья выросло на 474 тысячи человек, тогда как в 1992–2012 годах — уменьшилось на 364 тысячи человек. Инопланетянин или историк-ревизионист из будущего, сопоставив эти цифры, вправе усомниться: точно ли в 1940-х случилась великая война или, может быть, она началась в 1990-х?

248

Эсфирь Шуб (1894–1959) — кинорежиссер, сценарист, автор документально-исторических фильмов «Падение династии Романовых», «Страна Советов», «Испания» и др.

249

31 мая 1938 года «Рефрижератор № 1» сел на мель в проливе Лаперуза, был задержан японскими властями и отведен в порт Вакканай. Капитана В. Быковского японцы обвинили в нарушении границы. Экипаж зверски избивался японскими чинами, у моряков пытались выведать сведения, касающиеся состояния вооруженных сил СССР. «Рефрижератор № 1» вернулся во Владивосток только 3 июля. Меньше чем через месяц вспыхнет советско-японский конфликт у озера Хасан в Приморье.

250

Нынешнее Безверхово Хасанского района, до революции — вотчина Михаила Янковского, ссыльного поляка, основателя известнейшего в Приморье рода охотников, предпринимателей, естествоиспытателей. Здесь же в 1931-м побывал Пришвин. Сами Янковские к тому времени были в эмиграции — в Корее.

251

Сегодня имеет смысл пояснить, что речь идет не о репитерах оператора мобильной связи МТС, а о машинно-тракторной станции.

252

Еще один «пиарщик» Чугуевки — летчик Виктор Беленко (р. 1947), в 1976 году угнавший со здешнего аэродрома в Японию новейший истребитель-перехватчик МиГ-25, получивший политическое убежище в США и заочно приговоренный в СССР за измену родине к расстрелу.

253

В 1934 году в числе строителей-добровольцев на всесоюзную стройку приедет по комсомольской путевке будущий летчик Алексей Маресьев, а в 1939-м сюда же попадет — но уже не по своей воле — поэт Николай Заболоцкий.

254

В 2016 году первый запуск с космодрома «Восточный» в Амурской области ознаменовал появление еще одного дальневосточного «аэрограда» — космического города Циолковский.

Фадеев пытался «выписать» на Дальний Восток еще Луговского и Лидина, но не получилось.

В этой повести узнается Николаевск-на-Амуре. Прототипом главной героини Тани Сабанеевой стала дочь Фраермана от первого брака Нора Коварская. Она впоследствии долгое время работала на Приморском радио во Владивостоке, мои старшие коллеги хорошо ее знали. Потом Нора Романовна, как ее называли, эмигрировала в Израиль, умерла в Хайфе.

257

Гидаш еще не знал, что несколько лет спустя встретится с Шацким на Колыме: «Шацкий смотрел на меня ласково-грустно. Он стал еще молчаливей, чем был в Хабаровске. А в общем был такой же. К окошку за баландой подходил без всякого волнения и не возмущался, когда из половника в его миску лилась только жижица. Таким, как Шацкий, гущи никогда не доставалось».

258

Э. Казакевич, будущий разведчик и автор знаменитой повести «Звезда», в 1932 году переехал из Харькова в Биробиджан. Работал бригадиром, инженером, начальником строительства городского Дворца культуры, председателем еврейского колхоза «Валдгейм», организатором еврейского молодежного театра ТРАМ, директором Биробиджанского государственного еврейского театра, председателем областного радиовещания на идиш. Его отец Генрих Казакевич, приехавший вслед за сыном, стал первым редактором газеты «Биробиджанер Штерн», существующей до сих пор. Э. Казакевич переводил на идиш пьесы советских и европейских драматургов, стихи Пушкина, Лермонтова, Маяковского. В Биробиджане вышел первый сборник стихотворений Э. Казакевича «Бирэбиджанбой» (Биробиджанстрой). В местном театре поставили его пьесу «Молоко и мед».

259

В 1937 году, объясняясь по поводу одного из доносов, Фадеев скажет, что не получал под Владивостоком «барской дачи», а жил в военном санатории в «маленькой отдельной комнате».

И еще одно размышление гипотетического толка: ведь мог он дожить и до перестройки. Вдова писателя Ангелина Степанова, будучи всего на четыре года младше Фадеева, дожила до 2000 года. Или взять старших товарищей по революции: Губельман дожил до 1968-го, Ильюхов — до 1976-го, Никифоров — до 1974-го, Секретарева — до 1977-го, Головнина — до 1990-го…

Уже в леоновской «Дороге на Океан», законченной в 1935-м, герой и ребенок играют в «Японию и Дальний Восток».

«Приездом на Дальний Восток я исполняю свое давнее и горячее желание и желание моего друга. Мы много слышали и читали об этом замечательном крае, часто мечтали о поездке на Дальний Восток. Теперь мне удалось осуществить эту мечту, но, к сожалению, одному», — сказал Петров в интервью «Тихоокеанской звезде» летом 1937 года (его соавтор Илья Ильф скончался несколькими месяцами раньше).

263

В 1937 году Георгий и Сергей Васильевы, авторы знаменитого «Чапаева», сняли фильм «Волочаевские дни» об интервенции и Гражданской войне на Дальнем Востоке.

264

Военкоры Борис Лапин и Захар Хацревин, написавшие в соавторстве стихи «Погиб журналист в многодневном бою…», вместе погибли под Киевом осенью 1941 года.

265

В 1949 году Фадеев побывает в только что образованной КНР и скажет: «Убогий провинциал (имелся в виду европейский обыватель. — *В. А.*), он не в силах понять, как зло посмеялась над ним история! Разве можно, действительно, сравнить мощное биение новой жизни в Китае, где, кажется, слышишь дыхание самой истории, — с бесперспективной жизнью маршаллизованных стран? Великий Китай с его полумиллиардным населением пришел во всемирно-историческое движение, целью которого является социализм и коммунизм».

266

В 1938-м Фадеев выпишет из «Былого и дум» Герцена: «Тихий океан — Средиземное море будущего».

267

Одна из повестей Олега Куваева называется «Чудаки живут на востоке».

Сейчас журнал выходит в Хабаровске под названием «Дальний Восток».

269

В 1926–1945 годах по ту сторону границы, в еще полурусском Харбине, издавался почти тезка — журнал «Рубеж».

Судьбы редакторов «На рубеже» нередко складывались трагично: Шацкого расстреляют, Фадеев застрелится, его преемник Михаил Алексеев тоже покончит с собой.

271

В 1935–1957 годах Уссурийск носил имя Ворошилова.

272

Ченьювай (ныне Лашкевича) — бухта под Находкой в устье Сучана (реки Партизанской), где Булыга-Фадеев начинал воевать. По воспоминаниям Мелехина, в бухте «Чен-ю-вай» в 1919 году высаживался японский десант.

В. Лангового — красивого стройного офицера с «холеным и сильным по выражению загорелым лицом» в советском кино мог бы отлично сыграть В. Лановой.

274

Один из лидеров владивостокского Союза рабочей молодежи, подпольщик, партизан.

Он в романе не только партизанит, но и рассуждает о межпланетных путешествиях и атомной энергетике.

Тетюхе — ныне Дальнегорск. Наследник бринеровских рудников — ОАО «Дальполиметалл».

Иные из этих названий в ходу до сих пор, другие забыты.

Так, напомним, погиб К. Суханов.

Тогда Золотой Рог еще замерзал, на нем устраивали каток. Сейчас из-за стоков с ТЭЦ-2 по речке Объяснения и активного судоходства бухта считается незамерзающей, но все-таки раз в несколько лет она не без успеха пытается застыть.

280

Речь идет о самых первых переселенцах — пионерах, если учесть, что пост Владивосток основан в 1860 году.

281

В Мартемьянове узнается заместитель предревкома Мартынов, с которым Фадеев в 1919 году совершил агитпоход по Ольгинскому уезду.

282

Китайское поселение в заливе Ольга. Арсеньев: «На восточном берегу залива находился китайский поселок Шимынь, названный русскими „Кошкой“. Раньше поселок этот был главным китайским торговым пунктом в Уссурийском крае».

Примерно так же в начале XXI века провалилась пафосная госпрограмма «добровольного переселения соотечественников на восток».

Как бы то ни было, констатирует кандидат экономических наук Юрий Авдеев из Тихоокеанского института географии ДВО РАН, начиная с 1858 года население Приморья постоянно росло: «Многие уезжали, но многие оставались. И в царские, и в советские времена миграционное сальдо всегда было положительным. С 1991 года все пошло на спад. Приморский край потерял с 1991 по 2010 год 370 тысяч человек, до 2030 года может потерять еще 240». В целом Дальний Восток за 1990-е и 2000-е из восьми миллионов жителей потерял два — каждого четвертого.

285

Имеется в виду маньчжурский орех — родственник грецкого, но с более толстой скорлупой и меньшим ядрышком.

286

Амурский бархат — пробковое дерево уссурийской тайги.

287

Борис Горбатов (1908–1954) — писатель, лауреат двух Сталинских премий. Роман «Донбасс», цикл «Обыкновенная Арктика» и др.

288

«Перевал» — литературная группа, организованная критиком Александром Воронским из писателей-«попутчиков» и конкурировавшая с РАППом.

289

До 1922 года — Путиловский завод, с 1934 года — Кировский завод.

290

Фадеева иногда называют адресатом другого «крылатого» высказывания Сталина — о том, что «других писателей у нас нет». Однако, судя по ряду источников, эта фраза была сказана Сталиным партийному функционеру, секретарю правления Союза писателей Д. Поликарпову в 1946 году. Анатолий Рыбаков в «Романе-воспоминании» пишет: «Мало кто в то время не знал знаменитой сталинской реплики, брошенной Поликарпову, когда тот стал жаловаться на писателей: „Других писателей у меня для товарища Поликарпова нет, а другого Поликарпова мы писателям найдем“. На следующий день Поликарпов очутился в Педагогическом институте заместителем ректора по хозяйственной части».

291

Вера Кетлинская (1906–1976) — прозаик. Роман «Мужество» о строительстве Комсомольска-на-Амуре, «В осаде» о блокадном Ленинграде. Менее известное сочинение — трактат о «перестройке быта» и борьбе с распущенностью «Жизнь без контроля. Половая жизнь и семья рабочей молодежи» (1929, в соавторстве с В. Слепковым).

292

Марк Колосов (1904–1989) — прозаик, драматург, автор рассказов о комсомольцах.

293

Анна Берзинь (1897–1961) — писатель, журналист. Автор мемуаров о Есенине. Принимала участие в создании коллективной книги о Беломорканале. Не отреклась от арестованного мужа — писателя Бруно Ясенского, много лет провела в лагерях и на спецпоселении, реабилитирована в 1956 году.

Нельзя сказать, что эти доносы оставили без внимания. Так, писатель Макарьев, вернувшись из лагеря, сказал Фадееву, что его в течение полумесяца допрашивали именно о его, Фадеева, «антипартийной деятельности».

295

В самом начале войны 44-летний Виктор Яблонский, несмотря на бронь, ушел добровольцем в народное ополчение и погиб у Гдова уже в июле 1941 года.

Вскоре после возвращения из лагеря М. Герасимова покончила с собой.

297

Известна тем, что в 1950-х разыскала в США давно забытую на Западе Этель Войнич (1864–1960), автора знаменитого «Овода», и рассказала той о популярности ее книги в СССР. В 1955 году ЦК КПСС постановил выплатить Войнич 15 тысяч долларов за советские издания «Овода».

298

Родственником Форш (урожденной Комаровой) был Владимир Комаров — выдающийся ботаник и географ, в 1936–1945 годах президент АН СССР, организатор научной деятельности на Дальнем Востоке. Через Ольгу он передавал Фадееву благодарность за «Последнего из удэге».

299

Из записки П. Баранова в ЦК о реабилитации Мейерхольда от 18 октября 1955 года следует: Мейерхольд под пытками сказал, будто бы в рядах антисоветской троцкистской организации, куда его якобы завлек Эренбург, состоял и Фадеев.

Эренбург писал, что Фадееву была близка сама манера письма Гроссмана, в которой чувствовалось влияние Л. Толстого: «Василий Семенович описывал героев тщательно, обстоятельно, длинными фразами, не страшась множества придаточных предложений».

301

Так у Полевого, видимо спутавшего удэгейцев и адыгейцев.

302

Сыграл одного из альпинистов в фильме С. Говорухина и Б. Дурова «Вертикаль» (1967). Умер в 1993 году. «Его беда была в том, что он неверно выбрал профессию. Он многое сумел бы в жизни, если бы не стал актером. Здесь кроется причина и нашего разрыва… Хоть человеком он был очень добрым. Он, очевидно, переживал свои неудачи и горько их заливал», — вспоминала А. А. Фадеева-младшего актриса Людмила Гурченко, на которой он одно время был женат.

303

Родился в 1967 году, преподает актерское мастерство в Театральном институте им. Щукина.

Родилась в 1980 году, окончила Московский архитектурный институт, пишет об архитектуре, преподает.

305

Маргарита Алигер (1915–1992) — поэтесса. За поэму «Зоя» о подвиге Зои Космодемьянской (1942) получила Сталинскую премию.

306

Мария Алигер-Энценсбергер (1943–1991). Вышла замуж за немецкого поэта и левого активиста Ганса Магнуса Энценсбергера, долго жила в Лондоне, собиралась вернуться на родину, но в приступе депрессии покончила с собой. Михаил Фадеев: «Она была хорошим человеком, но очень одиноким, как и сам Фадеев».

307

В незавершенной «Таежной болезни» у Фадеева появляется партизанский командир по прозвищу Старик — крепкий, тридцатилетний, но уже седой.

308

Американский писатель Дос Пассос, гостивший у Фадеева в 1928 году, сказал на прощание: надо же, какими аскетами вы живете. «А мы-то старались изо всех сил, готовили каждый день три блюда на обед!» — рассказывали потом Фадеев и Валерия Герасимова Либединскому.

309

Анатолий Софронов (1911–1990) — прозаик, заметный «лит-функционер», многолетний редактор журнала «Огонек». Дважды лауреат Сталинской премии, Герой Соцтруда.

310

Алексей Сурков (1899–1983) — поэт, лауреат двух Сталинских премий, Герой Соцтруда. Автор текстов знаменитых песен «Бьется в тесной печурке огонь» и «Марш защитников Москвы».

311

Николай Грибачев (1910–1992) — поэт. На Великой Отечественной войне был командиром саперного батальона, затем — военкором. Стал видным литфункционером, а потом и не только «лит-»: в 1980–1990 годах занимал должность председателя Верховного Совета РСФСР.

312

Любопытна перекличка с «Молодой гвардией» Фадеева, которую Пегов явно не имел в виду.

313

На прощании с Фадеевым 16 мая 1956 года встретились Моисей Губельман — «дядя Володя», косвенно фигурирующий в «Разгроме» и «Последнем из удэге», — и краснодонский подпольщик Георгий Арутюнянц, действующий в романе «Молодая гвардия» под своим именем.

Помимо всего прочего, «Молодая гвардия» — производственно-социологический роман: о большом строительстве на Донбассе, о структуре и внутренних связях советского общества. Этот тематический пласт, впрочем, по понятным причинам попадает в тень других линий — подпольной работы и гибели молодогвардейцев.

315

С 1922 года звучала песня «Молодая гвардия» («Вперед, заре навстречу…»), написанная на слова А. Безыменского (он перевел с немецкого стихи социал-демократа Арнульфа Айльдермана «Dem Morgenrot entgegen») и музыку Леопольда Кнебельсбергера. В этом неофициальном гимне советских комсомольцев были слова: «Мы — молодая гвардия рабочих и крестьян». В том же 1922 году появилось издательство «Молодая гвардия», ставшее с годами одним из крупнейших в СССР.

316

С 2014 года населенный пункт контролируется Луганской народной республикой. В 2016 году Верховная рада Украины вернула городу его прежнее название Сорокино, однако власти ЛНР это решение не признали.

А некоторые подробности стали известны еще позже, уже в наше время — например, о том, что молодогвардейка Любовь Шевцова успела еще до оккупации окончить трехмесячную Ворошиловградскую разведшколу НКВД.

Она доступна, например, тут: www.molodguard.ru/book21.htm.

319

Писатель Олег Куваев сформулировал отношение к идеологам и литературным генералам «застойных» времен: «В нашей действительности честной литературы, не заказанной „идеологическими“ органами, быть не может. А те, кто заказывает, глупы и не понимают, что нашей идеологии нужна именно честная настоящая проза».

320

Из заметок Фадеева «К плану»: «Фенбонг не был ни зверем, ни садистом. Он был типичным немецким обывателем, развившимся до своего логического конца…» Отголоски этой мысли слышны в нашумевшем романе Дж. Литтелла «Благоволительницы».

321

По этому же делу проходил некто Чернышев, но предъявленные ему обвинения подтверждения не нашли, и Чернышева оправдали.

322

Саму фамилию «Стахович» Фадеев, возможно, взял у Льва Толстого. Литератору Михаилу Стаховичу посвящен толстовский «Холстомер», причем сам Толстой относился к Стаховичу сложно, дискутировал с ним по вопросам о христианстве.

323

Лейтенант Иван Туркенич воевал с мая 1942 года, в августе был ранен, попал в окружение, был схвачен немцами. Бежал из плена, оказался в оккупированном Краснодоне, где по поручению руководителя большевистского подполья Лютикова возглавил боевую деятельность подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия». После провала сумел избежать ареста и перешел линию фронта. Воевал, участвовал в освобождении Киева, Житомира, Тернополя, Львова. В июне 1944 года вступил в ряды ВКП(б). В августе 1944 года в бою за польский город Глогув был смертельно ранен. В 1990 году указом президента СССР Горбачева капитану Туркеничу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Есть специальный английский термин — *occupational novel.*

325

Романы Куваева и Плетнева в конце 1970-х — начале 1980-х были удостоены премии ВЦСПС как лучшие произведения о рабочем классе.

Интересная параллель: в 2014 году вышел роман Сергея Самсонова «Железная кость» о современном металлургическом заводе на Урале.

327

В 1987 году в журнале «Наука и жизнь» доктор технических наук В. Кудрявцев опубликовал статью «С точки зрения металлурга», в которой он защищает тех самых новаторов, ранее объявленных бесстыдными авантюристами: время было суровое, они искренне хотели скорее найти новый способ выплавки стали, но ошиблись.

Улицкая, кстати, училась в школе с дочерью Маргариты Алигер и Фадеева — Марией Алигер-Энценсбергер.

329

А. А. Зиновьев: «Фактическая борьба против крайностей сталинизма началась еще в сталинские годы задолго до непомерно раздутого доклада Хрущева на двадцатом съезде КПСС. Она шла в недрах советского общества. Сам Сталин заметил необходимость перемен, и свидетельств тому было достаточно. Доклад Хрущева был не началом десталинизации, а итогом начавшейся борьбы за нее в массе населения. Хрущев использовал фактически начавшуюся десталинизацию страны в интересах личной власти. Придя к власти, он отчасти способствовал процессу десталинизации, а отчасти приложил усилия к тому, чтобы удержать его в определенных рамках».

Зелинский со ссылкой на Федина писал, что рядом с письмом стоял портрет Сталина.

331

Филипп Бобков (р. 1925) позже стал известен как видный борец с диссидентами. В 1969–1983 годах руководил 5-м управлением КГБ, в 1983–1991 годах — заместитель (позже первый заместитель) председателя КГБ. В 1992–2001 годах — глава аналитического управления холдинга «Мост» Владимира Гусинского — российского олигарха, первым подвергшегося «равноудалению» от власти.

332

«Последний из удэге», сцена в селе Майхе (нынешнее Штыково), где стоит отряд некоего Бредюка, сильно напоминающего «красного казака» Шевченко: «Навстречу попалась группа пьяных партизан: один в распахнутом пиджаке играл на гармонике, трое, обнявшись и заплетаясь ногами, пели несогласным хором. „Н-да, крестьянская республика“, — подумал Алеша».

Большие заслуги в ее распространении принадлежат неутомимому компилятору Федору Раззакову.

334

Матвей Погребинский (1895–1937) — чекист. В 1924 году по поручению Дзержинского организовал в подмосковном Болшеве первую трудовую коммуну из несовершеннолетних преступников. Прототип главного героя фильма Николая Экка «Путевка в жизнь». В середине 1930-х — начальник НКВД Горьковского края. В 1937 году, ожидая ареста, застрелился.

335

В те годы в разговорной речи это слово употребляли в женском роде (ср. у Высоцкого в «Балладе о детстве»: «Нажива — как наркотика…»).

Здесь следует заметить, что противопоказаниями к применению снотворного препарата нембутала (пентобарбитала), который употреблял Фадеев, считаются болезни печени и почек, предыдущие психические заболевания или попытки суицида, зависимости от наркотиков или алкоголя. Передозировка этого барбитурата, оказывающего угнетающее воздействие на центральную нервную систему, может привести к непоправимым последствиям. Едва ли сегодня доктора позволили бы писателю пить эти таблетки. Нельзя исключать, что именно передозировка снотворного могла оказать какое-то влияние на трагический исход, хотя, конечно, не стоит сводить причины самоубийства Фадеева исключительно к этому фактору — корни его личной трагедии гораздо глубже и протяженнее во времени. Вместе с тем «медикаментозная» версия гибели Фадеева почти никак не разработана, несмотря на ряд свидетельств о том, что в последний период жизни он злоупотреблял нембуталом. В заключении о болезни и смерти Фадеева, подписанном доктором медицинских наук Стрельчуком, кандидатом медицинских наук Геращенко, доктором Оксентовичем и начальником 4-го управления Минздрава СССР Марковым, говорится лишь о запое и депрессии. Из записки главы КГБ Серова в ЦК от 22 мая 1956 года: «На основании материалов следствия можно прийти к выводу, что самоубийство Фадеева является результатом расстройства нервной системы, нарушенной длительным злоупотреблением алкоголя, и общего болезненного состояния».

337

Следы ведут к интервью, взятому бардом и публицистом Алексеем Голенковым у члена «Молодой гвардии» Валерии Борц (1927–1996) в 1992 году, полностью опубликованному только в 2003-м и вызывающему массу вопросов.

Уже в XXI веке Коржавин говорил: «Я теперь к Фадееву отношусь гораздо мягче, по-человечески… Тогда я еще был ригорист большой».

339

Известна фраза Пастернака о том, что выстрелом в себя Фадеев «сам себя реабилитировал».

«Люди что смогли — выудили, и фонды Фадеевки нет-нет да и появляются на книжных развалах Владивостока», — говорит владивостокский литературовед Александр Лобычев. Согласно публикациям приморских СМИ, одну из ключевых ролей в ликвидации Фадеевской библиотеки сыграл Виктор Пинский — на тот момент глава Федерации профсоюзов Приморского края, с 2011 года — депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»). На фасаде здания сохранился барельеф Фадеева, сегодня выглядящий загадочно из-за утраченного библиотечного контекста.

После выхода этого интервью Шалая случился небольшой скандал. Его отголоски дошли до Администрации Президента РФ, откуда, как говорят, дали команду: музей в Чугуевке не трогать.

342

Александр Бек (1903–1972) — прозаик. Самую известную повесть Бека — «Волоколамское шоссе» об обороне Москвы и подвиге панфиловцев — носил с собой в полевой сумке в период революционной борьбы на Кубе команданте Че Гевара.